

Урен Адлер

СОБСТВЕННОСТЬ
БОГА

16+

Ирен Адлер

Собственность бога

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42253222

SelfPub; 2019

Аннотация

Единственная игра, в которую стоит играть, если носишь корону, это игра в бога. Так полагает её высочество принцесса Клотильда, сестра короля Людовика XIII. Изнывая от скуки, она увлекается красивым студентом из Латинского квартала, искренне полагая, что бедность, в которой прибывает её избранник, делает его удачным персонажем для затеянной игры. Психологическая драма. В книге затрагивается извечная проблема выбора: кому служить – Богу или маммоне. Для читателей, любящих историю, увлекающихся западноевропейской литературой и искусством. Дизайнер оформления обложки С. А. Пеников издательство ИТРК.

Содержание

Часть первая	7
Глава 1	8
Глава 2	20
Глава 3	25
Глава 4	37
Глава 5	43
Глава 6	51
Глава 7	56
Глава 8	71
Глава 9	77
Глава 10	86
Глава 11	92
Глава 12	105
Глава 13	110
Глава 14	125
Глава 15	134
Глава 16	155
Глава 17	162
Глава 18	168
Глава 19	186
Глава 20	194
Глава 21	208
Глава 22	215

Глава 23	231
Глава 24	245
Глава 25	262
Часть вторая	269
Глава 1	269
Глава 2	276
Глава 3	280
Глава 4	283
Глава 5	294
Глава 6	304
Глава 7	311
Глава 8	328
Глава 9	342
Глава 10	352
Глава 11	362
Глава 12	369
Глава 13	378
Глава 14	390
Глава 15	399
Глава 16	407
Глава 17	415
Глава 18	428
Часть третья	434
Глава 1	434
Глава 2	439
Глава 3	449

Глава 4	462
Глава 5	472
Глава 6	487
Глава 7	502
Глава 8	517
Глава 9	525
Глава 10	539
Глава 11	544
Глава 12	557
Глава 13	565
Глава 14	572
Глава 15	581
Глава 16	594
Глава 17	609
Глава 18	630
Глава 19	658
Глава 20	674
Глава 21	681
Глава 22	689
Глава 23	692
Глава 24	697

*Когда Ты Предстанешь Перед Лицом Сильного Мира Сего,
Помни, Что Другой Смотрит Сверху На То, Что Происхо-
дит, И Что Ты Должен Угождать Ему Скорее, Чем Этому
Человеку.*

Эпиктет

*Сын Мой! Наставления Моего Не Забывай, И Заповеди
Мои Да Хранит Сердце Твое...*

Притчи 3:1

Часть первая

Ее кровь давно утратила цвет. Она струилась по жилам, как вода по стеклянным трубкам, почти прозрачная, оставляя кончики пальцев холодными и сухими. Ее сердце обратилось в упругую мышцу, сохранившую единственно доступный ей ритм. Не замедляясь и не ускоряясь. Днем и ночью. Без радости и печали. Без волнений и страха. Она хотела бы испугаться или прийти в ярость, хотела бы зарыдать или зыгнуться в крике. Но не могла. Ее чувства пришли в упадок, как приходит в упадок некогда заброшенный сад. Иногда ей даже казалось, что она умерла. Вот такая странная, незаметная для глаз смерть. Почти благословенная, без тлена и смрада. Душа свернулась, подобно зародышу в ледяной скорлупке, и заснула. За ненужностью.

Глава 1

Я вижу ее глаза. В них страх. Сначала недоумение, досада, затем догадка. И страх. Он разгорается, бледностью ползет по лицу. Она и так бледна, кожа цвета алебастра, но под ней переливается кровь, а страх эту кровь изгоняет, тогда белизна становится мертвенной с трупной серостью. Она боится. Как же она боится! Где же оно, то величавое презрение, с каким она взирала несколько часов назад? Его больше нет. Только страх. Ее зрачки расширяются, веки, всегда полуопущенные от того же презрения, от врожденной брезгливости, ползут вверх, чтобы страх, еще скрытый, взвился там, под ними, вспыхнул бы красным всполохом, брызнул пятнами. Она хочет кричать. Губы ее размыкаются, движется горло. Но страх, верный мой союзник, забивает ей горло кляпом. Ей не вздохнуть. Только горло все движется. Ее горло, той же алебастровой белизны, лилейной нежности, с трепетной голубой жилкой, горло, которого я, совращенный, несколько часов назад касался губами. Это горло притягивает меня, зовет. Там средоточие ее жизни, в этом хрупком движущемся узле под бледным покровом. Если этот бугорок сдавить, переломить влажный хрящик, она умрет... Я услышу, как лопнет эта мягкая кость, как дыхание змеиным шипением будет продираться сквозь закусенные губы, как хрипом и бульканьем отзовется сломанный хрящ. Хочу слышать этот

предсмертный крик, хочу ощутить ладонями скользкую от пота высокомерную шею. И убить. Хочу убить. От желания мысли плавают, сливаются в одну. Я весь – эта мысль, весь – порыв, уже не человек, еще не мертв, но и живым не назвать. Сгусток, ядро из плоти и слез. Без души, без сердца. Все осталось там, наверху, среди окровавленных простынь, рядом с почерневшим младенцем и бездыханной матерью. Там остался я, прежний, девятнадцатилетний, с надеждами и мечтами, с юностью и любовью, а здесь, во дворе, я – сама смерть.

Успеваю приблизиться и коснуться. Ибо время замедлилось. Страх, мой союзник, связал и растянул минуты. Их время, время моих врагов, стало вязким, густым и липким. Страх, играя на моей стороне, крепит их подошвы к мостовой, сковывает их руки. Они меня не узнали, не разгадали. Я их опережаю. Ее горло... Она неподвижна, не пытается защититься. Ибо все тот же страх застывает параличом в ее локтях и коленях. В моих пальцах неведомая палаческая тяжесть. Мои пальцы – орудие, петля со скользким узлом. Как уязвима эта высокомерная шея! Мои пальцы уже давят, крушат. Я чувствую, как плоть поддается, уступает и хрящ уже пружинит, противясь и надламываясь. Ее глаза совсем близко. Теперь мы на равных. Я стащил ее вниз с ее пьедестала, в презренную телесную уязвимость. Я вернул ее в смертность. Но в ее глазах равные доли недоумения и страха. Она не верит, она все еще не верит. Хрипит, задыхается

и не верит. Что я... что такой, как я... Слепящий удар, боль. И снова удар. Теперь уже мое время замедляется и ползет, разбухает от крови. Их время, их мгновения теперь – как пущенная стрела. Меня хватают, наваливаются. Вместо ее глаз чей-то пыльный сапог с квадратным носком и ребрышком стали. Взлетает, опускается. Я уже не сгусток ярости, обращенный в клинок, я – сгусток боли.

Но это не долго. Я своей цели не достиг, но они, ее стражи, достигнут своей. Еще несколько ударов, и на мой затылок опустится рукоять хлыста, затем, после белых костяных брызг, наступит беспамятство. И смерть. Умирать не страшно. Я давно мертв. Я умер в тот миг, как ступил на брусчатку, сбежав по скрипучей лестнице. Там наверху остались мои жена и сын. Моя жена истекла кровью, мой сын задохнулся в утробе. Повитуха тащила его синее тельце железными щипцами из материнского лона, которое само уже обратилось в кровавые лохмотья. Я ждал чуда – сиплого, булькающего младенческого писка, но мой сын висел в этих щипцах, как освежеванный кролик. Моя жена, тоненькая, обескровленная, еще дышала, но милосердный обморок закрыл ей глаза. Она не узнала о смерти сына. Она помнила только меня, только мой грех. Она умерла с этим знанием, отвергнув мое раскаяние. И мне, чтобы вымолить прощение, предстоит отправиться вслед за ней, по лунным пятнам на мертвой воде. Те, кто сейчас наносит мне удары, кто слепит меня болью, лишь приближают этот благословенный миг, смывая

солончатый привкус греха. То, что я не достиг своей цели, не стал убийцей, облегчит мне путь. Я умираю без отпущения, без покаяния, почти проклятым... Но мне все равно. Скоро все кончится.

Сейчас... сейчас кто-то из них нанесет последний удар, набросит веревку или оглушит так, что брызнет черная кровь под стальным прутом. Защищаться я не пытаюсь, только закрываю лицо. Тело само, без участия разума, сжимается, корчится. Скорей бы... Внезапно они отступают. Я слышу голоса, тяжелые хрипы испуганной своры. Они, будто отозванные егерем собаки, щелкают зубами. Среди рыканья и хрипа я различаю голос моего приемного отца, епископа Бовэзского. Тихий, слабый старческий голос. Глаза мои закрыты. Я его не вижу, но слышу торопливые семенящие шажки, шелест потертой сутаны. Он мечется среди этой стаи. – Пощадите его, пощадите! Он не в себе. Его жена умерла в родах. Ребенок мертв... Он обезумел от горя.

Я не безумен, отец. Мой ум пугающе ясен. Я слышу, как шелестит, осыпаясь, песок с чьих-то сапог, как переступает запряженная лошадь, как нетерпеливо поигрывает лакей своей тростью и как она, знатная дама, носительница власти, что-то гневно, презрительно шепчет. И тут же мои руки отрывают от лица, меня вздергивают и ставят на ноги. Боль в ребрах, в затылке застрял раскаленный коготь. С глазами что-то случилось. Пятнистая круговерть, вытянутые искаженные лица. Большое фиолетовое пятно – это отец Мар-

тин, епископ Бовэзский, мой приемный отец. Он похож на старого взъерошенного воробья, который топорщит крылья и подскакивает на мостовой перед крадущейся кошкой.

Своим жалким чириканьем этот воробей пытается отвлечь степенно ступающего зверя от птенца-подлетьша, неосторожно покинувшего гнездо. Кошка только досадливо дергает ухом, не сводя глаз с добычи. Что ей это жалкое отцовское чириканье, эти седые растопыренные крылышки, этот клювик и крохотные лапки?

Не надо, отец, не надо, не просите ее! Я пытаюсь разлепить разбитые, уже распухшие губы, склеенные кровью. Она что-то отвечает, тоже едва шевелит губами. Ее шея уже не слепит лилейной белизной. Эта шея помята, подпорчена, в багровых пятнах, быстро набирающих цвет. Моя рука. Как же я не успел? Хрящ уже поддавался, уже проваливался в глубину гортани. Я только жалкий любитель в искусстве убивать. Я не смог превозмочь себя и повредить тому, что создано Господом. Даже в угаре мести я чувствовал под рукой саму неприкосновенность жизни, ее уязвимость и конечность. Одно дело – воображать, обращаясь всем существом в карающий меч, и совсем другое – трогать этим мечом трепещущую жилку под кожей, ниточку, идущую от самого сердца.

Но ее высочество герцогиня Ангулемская, сестра и дочь короля, носительница власти, колебаться не станет. Она уже овладела собой и слушает просителя со скучающим презрением. Отец Мартин все еще лепечет, голова трясется. Он уже

совсем старенький. Ему трудно ходить, по ночам ноют суставы. Мое сердце сжимается. Господи, что же я наделал? Я подвел его. Как же я его подвел! Старик хватает ее за скользкий расшитый рукав. А она поворачивается спиной. Но прежде через плечо бросает в мою сторону взгляд, ведет им медленно, будто тянет по мне наточенный гребень. Делает неопределенный знак. Я закрываю глаза. Сейчас те, кто выворачивает мне локти, исполнят приказ. Удушье, тошнота... Скорей бы. Не сопротивляться... Не сопротивляться. Бедный старик, это произойдет у него на глазах. Но удара нет. Меня снова волокут, как мешок, как ободранную тушу, коленями, ступнями по камням и торчат к седлу. Мне придется бежать за лошадью. Если споткнусь, задохнусь, мои ноги будут волочиться по мостовой.

Отец Мартин все еще умоляет. Его потертая сутана взлетает, как побитые, израненные воробьиные крылья.

– Пощадите, пощадите его! Милосердие – это благодать от Господа. Господь милосерд. Он прощает грешников, тех, кто по неразумию, по слепоте своей... Иисус на кресте воззвал к Отцу своему небесному. Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Иисус, Спаситель, пострадавший за нас, умерший за нас, принявший крестную муку, искупивший кровью грехи наши, и нас благословил прощать.

Уже ступив на подножку, она в последний раз обращает к нему свое белое лицо. Губы ее двигаются, слов я не слышу, но догадываюсь.

– Я не Иисус, святой отец. И на третий день не воскресну. Ее лакей, верзила в синей ливрее с серебром, толкает старика. Тяжелый экипаж, запряженный четверкой, вздрагивает. Кучер, такой же рослый, как и лакей, подбирает поводья. Но старик не сдается. Он порхает, кособоко подпрыгивая, будто в него бросили камнем. Пытается влезть на подножку, заглянуть в экипаж, вновь умоляет, затем, припадая на одну ногу, бежит к кучеру, цепляется слабыми, сухими руками за звенящую сбрую. Кучер трогает лошадей, огромных, холеных, с длинными, страшными, темными мордами. Я хочу крикнуть, но горло перехватывает. Моя лошадь уже тянет меня, выворачивает руки.

Отец, пожалуйста, нет! Нет! Старый воробей уже выбился из сил. Он не может взлететь, слабо перебирает лапками, подпрыгивает, распутив перья, которые уже в пыли и комочках запекшейся крови. Воробью не увернуться. Старик хватает удила гнедого коренника, который вздергивает голову, ибо утомлен долгим ожиданием. Лошади тащат старика за собой, кучер нахлестывает. Вокруг лица... Я вижу их смазанными, вытянутыми... Гул голосов. Выкрики. И другой звук, свистящий, слышимый только мне, уже знакомый, продирающий холодом, свист взметнувшегося лезвия, рассекающего воздух, чтобы оборвать, пресечь чью-то жизнь. Сейчас это лезвие обрушится. Я пытаюсь упереться ногами в мостовую, вывернуться. Рывок за связанные руки, от которого темнеет в глазах. Но я вижу... Вижу, как старик, не

удержавшись, падает.

Первая лошадь в упряжке успевает переступить, но идущая за ней пугается, совершает прыжок. Дышло цепляет старика, как подсеченную рыбу. Он каким-то судорожным усилием успевает перевернуться, подтянуть ноги к животу, затем, пока лошади тащат его, как тряпичный узел, снова распрямляется и тогда уже попадает под колесо, огромное, золоченое, с железной начинкой. Это колесо накатывает, крушит... А тут поспевают и второе колесо. Экипаж подпрыгивает, обрушиваясь всей тяжестью на жалкий комочек перьев... Я гложу от крика, от своего крика. Я вою, как застрявший в капкане зверь, зубами я тянусь к узлам, к веревке... Я пытаюсь куснуть, сбить на сторону того, кто в седле, и тот сверху бьет рукояткой хлыста по затылку, выбивая глаза, погружая их в кровавую муть. Мой крик встает в горле поперечной костью, я падаю, висну на веревках и волокусь коленями по булыжникам. Экипаж с грохотом выкатывается со двора епископского дома, который был и моим домом, моим единственным домом. Где-то за моей спиной изломанная фиолетовая фигурка... Я снова кричу, но крик, как залитый в глотку свинец, кипит и обжигает. Я захлебываюсь этим пылающим месивом из слез и боли, пытаюсь выдохнуть его по кускам, но лошадь волочит меня дальше...

Почему они медлят? Почему не избавят от огненного удушья? Пот заливает глаза, каждый шаг отдается болью, всплывающей пузырем костей и внутренностей, но я еще не

окончательно слеп. Смутные очертания домов, колоколен... Гревская площадь. Сколько смертей видели ее камни! Почему бы и мне не умереть здесь? Но нет, я недостойн. Эти камни, доски эшафота, зарубки на плахе знают лишь благородную кровь. А я безродный, нищий студент из Латинского квартала, младенцем подброшенный в монастырский приют. Моя кровь осквернит эти камни. Благородных господ доставляют сюда на тележке, с песнопениями, с факельным шествием. Их сопровождает свита из подручных палача. На них с балкона Ратуши взирает король. Их не волокут, как зарканенного зверя. Тогда Сена. Ей все равно, кого хоронить, она прожорлива, как могильный червь, пожирающий плоть и нищего, и принца. Почему бы ее лакеям меня не столкнуть? Руки у меня связаны, ноги сбиты, от побоев в голове что-то колыхается, стучит в височную кость. Я быстро пойду ко дну.

Висок рассечен. Кажется, уличный шутник бросил в меня камнем. На меня глазают. Я вижу, как двигаются подбородки, раскрываются черные рты. Летят не то смешки, не то проклятия. Толпа рада позубоскалить. Это те люди, среди которых я жил, чьи прошения писал, чьи раны врачевал в лечебнице Св. Женевьевы и Святого Людовика. Как быстро они сбиваются в стаи против подраненного собрата. Прости им, Господи, прости... и меня прости. Мне отказано в последнем утешении. Но я прошу Тебя о милости, прими мою душу. Пошли мне смерть.

Я успеваю оглянуться на остров Сите и на колокольни Со-

бора. Смилуйся, Пресвятая Дева, замолви слово за несчастного, за того, кто отчаялся, чья душа источена скорбью. Дай мне силы... Дай мне силы! Почему они медлят? Куда волокут? На виселицу? На костер? Я и сам задохнусь. Легкие горят, губы, гортань пузырятся от жажды. Шаг, второй... Только бы не упасть.

Лошадь наконец останавливается. Обморочная темнота. Нет, я не упаду, не свалюсь от слабости. Я хочу видеть лица тех, кто убьет меня. И ее лицо хочу видеть. Пусть будет отвращение, смешанное со страхом. Пусть кривится и трогает свое помятое горло. Но все же падаю от изнеможения на колени. И снова готов взмолиться. Вот сейчас, сейчас... Я ничего не почувствую, я почти мертв. Сердце, раздутое, только что не лезет из горла, глухо бухает в ребра. Меня вздергивают и снова тащат. Но недалеко. Я смотрю вниз, вижу только плотно подогнанные, истертые колесами камни. Голова слишком тяжелая, с налитым кровью затылком. Так болтается оторванный, лишний кусок. Утыкаюсь в ступени. Мраморные, холодные. Лечь бы на них, прильнуть кровоточащим виском.

Могильный холод, должно быть, сладок. Какое неслыханное наслаждение было бы забраться в свежевырытую могилу, лечь на прохладную, пахнущую корнями землю и укрыться ею как покрывалом от сверлящих взглядов. Земля забьет уши, и я перестану наконец слышать это влажный хруст раздробленных костей, этот глухой стук подскочившего экипа-

жа. И видеть перестану... И помнить...

Кто-то грубо заставляет поднять голову. Хватает за волосы, там, где кожа, отбитая рукояткой, плавает поверх кровавой лужи. От боли снова темно, и глаза заливают пот. Солнце... Оно все-таки взошло. Я так долго ждал рассвета, был уверен, что как только солнце взойдет, оно все исправит, рыхлая муть распадется... Рассвет без солнца. Разве так бывает? Нет, вот оно, стыдливо прячется за крышами. Небо перечеркнуто кривой линией шпилей и каминных труб. Знакомое место. Я здесь, кажется, был когда-то, до своей нынешней смерти. Смотреть наверх больно. Я опускаю глаза. Прямо передо мной – она. Тяжело дышит и трогает горло. Ей все еще страшно. Она смотрит на меня, как на полураздавленного шершня, который осмелился укусить. Она боится. Я все еще опасен. Но сам я ничего не чувствую. Внутри пустота. Ибо когда лошадь остановилась, а я упал, пришло осознание. Их нет... Их никого больше нет. Они умерли. Моя жена, мой сын, мой отец. Они все остались лежать там, под грудой окровавленных перьев. А я, полуживой остаток, уже выпотрошенный, но по странному недоразумению еще сознающий, истекаю кровью. На щеках влага. Слезы? Или кровь из рассеченного виска? Если бы я мог плакать... Но я не могу. Эти слезы – мольба тела. Оно страдает. А я сам снова смотрю вверх, туда, где над темным изломом крыш, над дворцовым портиком виден край позолоченного облака. Это облако висит где-то в продуваемом просторе, беззабот-

ное, безгрешное. Вот если бы стать таким же невесомым и бестелесным... а слезы пролить дождем.

Глава 2

Пожалуй, это и решило его судьбу. Нет, это была не жалость, не корча великодушия. Скорее мстительное любопытство. И жажда. Она хотела узнать вкус этих слез. Ощутить на языке их прозрачную горечь. Если она сейчас отдаст роковой приказ, то эта жажда останется неутоленной, пребудет до конца ее дней. Не поможет даже осознанное, жаркое торжество мести. Торжество увянет, как сорванный цветок, а жажда останется. Нет, она не может его убить. Это будет неразумным, непростительным расточительством.

* * *

Вновь ее глаза, серые, под ровной линией век. Она смотрит с любопытством, в глазах уже не страх, а какой-то дознавательский интерес. Она меня изучает. И хочет подойти ближе, чтобы рассмотреть. Может быть, потрогать носком туфли, как жука, а потом раздавить. У меня легкая дурнота от жары и жажды, голоса становятся гулкими, обзаваются многократным эхом. Скорей бы все кончилось... Да что же вы! Делайте свое дело. Добейте меня!

Герцогиня наконец что-то говорит. Негромко и сипло. Рядом с ней шевелится какая-то тень, по очертаниям женщина,

ее лицо мне кажется знакомым. Тень эта проявляет беспокойство. Герцогиня повторяет приказ. – Отведите его вниз. Потом уходит. Но напоследок говорит что-то еще. – Воды... Меня вновь волокут. Мои израненные ноги цепляются, ударяются, спотыкаются о ступени, пороги, углы. Но я не чувствую боли. Я сосредоточен на том, чтобы вдохнуть, залить пылающие легкие глотком воздуха, который будто выгорел на солнце, но вместо него я глотаю расплавленную пыльную жижу. Потом внезапно становится прохладно и темно, пахнет сыростью, как я того и желал. Вот и свежерытая могила. Сейчас меня придавят гробовой доской, а сверху застучат комья. Может быть, я уже умер? В полубреду не заметил лезвия, скользнувшего по горлу, а тут во тьме только душа? Ее так неожиданно вырвали из тела, что она, обезумевшая, не замечает различий? Но сильный толчок в спину напоминает, что тело у меня все еще есть и в этом теле есть ребра и колени, на которые я падаю. Где-то наверху, за спиной, снова грохот и скрип, ржавый, металлический. Темно. Я валюсь на бок, щекой к каменной плите. Она прохладная, как те мраморные ступени. Скорчившись, замираю.

Уже недолго. Скоро все кончится. Палач исполнит свой долг. Очень тихо. Только разбухшее сердце в груди. Я прислушиваюсь, ожидаю того же скрипучего воя, когда откачивается засов. Но никого нет. Разгоряченное тело быстро остывает. Мне уже холодно. Решаюсь разлепить веки. Нет, это еще не могила. Каменный мешок. Окон нет, но откуда-то

сверху сочится свет, тусклый, многократно разбавленный. Глаза привыкают. Да, это тюрьма. Даже охалка соломы в углу. Я перебираюсь в этот теплый угол почти ползком, все больше уподобляясь насекомому с оторванным крыльями и перебитыми лапками. Это насекомое, которое прежде умело летать, озорные мальчишки, не ведающие о сострадании, упоенные своей властью над беспомощным существом, после долгих истязаний заперли в темной колбе, где этому насекомому остается ползать на брюхе вдоль скользких влажных стен, призывая смерть.

Солома чистая и сухая. Похоже, я здесь первый узник. И буду занимать это жилище недолго. Минуты тянутся, складываются в часы, может быть, в годы. Я не знаю. Здесь нет времени. Нет света. Солнца здесь не бывает.

Гремит засов. Отвратительный воющий стон железа. Сердце обрывается и катится в бездонный желоб. Как бы я ни храбрился, мне страшно. Это страх плоти. Она боится боли, боится небытия. Плоть готова протестовать, драться за жизнь, извиваться, как червь, которого перебили лопатой. Я инстинктивно прижимаюсь к стене, как будто камень, в отличие от людей, способен проявить милосердие. Смерть приходит через посредника. Его прикосновение, его бесцеремонная опытность меня страшит. Но это не палач, это тюремщик, седой, одышливый старик. Он приносит мне кувшин с водой и кусок хлеба. Ставит неподалеку от соломенного прибежища. И тут же уходит. В мою сторону ни слова,

ни взгляда. Для него я уже мертвец. Я даже не насекомое, я – тень.

После его ухода, дожидаясь, пока утихнет пришпоренное, взмыленное сердце, я смотрю на угощение. Не понимаю. Зачем? Если казнь вот-вот состоится, если вина доказана и приговор вынесен, зачем поддерживать в осужденном жизнь? И мне умирать будет легче, если впаду в беспамятство, если лишусь рассудка от голода и жажды. Жажда... Горло, как пергамент, шуршит и трескается, язык колючий и шершавый. Терпеть невозможно. Да, да, я слаб! Простите меня, отец. Моя грешная плоть, она сильнее моей тоски, сильнее моей скорби. Я хватаю кувшин и жадно пью. К хлебу не прикасаюсь, не могу. Даже мысль о еде все разрывает внутри.

Вновь ожидание. Минуты, часы. Почему они медлят? Может быть, ей кажется, что лишить меня жизни так скоро равносильно помилованию? Что один удар палача не искупит моей вины? Искупление будет длительным, ибо оскорбление, что я нанес, тяжести неизмеримой. Я оскорбил и унижил особу королевской крови. Я пытался ее убить. Я схватил ее за горло на глазах у многочисленных свидетелей, на глазах ее приближенных. Она сможет пережить свой страх, но она не простит мне унижения и того, что это унижение видели ее подданные. Видели ее сведенный рот и скрюченные пальцы. Видели ее страх. Она будет мстить. Долго, расчетливо. За каждое мгновение нахлынувшего позора, за миг

потного страха она расплатится со мной часами страданий, она удвоит и утроит проценты. Может быть, сделает мой долг неоплатным.

А если... Нет, нет, не может быть! Только не это. Я даже беспокойно ворочаюсь на соломе. Что, если ее намерение, ее каприз все еще в силе? Но это нелепо. После всего, что было, после покушения и скандала, после смерти епископа... Нет, этого не может быть. Не может быть! Я трясусь головой, отгоняя догадку. Это... это безумие!

Глава 3

Она увидела их вместе, секретаря епископа и его жену, изгнанную дочь ювелира, в день св. Иосифа. Герцогиня заметила их не сразу. В церкви было полно народу. Со всей округи, даже с правого берега, родители явились на праздничную мессу, чтобы отец Мартин помолился за их детей. Эти люди искренне верили, что несколько слов, произнесенных на латыни стариком в фиолетовой сутане, в самом деле уберегут их отпрысков от дьявольских козней, наполнят желудки едой, охранят зубы от червоточины, а кошельки утяжелят медью. Блажен, кто верует. Но слеп, кто пребывает в грезах.

Он тоже немного мечтатель, тоже верит в небесных покровителей или достаточно умен, чтобы не искушать судьбу дерзостью. Епископ его покровитель, и было бы по меньшей мере неосторожно усомниться в действительности ритуала. А его жена и вовсе свято верует в универсальность и всемогущество латинских формул. Его жена...

Наконец-то герцогиня видела ее. С тех пор как Анастаси, ее придворная дама, удостоверила наличие этой дамы среди занятых в пьесе персонажей, Клотильда не раз ловила себя на том, что пытается вообразить эту женщину. Нарисовать ее образ. Это происходило помимо ее воли, так, как это обычно бывает с неприятным воспоминанием. Его

гонишь, стираешь, разбавляешь вином, но оно проступает, как неистребимая плесень. Герцогиня ловила себя на воображаемом диспуте. Когда ее внимание отклонялось в сторону, она немедленно начинала этот странный спор, предметом которого состояла неведомая ей женщина. Она не могла вообразить ее красивой, допустить эту крамолу, и тут же возражала. Женщина, на которой он женат, не может быть дурна. Она должна быть красива. Но тогда она глупа, непременно глупа. И снова ответ. Он не мог полюбить глупышку, ибо он сам слишком умен. Он не мог быть очарован только внешностью. Умный мужчина не избирает себе в подруги глупую женщину, если выбор свершается добровольно. Глупых выбирают те, кто слаб духом или сам обделен разумом. Но Геро не принадлежит ни к тем, ни к другим. Ergo¹, его жена должна обладать множеством достоинств помимо привлекательной внешности. Ибо эти достоинства искупают отсутствие приданого. И вновь бесконечная игра с собственным самолюбием, упорно отрицающим чью-либо ценность. Она не желала признаваться в том, что обеспокоена, что сама мысль о сопернице ее пугает. Тревога, конечно, размеров смехотворных, с горчичное зернышко, но даже зернышка, закатившегося в башмак, достаточно для болезненных хлопот. Не то чтобы она боялась истинного соперничества, нет. Его жена была всего лишь дочерью торговца, неотесанной простолюдинкой, но ее существование порожд-

¹ Следовательно (лат.)

дало тревогу.

Заметив их в церкви среди расходившейся толпы, Клотильда испытала внезапное облегчение. Тревога разом исчезла. Ей стало легче дышать. Какую же силу имеет человеческое воображение! Какая власть дана ему над разумом и телом! За эти несколько дней она позволила своему воображению разыгаться. Приписала своей сопернице неведомые достоинства, грозные преимущества, колдовские чары и внешность Цирцеи². Поистине, человеческие страхи – это увеличительное стекло, что обращает крохотного муравья в многорукого гекатонхейра³.

Ее соперница была внешности самой заурядной. Очень молода, бледна, худя, к тому же беременна. Самым примечательным на ее невнятном лице были, пожалуй, глаза, очень ясные, с длинными ресницами. Цвет – подкрашенный синевой лед. Но посадка и разрез выполнены удачно. Будто в работу одаренного, но неопытного ремесленника вмешался мастер. Верокья или Санти. Все прочие обязательные атрибуты – нос, рот, подбородок – внимания не заслуживали. Все слабое, полустертое. Кожа бледная, нездоровая, с коричневыми пятнами. Это было одно из тех заурядных женских лиц, которые хороши только на заре юности, привле-

² Цирцея (Кирка) – это имя стало нарицательным для обозначения чарующе привлекательной и коварной женщины еще со времен античности.

³ Гекатонхейры (Сторукие лат. Центиманы) – в древнегреческой мифологии – сторукие и пятидесятиголовые великаны, олицетворение стихий, по Гесиоду – сыновья верховного бога Урана и Геи: Бриарей (Эгеон), Котт и Гиес.

кательны своей незамутненной свежестью и первозданным румянцем. Любой цветок, даже сорняк, незатейливо хорош на рассвете. Лепестки влажны и упруги, от них исходит аромат райского сада, еще не оскверненного грехом. Но к полудню, когда солнце их подсушит, лепестки размягчаются и блекнут. Миг их торжества краток.

Этой молодой женщине не было и двадцати, но она уже достигла своего полдня. Пройдет совсем немного времени, и кожа ее окончательно потеряет упругость, обвиснет на скулах, иссохнет. Ее рот, еще молодой и свежий, еще способный дарить поцелуи, очень скоро обратится в скорбную прорезь, исторгающую лишь стоны и плач; волосы, темно-русые, густые, заключенные под неумолимый чепец, поредеют, а ее грудь обратится в два бесформенных мешочка с заскорузлыми болезненными сосками. Дети выпьют эту грудь до дна. Беременность обезобразит тело, покроет его складками и рубцами. Эта юная женщина уже встала на путь саморазрушения. У нее уже есть ребенок, косолапая девочка, которая цеплялась за подол ее юбки. Возраст девочки перевалил за первый год жизни, она уже умела ходить, но была еще по сути младенцем. А мать уже носила второго. Живот ее был раздут, как пузырь. По сравнению с этим огромным, безобразным наростом сама женщина казалась невесомой, почти прозрачной. Ребенок в утробе разрушал ее молодость.

Клотильду охватило чувство презрительной жалости.

К тому же она была разочарована. Неужели это и есть соперница? Та самая, ради которой он пожертвовал свободой? Бледная дочь ювелира опиралась на его руку, и он бережно поддерживал ее. Клотильда заглянула ему в лицо и снова ощутила не то страх, не то досаду. Геро улыбался. Но улыбался он не ей, благородной, могущественной принцессе крови, а той самой неуклюжей, нелепо одетой жещине, стоящей с ним рядом. Он не только улыбался, он неотрывно смотрел на нее. И как смотрел! Клотильда снова почувствовала страх. Это был страх непонимания, ужас закоренелого грешника, который внезапно узрел рай. Его взгляд был полон нежности, осторожной заботы и тревоги. Это был свет, мягкий, ласкающий, дарующий успокоение и радость. Посредством этого взгляда он будто окутывал свою жену невидимым покровом, укрывал от невзгод магическим плащом своего присутствия.

Герцогиня с трудом могла бы определить то, что видела, разгадать качество и природу этого света. В постигшей ее сумятице ей удалось отделить что-то похожее на страх и зависть. А вслед за ними яростное отрицание. То, что недоступно разуму, не подпадает под определение, нарекается пугающим и враждебным. Она чувствовала потребность затемнить этот свет, развеять странное очарование и разрушить противоречивый союз. То, что она видела, не может существовать! Это соблазн, еретический вызов!

Но они существовали, эти двое, – темноволосый мужчи-

на и бледная юная женищина. «Оба невинны душой, богов почитатели оба...»⁴ Отец Мартин благословил их, от нее им достался лудор.

* * *

Тогда мне это тоже казалось безумием. Блажью. Когда Мадлен в первый раз робко высказала предположение, я ей не поверил. Это было в день Святого Иосифа, епископ в храме благословлял детей. Она тоже присутствовала, раздавала мелочь. Одна монетка досталась Марии. Когда мы вышли, Мадлен, споткнувшись, едва не упала. Я поддержал ее, а она, спрятав лицо в ладонях, долго молчала. Меж пальцев блеснула слезинка. Я не придал тому особого значения, ибо в те последние недели перед родами она часто плакала. У нее отекали ноги, ей трудно было дышать, а по ночам она почти не спала. Если удавалось заснуть, то просыпалась внезапно и с криком. Ей снилось, что воды отошли, начались схватки, а рядом никого нет. Она одна в пустом доме. Она зовет, кричит, но никто не слышит. И ей страшно. От ужаса она просыпалась. На худеньком личике испарина. Я утешал ее, как мог, уверял, что я всегда буду рядом, что ей нечего бояться... Она молча, как зверек, прижималась ко мне.

И вот снова слезы. Я не спрашивал, ждал, когда она сама

⁴ Овидий. «Метаморфозы».

найдет в себе силы и заговорит. Мы уже вернулись к себе, в свои две комнатки под самой крышей. Мария катала по полу монетку, позвякивая новой игрушкой. Когда попыталась прикусить, я привлек ее внимание куклой с соломенными волосами и забрал монетку. Целый луидор.

– Ого, да мы богаты! Сегодня будет королевский ужин! Мадлен тихо сидела в углу. Потом обратила ко мне бледное личико. И тихо сказала:

– Она смотрела на тебя. Я не понял и продолжал подбрасывать монетку на ладони, прикидывая, в каком трактире заказать ужин и что еще можно купить на оставшуюся мелочь.

– Она смотрела на тебя, – повторила Мадлен. – Кто смотрел? – беззаботно переспросил я. – Она. – Да кто она?! Я не понимаю, Мадлен. – Герцогиня. Я опять ничего не понял. Мария требовала назад игрушку, и мне пришлось вступить с ней в переговоры. В качестве откупного я вручил ей мяч из цветных лоскутков и крошечную битку.

– И что с того? Она и на тебя смотрела. Мадлен покачала головой. – Нет, она видела только тебя. Я пожал плечами. Мы, мужчины, слишком рациональны, нам нужны доказательства. В предчувствия мы не верим. А мне как раз предлагалось поверить в предчувствие, и не просто в предчувствие, а в предчувствие беременной женщины. Всем известно, что, ожидая ребенка, женщины становятся подозрительными, их одолевает тревога, им мерещатся предприимчивые соперницы, и они ревнуют, даже не находя для это-

го достаточных оснований. Именно так я себе это объяснил. Мадлен, бедняжка, так чувствительна. Беременность протекает тяжело. Она сильно подурнела, у нее появились отеки, темные пятна на лице. Она очень страдает. Даже избегает смотреть на себя.

В последнее время она часто упрекала меня, обвиняла и даже требовала признаний. Утверждала, что всё знает о моих изменах. С той модисткой из соседнего переулка или с женой лавочника с улицы Дю Ша-Ки-Пеш. Не зря же эта толстуха так охотно отпускает в кредит! А эти гризетки, горничные, молодые хозяйки. Они все в этом замешаны! И чтоб я не смел отпираться. Я и не отпирался. Только гладил ее по волосам и целовал мокрые ресницы. Через пару часов, уткнувшись в мое плечо, она каялась и просила у меня прощения. Все это было как игра. Ни она, ни я всерьез в эту игру не верили. Так было положено по роли. И Мадлен старательно ее исполняла.

Но на этот раз в ее голосе что-то изменилось. Она что-то чувствовала. Одна женщина всегда разгадает другую. Да, на меня смотрели другие женщины – и горничные, и жены лавочников, и юные монастырские воспитанницы, и даже благородные дамы, которые бывали у епископа на исповеди. Эти последние прятали свой интерес за презрительным равнодушием. Секретарь епископа! Нищий студент. Простолюдин. Но все же они смотрели, отводили взгляд и снова смотрели. Я не обращал на это внимания, знал, что дальше взглядов

это не пойдет, и потому смело убеждал Мадлен в своей супружеской неприкосновенности. А при упоминании сестры короля (сестры короля!), виновной в тех же прегрешениях, я и вовсе смеялся.

– Ты мне льстишь, Мадлен. Подумать только, сама герцогиня Ангулемская! Я могу загордиться, а гордыня – смертный грех. Неужели ты хочешь, чтобы я попал в ад? Пожалей мою бессмертную душу!

Я все еще пытался обратить ее ревность в шутку. Мария ударила по мячу, и я откатил его ей обратно. Но Мадлен не улыбалась. Глаза высохли, она все еще морщила лобик.

– Она смотрела на тебя.

Но я отмахнулся. Не верил. Уж слишком невероятным было то, что она предполагала. Все равно, что заподозрить султана Марокко в тайном почитании Христа. Или папу Урбана в совершении намаза. Страхи беременной женщины – вот что это.

Мадлен что-то почудилось в ее глазах. В ее холодных, серо-стальных с червоточиной глазах. Но это безумие.

Мадлен завела этот разговор еще раз, когда герцогиня явилась с очередным пожертвованием. Ее высочество была на удивление щедра. Отец Мартин дрожащими руками пересчитывал тяжелые мешочки. Глаза его сияли. Сколько добрых дел, угодных Господу, он сотворит благодаря этим мешочкам, скольких голодных детей накормит, скольким несчастным укажет путь... Старик не сомневался. Это сам

Промысел вмешался и заронил жемчужину милосердия в душу высокородной дамы. А Мадлен твердила свое:

– Она на тебя смотрела! Блажь беременной женщины. Господи, за что Ты наказываешь нас? За что лишаешь нас разума? Это все гордыня. Я не слышал ее. Не слышал свою жену, хотя она отчаянно взывала ко мне. Вот она, слепая и глухая самоуверенность мужчины. Женщина сотворена из ребра и дана мужчине в помощники. У нее нет разума.

Но у нее есть сердце. И это сердце мудрее и прозорливей самого пронизательного ума. Ум складывает картину из цифр, а сердце – из знаков. Ум требует доказательств, а сердце довольствуется чувством. Она чувствовала, а я выстраивал силлогизмы. Мои доводы укладывались в безупречные логические цепочки, а она твердила свое, и в глазах ее стояли слезы.

А потом мне представили доказательства. Ее высочеству понадобилось написать письмо, а я был призван в исполнители, ибо собственного секретаря у высочайшей особы под рукой не оказалось. Я был польщен. Сама герцогиня Ангулемская! И за труды вознаградит. Достопамятные пистолы серебром. Целых два. Отец Мартин посылал меня в Аласонский дворец представить полный отчет внезапной благодетельнице. Когда я принес ей счета и расписки, она меня отблагодарила. И на этот раз не поскупится. Не скупится же она на подарки сиротам! Она щедрая. Ею руководит Господь.

Она диктовала, а я прилежно выводил буквы. Делал пау-

зы, пока она размышляла. Слушал ее шаги за спиной. Она ходила по комнате, размышляла, прикидывала. Я ее не видел, только слышал. Да и зачем мне на нее смотреть? Мое дело исполнять. Она както затихла слева от меня, совсем близко. Слова не произносила. И юбки не шелестели. Я терпеливо ждал, не оборачиваясь. Как вдруг почувствовал на затылке руку. Ее руку. Она запустила в мои волосы пальцы. Потом ее рука властно, без колебаний скользнула по моему плечу и груди. Она наклонилась, и я услышал ее дыхание. И ее духи. Ее безукоризненный белокурый локон коснулся щеки. Я оцепенел. Привычный мир затаился и готов был взорваться. Мой рассудок пугливо замер. Только сердце бешено колотилось. Она вновь сгребла мои волосы, потянула назад и вновь наклонилась. Совсем близко. Горячее и влажное коснулось моего уха. Ее язык... Он скользнул с каким-то особым, сладострастным изворотом, с пугающей греховной опытностью. Мадлен ничего подобного не умела, ей бы это и в голову не пришло. Она была так застенчива, бедняжка. А кроме Мадлен, ни одна женщина так не касалась моего тела. У меня горло перехватило, а она уже шептала, ровно, без признаков смущения.

– Через три дня я вновь навещу твоего благодетеля. К вечеру у меня случится легкий обморок, и по причине дурноты мне придется остаться на ночь. В полночь я спущусь в библиотеку, и там меня будешь ждать ты. Слышишь, мой мальчик? Фортуна любит тебя.

И вновь этот изворот языком. Пауза, горячий скатившийся по шее вздох. Затем отпустила. Обошла стол и встала напротив. Смотрела на меня и улыбалась. Голову склонила набок – изучала. Я чувствовал ее взгляд. На коже. Ей было интересно, хотела знать, что изменилось и что произойдет дальше. Наслаждалась моей растерянностью.

– Продолжим? Ее голос звучал с игривым равнодушием. О чем это она? Ах да, письмо. Но я забыл, как это делается. Посыпались кляксы. Лист был безнадежно испорчен. Кажется, я просил прощения. Но она была великодушна, все мне простила и даже накрыла мою руку своей.

Я вышел из комнаты. Руки и ноги тряслись. Я прислонился к стене и попытался вдохнуть. У противоположной стены стояла придворная дама, та самая, кого герцогиня отослала прежде, чем начать диктовать. Ее скуластое лицо с темными глазами было мне знакомо. Кажется, я ее знал и даже говорил с ней, но в тот момент не мог вспомнить, где и когда. Она мрачно на меня взглянула. Затем, приблизившись, произнесла:

– Будь осторожен. Она всегда берет то, что желает.

Глава 4

Он сидел за столом. Темные волосы. Лицо усталое и очень молодое. Из-за бьющего в глаза солнца она не сразу различила детали, но отметила явление, необъяснимое прежде: на фоне привычной черно-белой прозы, плоской, давно разгаданной, он был единственным цветовым пятном, яркий рисунок на влажной штукатурке, рисунок живой и объемный. Она не могла дать тому объяснений, просто смотрела. Глаза ее постепенно привыкли. Высокий, укрытый темной прядью лоб, благородной формы скулы, твердый и нежный рот, упрямый подбородок, и еще она увидела его руки, его пальцы, изящные и сильные. Когда она вошла вслед за стариком, он держал в правой руке перо, а левая свободно лежала поверх бумаг. Рукава его поношенной куртки были закатаны почти до локтя, оставляя свободными запястья. И она невольно залюбовалась.

* * *

Я вышел на улицу. Лицо горело. И нечем было дышать. Руки по-прежнему тряслись, а ноги плохо слушались. Стыд, ужас, смятение, и в этом вихре – чувственная горечь. Да, именно так. Я чувствовал возбуждение. Стыдное, гадкое. То, что приходит с другой стороны, оттуда, где нет света, а есть

только плоть, землистая, неодушевленная. Дыхание греха. Нет, не того смехотворного, мальчишеского, когда пялишься на стройную щиколотку гризетки, а греха глубинного, изначального.

Я бросился прочь. Бежал по улицам, спотыкался, с кем-то сталкивался, слышал в свой адрес проклятия, но остановиться не мог. Пытался стряхнуть след ее рук. Этот след все еще проступал ожогом на коже затылка и на плече, где задержалась ее ладонь.

А мочка уха была отвратительно влажной. Я несколько раз провел по ней рукавом, но присутствие влажного и горячего только усиливалось. Нашел в кармане мелочь и в первой попавшейся лавке купил вина. Дешевый мозельский уксус. Но он приятно кислил, и я сделал несколько глотков.

Боже милостивый, Мадлен права... Мадлен права! Как же это возможно? Как же теперь быть?

Я оставил кувшин на прилавке и побрел домой. Принцесса крови! «Она смотрела на тебя!» Господи, как же я был слеп.

Когда это началось? Возвращаясь по цепочке событий, обретаешь его, первое воспоминание. Начало, исток. Как озарение, вспышка во тьме спасительного беспамятства. Она пожаловала в феврале, сразу после масленичных гуляний. Вероятно, под предлогом, что нуждается в исповеди.

Отец Мартин показывал ей дом, больницу и трапезную. Затем привел в библиотеку. А я все еще оставался там. Ра-

ботал всю ночь, переписывал набело прошения, которые мне заказали торговцы с улицы Сен-Дени, готовил заметки к семинару, правил перевод, который должен был сделать для Габриеля де Бризо за 20 ливров, и еще что-то. Кажется, выбрал несколько цитат из «*De libero arbitrio*»⁵ Блаженного Августина. Я не спал всю ночь и очень устал. Ныла спина, и глаза слезились. От дешевых свечей, которые быстро и бесформенно оплывали, было душно. На рассвете я даже задремал, уронив голову на руки, но проснулся от холода. Огонь в камине погас. Я нашел несколько деревянных обрезков и вновь развел огонь. Солнце уже встало. Пятна горели на полу, на кожаных переплетах, но тепла не было. Весна только набирала силу. Я подержал окоченевшие пальцы над огнем и вернулся к столу. Предстояло составить еще несколько писем. Отец Мартин обычно делал краткие заметки, о чем следовало упомянуть в послании, а текст я добавлял сам. Подумал, что надо скорей закончить и подняться к Мадлен. Она целую ночь была одна.

Затем я услышал шаги и голоса. Узнал отца Мартина. Похоже, с ним гости. Старик благодушно щебетал. Хлопочет о жертвованиях. Весь в трудах. Я выжидающе смотрел на дверь. Кто это с ним?

С ним была дама. Знатная дама. Одета роскошно. Держится прямо и в то же время с какой-то благородной небрежностью. Как держатся все они, те, кто наделен властью. Ли-

⁵ «О свободе воли»

цо красивое, узкое, бледное. Веки полуопущены. Губы чуть кривятся. Она благосклонно внимает этой старческой трескотне, но, похоже, едва ли улавливает смысл. Ей скучно.

На ней черное платье из тонкого переливчатого бархата. Мадлен как-то прижалась щекой к штучке такого бархата в лавке, когда мы бродили по торговой площади, и потом долго рассказывала, какая это теплая и нежная ткань, как она окутывает, будто облако, нежит и балует. Бедная девочка, она могла об этом только мечтать. Штопала старый шерстяной чулок и придумывала платье, какое сшила бы себе из этой волшебной ткани. А гостья была обмотана в этот бархат с головы до ног, с большими излишками, которые ложились складками у талии и на рукавах. К тому же с плеч у нее спадал такой же безразмерный плащ с оторочкой из горносталя. (Из такого плаща Мадлен соорудила бы себе три платья. Да еще пару юбочек для Марии.) По краю плаща вилась серебряная лоза, разбрасывая замысловатые округлые ветви. Точно такая же серебряная вязь сбегала по ее корсажу к талии и там, раздваиваясь, уходила вниз по широкой юбке. В этих серебряных узорах мерцали крошечные, искусно вшитые жемчуга. Точно такие же жемчуга украшали ее волосы. На плечах – облако драгоценных кружев. Только на руках ни одного перстня. Герцогиня Ангулемская. Сестра короля.

Все эти подробности – серебряное шитье, кружево, жемчуг, скучающий вид – всплыли в памяти внезапно. Тогда, в минуту ее визита, я ничего не заметил. Я слишком устал

и уже пару часов боролся со сном. Все вокруг подернулось дымкой, расплылось, а люди двигались как безликие, бесформенные силуэты. Действия я совершал машинально. Она вошла, я встал и поклонился. А вот какое все это имело значение и какой несло в себе тайный смысл, мне открылось гораздо позже. Мы всегда видим только то, что хотим видеть, или только то, что позволяют нам видеть наши страхи. Мы слепы по собственному желанию. А затем я хлебнул мозельской отравы и прозрел.

Ее скучающее лицо. Очень правильное, гладкое, неподвижное лицо власти. Она сама власть, она рождена ею, она носит эту власть на плечах, как свой безразмерный плащ. Сияние холодного, презрительного могущества исходит от нее, разливаясь вокруг, как разливается сияние праведников. Она смотрит на меня с величавым равнодушием. Еще один предмет мебели, вроде тех пыльных шкафов, что выстроились вдоль стен и набиты книгами. Из-под полуопущенных век, совершенно неподвижных, будто приклеенных к главному яблоку, скользит ее взгляд. И вдруг этот взгляд возвращается. И веки дрожат. Она смотрит на меня. Пока поднимаюсь из-за стола, пока делаю шаг, пока изгибаю спину в поклоне. Она смотрит. А затем протягивает руку. Принцесса крови протягивает мне руку! И снимает перчатку. Не будь я полумертв от усталости и слеп от рези в глазах, я бы удивился. Смутился бы, опешил, не сообразил бы, что мне с этой рукой делать. Таращился бы на нее как неотесанный

деревенщина. Но, к счастью или к несчастью, я был слегка не в себе и потому действовал без раздумий. Она протянула руку, я взял и поцеловал. Рука такой же фарфоровой белизны, как и ее лицо, с голубоватыми жилками, сухая и прохладная. Ногти розовые. Она позволила мне эту руку лицезреть и даже познать на ощупь. И я не нашел в этом ничего удивительного! Не задал себе ни единого вопроса. Следует обладать завидной долей самоуверенности, чтобы усмотреть причину этой милости в самом себе. А я этой самоуверенностью не обладал и потому счел происшедшее за случайность.

Глава 5

Итак, она определила болезнь. Желание. Впервые за много лет она желала мужчину. Желала его не как опосредованный символ игры, как трофей или орудие, а желала в самом изначальном, презируемом смысле. Она желала его как любовника. Ее влекло к нему, и влечение было пугающим по силе и насыщенности. Оно не поддавалось привычным тискам рассудка, не тускнело от приводимых доводов и не растворялось в рутине дней. Напротив, подвергаясь угнетению, оно крепло, будто питаясь своими стражами.

Возможно, ей мстила отвергаемая женская природа, которую много лет назад она объявила своим врагом. Эта природа, как покоренный завоевателями народ, терзаемый игом, в конце концов желает признания и свободы. Это зерно греха в плоти человека, его изъян и его слабость. Такая же неустребимая зависимость, как голод или жажда. Как бы смертный ни пытался возвыситься, вознестись к вершинам могущества, плоть не позволит ему чрезмерно увлечься. «Respice post te! Nominem te temento!»⁶ – шепчет раб за спиной триумфатора. Если великого властелина лишит пищи, то он умрет, невзирая на все свое величие. Как умер царь Мидас, пожелавший обрести дар обращать в золото все, к чему прикоснется. Алчность лишила его рассудка (ох уж эти

⁶ «Обернись! Помни, что ты человек!» (лат.)

страсти!), и он забыл, что та же участь превращения постигнет и кусок хлеба, как только он возьмет его в руку. Великий царь умер от голода. Зависимость от телесной прозы сводит на нет все разглагольствования и мечты о свободе.

Свобода – это призрак. Она, герцогиня, тоже мнила себя свободной, называя себя охотником, идущим по следу, но оказалась в ловушке. Что же ей теперь делать? Лекарства нет. Спасения нет. Но почему нет спасения? Ей вовсе не обязательно умирать от голода. Она может его утолить. Она столько лет запрещала себе эту слабость – увлечься, потерять голову, что давно искупила грех. Она отрицала саму жизнь, почитая ее за врага. Почему бы не обратить своего врага в союзника? Почему бы не позволить себе приключение? Безумство? Слабость? Почему бы не развлечься, в конце концов? Что она теряет? Она может затеять охоту, тайную, неспешную. Она может расставить силки и раскидать приманку, а затем предвкушать. Процесс выслеживания и охоты на зверя не менее сладостен и увлекателен, чем сам триумф. Она будет наслаждаться. Она загонит зверя до изнеможения, до дрожи в ногах, она вынудит его упасть на колени и признать свое поражение. Возможно, она даже ранит его. Или убьет. Но это будет потом. Сначала будет победа. Чистая победа.



Я знаю, меня находят привлекательным. Мадлен не раз говорила об этом. Глаза ее при этом ревниво темнели. Отец Мартин предостерегал. В университете требовали список моих побед. А я не находил это достаточно убедительным, чтобы возгордиться. Да, черты лица правильные, неплохо сложен, волосы густые, кожа чистая. Что с того? Плоть есть томление и прах, век ее недолог. Стоит ли превозносить ее зыбкие совершенства? Юность кончится, волосы поседеют, лицо обезобразят морщины, и то, что прежде ласкало взгляд, станет поводом для насмешек. К тому же кроме внешности человеку даны еще разум и дух. А что такого великого я познал, или каких таких недостижимых высот достиг мой дух, чтобы дать мне повод возгордиться? Самоуверенность не произрастает на бесплодной почве. Родителей своих я не знаю, первые воспоминания отсылают меня к бедному монастырскому приюту. Затем недолгие мытарства в приемной семье, куда меня взяли лущить горох и таскать воду. Очень скоро побег и скитания в стайке таких же безродных оборвышей. Голодные дни и ночи. Наступившая зима. И встреча с отцом Мартином по невероятной божественной случайности. Вот моя короткая жизнь. Если у кого и есть повод собой гордиться, так это у отца Мартина: из грязного, дикого, исхудавшего найденыша он воспитал для своего короля вполне

пристойного подданного. Я ему всем обязан. Он славно потрудился, мой бедный отец. Тем не менее, даже овладев латинским и греческим, я остаюсь все тем же найденышем. Я слишком ничтожен. Мной не могла увлечься принцесса крови. Пусть она и бывает в доме отца Мартина, пусть бросает в мою сторону взгляды, но у нее другие мотивы. В этом я уверен. Она добрая христианка, дала обет, совершив паломничество в Мармутье⁷. Или такова ее искупительная жертва! Ничего другого и быть не может.

Оказывается, может. Неожиданно сердце сдавила такая тоска, что из глаз едва не брызнули слезы. Мадлен, бедняжка, уже несколько часов одна, а я обещал скоро вернуться. Я бросился к дому епископа через площадь Сорбонны, перепрыгивая через канавы и выставленные поперек улиц прилавки, пугая и расталкивая мелких торговцев.

Мадлен сидела с пальцами у окна. Она брала надомную работу у знакомой золотошвейки – вышивала на платках монограммы. Получалось у нее очень неплохо, но я запрещал ей заниматься этим подолгу. Она согласно кивала, но я знал, что стоит мне оказаться за дверью, как она тут же возьмется за пальцы. Чтобы заработать несколько су. Избавить меня хотя бы от одной бессонной ночи. Я взглянул на нее с порога, и к сердцу вновь подступила тоска и какая-то мучительная нежность.

Она же еще совсем девочка. Худенькое личико, большие

⁷ Аббатство Мармутье основано в IV веке святым Мартином Турским.

глаза. Я увел ее из родительского дома, когда ей едва исполнилось семнадцать, и обрек на полуголодное существование. Она выносила нашего первого ребенка и сейчас носила второго. Роды были тяжелыми, и врач, мэтр Бонне, сказал, что повторной беременности следует избегать по меньшей мере лет пять, чтобы сохранить жизнь матери. Я готов был соблюдать предписание врача и даже отказывался от супружеских притязаний, но Мадлен по прошествии двух месяцев сказала, что слишком любит меня и не желает обречь на такие страдания. Я и тогда не сразу сдался, хотя мне это было нелегко, но Мадлен однажды прошептала, краснея и пряча лицо, что ей самой как-то не по себе без этих самых притязаний. Тут уж мне нечего было возразить. Я жалел ее и готов был на любые жертвы, но она, глупышка, не желала быть фиктивной женой. Позже мне пришло в голову, что тут не обошлось без сплетен, которых она наслушалась, отправляясь по утрам на рынок или помогая на монастырской кухне. Там шли обычные разговоры о том, что муж, отлученный от супружеского ложа по причине болезни или беременности жены, непременно найдет утешение у какой-нибудь бойкой красотки. А уж если муж такой красавчик, как у нее, то тем более без интрижки не обойдется. Смотри в оба. Вот она и смотрела, милая девочка, в полной уверенности, что все мужчины, не исключая и ее мужа, готовы на случайный грех по десять раз на дню. Иногда она меня проверяла (опять же следуя советам наставниц): ласками и поцелуями увлекала

в постель, едва лишь я переступал порог. Я должен был доказать на деле, что нигде не растрачивал себя и с легкостью готов исполнить свой супружеский долг. Я немедленно разгадал ее наивный замысел и тихонько посмеивался. Бедная моя девочка, мне бы ничего не стоило обмануть тебя, и ты бы никогда не узнала о моей измене. Но зачем? Я любил ее, а она, несмотря на детские уловки, всецело мне доверяла. Я не мог ее предать.

Я быстро пересек комнату, взял руку жены и поцеловал тонкие исколотые пальцы. В этом мое единственное спасение. Только так я могу избавиться от скверны. Ее теплые полудетские ладошки...

– Что с тобой? – спросила она. – Ты такой бледный. Я прятал лицо в ее ладонях. Не хотел, чтобы она видела меня. Все еще этот мучительный стыд. А ухом прильнул к ее животу. К ее огромному, круглому, невероятной красоты животу. Изнутри последовал мягкий укол.

– Толкается, – прошептала Мадлен. – Скоро уже. Я приложил другое ухо, и вновь с другой стороны толчок. – Да он драчун! – Нет, – мягко возразила Мадлен. – Он нетерпеливый. На свет просится.

Мы оба не сомневались, что будет мальчик. Мария, наш первенец, пребывая в утробе матери, вела себя очень пристойно, почти не досажая плохим самочувствием. А второй младенец вел себя крайне настойчиво. Мадлен жаловалась, что он играет на ней, как на полковом барабане. И вздыхала:

«Мальчишка!»

У меня за спиной послышались шорох и сопение. Мария выбралась из своего угла и направилась за своей порцией ласки. Она уже освоила искусство ходить, но иной раз для пущей убедительности вновь опускалась на четвереньки, и тогда ни одно препятствие не преграждало ей путь.

– Я не забыл о вас, мадемуазель! – сказал я и взял на руки подбиравшуюся ко мне девочку.

– Ко мне она так не просится, – ревниво заметила Мадлен. – Мне иногда кажется, что я для нее и вовсе не существую. Вспоминает, когда хочет есть.

В словах Мадлен была доля правды. Мария действительно из нас двоих явно предпочитала меня и по детской своей прямолинейности привязанности не скрывала. Стоило мне переступить порог, как она бросала все занимавшие ее предметы и следовала за мной неотступно. А если находила, что я непозволительно долго уделяю внимание ее матери, поднимала крик. В мое отсутствие она не доставляла особых хлопот, не капризничала, но все же я иногда забирал малышку с собой, если намеревался несколько часов работать в библиотеке. Девочка развлекалась тем, что комкала и разбрасывала старые бумаги, а если уставала, то дремала у меня на коленях. Иногда она как зачарованная следила за моим пером, которым я выводил загадочные для нее знаки, нисколько не скучая и не утомляясь. Мадлен в это время могла заняться хозяйством, сходить в лавку или просто передохнуть.

– А если будет девочка? – хитро осведомилась Мадлен, пока я возвращал Марию к ее занятиям.

В ответ я возвел глаза к небу. – Тогда одному Богу известно, как я один со всеми вами управлюсь! Ночью Мадлен, умиротворенная моей лаской, быстро уснула. А я не спал. В тишине беспокойные мысли вернулись, с кричащей яркостью подступили воспоминания.

Глава 6

Дьявольское присутствие в плоти человеческой дает причудливые и разнообразные метастазы. Каждый носит в себе это зерно, эту сатанинскую пряность, которую Люцифер подмешал в эдемскую глину. И освободиться от изначальной гнили под силу только истинному святому. А святой... Святые – это плод воображения голодных попов, измысливших эти сказки для пополнения церковной кружки. Кости праведников хорошо продаются.

* * *

«Через три дня...» Что же мне теперь делать? Рассказать Мадлен? Нет, невысказано. Бедная девочка не вынесет. При всей своей любви ко мне и при всем доверии, которое она ко мне питает, ей трудно будет поверить в мою мужскую незаинтересованность. Она тут же начнет сравнивать, отыскивать улики и доказательства и, распаленная подозрениями, разрешит спор не в свою пользу. Будет терзаться, страдать, изводить себя ревностью. Если бы не беременность... Это усиливает ее беспокойство. Нет, говорить с Мадлен – это самоубийство. Или убийство.

Тогда с кем же? Исповедаться отцу Мартину? У меня от него никогда не было тайн. Все, что меня тревожило, что до-

саждало или вызывало сомнения, я доверял ему в исповедальне, и святой отец разрешал мои сомнения советом или молитвой. Как он поступит на этот раз? У меня опять подкатила тоска. Бедный старик, такой удар, и от кого! От приемного сына. От любимого воспитанника. Отец Мартин все еще верит, что на герцогиню снизошла благодать и что она благочестивым рвением спасает душу. Знал бы он, что это за благодать! Я чуть не застонал. Старик будет в отчаянии. И наделает глупостей. В отличие от Мадлен, меня он обвинять не станет, а вот герцогине достанется. «...И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей...»⁸ Вавилонская блудница будет заклемена, предана анафеме и немедленно изгнана. Он обрушится на нее в обличительной проповеди. И перессорится со всей знатью. От него всего можно ожидать. Благородные господа отвернутся. И пожертвования прекратятся. К тому же герцогиня вряд ли последует заповеди Христа и подставит вторую щеку. Она будет мстить. Я вновь вспомнил ее холодное, высокомерное лицо и то могущество, которое она излучала. Она не привыкла, чтобы на ее просьбу, каприз или желание отвечали отказом. Она привыкла брать, и она не остановится до тех пор, пока те, кто оскорбил ее, не понесут наказание. Она будет мстить. Да пусть бы только мне. Но есть еще Мадлен, Мария и малыш, который должен вот-вот родиться. Что

⁸ Откровение Иоанна Боослова 17:4.

будет с ними?

Господи, что же делать? Помоги мне, подскажи. Я терзался этими вопросами все последующие сутки. Уже почти решился пойти к отцу Мартину, но передумал на половине пути. Мадлен вновь спрашивала, не болен ли я, ибо при всех моих лицемерных потугах мне не удавалось до конца скрывать свои мысли. Иногда я утешал себя предположением, что герцогиня и вовсе не приедет, что она передумает, что она найдет себе другого, более достойного, что она опомнится, что секретарь епископа не покажется такой уж желанной добычей, что она заболит, упадет с лошади, отправится в изгнание. Но подобные уговоры действовали недолго. Вновь подступали тоска и странный, подспудный ужас.

На третьи сутки мысли несколько изменили направление. Я ослабел и уже не в силах был искать выход. Дьявол не замедлил этим воспользоваться. А почему, собственно, ты так ее боишься? Герцогиня красивая женщина. Очень красивая. Нежная кожа (вспомни ее руку!), тонкий стан, высокая грудь. К тому же она богата. Что ты теряешь? Ты же не юная девица, которой угрожает бесчестье. Ты мужчина и в силах исполнить все ее прихоти. А если ты ей понравишься, она тебя вознаградит. Отсыплет монет. Тебе ведь нужны деньги? Нужны? Конечно, нужны. Пожалей свою жену. Она горбится у окна с этой вышивкой, у нее исколоты пальцы, слезятся глаза. Ты сам чаще проводишь ночи не на супружеском ложе, а за письменным столом. Пишешь трактаты за

гроши для состоятельных недорослей, сочиняешь прошения для торговцев. Тратишь юность, бесценный краткосрочный дар, на душные университетские кельи, на изучение человеческих кишок, на бычьи пузыри. Ты превращаешься в старика. Пока ты молод, полон сил, тебя хватит на десяток таких герцогинь, ибо плоть твоя желает гораздо большего, чем может дать Мадлен. За что же ты наказываешь себя? За что обделяешь? За что приговорил себя к неутолимому голоду, который неизменно терзает мужчину, если он противодействует природе? Ты боишься изменить? Нарушить клятву? Это и не измена вовсе. Ты делаешь это не по собственной воле, а всего лишь подчиняясь приказу. Она особа королевской крови. И ты обязан ей подчиняться. Это твой долг как верноподданного. Чего же ты боишься?

Дьявольский голос не умолкал. То скатывался до шепота, то угрожал. Мне виделись вытянутые в трубочку, извергающие слова губы, я почти чувствовал их прикосновение, такое же жаркое и бесцеремонное, как то, первое. Дьявол, как опытный торговец, разворачивал передо мной гирлянду из сияющих соблазнов. Искушение подступает. Ты боишься обратить свое тело в товар, но разве ты сам уже не товар? Ты продал свой ум, свое время, свою молодость. Но продал все это за гроши. Не выгодней ли продавать за золото тело? Тем более что плоть наименее ценное составляющее. Тебе это представляется грехом, но если ты отвергнешь герцогиню, вызовешь ее гнев, то совершишь еще больший грех – под-

вергнешь опасности тех, кого любишь. Ты отплатишь черной неблагодарностью епископу, который вырастил тебя, ты обречешь на голодную смерть Мадлен, которая ради тебя покинула отчий дом, ты осиротишь свою дочь, которая обречена будет на монастырский приют. Ты погубишь их всех! Вот чего ты добьешься, если пожелаешь играть в добродетель. Ты станешь преступником. К концу третьих суток я был в полном изнеможении и желал только одного – поскорей бы все кончилось.

Мадлен уснула, прижавшись ко мне. Через час или два она с криком проснется и будет меня искать. Но не найдет. Я сделал бы все что угодно, чтобы защитить ее, избавить от этих кошмаров, хранил бы ее сон, как благоговеющий аргус. Но должен уйти. Она всего лишь маленькая простолюдинка, а ее тоска и страх ничего не значат по сравнению с прихотью знатной дамы.

Глава 7

В день св. Августина, сразу после Пасхи, когда парижане все еще затевали шутовские процессии с пальмовыми ветвями и разыгрывали тайную вечерю с пирогами и обильным возлиянием, в доме епископа Бовэзского состоялся съезд небольшого почтенного благотворительного общества. В состав этого общества входили дамы-попечители приюта кающейся Марии Магдалины, которые своими трудами спасли немало погибших души, возвратили к свету отчаявшихся и падших. Так, во всяком случае, они полагали. Ее высочество герцогиня Ангулемская некоторое время назад изъявила желание войти в число почтенных попечителей и внесла значительную сумму в скудную казну. Ее благочестивый порыв был принят с благоговейным восторгом. Весть о том, что она имеет намерение почтить своим присутствием благородное собрание радетелей невинности внесло в их ряды радостное возбуждение. Никогда еще столь знатная гостья не разделяла их скромную трапезу. Отец Мартин был также весьма горд, что знатная прихожанка преломит хлеб за его столом.

Клотильда прибыла в особняк епископа к восьми часам вечера. Она помнила, что назначила свидание на двенадцать. Она и тревожилась, и предвкушала. Ей предстояло пережить скучнейший ужин в компании матрон, сре-

ди которых была престарелая мадам де Бельгард, знавшая Генриха Четвертого еще королем Наваррским, и желчная графиня де Булонь, чьи нравственные воззрения строго соответствовали заветам апостола Павла. Истинный брак, по ее скромному разумению, должен был совершаться по взаимной неприязни, чтобы всю последующую супружескую жизнь преодолевать эту неприязнь, сглатывать рвотный позыв и таким почтенным образом спасти свою душу. А брак по взаимной склонности приравнивался ею к прелюбодеянию. Удовольствие от ласк мужчины означало гибель души, а желание этих ласк – одержимость демоном. Во время ужина Клотильда поспешила согласиться с очередной сентенцией старой дамы и даже процитировала пару строк из послания апостола к коринфянам: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом...»⁹

Речь за ужином шла о девочках-сиротах, плодах незаконной любви, а также о девушках, согрешивших по бедности и неведению. Всех этих девиц принимали в приюте Кающейся Магдалины и наставляли на путь истинный. Наряды и украшения были строжайше запрещены, дабы не вводить в соблазн. Воспитанницы носили бесформенные полумонашеские робы, волосы скрывали под безразмерными чепцами и целый день занимались рукоделием: подрубали простыни и скатерти, покрывали незатейливой вышивкой нижние юбки

⁹ Первое послание к коринфянам 7:34

богатых и благочестивых горожанок. Одна из сестер-надсмотрщиц читала заунывным голосом откровения Иоанна Богослова, житие Екатерины Сиенской или устав Франсуазы Бретонской.

Слушая неторопливый разговор престарелых кумушек, Клотильда испытывала странное удовлетворение. Знали бы они, эти поборницы нравственности, в чем истинный мотив ее благочестия! Хотелось бы ей видеть их желтые иссохшие лица, когда она обронит вольное замечание о сладости отвергаемого ими греха, о теплой бархатистой коже, о шелковистых прядях, скользнувших сквозь пальцы, о длинных ресницах, о губах, сухих от волнения, нежных и покорных, губах, которых она через пару часов коснется. Как же она презирала этих святош, этих лицемеров, играющих в добродетель. Их души черны как сажа, а грехи так тяжелы, что немедленно потянут их вниз, в адскую бездну.

Час приближался. Клотильда уже сыграла приступ недомогания, и отец Мартин был счастлив предоставить в ее распоряжение парадный епископский альков, где стены с потрескавшейся штукатуркой были обиты бархатом, а пол устлан ковром. Сам епископ никогда не ночевал там, предпочитая узкую полупустую келью рядом с кабинетом. Этот парадный покой время от времени становился пристанищем знатных пилигримов. Там останавливался посланник папы Урбана и провел пару ночей сам Венсан де Поль перед поездкой во владения семейства Гонди. Теперь

настала очередь королевской дочери провести ночь в этой святой обители и мистически причаститься. Прочие благородные дамы уже покинули дом, после того как приняли благословение и приложились к епископскому перстню.

Сопровождала герцогиню вторая придворная дама, Дельфина. Эта последняя не беспокоила госпожу дерзкими вопросами. Ее не терзали сомнения и не мучила совесть. Ибо происходила она из той породы людей, которые свято верят в непогрешимость своих господ и в установленный ими миропорядок, где сильный попирает слабого, а слабый, в свою очередь, ищет выгод от служения поправшей его силе.

Дельфина знала, что ее хозяйка затевает любовное приключение. Сама она была не охотница до подобных забав, но рьяно способствовала хозяйским причудам, как будто посредством сводничества становилась подлинной участницей. Из-за своей внешности, вялой и тусклой, будто природа пожалела для нее красок, Дельфина была невидима для мужчин. Если к ней и проявляли интерес, то из откровенной корысти, ибо ее близость к принцессе крови искупала отсутствие женственности. Брови и ресницы у нее были редкие, волосы жидкие, и молодость ее будто подернулась ранней патиной с белыми разводами. Во многом Дельфина была полной противоположностью Анастасии, но в одном они неизменно сходились: обе ненавидели мужчин, одна – за пренебрежение, а вторая – за излишнее внимание.

Клотильду слегка позабавило, с каким старанием ее при-

дворная дама расчесывала ей волосы и помогала переодеться. Верная служанка снаряжает самоотверженную Юдифь на свидание с Олоферном. Еще бы меч наточила. Но Клотильда не возьмет с собой меч. Сегодня он ей не нужен. Она не собирается рубить голову будущего любовника или вырывать его сердце. Она будет наслаждаться.

Герцогиня вышла из парадных покоев и направилась к лестнице, ведущей в библиотеку. Этот путь с потайным фонарем в руках уже не один раз проделала Дельфина, убедившись, что в коридоре и на лестнице их никто не встретит. Теперь она шла впереди, настороженно прислушиваясь. Герцогиня беззаботно ступала следом. Давно она не чувствовала себя так хорошо. По коже будто искорки пробежали, а тело стало легким, упругим и будто светящимся изнутри. Если бы много лет назад, подобно дочери привратника или юной цветочнице с улицы Лагарп, она пережила первую, трепетную влюбленность, она бы сразу узнала эти искорки и эту легкость. Она бы услышала шелест многочисленных крыльев, прозрачных и сияющих. Но в ее жизни не было предрассветных волнений юности, она не засыпала на влажных от слез подушках, не прислушивалась с колотящимся сердцем к шагам за дверью, не изнывала в неизвестности и не ждала известий. Для нее юность обернулась тяжеловесным расчетом, который стер в пыль ее детские грезы. Из короткого душевного детства она сразу перекатилась в рассудочную зрелость, оставив в забвении

страну надежд. Ее женственности не суждено было расцвести, ее сразу залили воском и поместили под стеклянный колпак. И вот она по прошествии стольких лет что-то чувствовала, что-то неведомое, то, что не поддавалось рассудку. Это было тоньше, деликатней, чем встревоженная чувственность, неуловимей и приятней, чем нетерпение. Это был трепет жизни, ее зов, ее движение. Ей нравилось это ощущение. Она чувствовала себя внезапно помолодевшей, повернувшей время вспять. Она давно забыла, какой была в юности, в свои 15 лет. Вычеркнула все промахи и ошибки, заблуждения и надежды, все для того, чтобы стать неуязвимой. Но в усердии своем лишила себя всякой радости бытия. Цветы утратили свой аромат, а еда – горечь и сладость.

Дельфина остановилась у самых дверей скриптория и возпросительно взглянула на хозяйку. Фонарь в ее руке чуть покачивался, будто высказывал затаенную нерешительность. Герцогиня перехватила стальную цепь и вдела пальцы в кольцо. Фонарь оттягивал руку. Обрывок пламени трепетал.

– Оставайтесь здесь, – произнесла герцогиня. Мгновение она колебалась. А если он не придет? Эта мысль впервые посетила ее. Прежде она не сомневалась, не возникало даже тени. Она слишком верила в собственное могущество и в тщеславие мужчины. Мужчина по природе своей слишком слаб, похотлив и корыстен.

Она толкнула дверь и огляделась. Конечно же он здесь. Как она могла сомневаться? Вот он, прячется в тени. Возможно, он здесь уже давно, от нетерпения перепутал время, боялся опоздать и вызвать немилость. Герцогиня приблизилась к огромному столу. За этим столом она увидела его впервые, немного встрепанного, с покрасневшими после бессонной ночи глазами. Стол был почти пуст. Аккуратная стопка бумаг и связка перьев. Клотильда водрузила фонарь почти в середину. Оранжевый лепесток, почуввав одобрение, подрос в своей колбе, и круг света стал расползаться. Геро оставался за пределами этого круга, свет поглощался тьмой у самых его ног. Но все же она успела заметить, как за темной прядью блеснули отразившие пламя глаза и тут же погасли. Он стал похож на зверя, которого факельная облава загнала в чащу. Он не пытался приблизиться. Ждал знака. Герцогиня мысленно одобрила его нерешительность. Действует правильно. Знает свое место. Она его выбрала, и за ней остается последнее слово.

Убедившись, что он без ее знака не двинется с места, Клотильда поманила его в освещенный круг. Сейчас станет ясно, что он на самом деле чувствует. И достаточно ли опытен в такого рода интригах. Если стремительно бросится к ее ногам, упадет на колени и будет что-то бессвязно шептать, глядя на нее влажно и проникновенно, это будет означать, что опыт у него есть. Кто-то из благородных дам, таких же знатных благотворительниц, как и она

сама, уже дал ему предварительный урок, уже научил тонкостям куртуазного обращения. А если он будет неуклюж и дерзок, попытается сразу схватить ее, то это означает, что она, герцогиня, в нем ошиблась и что он не загадочный юный книжник с ясным и мудрым взглядом, а самоуверенный простолюдин. Но Геро не сделал ни того, ни другого. Он вошел в круг света, будто преодолевая некую преграду, протискиваясь сквозь вязкую и прозрачную стену, переходя из одной ипостаси мира в другую, испытывая при этом определенную неловкость. И снова был далеко, снова застыл в ожидании. Теперь она могла его разглядеть. Ей кажется, или он с их последней встречи немного осунулся? Или это так падает свет? Возможно, за эти три дня он мало спал, работал здесь, за этим столом или принимал участие в школярской пирушке. Но черты лица у него заострились. И взгляд тревожный. Он старается держаться уверенно, прямо, но заметно взволнован. Волнение исходит от него, будто сияние. Герцогиня подавила улыбку. Натянут как струна. Это хорошо. Это означает, что он не настолько избалован женским вниманием, чтобы мнить себя неотразимым. И никакой знатной наставницы у него нет. Она будет первой.

Герцогиня повторила свой манящий жест. И он, поколебавшись, сделал шаг. Теперь он совсем близко. На расстоянии вытянутой руки. Вновь бросил взгляд сквозь спутанную прядь и сразу опустил глаза. Дыхания почти не слыши-

но. Это волнение передалось ей теми же горящими искорками, которые вновь запрыгали по коже. Воздух сгустился и наполнился не то восторгом, не то ужасом. Он вновь осмелился взглянуть на нее с каким-то приглушенным вызовом. Горло судорожно дернулось. Она видела, как двигается горловой хрящ под тонкой, нежной кожей, и не смогла вынести искушения. С той минуты, как она переложила свое намерение в слова и назначила время, она испытывала зудящую необходимость прикоснуться к нему, повторить краткий и заманчивый опыт. Она как будто подцепила эфирную болезнь, когда сгребла и спутала его волосы. Ее кожа на ладонях оказалась зараженной и требовала облегчения от зуда. Так пьяница жаждет вина, чревоугодник – изысканных блюд, а заядлый дуэлянт – победы. Блаженство, изведенное однажды, становится навязчивой приманкой, единственной оправданной целью.

Она ждала этой полуночи, чтобы дать своим ладоням исцеление. Она помнила шелковистую легкость его волос и начала с того, что откинула темную прядь, которая скрывала лоб и размывала строгую, с изломом, линию бровей. Огненный пленник в пузатой колбе давал достаточно света, чтобы она убедилась в правоте своих изысканий и возжеланий. Она видела его лицо совсем близко, открытым, в игре теней, которые не скрывали очертаний, а скорее высвечивали. У него прекрасный высокий лоб, а взгляд проникновенный, ищущий. Он, бесспорно, очень умен, обладает талан-

тами, которые еще не раскрыты и дремлют, как бутоны в цветочной завязи. У него ясные, почти всеведающие глаза. Такие глаза бывают у поэтов, проклятых или отмеченных великой милостью свыше, способных узреть небеса и самую адову бездну. Он еще слишком молод, чтобы понимать это, ибо прожил на свете совсем недолго и больше думал о хлебе насущном, чем о врожденном даре. Но она, принцесса крови, поможет ему. Она послана ему самой судьбой, чтобы увести его в сияющую даль из этой обители лохмотьев и медных денег.

Клотильда медленно провела рукой по его лицу, чувствуя, как взметнувшиеся и тут же опавшие ресницы щекоцуют ладонь. Эта едва уловимая щекотка покатила по ее руке и мгновенно размножилась, усилилась во всем теле. Краешком сознания она отметила, какой чарующий контраст создаст ее белая рука и черная шелковистая прядь, вновь скатившаяся ему на лоб. Две крайности, две несовместимые антитезы, которые враждуют и стремятся к единству. Его кожа кажется смуглее и насыщенной в свете крошечного фонаря. В этом золотистом, матовом блеске столько тепла, столько бархатистой нежности.

Подушечкой большого пальца герцогиня провела по его нижней губе, чуть дрогнувшей. От волнения губы сухие. Они подобны цветку, который выставили на солнечный подоконник и забыли полить. И зубы он сжимает так сильно, что под кожей щеки происходит движение. Почему же

он так взволнован? До сих пор не попытался к ней прикоснуться. Слышно только короткое, уже учащенное дыхание. Неужели его смущает титул? Или он так неопытен, что боится совершить промах? Скорее всего, второе. Ему еще не доводилось иметь дело с такой высокородной дамой, и он не хочет обнаружить свое невежество. Бедный мальчик, как же он трогательно мил в своей детской робости. Чтобы его ободрить, она касалась его уже обеими руками, повторяя левой рукой путь правой. Отбросить прядь с виска, провести ладонью по гладкой, отвердевшей скуле, обвести контур губ. Под подбородком судорожно бьется жилка, кровь ударяет ей в пальцы с паническим упорством. Так же порывисто нервически, будто в раскаленной докрасна клетке, прыгает его сердце.

Герцогиня, уже не сдерживаясь, улыбалась. Опустив руки ему на плечи, она подалась вперед, чтобы щекой прижаться к его волосам, а губами – к уху.

– Не надо бояться. Я сестра короля, но я и женщина. Я всего лишь женщина. И я хочу тебя. Тебе только нужно меня слушаться, идти за моим желанием, и все будет хорошо. Если будешь нежным и ласковым, я тебя вознагражу.

Он не ответил. Только по горлу вновь прокатился ком. И дыхание чуть сбилось. Но герцогиня и не ждала ответа. Ей не нужны его признания и клятвы. Ей нужна его жизнь, его присутствие.

Она ощущала почти лихорадочный жар его тела и зна-

ла, что это тело полностью в ее власти. Но спешить некуда, целая ночь впереди. Истинное блаженство содержится в этом замедленном танце, в игре ощущений. Подлинный знаток пьет вино маленькими глотками, а не осушает залпом.

Она изучала свою прекрасную добычу размеренно, со вкусом. Она хотела пережить те мимолетные ощущения и те неясные токи, что возникали в ее пальцах, когда она впервые коснулась его. На нем не было куртки, только сорочка из потертого, но безусловно чистого, кое-где аккуратно заштопанного полотна, грубого и, как ей показалось, враждебного. Вероятно, он пришел сюда прямо с супружеского ложа, и поэтому полуодет. Подозрение кольнуло ревностью, но и обострило чувства, как римский кориандр обостряет вкус. Эту сорочку штопала его жена, эта бесцветная, изможденная особа с огромным животом. Какая, собственно, разница, если кожа под этим грубым полотном, будто пылающий шелк. Она уже не препятствовала своей потребности познавать его и наслаждаться. Бесцеремонно задрав эту сорочку, она провела ладонями от его ключиц до живота, провела медленно, исследуя каждую неровность, вновь дивясь этой кипящей под кожей молодости, незамутненной излишествами и пороком. Она изучала и исследовала. Удовлетворенно ловила пробегающую дрожь. Его дыхание становилось глубже и тяжелее. Он каким-то упрямым и угрожающим манером склонил голову, напоминая молодого быка, который готов ударить обидчика.

– Сними рубашку, – чуть задыхаясь, потребовала она. Ей самой уже не хватало дыхания. Она слышала свою кровь, гудящую, вернувшую прежний багрово-алый оттенок, бывший у нее при рождении, но утраченный со времени наступления чувственной смерти. Ее кровь вновь стала густой и горячей. Она испытывала желание, но это было другое желание, многомерное и многослойное. То, что ей удавалось испытывать прежде, было всего лишь тусклым костерком. То, что она испытывала сейчас, можно было сравнить с пожаром. В нем погибал разум, искрились и плавились мысли, а чувства расширялись и готовы были взорваться, будто петарды, и вспыхнул этот пожар одновременно в нескольких местах – на затвердевших сосках, в животе, меж повлажневших лопаток – и оттуда стал расползаться по всему телу. Вот она, та самая сладострастная мука. Герцогиня в нее не верила, полагала за выдумку поэтов и обольстителей, которые сулят своим жертвам утоление сладкой муки. Но эта мука существовала. Он подчинился ее приказу и потянул рубашку через голову. Она сама в нетерпении дернула за рукав и отбросила ткань в сторону. На миг его тело показалось ей ослепительным, как открывшаяся во тьме драгоценность. Теперь она могла погрузиться в свои ощущения, уподобиться хищнику, нагнавшему свою жертву и вонзившему в нее свои зубы.

Его губы горячие, но все еще сухие. Она сделала над собой усилие, чтобы замедлиться, затянуть миг слияния, из-

ведать их почти мальчишескую неловкость. Его губы чуть приоткрылись, но он не отвечал так, как ей бы хотелось, возможно, из той же неловкости. Но ей было все равно. Ее рука скользнула вниз по его обнаженной спине. Чуть согнув ногу, она протиснула свое колено между его ног и стала медленно водить по внутренней стороне его бедра, чтобы усилить возбуждение и вывести его из этой одеревенелой нерешительности.

Он желал ее точно так же, как и она его, но почему-то все еще медлил. А должен был уже действовать, стиснуть ее, опрокинуть, покрыть жадными поцелуями. Впрочем, она приказала ему быть послушным и следовать за ее желанием. Она вновь страстно провела руками по его телу. Ей попался под ладонь шнурок его пояса. А ее колено терлось о грубый шов на плотном сукне.

– Сними это тоже, – чуть слышно проговорила она, проталкивая свои пальцы между тканью и натянувшейся повлажневшей кожей на животе.

Опираясь на стол, притянула его ближе. Ему уже ничего не оставалось, как обхватить ее и, легко приподняв, посадить на край того самого громоздкого стола, где он провел столько ученых изысканий. Ее длинная белая стройная нога, вынырнув из шелковых складок, обратилась в огромный крюк, зацепив свою добычу. Полузакрыв глаза, она уже падала, падала в бездну, не замечая ни холодной, болью упершийся в спину столешницы, ни странного скрипучего звука,

донесшегося откуда-то издалека. Где-то в глубине сводчатого скриптория открыли дверь. Но она не успела предположить, что это за дверь. И кто ее открыл. Потому что в следующий ужасный миг она как будто выскочила из собственного тела, а мир обратился в крик.

Глава 8

Она в сорочке стояла у двери, в которую вошел я. Это была низенькая створка, выходящая на черную лестницу. Герцогиня пришла с противоположной стороны, через дверь, которая вела к покоям отца Мартина. Эту дверь она заперла, а вот ту, вторую, не заметила, а я был слишком взволнован, чтобы подумать об этом. И Мадлен проделала тот же путь, что и я. Она время от времени спускалась ко мне среди ночи, приносила что-нибудь перекусить. Потом она тихонько сидела рядом со мной и смотрела, как я работаю. Она ничего не смыслила ни в устройстве человеческого тела, ни в атомистической теории Демокрита, но ей нравилось сознавать свою косвенную причастность ко всем этим тайнам. Ибо сказано, что муж и жена – плоть единая, следовательно, в моих трудах содержится и ее доля. Мне не так часто удавалось бывать с ней, вот она и восполняла своим бдением эти пробелы. Старалась мне не мешать. Брала с собой неизменную вышивку или штопала детские вещи, которые Мария успела порвать. Если рука отказывалась держать перо, я откладывал его в сторону. Тогда она забиралась ко мне на колени, и мы отдыхали, каждый от своей работы. Не произносили ни слова, только остро ощущали близость друг друга. Мы были вместе. А вместе мы ничего не боялись.

Вероятно, она, как обычно, решила спуститься ко мне. За-

хватила хлеба и сыра. Накинула на плечи шаль. Тяжело ступая, добралась на ощупь до двери. В окна светила луна, и фонарь ей не понадобился.

Она кричала так пронзительно, как будто боль уже продиралась сквозь ее кости и жилы. Отшатнулась и бросилась бежать. Я кинулся за ней. Только бы она не упала! Только бы благополучно добралась до верхней площадки. Но я опоздал. Она споткнулась. Она задыхалась от рыданий, и слезы застилали ей глаза. Она не различала ступенек, ничего не видела перед собой. Потеряв равновесие, рухнула головой вперед, на живот. Я пытался ей помочь. Она отшатнулась, как безумная. А когда невзначай коснулась моего голого плеча, то зашлась криком. Ибо сорочка моя осталась в библиотеке, на полу, у проклятого стола. Мне все же удалось взять ее на руки и отнести наверх. Уже на лестнице я почувствовал, что ее длинная полотняная рубашка намокла, а Мадлен, както вытянувшись, болезненно застонала. У нее отошли воды. А это первые схватки. Я положил ее поверх одеяла и увидел на своих руках кровь...

То, что произошло дальше, будет ночь за ночью возвращаться ко мне неизбывным кошмаром. Моя жена истекала кровью, и остановить эту кровь не было никакой возможности. На шум прибежала экономка, мадам Шарли, а с ней и мэтр Бонне. Послали за акушеркой. Мелькали свечи, звенела посуда, раздавались голоса. Прибежал и святой отец. Но я почти ничего не слышал. Я сжимал руку Мадлен и не сводил

глаз с бледного, залитого потом и слезами лица. Откуда-то из угла испуганно закричала Мария. Женский голос что-то успокаивающе шептал. Девочка хныкала. Кто-то бросил мне сорочку с назидательным советом одеться. Кажется, мадам Шарли... Потом меня попытались выдворить из комнаты, но я уперся. Я же изучал медицину, я могу помочь своей жене. Я хочу быть с ней рядом! Я не оставлю ее. Жар, чад, суматоха. Мадлен кричит. Кричит страшно, пронзительно, иногда хрипит и даже воет. Мэтр Бонне говорит, что положение ребенка неправильное, что придется, вероятно, наложить щипцы... Между схватками Мадлен смотрит на меня. В ее глазах упрек. Зрачки расширены. Прядки на лбу и на висках намокли. Я не пытаюсь оправдаться, только отчаянно трясую головой. Нет, Мадлен, нет! Это не так!.. Как ей это объяснить? Как вымолить прощение? Но тут она стискивает зубы, закидывает голову, пытается сдержаться, но из груди вырывается стон... Мэтр Бонне требует горячей воды. Я бегу вниз. Сделать для нее хотя бы это. Больше я ничем не могу ей помочь.

Нет на свете наказания страшней, нет пытки мучительней, чем страдания того, кого любишь. Сам готов принять эту муку, но тебе дано лишь изнывать от бессилия. Любимое существо истекает кровью, а ты только сжимаешь кулаки и кусаешь губы. Мэтр Бонне дал ей настойку из маковых зерен, и она впала в забытие. Кровотечение не прекратилось. Бонне торопит с наложением щипцов, чтобы извлечь ребенка. В то, что он жив, никто уже не верит. А мне уже все равно.

Этот ребенок убивал ее, разрывал изнутри. Я почти ненави-
дел его. Господи, прости мне это отчаяние, прости это безу-
мие!

Когда извлекли щипцы, в их пасти была голова моего сы-
на. Он был мертв. Крошечное тельце посинело. Мадлен за-
тихла и даже не стонала. Бонне кричит, что нужен лед. Я
снова бегу вниз, рискуя свернуть себе шею, чтобы прине-
сти из подвала скользкий, прозрачный брусок. Один кожа-
ный бурдюк со льдом у Мадлен на животе, два других по бо-
кам. Акушерка не успевает менять простыни и полотенца.
Все в крови. Лицо Мадлен блее снега. Я осторожно обтер ее
лоб. Внезапно кровотечение прекратилось. Акушерка шум-
но возблагодарила Бога. Бонне был мрачен. Вдруг Мадлен
открыла глаза. Ясные, без тени страдания или страха. Оки-
нула взглядом всех, потом увидела меня.

– Я здесь, девочка моя, здесь, с тобой. Я всегда буду с то-
бой. Она протянула дрожащую руку к моему лицу, поглади-
ла по щеке.

– Я... тебя... Я тебя... ненавижу, – чуть слышно шепчет
она. – Будь ты проклят...

Это были ее последние слова. Она вздохнула и затихла. Я
ждал, что она снова вздохнет, что грудь ее поднимется, губы
дрогнут, она откроет глаза и что-нибудь скажет, пусть даже
проклянет опять. Но Мадлен лежала тихо, будто затаилась. Я
позвал ее. Сначала негромко, боялся потревожить. А вдруг
она задремала? Она же так измучилась, бедняжка. И нежи-

данно заснула. Так бывает. Неожиданно проваливаешься в небытие, а потом возвращаешься, и сил хватает на то, чтобы все начать сначала. Спасительная передышка. Она не ответила на призыв. Тогда я позвал ее еще раз и даже потряс за плечо. Она опять не ответила. Голова мотнулась на подушке. Страшная догадка холодом ползла по спине, нависала тенью. Я знал ответ, но отвергал его. Я не желал оборачиваться к тому темному, страшному, что стояло за спиной. Мне казалось, что если я не взгляну в ту сторону, если сделаю вид, что не вижу, то тень рассеется. Надо только убедить Мадлен прекратить эту игру, остановить эту грустную шутку.

– Мадлен!.. Я уже кричал и немилосердно встряхивал ее, требуя повиновения и ответа. Она моя жена! А долг жены повиноваться мужу. Почему же она молчит? Кто-то коснулся моего плеча. Епископ.

– Не надо, сынок. Она не слышит. Я дернулся, скидывая руку. – Это неправильно, неправильно. Господь этого не допустит! Я не верю! Она здесь. Она просто устала. Я разбужу ее.

И снова звал ее. Но она не слышала меня. Уже не слышала. Мадлен была далеко. Она уже брела где-то по лунной дороге, босая, неуязвимая, и несла на руках нашего сына. Малыш так же безмятежно дремал на ее груди, как прежде дремал в ее чреве. Он не успел испугаться.

Акушерка положила тельце ребенка рядом с матерью. Я смотрел на них в немом отрицании. Их больше не было.

Только две безжизненные скорлупки. Мадлен напоминала восковую фигурку. Обескровленная, пустая. На личике страдальческий упрек. За что?.. Рука ее остывала. Она уходила от меня. Глаза мутнели, подергивались дымкой.

Если бы отец Мартин задержался тогда чуть дольше... Если бы он поговорил со мной... Он бы нашел нужные слова, не позволил бы мне соскользнуть в пропасть и утратить разум. Он всегда умел находить самые невероятные оправдания для Промысла Божия, объясняя страдания и болезни неведомым планом, во имя которого мы все обречены на скитания и муки в этой юдоли слез. Он разделил бы мою скорбь, взвалил бы ношу на свою худую, согбенную спину. Он шел бы со мной по той же дороге, что устлана слезами и покаянным стенанием. Обдирал бы кожу терниями, разбивал бы ступни о камни, глотал бы горькую пыль... Но отец Мартин вынужден был уйти: он спешил навстречу гостье. Знатная дама пребывала в дурном расположении духа.

Я услышал грохот колес. И все вспомнил. Ее белое равнодушное лицо. Капризный, высокомерный рот. Жадные руки. Это она убила Мадлен! Это она убила моего сына!

Глава 9

Все последующие дни она в поте лица своего возделывала землю, возвращая тернии и волчцы: вдохновенно и безупречно играла в покаяние. Приняла епитимью из рук епископа Парижского. Совершила паломничество в аббатство Руамон, исповедалась и пожертвовала тысячу лудоров на нужды братства лазаристов, нанесла визит папскому легату, прошла босыми ногами по плитам храма Святой Женевиевы и выстояла на коленях многочасовой «Requiem aeternam dona eis, Domine»¹⁰, сопровождая каждый свой шаг звоном серебра и меди, окруженная свитой недужных, золотушных, воющих, стенающих и непомерно жадных. Казначей некоторое время спустя представил ей подробный отчет всех произведенных ею пожертвований, отчего герцогиня болезненно поморщилась. Ряд цифр, аккуратно выведенных, разделенных на столбцы, обоснованных, вызывал у нее странную презрительную усмешку. Будто в итоговой сумме заключалась стоимость ее собственной души. За эти деньги колеса ее кареты тщательно отмыли и заново покрыли лаком. Она почти не вспоминала о нем, виновнике всех этих вынужденных мистерий, краем памяти время от времени касаясь собственных слов о воде и куске хлеба для преступника, как язык касается расшатанного зуба, который

¹⁰ Покой вечный подай ему, Господи... (лат.).

не болит, но присутствует среди плотно и верно служащих собратьев, и так же кривила рот, как если бы речь и в самом деле шла о больном зубе. Самым быстрым и простым решением было бы этот зуб вырвать. Покончить с ним разом, а не раскачивать до воспаления и кровоточивости, как делала это в раннем детстве. Но в те юные годы предметом ее забав были зубы младенческие, без корня, выпадавшие без усилий и легко заменяемые. Если же подобную операцию проделать сейчас, то заменить выбитый или сломанный зуб уже не удастся. В ряду жемчужных стражей образуется дыра, которая обезобразит самый безупречный рот. Со смертью Геро, как бы ни страшно было в этом признаться, образуется такая же незаживающая рана, которая, даже если ее и удастся скрыть, все равно будет напоминать о себе черным провалом. В красивом башмаке можно спрятать изуродованную ступню, в шелковой перчатке можно набить конским волосом отсутствующий палец, но как срастить рану в собственной памяти, какой там изобрести протез?

** * **

Тюремщик приносит мне еще один кувшин воды. И хлеба. На этот раз с сыром. Я не знаю, сколько времени прошло, ибо по-прежнему отвергаю настоящее. Все еще пребываю в прошлом. Восковая бледность Мадлен, посиневший младе-

нец. Память вновь и вновь возвращает страшные образы. Я жажду смерти.

Выпиваю воды, но еды не касаюсь. От изнеможения погружаюсь в дремоту. Или лишаюсь чувств. Не знаю. Только мысли исчезают, растворяются, становится темно. Открываю глаза там же, на соломе, но что-то изменилось. Кто-то набросил на меня плащ. Проявил милосердие. Зачем? Но плащ теплый, я кутаюсь в него. Немного согрелся, и мысли стали ровнее, не вертелись ярмарочным колесом, не били наотмашь. Лицо Мадлен не исчезло, но как-то смягчилось. Она уже не проклинает, а смотрит с тихим сожалением, как смотрит Богоматерь с алтарных полотен. За ней суровым мучеником возникает отец Мартин, укоризненно качает головой. Образы множатся, отражаются в зеркалах. И вдруг что-то, прежде неразличимое, привлекает мое внимание. Боже милостивый, Мария! Там осталась Мария. Когда началась вся эта суматоха, мадам Шарли унесла ее к себе. Девочка была так напугана. А потом все про нее забыли. Я забыл про нее. Мария!

Я идиот. Какой же я идиот! В отчаянии бьюсь о каменную стену. Что же я наделал! Я оставил ее совсем одну. Бросил свою дочь, отправился мстить. Идиот! Тебя отправят на виселицу, а ее – в приют. А из приюта? Что будет с ней? Кто ее защитит? Я погубил ее. Я всех погубил. Обхватываю голову руками, с губ срывается стон. К мукам воспоминаний прибавляются угрызения совести. И так день за днем, час за

часом. А смерти нет.

Промедление я объясняю тем, что герцогиня не желает мне быстрого избавления, наказывая мукой неопределенности. Давно известно, что неизвестность и ожидание мучительней самой казни. Узник мечется между отчаянием и надеждой. То возносится в своих мечтах к вершине милосердия, то срывается в бездну. Вероятно, на эту пытку обрекли и меня. Я и в самом деле начинаю надеяться, даже ищу какой-то выход. Мне нужно выбраться отсюда, спастись ради дочери. Что, если герцогиня сжалится надо мной? Если меня до сих пор не убили, значит, ее гнев не настолько страшен. А за эти дни она успела остыть. Но эти слабые проблески тут же сменяются беспросветным отчаянием. Как ты смеешь надеяться? Ты – убийца и прелюбодей. Ты заслуживаешь смерти. И я хочу смерти. Я ее призываю. Я готов разбить голову о стену, но самоубийство – смертный грех. Если я обреку себя на гибель, то по ту сторону смерти мне не встретить Мадлен, не вымолить у нее прощения. Я должен ждать палача. Он мой спаситель.

Наконец засов лязгнул. Я не вздрагиваю, ожидая тюремщика с водой и скудным угощением. Но входят двое, а тюремщик, тот, седой, остается за дверью. Сердце, совершив прыжок, бьется часто-часто. Вот оно! Двое молодцов в шерстяных куртках. Палач и его подручный. Сейчас меня отправят на виселицу или выполняют приговор прямо здесь. Один из них прижмет меня к полу, а другой набросит петлю на

шею. Главное – не сопротивляться. Не умножать боль. Но никаких петель на меня не набрасывают. Напротив, меня освобождают от оков и ведут наверх. Значит, все-таки виселица. Или Сена. Они отвезут меня на берег. Ну что ж, перед смертью я вновь увижу небо, пусть даже ночное, вдохну речной воздух. Меня толкают в карету, но я успеваю взглянуть вверх. Звезды... небесные огни, маяки для блуждающих душ. Где-то там Мадлен, на звездных дорогах. Я найду ее.

Меня кутают в плащ и до подбородка натягивают капюшон. К чему такие предосторожности? Экипаж слишком роскошен для осужденного. Куда меня везут? По звукам я определяю, что мы выехали из города. Следовательно, меня прикончат где-то в лесу. Веет свежестью. Каким сладким бывает воздух... Я прислушиваюсь, в любую минуту ожидая окрика кучера и стука опустившейся подножки. Но лошади продолжают идти рысью. Вскоре я слышу, как подковы грохочут по мостовой. Но недолго. Экипаж замедляет ход. Меня выталкивают наружу и затем снова ведут куда-то вниз. Другая тюрьма? Зачем? Вновь надевают цепи. Этот каземат суше и теплее. А вместо соломы – старый тюфяк. И плащ мне оставили. И даже маленький светильник. Я сажусь на тюфяк, обхватываю колени руками.

Странно все это. Я жив. Почему? Я для чего-то нужен? Для чего? Выдать меня за кого-то другого? Обвинить в заговоре? Господи, ну какой из меня заговорщик! Заговор –

привилегия благородной крови. А если... если это то, о чем я подумал? Нет... Нет! Лучше в заговорщики. В еретики. Не хочу думать об этом... Мне приносят поесть. Меню изменилось к лучшему. Вместо воды легкое вино, на медном подносе ломоть холодной телятины, хлеб и немного овощей. Надо бы отказаться. Проявить твердость. Но я голоден. За все это время я съел только пару кусков черствого хлеба, и мой желудок взывает к благоразумию. Я вновь поддаюсь слабости. Она убила мою жену, а я ем ее хлеб. Мадлен, прости меня... Я даже не знаю, где ее могила и где похоронен мой сын. Вряд ли ее родители взяли на себя эту заботу.

Они отреклись от нее, едва узнав, что их дочь беременна. Я помню, как Мадлен, стоя на коленях перед матерью, простирала к ней руки. Отец даже не пожелал взглянуть на согрешившую дочь. Старая служанка вынесла узел с вещами. Я взял Мадлен за руку, и мы вместе вышли на улицу, под дождь. Мы брели под ледяными струями от улицы Сен-Дени до церкви Св. Стефана, долго стояли там, прежде чем я решился войти и во всем признаться епископу. У меня не было ни семьи, ни дома. Только маленькая каморка в особняке моего благодетеля. А теперь со мной была Мадлен, и скоро должен был появиться ребенок. Отец Мартин только качал головой, слушая мой рассказ, сурово косился на продрогшую девушку. Потом отвел нас в часовню и обвенчал. Мадлен стала моей женой. Нам отвели две комнаты под самой крышей. Отец Мартин назначил мне жалование. Мы научились обхо-

диться малым. Родилась Мария. Проклятия желчной мадам Аджани не сбылись. Все как-то уладилось, утряслось, и мы могли бы назвать себя счастливыми. Так, по крайней мере, казалось.

От вина меня тянет в сон, я засыпаю. Но и во сне продолжаю думать, перебирать, перебрасывать события. Продолжаю обвинять и молить о прощении. По щекам текут слезы. Я просыпаюсь, вновь засыпаю. Прежде я будто окаменел от скорби, ничего не чувствовал, теперь скорбь исходит слезами. Мне становится легче. Я могу оплакивать их. Пытаюсь молиться, но не получается. В Бога я больше не верю. Потому что Бог, которого святые отцы прочат нам в Спасители, и Бог, кто посулил нам вечное блаженство, не мог этого допустить. Разве мало Он слышал молитв? Разве я один такой? Его день и ночь молят о помощи. Разве не молилась Мадлен, корчась в родовых муках? Разве не просила Его за сына? А мой приемный отец? Разве он не отдал жизнь свою во имя Его? Как же тогда милостивый Господь мог допустить, чтобы они, безвинные, умерли такой страшной смертью? В чем был их грех? Бог не вмешивается. Наши страдания Ему безразличны. Он глух и слеп. Или Его вовсе не существует. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет»¹¹. Богохульство! Вот до чего я дошел.

¹¹ Екклесиаст 4:1.

Пусть Он создал этот мир, но от наших забот Он устранился. Кукольник, вырезающий из дерева кукол, не следит за судьбой каждой из них. Он продает их на рынке и забывает о своих поделках. Также и Бог. Можно сколько угодно молить Его о свободе или о помощи, Ему нет до этого дела. Для Него это слишком мелко. Или неинтересно. Им с самого начала все так было задумано. Одни радуются, другие страдают. Одни господа, другие рабы. Надеяться не на что. Никто не услышит.

Я опять теряю счет дням. Да и не тревожусь об этом. Если герцогиня обрекла меня на смерть в этом узилище, то какой смысл беспокоиться. Лучше и вовсе не знать. Я все равно скоро умру. Несмотря на этот тюфяк, теплый плащ и кусок жирного мяса.

По прошествии четырех обедов мне приносят воды. Не для того, чтобы я мог утолить жажду, а чтобы умыться. В большой лохани. Еще одна уступка слабостям плоти. Какое наслаждение! Я погружаю в воду руки и смываю с лица пот и давно засохшую кровь. Это все еще кровь Мадлен... Я пытался умываться остатками той воды, что мне приносили, но ее было слишком мало. К тому же меня постоянно мучила жажда. Похоже на лихорадку. Озноб и жар. А сейчас воды было много. Хватило, чтобы смыть всю грязь. Окунуться бы с головой... Полотенце мне подает та самая придворная дама, чье лицо мне показалось знакомым. У нее темные миндалевидные глаза. Волосы туго стянуты на затылке. Я знал ее

прежде, в той прошлой жизни, но вспомнить не могу. Но если она здесь, это предвещает перемены. Приговор вынесен? Меня ведут наверх. Но предварительно связывают руки за спиной. Избавление близко.

Я снова ошибся. Ожидал, что меня выведут во двор. Или отведут на конюшню. Там сподручней перекинуть веревку через поперечную балку. А вместо лестницы водрузить приговоренного на лошадь, а потом ее увести. Опора исчезнет, и петля затянется. Но меня ведут наверх. Предсмертная исповедь? Мне позволят священника? Но меня ждет не священник, меня ждет она. Стоит спиной к окну. Руки смиренно сложены. На лице грустное соучастие. Что это? Сожалеет, что вынуждена подписать приговор? *Dura lex, sed lex?*¹² Меня ставят посреди комнаты на колени, и она взмахом руки отпускает слуг. Разговор затянется. Но зачем? Краем глаза я вижу разноцветные шпалеры со сценами охоты, под ногами восточный узор. Позолоченные многорукие светильники. Тяжелые портьеры. Чего она добивается? Извлекла из ада, чтобы показать рай? Поздно, ваше высочество, поздно. Меня уже не ранить.

¹² Закон суров, но это закон. (лат.).

Глава 10

Она испытывала почти жалость. Ему, несомненно, больно, ибо тот, кто наложил путы, был усерден. Локти пленника стянуты ремнями, а запястья перекручены так туго, что пальцы, скорей всего, уже потеряли чувствительность. Рукав побуревшей сорочки оторван по шву. Это произошло еще две недели назад, во время того отвратительного инцидента, о котором она не вспоминала без дрожи. В эту прореху на его плече проглядывал лоскут кожи, той самой теплой и бархатистой кожи, которой она коснулась под каменным сводом скриптория. Вид этого лоскутка, на удивление нетронутого, не обезображенного ни кровоподтеком, ни рубцом, заставил ее слегка поежиться. И уже помимо воли ее воображение устремилось дальше, под грязную оболочку, которая сейчас скрывала подлинную, незамутненную ценность. Даже замазанный болотной жижей шедевр Праксителя не утратит своей красоты. Статуэтку из слоновой кости можно вывалить в золе, но ее очень легко отмыть и водрузить на прежнее место. Он по-прежнему был желанен. Ее вторая чувственная половина одерживала верх. Итак, решено. Он не умрет. Или умрет, но позже, после того как наскучит, станет бесполезен и назойлив, приобретет сходство с себе подобными. Но сейчас он, даже в этом жалком состоянии, еще более притягателен,

ибо опасен. Его предстоит приручить. Сломить его волю. А затем обратить в образцового подданного, выкупить у добродетели эту невинную душу, заставить его забыть и жену, и ребенка, и отца. Следует сыграть с ним в милосердие, проявить снисходительность, ибо силе он может противостоять, а вот ласке, шелковой простыне и копченой грудинке вряд ли.

И тогда она начала говорить, говорить почти нежно, со снисходительностью божества:

– Мне жаль, мне действительно жаль. Видит Бог, то сожаление, что я испытываю, есть искренний и светлый порыв. С тех пор, как имели место все эти несчастья, не было минуты, чтобы я не возносила молитв раскаяния. Бедный мальчик, ты пострадал безвинно. Стал жертвой обстоятельств, и я не держу зла за то, что в час скорби ты пытался нарушить заповедь. Господь заповедовал нам прощать. «Не убий!» – сказал Он Моисею и запечатлел слова свои на священной скрижали. Только Господу дано решать, кому жить, а кому окончить свой век. Но ты был в отчаянии. Ты был глух и слеп, боль оглушила тебя. Ты искал того, кто был виновен. Твой рассудок молчал и не мог тебе подсказать правильное решение, не мог направить твой гнев на подлинную первопричину – на судьбу, на нелепую случайность, на дьявола, в конце концов. На нелепость и несправедность этого мира. Мир, сотворенный Господом, к сожалению, полон несправедливости, он весь состоит из подобных

роковых случайностей, из роковых совпадений, будто кто-то очень могущественный бросает кости. Но люди не желают принять эту истину со смирением. Этой безраздельной власти слепого рока они противопоставляют избранного ими виновника. Люди всегда находят врагов. Потому что так легче и так проще все объяснить. В противном случае им бы пришлось признать свою полную зависимость от брошенных небесных костей и от выпавшего на них числа. В случившемся никто не виноват. Я не желала зла ни тебе, ни твоей жене. А что касается отца Мартина, то я искренне пыталась ему содействовать, поддерживала все его богоугодные начинания, но, как видно, дьявол усмотрел в этом союзе нешуточную угрозу. Сотворил из нас обоих орудие злого рока. Тебя толкнул на убийство, а несчастного праведника бросил под колеса. И убийцей стала я. Пусть невольным, случайным, но все же убийцей. И, поверь мне, случайность этой смерти отнюдь не облегчает той тяжести, которая лежит на моем сердце. Я никогда себе этого не прощу, не замолю и не искуплю. Я буду вечно каяться и просить у Господа прощения. Но ты сам, мой мальчик, едва не стал убийцей. Пусть твое деяние не удалось, но по закону ты должен был понести наказание. Пожелай я искать правосудия, ты был бы осужден и повешен. Но я не стала искать защиты у королевских судей, не стала взывать к богине возмездия. Я решила подарить тебе жизнь.

Герцогиня вновь изучает меня. Обходит вокруг, будто проверяет, достаточно ли крепко связаны руки, не вырвусь ли, не повторю ли прежнее безумство. Не тревожьтесь, ваше высочество, локти стянуты так, что в плечах вывернулись суставы. Кисти рук онемели. За эти дни я ослабел, мне ремни не порвать. Да и незачем. Пусто внутри, даже ненависти не осталось. Теперь она разглядывает мое лицо. Как видно, мне потому и принесли воду. Чтобы выглядел пристойно. Если бы мог, я бы усмехнулся. До пристойности тут далеко. Вид у меня, как у бродяги с большой дороги. Я все еще в той сорочке, на которой кровь Мадлен, вонючей и грязной. Волосы сваялись от пота. На подбородке щетина. Помимо воли я чувствую себя неловко. Отвратительное, должно быть, зрелище. И жалкое. Что ж, это сократит время ее раздумий. Она преисполнится отвращения и отошлет меня прочь – в вечность. Но она медлит. Склоняет голову на бок. Глаза ее странно блестят. Она как будто в нерешительности. Не знает, что предпринять? Выбирает казнь? Прикидывает, как вынудить преступника заплатить наибольшую цену?

Я опускаю голову и разглядываю ковер. Скорей бы все кончилось... Я устал, мне больно. Со связанными руками мне не так просто удерживать равновесие. В голове у меня мутится. В любую минуту могу завалиться на бок.

Слов ее я почти не слышу. Слышу только ее голос. Вкрадчивый, скользкий, с едва различимым шелестом. Будто ветер в листве. Предвестник бури. Подбирается, манит. Она говорит о Мадлен. Она сожалеет. Ее слова падают в пустоту ума и там всходят, распускаются, как ядовитые цветы. Она пытается как-то все объяснить, утверждает, что виной всему неведомый план Божий, судьба. И еще, что она готова меня простить! Что она сохранит мне жизнь! Она так великодушна, что готова поступиться своей гордыней.

– Зачем? – срывается с моих губ. – Ты сам знаешь. Я не понимаю. Вернее, не желаю понять. Не хочу. Я гоню эту догадку, которая не в первый раз смущает мой разум.

Нет!.. Я забываю о боли в спине, о ломоте в руках, о тяжести, что клонит мою голову, и смотрю на нее в упор. Спутанные, жесткие волосы лезут в глаза. Господи, да кто же это передо мной? Кто?! Человеческое ли существо или отпрыск адовой бездны? Часть ее лица скрыта тенью, а другая слепит мраморной белизной. Рот ее кривится, губы приоткрываются. Мне становится душно. И страшно от этого неподвижного взгляда, от прозрачной белизны кожи. Она касается моего лица, вынуждая вновь поднять голову. Мои попытки освободиться ни к чему не приводят. Ремни впиваются еще глубже, режут кожу, ломают кости.

– Лучше умереть... Я задыхаюсь от собственного бессилия. Внутри огонь, мучительный водоворот. Господи, где же Ты?

Она жадно наблюдает, даже облизывает губы. Снова вынуждает смотреть вверх. От ее прикосновений я содрогаюсь.

– Тебе нужно отдохнуть, – ласково говорит она. – О прочем мы поговорим завтра.

Глава 11

Он еще далек от того, чтобы принять свою участь и смириться. Он еще, как только что изловленный дикий и прекрасный зверь, будет грызть и расшатывать свою клетку, пока не поймет, что стальные прутья только ломают ему зубы и обдирают в кровь рот, что покорность будет вознаграждена вкусным дымящимся куском мяса и теплой мягкой подстилкой, а упрямство и строптивость обернутся горящими на коже рубцами. Но он это непременно поймет. Он поймет! Он все же человек, а не зверь. И одарен всеми преимуществами и недостатками Адамова сына.

Я знаю, что я для нее – вещь. Не человек, не мужчина, не любовник. Только вещь. У нее много вещей, и я одна из них.

Меня снова ведут вниз. Руки связаны за спиной. Боль в вывороченных суставах, кисти занемели. Со мной высокий рыжий парень и та темноволосая придворная дама, лицо которой мне кажется знакомым. Она несколько раз как-то тревожно оглядывается, когда я второй или третий раз спотыкаюсь. Но приводят меня не в каземат, а в большое помещение рядом с кухней. Там стоит большой стол, скамьи вдоль стен, несколько табуретов, ларь, кухонная утварь. Я догадываюсь, что это людская. Двое слуг закатывают в кухонную дверь бочонок. Кухарка перебирает в углу овощи. Поминут-

но хлопает дверь. Треск поленьев, голоса, перебранка. Придворная дама делает знак рыжему парню. И он освобождает мне руки. Ему это удастся не сразу, он неловко дергает, и я морщусь от боли.

– Осторожно, – говорит придворная дама. В глазах ее все та же тревога.

Вместе с ремнями парень снимает с меня одежду, до последней нитки, все эти жалкие, грязные лохмотья. И я стою посреди комнаты, среди спующих вокруг людей совершенно голый. Странно, но я не чувствую стыда. Будто деревянный. Или неживой. Толстая кухарка бросает на меня любопытный взгляд, и придворная дама не сводит глаз, но мне это безразлично. Другие слуги и вовсе в мою сторону не смотрят. Кто я? Всего лишь вещь. Герцогиня обзавелась безделушкой, а им эту безделушку велено отмыть. Рыжий парень втаскивает большую лохань. В очаге над огнем висит огромный медный котел, и парень наполняет лохань водой. За кухонной дверью несколько любопытных голов, но придворная дама умиряет их одним взглядом. Парень берет меня выше локтя и подталкивает к лохани. Я подчиняюсь. Вещь всегда поступает так, как ей велят. Но оказаться в теплой воде приятно. Я неожиданно чувствую слабость и закрываю глаза. Какое блаженство... Внутри раскручивается какая-то жесткая стальная пружина. Я еще жив, и кровь струится по жилам, и грудь вздымается. С кожи сходит отвратительный грязно-бурый налет. Парень выливает ковш горячей воды мне на голо-

ву и ловко орудует мылом. Пена приятно пахнет миндалем. Ранка на виске пощипывает. Впервые другой человек делает за меня то, что я привык делать сам. Более явственно чувствую себя вещью, неодушевленным предметом. Меня поднимают, опускают, переворачивают. Парень действует умело и быстро. Приносит еще воды, разбавляет холодной. Пар поднимается к потолку, к закопченным балкам. Наконец он опрокидывает на меня последний ковш. И я снова посреди комнаты, голый, но уже розовый и блестящий. Вещь приобретает товарный вид. Мне становится холодно, но парень набрасывает на меня простыню. Ее минуту назад принесла пожилая служанка. Парень обтирает меня этой простыней, как взмыленного коня. Задевает кровоподтеки, я снова вздрагиваю.

Рядом с придворной дамой появляется следующий персонаж. Худой, сутулый, весь в черном. У него лицо цвета пергамента, глубокие складки у рта. Глаза утоплены под надбровные дуги, но горят насмешливо и ярко. Это не лакей, скорей всего, лекарь. Черная хламида, на плече кожаная сумка с принадлежностями. Меня в третий раз в первоизданном виде выводят на свет. Теперь я предмет для научных изысканий. Лекарь оттягивает мне веки, заглядывает в рот, в уши, пробует густоту и крепость волос. У него проворные, жесткие пальцы. Он действует ими как хорошо отлаженным инструментом. Исследует меня под мышками и в паху. Не вздуты ли узлы. Первый чумной признак. Нет ли признаков неа-

политанской хвори. Я пытаюсь отшатнуться, но рыжий парень держит меня за локти. Вещь должна быть безупречна. Только после этого лекарь осматривает кровоподтеки на моих руках, ссадины на ступнях и коленях. Выудив из кожаного мешка баночку с бальзамом, смазывает вспухшие синюшные пятна. У бальзама терпкий травяной запах. Арника, зверобой и еще, кажется, абрикосовое масло. Прочих ингредиентов угадать не могу. Лекарь, оставив банку, – в сторону парня:

– Утром смазать еще раз. – Затем уже придворной даме: – Хороший ужин, и пусть поспит.

Забрасывает на плечо сумку и выходит. Приближается придворная дама. У нее глаза чуть раскосые, блестят все так же тревожно. В них что-то очень живое, беспокойное. Она заглядывает мне в лицо.

– Что бы ты хотел на ужин? – тихо спрашивает она. Я даже не сразу понимаю, что она обращается ко мне. Почти оглядываюсь, чтобы найти того, кому это предназначено.

– Я не голоден, – отвечаю. – Тебе нужно поесть, – настаивает она. И делает знак рыжему парню. Придворная дама права – мне нужно поесть. Я даже вспомнил ее имя – Анастаси. Вспомнил, где прежде видел ее: в нашей больнице Св. Стефана. Сам привел ее туда. Ей стало дурно на улице, она истекала кровью. Последствия неудачного вмешательства и удаления плода. Теперь она пытается рассчитаться со мной за услугу. Во всяком случае, она единственная, кто признает

во мне существо одушевленное. Даже для окружающих слуг я только господская прихоть, ручной попугай. Им чрезвычайно любопытно. Они глазают на меня с интересом, строят догадки. Что же это за новое приобретение? Но ужин мне подают изысканный и, к счастью, позволяют одеться. Голода я не испытываю, но по настоянию Анастасии наливаю вина, белое бордо, и это сразу оказывает действие. Засосало под ложечкой. Блюд много, но я ограничиваюсь чашкой бульона и цыпленком под соусом. На сладкое – ложечка айвового варенья. Пробую и тут же жалею об этом. Любимое лакомство Мадлен... Придворная дама уговаривает попробовать что-то еще, фазанью грудинку или фаршированного бекаса, но я отказываюсь. Тогда она говорит, что отведет меня в комнату, где я смогу отдохнуть. Первое предписание врача выполнено, за ним следует второе.

Комната роскошная. Стены обиты бархатом, на окнах тяжелые портьеры, кровать под шелковым балдахинном. Я никогда ничего подобного не видел, даже покои епископа отличались монашеским аскетизмом, и тем более я никогда в таких апартаментах не жил, но я не обескуражен. Скорее удивлен. Эта роскошь угнетает. Давит, нависает, как скалистый отрог. Но постель выглядит очень свежей, уголок покрывала откинут. Я вновь ловлю себя на предательской слабости. После влажной соломы и старого тюфяка эта шелковая купель предстает, как видение рая, как ложе божественного отдохновения, на которое я спешу упасть, тем более, что после пе-

режитых волнений, унижений и выпитого вина у меня подкашиваются ноги. Я едва сдерживаюсь, чтоб не укрыться с головой, не скрыться в темном и теплом убежище и не замереть. Пусть даже эта кровать часть враждебного мира, пусть она принадлежит врагу, я найду здесь временный покой.

Придворная дама оставляет на столе свечу и выходит. Рыжий парень остается за дверью. Щелкает замок. Скрипит ключ. Тюрьма. С ковром под ногами, со шпалерами на стенах, с серебряным подсвечником, но все же тюрьма. Чтобы удостовериться в этом, я покидаю уже нагретое лежбище и подхожу к окну. Знаю, что бежать бессмысленно, знаю, что некуда, но не могу избавиться от соблазна. Эти мысли стали приходить ко мне сразу же, едва лишь я оказался в людской. Что, если попробовать бежать? Здесь окно. Должно быть невысоко, ибо по лестнице мы поднялись всего лишь на один пролет. Можно спуститься по водосточной трубе или связать простыни в жгут. Однажды, много лет назад, мне удалось выбраться через слуховое окно. Только если... Мое опасение сбывается – на окне решетка. Петлистая, в завитушках. За одну ночь с ней не справиться. Не выломать и не распилить. Надо подумать. Я закрываю окно и возвращаюсь в постель. Желтолицый знахарь прописал мне сон.

Я действительно засыпаю. Едва лишь моя щека касается расшитой подушки. Держался все это время судорожным усилием воли, будто сами суставы давно размягчились, но для вящей прочности были стянуты скобой и держались на

невидимом стержне. Когда же лег, надобность в этом стержне отпала, и теперь я – только груда мягких, трепещущих обломков. Проваливаюсь в темноту, падаю долго, но, оказавшись на дне, вздрагиваю. Мне кажется, что в комнате кто-то есть. Кто-то крадется. Свеча догорела, и только луна тянет свои тонкие серебряные пальцы. Сердце колотится, но никого нет. Все так же тихо. Я ложусь на бок, под щекой – израненное, в темных пятнах, предплечье. Слышу, как кровь шумно ударяет в стенки сосудов. Жизнь... Жизнь продолжается. Я жив. Уснуть во второй раз получается не сразу. Мешают мысли. Вновь обвинения, сожаления, упреки. Ум склонен продолжить игру. Самое худшее уже свершилось, а он час за часом предлагает новые варианты. Разыгрывает несостоявшиеся ходы, подсказывает реплики. Как будто это что-то меняет! Изменить уже ничего нельзя, но ум перемалывает, тасует, вытягивает все новые, так и несданные карты. Я пытаюсь остановить очередную вариацию прошлых событий. Следует подумать о настоящем.

Итак, я жив. Казнь откладывается или отменяется вовсе. Герцогиня недвусмысленно дала мне понять о своих намерениях, и этого не изменить. Что же делать? Мария... Она – единственная цель и смысл. Все, что у меня осталось, мой долг – это она. Искра пламени в моем умершем сердце. Найти ее и защитить. Мне нельзя думать о смерти. Это роскошь, которую я не могу себе позволить. Я должен жить. Страсть герцогини продлится недолго. День, два, и она насытится. Я

стану ей безразличен. Ее страсть разгорелась из каприза, который она не сразу смогла удовлетворить. Желание обратилось в неутолимую жажду. Теперь она получит желаемое и быстро утолит голод. Кто я такой, чтобы занимать ее высокочество дольше, чем закончатся сутки? Она разрушила мою жизнь. Пусть вернет мою дочь. Пусть заплатит. Надо только набраться сил и назвать цену. Это самое трудное – поставить ей условие, все равно что зашвырнуть камень на Олимп. Я боюсь оцепенеть от ее взгляда, холодного, из-под ровных век, боюсь утратить дар речи. Но у меня нет выхода, я должен решиться. В противном случае это будет еще одно предательство.

Ум открывает новую игрушку. Покинув прошлое, перекачивается в будущее. Берется за ту же лотерею. Что сделает она... что сделаю я... Что скажет она... что скажу я. Как повернется, как посмотрит, как повысит голос... Я уже тысячу раз воображал, как произнесу свое требование, и воображаю еще раз. В тысяче возможных оттенков: шепотом, с мольбой, с вызовом, с угрозой, в первую же минуту, спустя четверть часа, в ответ на какую-то реплику, после долгого молчания, поддавшись на уговоры, и прочее, прочее. Был даже такой вариант, где я не произношу ни слова, а лишь безропотно подчиняюсь. Этот ход выглядит наиболее привлекательным. Примириться и сдаться. Дьяволу понравится.

Окончательно измучившись, засыпаю. Просыпаюсь по собственному почину, никто не будил. Портьеры все так же

опущены, и только в узкую прорезь сочится свет. Сначала мне кажется, что я все еще там, внизу, ибо полумрак в темнице не рассеивался с наступлением утра, но удобство постели возвращает меня к действительности. Судьба моя изменилась. Моя участь не смерть – бесчестье.

Вскоре появляется рыжий парень. Видимо, он уже заглядывал в комнату и осторожно покидал ее, заметив, что я еще сплю. На этот раз он так же крадучись заглядывает под полог. И встречается со мной взглядом. Тут же идет к окну и поднимает шторы. Солнце! Я жмурюсь, но тут же открываю глаза и жадно, преодолевая резь, кидаюсь в пылающий прямоугольник. Как давно я не видел солнце! Ни в первой, ни во второй темнице окон не было, а перевозили меня ночью. Меня лишили воздуха и света. Я больше двух недель пребывал в могиле. И вдруг вот оно! Пусть исполосованное решеткой, пусть далекое, но ослепительное, щедрое. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить и не погрузить руки, голову, плечи в этот горячий столб. Рыжий парень приносит воды, а затем чашку с бульоном. Одежда – щегольской камзол из тонкого сукна, явно шитый на дворянина, той же материи кюлоты с кружевной оторочкой и башмаки из дорогой кожи, которые оказались немного великоваты.

После завтрака из ломтика паштета и голубиноного крылышка – всем остальным я пренебрег – мне позволено выйти в парк. Рыжий парень идет за мной следом и даже придерживает за локоть. Проще было бы посадить меня на цепь. За-

крепить где-нибудь на лодыжке и отпустить без опаски бродить между деревьями. А так бедному соглядатаю приходится быть настороже. Он не отстает ни на шаг и крепко держит повыше локтя. Я не убегу. Мне некуда бежать. Даже если мне это удастся, герцогиня знает, где меня искать. Я буду там, где моя дочь. Меня немедленно схватят. И тогда мне уже нечего будет рассчитывать на помилование. Моя дочь останется сиротой. Рыжий парень может быть совершенно спокоен. Я блаженно вдыхаю утренний воздух и подставляю лицо солнцу. Милость герцогини, конечно, не лишена корысти, но я ей почти благодарен. Она позволила мне увидеть небо, прикоснуться к древесному стволу, услышать пение птиц.

Весь оставшийся день я предоставлен самому себе. Рыжий парень даже принес мне какую-то книгу, кажется, Тацита. Я пытался читать, но латинский шрифт не складывался в привычную карту мудрости. Буквы расплываются, а смысл фраз ускользает. Однако после полудня покой мой нарушен. Я слышу шум. Дверь открывается, появляется рыжий парень, за ним низенький человек с густыми черными бровями, а следом... герцогиня. Сердце замирает. Неужели она передумала ждать до вечера? Я не готов! Эта прогулка в парке лишила меня сосредоточенности. В горле комок. Я и слова не скажу. Но герцогиня не приближается, держится поодаль. А низенький человек оказывается портным. Он сноровисто принимается за дело. Снимает с меня мерки. На меня сошьют одежду? Но зачем? Краем глаза я вижу герцогиню. Она

остаётся в стороне и наблюдает. Очень внимательно, будто перепроверяет действия портного, мысленно что-то прикидывает. На ней платье темно-серого шелка, без украшений, только плечи обнимает огромный отложной воротник. Волосы у нее высоко подняты и тщательно уложены. Шея обнажена, белая, длинная, поддерживает голову, будто аккуратный плотный бутон. Веки все так же полуопущены, но под ними нетерпение и жар. Она даже губы покусывает. Портной вслух называет цифры и вносит их в маленькую книжицу. Все заносится в таблицу, нумеруется. Я превращаюсь в набор цифр, в тщательную, методичную подборку. Меня разъяли на части, как в анатомическом театре, и каждый отрезок помечен соответствующим ярлыком. Отчего-то мне мучительно стыдно. Я чувствую себя еще более обнаженным, чем накануне, когда стоял голым посреди людской. В действительности мне не пришлось раздеваться. С меня всего лишь сняли мерки. Возможно, виной этот ее взгляд. Пронизывающий, сквозь одежду.

Длится это недолго, но из меня последовательно извлекают все собранные за ночь силы. Они выходят, а я почти валяюсь с ног. Звон в ушах. Я подбегаю к окну и жадно глотаю воздух. Там, за решеткой, простор и свет. С ветки на ветку перепархивают птицы. Качаются верхушки деревьев. Мысль о побеге уже не кажется мне такой безрассудной. Должен же быть выход. Почему мне так страшно? Меня завораживает, леденит это сияние власти. «Рабы, подчиняйтесь со всяким

уважением своим хозяевам...»¹³ Так устроен мир, власть кесаря священна. Неподчинение королю – ересь, бунт. Непокорный будет предан анафеме.

Рыжий парень приносит мне обед. Запеченные в тесте голуби, фазанья грудинка и паштет. Но я не привык, есть так много мяса. Прошу ржаного хлеба и листьев салата. Рыжий парень удивлен, но через какое-то время возвращается с блюдом печеных овощей, облитых сыром, и корзинкой фруктов. Глоток вина.

После обеда остаюсь один. Вновь пытаюсь заглянуть в будущее, воображаю разговор с герцогиней. Только бы не перехватило горло. Надо собраться с силами, преодолеть ее завораживающий взгляд из-под ровной линии век. Если я этого не сделаю, Мария погибнет. Мария, моя дочь, моя бедная маленькая девочка. Где она сейчас? Не голодна ли? Плачет от страха, зовет меня или Мадлен. А рядом никого нет, чужие равнодушные лица. От воспоминаний в сердце будто вдавливают палец. Я начинаю метаться, перебегать из угла в угол. Натыкаюсь на стол, переворачиваю подвернувшийся табурет. Боль в ушибленной голени. Нет, так нельзя, я должен собраться с мыслями. Иначе ни ей, ни мне не спастись.

Я слушаю сердце, грохот в висках. Делаю несколько медленных, сосредоточенных вдохов. Именно так, как учил отец Мартин. Он бывал на Святой горе Афон и перенял у тамошних монахов кое-какие молитвенные искусства. Напри-

¹³ Первое послание Петра 2:18.

мер, как быстро изгнать волнение и вернуть себе силы. Паломники соединяли молитву с дыханием, погружая помыслы свои в сердце. Вдыхать и чувствовать, как воздух скатывается прозрачной волной от гортани к легким, отмывает их, а затем, покидая, уносит печаль и усталость. И еще молитва. *Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam*¹⁴. Повторять слова молитвы, соизмерять их с дыханием, заполнять разум именем Бога, Его вечным присутствием. Солнечный квадрат на полу сузился до едва заметной линии, но я представляю, что солнечная нить тянется ко мне, и я вдыхаю этот свет, наполняюсь им. Солнце – это дар Божий, око Господне, сам его восход есть благословение мира, свет его дарует жизнь. Он наполняет силой и воскрешает надежду.

Я вдыхаю и наблюдаю за разбегающимся светом. Действительно становится легче. Сердце уже не колотится в ребра и спину, а переходит на размеренную, привычную рысь. Мысли замедляют свой бег и обретают законченность, как вполне удавшаяся картинка. Я чувствую решимость. Я могу сказать ей.

¹⁴ Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей... (Псалтирь 50:3)

Глава 12

Клотильда знала, что их знакомство состоялось задолго до того, как она отправилась на исповедь к отцу Мартину. Знала, что Анастаси обязана жизнью юному школяру, но кроме этого долга было что-то еще, глубоко родственное, будто эти двое происходили из одной материнской утробы. Их связывала некая схожесть в судьбе, сиротство и одиночество. Они оба знали утраты, голод и нищету, предательство и неволю. Оба учились выживать. Их обоих ради забавы, как выловленных в лесу животных, взяли в мир сытых и властных, обоих выкупили по дешевке у нужды и страданий.

* * *

Полоска на полу гаснет. День уходит. Время сумерек. Предметы утратят привычные формы, поменяют цвет. Тени начнут удлиняться, сгустятся до черноты. Я жду стука в дверь. За мной придут. Впрочем, рыжий парень – его зовут Любен – не утруждает себя церемонией вежливости. Я такой же как он, между нами нет разницы, пожалуй, его статус даже значительней. Я пока нечто промежуточное, неопределенное, невзирая на внушительный перечень костюмов, что мне в скором времени предстоит надеть. Герцогиня упомянула сукно из Антверпена, шелк из Лиона, бархат из Кордо-

вы. Но это пока только слова, столбцы цифр в потертой книжке, а я только каприз. Любен приносит мне другую одежду. Сорочка уже не полотняная, а из батиста, на рукавах – пена кружев. Камзол с золотым шитьем. Я не могу удержаться и смотрю на Любена с удивлением. Он утвердительно кивает. Помогает одеться. Следом за ним является цирюльник, черноволосый мужчина с эспаньолкой и выпуклым лбом. Он тщательно выбривает мне щеки и подбородок. Я смотрю на бритву. Такой легкий, смертоносный предмет. Промახнись он хотя бы на дюйм, и мое горло окажется перерезанным. Пальцы у него пухлые, мягкие, чуть липкие и пахнут чем-то приторно-сладким. За ним приходит очередь куафера. Я никогда не уделял особого внимания своим волосам, они росли как им вздумается, ложились крупными завитками, падали на лоб, лезли в глаза. Мадлен нравилось играть с ними. Нравилось наматывать их на свои тонкие пальчики... Стоп! Дальше нельзя. Не вспоминать.

Куафер расчесывает и укладывает мои волосы. Щелкнув над моей головой ножницами, отсекает лишнюю прядь. Любен помогает надеть камзол, затем слегка давит мне на плечо, вынуждая взглянуть в огромное зеркало, которое держит передо мной ученик куафера, мальчик лет двенадцати.

В зеркале щегольски одетый черноволосый молодой человек. Он очень хорош собой, но бледен, и у него тени под глазами. Черты его лица мне знакомы и даже привычны. Но все же это не я. Ктото другой. Потому что предшествующий

я умер, как того и желал, а тот, кого я вижу в зеркале, всего лишь подделка.

Я отворачиваюсь от зеркала, вопросительно смотрю на Любена, затем на Анастаси. Что дальше? Придворная дама отводит взгляд. Жестом приглашает следовать за собой. Мне это кажется, или она действительно смущена? Пока мы поднимаемся по лестницам, сворачиваем из одного коридора в другой, она не произносит ни слова. Идет чуть впереди и не оглядывается. Но у высокой дубовой двери, по обеим сторонам которой застыли слуги в черносеребристых ливреях, она оборачивается ко мне. Подходит очень близко, как будто намерена шепнуть мне тайное слово или, как Ариадна, вручить путеводную нить. Я слышу ее дыхание. Взгляд ее мечется по моему лицу. И тут я неожиданно прозреваю. Именно так она смотрела на меня в душной, переполненной палате, куда я принес ее. Она лишилась чувств, и большую часть пути я нес ее на руках.

Как и тогда, она что-то пытается разгадать или понять. Ищет ответ. Она верит, и в то же время сомневается. Там, в лечебнице, я провел около нее целую ночь. Она то приходила в себя, то впадала в забытие. Не жаловалась и не кричала. Только стискивала зубы, когда я неловким прикосновением причинял ей боль. Плоть ее была словно изодрана крючьями. Где-то во мраке улиц, в квартале Нотр-Дам, она доверилась грязнорукому шарлатану. Хотела сохранить все в тайне. Она ничего не рассказывала, да мне и не требовалось. Я часто ви-

дел этих несчастных. Обесчещенные, обманутые женщины, покинутые возлюбленные – они пытались изгнать из своего тела плод насилия или греха. Они шли на это преступление в надежде сохранить тайну. Им казалось, что этой кровавой жертвой они смогут воскресить прошлое, вернуться туда, где жила мечта и пламенела надежда. Они думали, что так можно все исправить и начать все с начала. Впрочем, большую часть этих жертвоприношений совершала нужда. Многие из них умирали, те, что оставались живы, теряли свои детородные способности, а были и такие, кто, пережив однажды эту боль, потерю любви, разочарование и предательство, навеки отрекались от мирских радостей и оканчивали свою жизнь в монастырях.

Я ничего не знал об этой женщине, не спрашивал ее имени. Видел только, что она не горожанка, а знатная дама. Что ж, и с ни ми это тоже случается. И они страдают. И кровь у них того же цвета, что и у прочих. Им приходится порой даже хуже, чем безымянным гризеткам. Знатное происхождение предполагает строжайшую тайну. Огласка – это позор и даже смерть. Опороченная жертва будет лишена семьи и самого имени. От нее отвернутся друзья, ее покинет муж, двери всех благородных домов будут для нее закрыты. Ей придется скрываться и влачить свои дни в печальном уединении. Или похоронить себя в монастыре. Вершина, на которую возносит судьба, скрывает по ту сторону пропасть. Какой же страх, какая смертельная тайна вынудили ее отпра-

виться в эти зловещие закоулки, где сам воздух клубится пороком? Каким мужеством надо обладать, чтобы стоически вынести боль, затем встать и отправиться в обратный путь по тем же заболоченным переулкам!

И вот она вновь смотрит на меня, не то укоряя, не то напутствуя. Она хочет что-то сказать, но ей мешают слуги. Она бросает на них ненавидящий взгляд, вздыхает и ровно произносит:

– Ее высочество ждет вас.

Глава 13

Ей нравилось играть в бога. Собственно, это единственное, что ей по-настоящему нравилось. Право жизни и смерти. Что может быть слаще и восхитительней? Наслаждение подлинное, без примесей, как золото самой высшей пробы, то, что делает смертного равным божеству. Все прочие удовольствия ничего не стоят, если за ними серой тенью не прячется оно, подлинное. Да и самого наслаждения не существует, если в нем нет этой волшебной пряности, этого яда, который люди называют властью над ближним.

Нет большего наслаждения, чем держать на ладони чью-то жизнь. Как птичку, которую изловили хитростью, или зайчонка, подобранного в лесу. Чувствовать в ладони биение хрупкого чужого бытия. Достаточно сжать пальцы, и тонкие ребрышки пронзят сердце, будто изогнутые кинжалы. Но пальцы можно и не сжимать, ибо со смертью наслаждение иссякнет, и тогда придется ловить другую птичку, другую жизнь. А для забавы пригодна не каждая жертва. Добыча должна быть достойна победителя. Ибо победитель этот – бог.

Она нашла свою жертву, свою богоравную добычу. Эта жертва обещала череду услад, от мерцающих и тягучих до ярких и ослепительных. Она уже познала нечто подобное. В ней уже разгорался этот огонь, еще без видимого пламени,

без заметного жара, только тлел, как глубинный пласт болотного торфа, который скрывает подземный пожар. Ей нравилось пламенеть именно так, размеренно, постепенно, без вспышек, когда трепет разливается внутри, заполняет каждую полость и каждую впадину эфирного свода. Клотильда прикрыла глаза. Ее власть обретала сугубо предметный образ. Она знала, что представлять.

Она, герцогиня Ангулемская, никуда не торопится. Она будет смаковать, будет затягивать интригу, играя множество ролей, рядясь в тысячу масок. Если она и будет мстить, то по рецепту верных служителей Немезиды, предлагающих отведать блюдо холодным. Ее месть, месть оскорбленной, отвергнутой эсеницы, будет заключаться не в казни и смерти, а в покорении и развращении. Как мстительно и сладко она улыбнется, когда он, этот дерзкий бунтарь, этот страж добродетели, этот скорбящий муж, будет в сладострастной истоме молить о ласках, когда он, поборник благородного аскетизма, будет ослеплен роскошью, поработан и подавлен золотом. Вот что значит настоящая месть – развратить, раздробить душу, окрасить ее в противоположный цвет, отвратить от небес и предать ее дьяволу. Пусть он сам погубит себя, пусть сам опровергнет собственные идеалы, изгонит память и отречется от любви. Вот тогда она будет отомщена.



Герцогиня действительно ждет.

Это ее гостиная. Та же тяжеловесная роскошь. Что мне до нее? Деталей я не различаю. Едва лишь переступил порог, как сердце всплывает к самому горлу. Дрожь в ногах. Ничтожный смертный у сияющего престола. Посреди комнаты накрыт стол. Двурогие канделябры, серебряная посуда, хрусталь с рубиновым содержимым. Я вижу розоватый плачущий окорок, ряженую в перья дичь и аккуратные ломтики паштета. Злое, насмешливое изобилие. Бывали дни, когда мы с Мадлен обходились без ужина. Денег оставалось только на молоко для Марии, но и она иногда плакала от голода. А если она и сейчас плачет?.. У меня перехватывает горло. Не думай об этом, остановись. Ты должен сохранять спокойствие. Единственное, что приносит облегчение и уменьшает боль, это порыв броситься вперед и опрокинуть стол, смять, растоптать эти разукрашенные птичьи трупы, разбить слепящий хрусталь, а эту женщину, что сидит за столом, женщину, чьи губы насмешливо и благодушно кривятся, чья поза так величественна и небрежна, убить... Мне хватит минуты, чтобы свершить казнь. Ее тонкая белая шея, гибкая, беззащитная, мягко надломится в моих руках. Она не успеет даже крикнуть. Всего один прыжок... Ее веки наконец дрогнут, она испугается, взгляд прояснится, и она увидит меня, изу-

мится живости и подвижности этой странной вещи. Дьявол толкает меня в плечо. Сделай! Сделай! Убей! Она заслуживает смерти. А как же Мария? Да, я могу отомстить. Даже лакей, стоящий в углу с винным кувшином наперевес, не успеет преградить мне путь. Даже если он закричит! Мне и тогда хватит времени, чтобы завершить начатое. Однако в следующее мгновение я буду уже мертв. Тут никаких шансов. Меня прикончат сразу. Забьют палками или заколют кинжалом. Я и до виселицы не доживу. Мария останется сиротой. И будет плакать от голода. Я уже едва не совершил эту ошибку, когда бросился мстить в день смерти ее матери. Довольно. Время скоропалительных решений прошло. Я должен выжить. И спасти свою дочь.

– Поди сюда, – говорит она и манит пальцем. Как? Так сразу? А как же эта роскошь на столе? Я думал, она даст мне время.

Я делаю шаг, но она требует, чтобы я подошел ближе. Я смотрю в пол, меня слепит ее кожа, а шея вблизи становится невыносимо притягательной. Черты ее лица точеные, шлифованные. Полукруги бровей будто выведены кистью, под веки вставлены стекляшки с черным агатом. Она такая же прямая и небрежная, как и прежде. Телом невелика, но заполняет собой всю комнату.

– Дай руку.

Голос у нее ласковый, тихий, но она знает, что я слышу. Ее всегда слышат, даже если она едва шевелит губами. Я по-

винуюсь. У меня бешено колотится сердце, голос дьявола все громче. Не раздумывая, протягиваю обе руки. Под кружевом ссадины и кровоподтеки. Следы оков, ремней и веревок. Любен исполнил предписание врача и сегодня утром смазал мои предплечья бальзамом. Саднящая боль утихла, и отек спал. Но россыпь бледнее не стала. Выглядит все так же устрашающе. Она изучает мои запястья очень внимательно, трогает пальцами и зачем-то приближает к глазам то одну руку, то другую. У нее участилось дыхание. Что ее так привлекает? Или... восхищает? Выглядит так, будто она наслаждается этим зрелищем, упивается редким цветовым сплавом. Пробует на ощупь, задерживает ладонь в своей, желая угадать разницу в разгоревшемся под кожей огне, открыть его истоки, обнаружить сердцевину, познать исход. Она в поиске знаний и доказательств. То свидетельства ее вторжения, ее власти.

Наконец она вздыхает и отпускает меня. В глазах странный голодный блеск.

– Бедный мой мальчик, обещаю, такого больше не повторится.

От шелеста ее губ, от голоса, такого ласкового, у меня по спине пробегает дрожь. Тонкие, ядовитые иглы проникают под кожу. Я начинаю терять решимость. Она будто раскидывает сеть, липкую, тонкую, почти невидимую, еще одна шелковистая стрела, и ноги слабеют, и тело деревенеет от безразличия и странного спокойствия. Примириться и сдаться.

Рабы, повинуйтесь господам вашим...

Она жестом указывает на стол. Ее белая рука плавно, дугой, перемещается, и я всем своим телом следую по этой дуге. На противоположной стороне серебряный прибор. Такой же, как у нее. Мне оказана честь. Я допущен к трапезе.

– Почему ты ничего не ешь? Попробуй этот паштет. С чудесной корочкой и зернами граната.

Я голоден, но есть не могу. Не в силах проглотить и куска. Это все от дьявола. Это неправильно. Да, я голоден, я хочу есть, мое тело сходит с ума от этих запахов, от аромата неведомых мне пряностей. На моем языке сладость вина, мой желудок жаждет насытиться, отяжелеть от жирных маринованных кусков, зубы готовы сомкнуться... Как же я слаб... И голос шепчет, шепчет. Ну что с того, если ты отведаешь того паштета с яичной крошкой? Или надкусишь фазанье крылышко? А вон те фаршированные трюфелями цыплята просто восхитительны. Взгляни на эту ветчину, вон тот розовый глазок с тонкой полоской жира. А это заячье рагу со спаржей. Ты же ничего подобного не пробовал. Такие блюда подают королю. Чего же ты медлишь? Ты уже подчинился, ты уже признал ее власть... Я помню, как Мадлен тоненькими, прозрачными пальчиками перебирала бобы. Маленькую горстку. Сердобольная лавочница отпустила ей в кредит. А герцогиня улыбается с противоположной стороны стола и говорит. Она говорит все так же тихо, роняет каждое слово, будто шелковинку, которая, взлетая, укладывается в

очень правильный, симметричный узор. Узор этот не имеет изъянов, он удивительно хорош, с прямыми, точными гранями. Речь ее сокрушительна и безупречна. Она устрашающе права. Мне не обнаружить ни единой шероховатости, форма округла, и мое жалкое возражение скользнуло бы по ней, как босая нога по льду. Шедевр умозрительной софистики.

Хватит. Я здесь вовсе не затем, чтобы отыскивать аргументы и вступать с ней в дебаты. Пусть получит то, что желает. Мне слишком больно ее слушать. Я поднимаюсь из-за стола. Она сразу умолкает. Я сделал это без ее знака и тем самым нарушил равновесие. По лицу пробегает чуть заметная тень. Дергается подбородок. Ей страшно. Ей очень страшно... Отчего же она так рискует? Герцогиня не настолько глупа, чтобы полагать меня окончательно смирившимся. Или это средство разогнать кровь? Ах да, ей же скучно. А тут такая забава. Ужин наедине с убийцей. Попытка приручить раненого вепря. Она играет, ей нравится риск. Ходит по краю. Холодный пот под золотым шитьем, но усилием воли она держит спину. Рука нервно теребит большую фруктовую вилку. Страшно? Да, вам страшно. А вот мне уже нет. Я будто стряхиваю налипшую паутину, которая прежде сковывала мои движения и навевала сонливость. Не бойтесь, ваше высочество, вам ничего не грозит. Напротив, я намерен покорно служить вам. Если уж не душой, то телом.

– Я сделаю то, что вы желаете.

Я не жду приказаний. Выхожу на середину комнаты и сни-

маю одежду. Быстро и буднично. Стараюсь действовать без оценки собственного поступка. Мне нельзя думать, нельзя останавливаться. Я всего лишь совершаю несколько привычных движений: развязываю шнурки, разнимаю пряжки, тяну за рукав. Все как обычно, точно так же, как я делаю это каждый день. Мне это нетрудно. Что с того, что я сейчас раздеваюсь перед женщиной? Она – моя владелица, я – ее вещь. Стыд, отчаяние, нарушение приличий – все это несущественно. Это всего лишь игра воображения. Ложь и притворство. Я все же надеюсь, что она вспыхнет, заслонится рукой. Но она и бровью не ведет. И не отводит глаз. Даже не моргает. Изучает меня все так же пристально, только губы чуть размыкаются, и уголок рта ползет вверх. Стыд здесь неуместен. Я всего лишь облегчил ей задачу. Герцогиня принимает приглашение, и моя дерзость, похоже, ей по вкусу. Она отбрасывает салфетку и встает.

В доме епископа она сразу прикоснулась ко мне, спешила. Здесь, в собственной крепости, она может позволить себе не торопиться. Здесь ей подчиняется само время. Если ей будет угодно, то я простою так всю ночь. Она не позволит мне даже шевельнуться. Ибо я сам это выбрал, сам сделал первый шаг. Она будет на меня только смотреть, продолжая ужин, или отошлет прочь. Она предвкушает. Обходит вокруг. Будто я статуя Праксителя. Ушлый торговец предлагает ей эту статую за высокую цену, вот она и прикидывает, достаточно ли ценен товар. У меня внутри сгущается хо-

лод. Я все еще не позволяю себе думать, не желаю чувствовать. Но долго это продолжаться не может. Ее взгляд ползает по мне, очень медленно и расчетливо, препарируя и разделяя. У меня коченеют ступни, озноб поднимается выше. Я до боли стискиваю зубы, чтобы сохранять неподвижность. Моя сорочка маняще белеет в одном шаге от меня. Я бросаю на нее взгляд, как изнывающий от жажды странник. Схватить и бежать. Или прикрыться. Прижать матерчатый ком внизу живота. Но тут она прикасается ко мне. Я знал, что рано или поздно это произойдет, и все же ошеломлен. Кожа тянется, отторгает. Она гладит меня по спине, опускает руку между лопаток, будто с обратной стороны желает коснуться сердца. Это как первая ледяная капля. Она срывается с небес и катится за воротник. По телу пробегает дрожь. Но с этим ничего не поделаешь. Каплю уже не изгнать, остается только смириться, ибо за этой каплей последуют другие. Я чувствую, как она подходит ближе, жесткое кружево царапает спину, дыхание обжигает. Она перебирает и мнет мои волосы, как уже делала это однажды. Я все еще пытаюсь отрешиться от суждений, стереть все краски. Это всего лишь прикосновение рта, это чьи-то губы. Безличные, не обремененные именем. Я не должен называть имя, не должен вспоминать. Мне нельзя. Я могу вспомнить, что это она убила Мадлен; что это по ее вине мой сын вышел из утробы матери кровавым ломтем, посиневшим и безжизненным, что это по ее прихоти наложенные щипцы разломали хрупкий младен-

ческий череп и надвинули одну кость на другую; что это по ее приказу рука старого священника неестественно вывернулась, вопреки суставу, кожа тонкими желтыми лепестками цеплялась за мостовую, отделяясь от старческой плоти, а лицо с открытым ртом, уже разорванным, полным кровавой пены, билось о дорожные камни. Мне достаточно чуть скосить глаза, и я вспомню, я увижу, как все происходило. Потому что они здесь, среди этих теней. Пламя розовой витой свечи танцует на позолоте, отражаясь в хрустальном излишке, в перламутровой росписи бокалов, в зеркальной глубине над камином. В этой пляске они движутся и смотрят на меня. Они видят руки их убийцы на моем теле, ее прижавшиеся ко мне губы, ее жаркий и жадный язык. Ее пальцы, беглые, без тени робости и смущения, от прикосновений бросает в дрожь.

Я слышу шелест и скрип шелка. Торопливо вдыхаю, как ныряльщик, который на мгновение высунул голову из-под воды. А потом снова ожог и круговерть в глазах. Прежде были только ее руки, умелые, бесцеремонные, я научился наблюдать за ними, сводя все внимание лишь к механике и отменяя чувства. Но здесь мой рассудок дает сбой. Я чувствую два полушария женской груди, упершихся мне в спину. Тело внезапно разогревается, будто из самого ада в него влетает сладостный уголек. И уголек этот разгорается, и огонь течет по жилам. Это как пожар, который невозможно остановить. Огонь перебегает с одного предмета на другой, взлетает

под потолок, рушит, уничтожает. Сделать уже ничего нельзя. Только беспомощно наблюдать, сокрушаться и воздевать руки. Меня накрывает волной. Раздирает на части. Я больше не единое существо, я нечто другое, из меня вынули душу, изменив ее качество на ярость. Эта ярость всплывает, поднимается, спешит по запутанным переходам наверх, бьется от нетерпения в упругие стенки. Безумная, животная ярость плоти. От меня прошлого остается только жалкий страдающий обломок. Она целует меня в губы, и мне это нравится. Я хочу, чтобы она продолжала. А себя ненавижу. Презираю так отчаянно, что судорогой сводит челюсть. Ликующий хохот и скорбный плач. Мокрая пасть и застывшее лицо ангела. Я на эшафоте – четвертуемый. Палач подхлестывает лошадей, и они тянут, тянут с ужасающей силой.

– Пойдем в спальню, – шепчет она.

Да, это она. Она, погонщик и палач... Ее рот вновь на моих губах, она раздвигает их, будто края запекшейся раны. Прикусывает зубами, и боль внезапно становится благословением. Я понимаю, что происходит, рассудок возвращается. Пожар продолжает бушевать, стихия неукротима, но я способен видеть. Моя душа цепляется за острый уступ над озером огня и печально взирает на грехопадение. Ей удалось вырваться из самого пекла, она избавлена от постыдного, животного растворения. Я должен что-то сделать, что-то сказать... Герцогиня вновь толкает язык мне в рот, но я сжимаю зубы. Она тут же отстраняется. Я сглатываю ком. Эта

глыба пережимает голосовые связки, заполняет легкие и гор-
тань. Нужно вспомнить, как из воздуха складываются слова.

– Моя дочь... – Мне все же удается.

Она не понимает. Глаза пустые, в них пляшет тот же
огонь. Она давно ничего не помнит. Я пытаюсь объяснить.

– Моя дочь, Мария... Она осталась там, в доме еписко-
па...

Ее зрачки расширены. Сейчас ее веки утратили свою
неподвижность и вздернуты вверх. Рот растянут в странной
улыбке. Она опять ничего не понимает, тянется к моим гу-
бам. Но я дерзко уклоняюсь, и она утыкается в щеку.

– Я ничего не знаю о ней. Вот уже больше двух недель?..

– И что с того? Какое мне до этого дело?..

– Она моя дочь.

– Какая еще дочь?..

Но моя сила растет. Когда первый шаг уже сделан, идти
вперед легче.

– Я хочу знать, что с ней.

Мой голос окреп.

– А я хочу тебя, сейчас...

Она вновь ловит мои губы, но я отворачиваюсь, уклоня-
юсь на едва уловимые дюймы, замираю от собственной дер-
зости.

– Умоляю, позвольте мне узнать, что с ней, не голодна
ли... она совсем маленькая.

И тут она вспоминает. Тут же хмурится, недоумевает.

Кривит рот. «Как же это все некстати...»

– Поговорим об этом после, – отвечает она и для пущей убедительности опускает руку мне между ног.

Но я удерживаю ее за запястье. Я знаю, что рискую. Осмелился противостоять ее воле. Я на узком мостике над пропастью. Так ли велика ее жажда?

– Это единственная милость, о которой я прошу вас.

Я готов умолять. Готов скулить и жаться к ее ногам. Готов продать свою душу. Я уже погиб. Я проклят. Так пусть же моя гибель не будет напрасной. Пусть искупит невинную душу.

Она меняется в лице. Облачко меж бровей тает. И она улыбается. Почти с участием смотрит в лицо. Шепчет с придыханием, мягко:

– Что ж, если это так необходимо... Я обещаю. И я верю. Разве у меня есть выбор? Гладиатор с арены взывает к императору. Я преодолел вяжущий страх раба и вырвал у нее обещание.

– Завтра же ты все узнаешь, мой мальчик.

Она заводит глаза, по-кошачьи прищелкивая языком. Ей не терпится. Она даже забывает про спальню. Укладывает меня на брошенную у камина шкуру. Но действовать не спешит. Ей все еще нравится смотреть. Она затягивает преамбулу и наслаждается. Возможно, для нее это и есть высшее блаженство, не сам акт обладания, а безусловная возможность. Власть. Она склоняется надо мной, а я повержен и

открыт. Я не любовник у ног красивой женщины, я ценный артефакт. Подстреленный фазан на столе чучельника. Мне холодно и стыдно. Герцогиня длит и длит муку. Боже милостивый... Пускает по капле кровь. Снова раздувает огонь. Я чувствую ее тело, прохладное, длинное. Она почти одного со мной роста. Упирается в меня коленями и локтями. Локти у нее острые. Плоть беснуется. Болезненный спазм внизу живота. Кровь ударяет глухо и размеренно. Ей нравится меня дразнить. Еще одно доказательство ее могущества. Ей кажется, что она уже владеет мной изнутри, что я, как обезумевший пес, уже готов нестись с лаем по звериному следу, что мое отступничество уже свершилось.

Я знал, что это неизбежно, но, когда это происходит, едва сдерживаюсь, чтобы не вывернуться и не сбросить ее. Горячо, отвратительно и сладко. Она сжимает меня своими бедрами и прислушивается. Гонится за призраком нетерпения. Я должен пошевелиться, подать знак. Но я не шевелюсь, хотя кровь в венах, будто жидкий огонь. Надо мной ее грудь, белая, тяжелая. Но это не грудь женщины, это атрибут власти, ее орудие. Я закрываю глаза, потому что ее лицо приближается, она не прекращает своих наблюдений.

Я чувствую содрогания и рывки. Иногда это смешивается с болью, но она того и добивается. Чтобы я страдал и наслаждался вопреки этому страданию, чтобы трепетал и бился в объятиях палача. Мои руки она заводит мне за голову и намеренно давит на израненные запястья. Вбивает гвозди

в крест сладострастия. Не могу сдержать стоны. Для нее это знак. Последний, краеугольный. Она двигается быстро, беспорядочно, с хрипом, закидывая голову. Скалит зубы, совершает рывки то вправо, то влево. Я переживаю это короткое помешательство как порыв ветра с дождем. Чувствую, какой она становится жесткой и обжигающе горячей. Она спотыкается, как лошадь посреди размашистой рыси, и вдруг внутри нее что-то происходит, неведомое мне, древнее. Она вытягивается, костенеет и вдруг падает. Скатывается с меня и замирает.

Глава 14

Ей показалось, что она лишилась чувств, но в действительности она мгновенно уснула. Повалилась на бок, как обезглавленный на плахе преступник. Сколько продолжалось ее беспмятство, она не знала. Или это все-таки был сон? У нее были видения, расплывчатые, необъяснимые. Она видела своего отца. Короля, но в ее сне он не был королем. В ее сне он брел среди толпы нищих и был оборван, грязен, как и они. Потом она смотрела на них издалека. Это была нескончаемая вереница нищих. Она уходила за горизонт. Все эти двуногие существа брели куда-то, без цели, без времени. Серая, без единой травинки, почва. И такое же серое небо. Где она?

* * *

Она спит. Лежит рядом, скорчившись, поджав ноги, и спит. Вот так просто... Чего ей опасаться? Я даже не любовник, я вещь. Одна ее рука поперек моей груди, щека на моей ключице.левой рукой мне достаточно надавить ей на затылок. Она совершенно беззащитна, голая и сонная. Безжалостная, высокомерная женщина. Она так меня презирует, что не считает нужным стыдиться или бояться. Будь я сыном графа, она не позволила бы себе такую беспечность. А тако-

му как я можно сладко дышать в шею, навалившись грудью и вжимая колено в пах. Я чувствую тяжесть и боль. Внутри меня кровь все еще бежит по горячему кольцу. Кипящий котелок заперт и забыт на огне. Сверху огромный камень. Я даже не пытаюсь сдвинуть его, чтобы привести пытку к желанной развязке. Я не хочу этой развязки. Да и не могу. Огонь пожирает сам себя. Угли медленно выгорают, источая мучительный жар. Оказывается, плоть не так уж и всемогуща. Отступает перед терзанием духа. Я слишком взволнован. Натянут как струна. И еще... не хочу.

Это так же невыносимо, как терзания голода. Это тот же голод. Только другой. Тот медленный, осторожный, подкрадывается и душит, как змея, а этот жгучий и быстрый, как ястреб. Оба противника сильны и безжалостны, оба сулят освобождение, и оба лгут. За пресыщением неизменно следует расплата. Стоит лишь проглотить кусок, как уже жалеешь об этом. Стоит лишь поддаться соблазну... Но дьявол силен в своих силлогизмах. Он напомним, что жизнь – это страдание, что земля есть юдоль слез, что само рождение – это мука, что каждый шаг – испытание, что каждый день полон трудов и лишений... Во имя чего страдать? Чем уравновесить то страшное бремя, что Господь лукавой милостью своей взваливает нам на плечи? Как разбавить кровавую горечь? Наслаждение – плотское, чувственное. Вот единственный исход, единственная награда. И так сладостно с ним согласиться...

Пусть так, я сам виноват... Я сам во всем виноват.

Она шевельнулась и тут же села. Смотрит на меня почти испуганно. Думает о том же, о чем и я. Голая в объятиях убийцы.

– Я не убил вас, ваше высочество. В ее глазах даже интерес. Эта вещь обладает незаурядными свойствами!

– Почему?

По законам ее мира я обязан был это сделать. Око за око. Зуб за зуб. *Lex talionis*¹⁵. Мне представился случай, и глупо было бы упускать. Она бы именно так и поступила. А затем присвоила бы себе славу Юдифи. Но как объяснить свое бездействие мне, мужчине? Поведать о том, что убивать сонную, беззащитную женщину, пусть нежеланную и нелюбимую, но которая только что была с тобой близка и так беспечно прикорнула у тебя на плече, по меньшей мере, бесчестно? Или рассказать ей, что осуществленная месть, при всей видимости правосудия и справедливости, замыкает круг зла? Она не поймет. Ее это скорее позабавит. Поэтому я выбираю версию с явно читаемой корыстью.

– Меня казнят. Моя дочь останется сиротой.

В благодарность она удостоивает меня благодушного шлепка.

– Пойдем в спальню. Ты совсем замерз.

Мне действительно холодно. Ступни, икры окоченели и затекли. Я не могу сдерживать дрожь. Это неслыханное вели-

¹⁵ Закон воздаяния.

кодушие, что она наконец разрешает мне подняться. Все это время я будто лежал на острых камнях, но внешнего ущерба нет. Когда я оказываюсь в круге света, она кидает на меня одобрителный взгляд. Вещь ее не разочаровала. Сама она наготы не стесняется, полагая, что и стыдливость в моем присутствии только излишество. Тело у нее белое, длинное. Я стараюсь смотреть поверх ее головы или не опускать взгляд ниже ее подбородка. Но мужская природа берет свое. Мой взгляд липнет к ее туманной, шелковистой коже. Я его отдираю, тащу вверх или упираю в ковер под ногами, но все равно ее вижу. Вижу ее грудь, высокую, с темными сосками, вижу ее бедра, которыми она только что меня сжимала, вижу гладкие колени и узкие ступни. У нее красивое тело, точное, без единого волоска. Не тело, а греховный морок. У меня вновь перехватывает горло. Вновь разливается жар.

Она приводит меня в спальню. На плафоне – ворох обнаженных тел. Боги хмуро косятся. Посреди комнаты кровать, огромная, высокая, как гробница. Я в ужасе смотрю на это сооружение. Но герцогиня повелительно кивает. Я ложусь и вздрагиваю. Простыни холодные. Жесткое, накрахмаленное шитье.

– А ты меня обманул, маленький притворщик.

О чем это она? Обманул? Как?

– Позволил собой воспользоваться, а сам ускользнул. Участвовать не пожелал? Для тебя это грех – разделить удовольствие с убийцей? Отвечай!

Мне нечего ей сказать. Она права.

– Ах ты, упрямец, вот что ты задумал... Ей смешно. Она принимает это за игру, своего рода кокетство. Я отказываю ей в ее естественном праве. Нарушаю все мыслимые законы. Ее это возбуждает. Она хочет знать, почему и как такое возможно. Придвигается ближе, прикасается ко мне. Она верит – если вынудит меня к плотской радости, то замкнет цепь на моем сердце. Сделает меня соучастником. Жажда ее утолена, но ей нужны доказательства. Дождь изливается на землю, солнце источает жар, а мужчина исходит похотью.

На этот раз она даже ласкает меня. Медленно, с отяжкой. Огонь снова разгорается. Вспыхивает из-под угольной пыли. Я бы и рад подчиниться, свалиться в огненную яму, только бы прекратить эту муку. Но не могу. Узел крепок, хватка стыда и отчаяния не слабеет. А она раздувает и раздувает пламя. Спазм внутри все туже. Чем настойчивей ее ласки, тем упорней я сопротивляюсь. Сжимаюсь так, будто готов обратиться в пылающую точку. Но она преследует меня, проникает в мое убежище, дразнит языком.

– Ну, нет, такое красивое тело заслуживает награды...

Она не остановится. Будет тащить меня дальше. Ей нужна победа. Любой ценой. Она должна выиграть, должна доказать и мне, и себе, что по-другому и быть не может, что плоть моя греховна, а ее власть безгранична. Я уже не понимаю, что происходит, где она, а где я... Тряска, судороги, стоны... У нее как будто тысяча рук, они умелы, ловки, изысканны.

Ее пальцы проникают под кожу, прорастают все глубже. Им нужно добраться туда, где еще тлеет робкая искорка, где прячется душа, захватить ее и раздавить. Этот огонек – единственное, что осталось во мне человеческого, там еще звучит голос Бога, там свет. Пот заливает мне глаза, пузырями выступает на коже. Она пьет мое дыхание. А язык, утончаясь, обретает невероятную длину и гибкость, заполняет мой рот и горло. Я задыхаюсь. Внезапно она перестает двигаться, и я слышу стон у самого уха. Она падает и тянет меня за собой. Требуется разделить с ней эту минуту. Но я уже не в силах ответить. Я одеревенел, мое тело – бесчувственный, неживой обрубок. Я не могу пошевелиться. Ее дыхание выравнивается. Что же дальше? Я ей больше не нужен. Обратился в бесполезный, чужой предмет. Но она не отступает. Наклоняется и шепчет.

– Теперь твоя очередь, мой сладкий. Ты меня не разочаровал, так не останавливайся. Ты должен разделить это со мной. Должен! Я так хочу! Ты должен! Должен!

Нет, не надо... Я не могу, я ничего не чувствую. Даже если б мог... Она снова двигается. Резко и часто. Но это уже работа, нудная, тяжкая. Она совершает ее машинально, из одного азарта, с отвращением. Она ненавидит меня. Горькая участь погонщика. Бич режет ладонь. Надо поднимать его вновь и вновь, гнать вперед упрямую скотину. Нет ничего, кроме жара и боли. Я готов сдаться, я капитулировал, изо всех сил тяну лямку, именно так, как она хочет. Я устал. Но

она подгоняет.

– Быстрее, ну же! Не пытайся остановиться. Двигайся.

И я двигаюсь, я пытаюсь ей угодить. Ей больно так же, как и мне. Она удерживает меня, словно раскаленный, сжигающий изнутри брусок. Готова бросить, но не желает отступить. Но мне уже все равно. Загнанный конь пал на колени, и никакими ударами его уже не поднять. Мой погонщик в таком же изнеможении. Тело сотрясает дрожь. Мне холодно. Я жду удара, но она не шевелится, только дыхание хриплое и прерывистое. Но я знаю – она в ярости. И желает мстить. Пнуть меня коленом, чтоб задохнулся от боли. Я пытаюсь лечь на бок, как-то защититься. Ее глаза пылают, как угли. Но она не поднимается, даже не шевелится, только выталкивает слова, будто промокший от слюны кляп.

– Убирайся! Пошел вон!

Это почти царская милость. Ноги не слушаются, дрожат. Я выбираюсь из спальни на ощупь, в темноте. Спотыкаюсь, но дверь нахожу. Там, в гостиной, все еще горят свечи. Моя одежда по-прежнему на полу. Я торопливо одеваюсь, пытаюсь унять дрожь. Пальцы исполняют замысловатый танец. Чужой, непривычный облик, чужая одежда, и кожа чужая. Нахожу дверь и пытаюсь бежать. За дверью – лакей и двое пажей. Черно-серебристые ливреи, стриженные еще детские головы. Один из них проснулся и теперь косится на меня. Я в нерешительности. Поднимет ли он шум и вернет меня обратно? Но он поворачивается на другой бок, кулаком пихает

свернутый в узел плащ. Я прохожу мимо и открываю следующую дверь.

За ней темно, и куда идти, я не знаю. Где-то расположена та комната, где я провел предшествующий день. Где-то за переходами и лестничным пролетом. При дневном свете или с фонарем я бы ее нашел. Но в этой крошечной тьме, на подгибающихся ногах, с мыслями, что мечутся, будто разъяренные осы, я не в силах даже направление угадать. Да и не тревожит меня это. Я просто хочу бежать, бежать как можно дальше от своего стыда. Утыкаюсь в другую дверь, сворачиваю. Пересекаю зал с лунными пятнами на полу. За ним попадаю в длинную галерею с высокими окнами. От луны белесые лужи. Я вижу глубокие ниши с темными фигурами. Страшные безглазые статуи. Сатиры и нимфы. Они взирают на жалкого дрожащего смертного. А я торопливо перебегаю от одного лунного пятна к другому. Тени шевелятся под ногами, и на миг я воображаю, что обитатели этих ниш сейчас сойдут вниз и будут преследовать меня, осквернителя их покоя. Башмаки мне велики, мне неудобно, и я подволакиваю ногу. Пересекаю галерею и дергаю дверь. Заперто. Дальше мне не уйти. Тогда обратно? Прислонившись спиной к запертой двери, я смотрю в пустоту. Противоположный конец галереи тонет во мраке. Я вглядываюсь в него, будто ожидаю преследователей. Вот сейчас из пустоты выступят клубящиеся фигуры. Вот послышатся голоса. Но никого нет. Тихо. У стены, рядом с ближайшей нишей, – скамья. Вероятно, я мог

бы спросить дорогу у пажей или у лакея. Стоило лишь тронуть кого-нибудь за плечо. Но они будут смотреть на меня. Взгляд такой понимающий. Одежда в беспорядке... Только что из ее спальни. Новая хозяйская забава. Видно, не угодил... Или сложением не вышел. Презрение и жалость. Нет, этого мне не вынести. Стыдно. Тогда я останусь здесь. Взираюсь с ногами на скамью. Сворачиваюсь, корчусь. Так теплее. В галерее сквозняки. Скамья из полированного дерева, холодная, жесткая. Никак не согреться. Мне некуда бежать, и у меня нет выбора. К сердцу подкатывает тоска.

Глава 15

Почему его назвали безродным? Почему уличили в низком происхождении? Правильней было бы признать его происхождение неразгаданным, ибо родители его неизвестны. Геро сирота, подкидыш. По наведенным ею справкам первые годы своей жизни он провел в приюте, с такими же безродными, безымянными сиротами, как и он сам. Однако сиротство вовсе не означает низость крови.

* * *

Кричать или молчать, разницы нет. Никто не услышит. Умирать надо молча. Со смирением и готовностью, так, как это делают бессловесные твари. Мир дарует жизнь, мир ее отнимает. Естественный ход событий.

Я понял это давно, еще тогда, когда замерзал на ступенях церкви Св. Евстахия. Мне было девять лет. Я сбежал от своих хозяев. То, что было до них, я помню смутно. Череду зыбких дней и ночей. Приют некой мадам Гранвиль. Она была вдовой кондитера и после смерти мужа содержала что-то вроде пансиона для сирот. На каждого ребенка ей выплачивалось скудное содержание из монастырской или городской казны. Хватало на водянистое молоко, жидкий суп и кое-какую одежду. Иногда перепадало немного овощей и кусок жи-

листоного мяса. Сирот на ее попечении было около двадцати, но после длинной зимы и весенней оттепели число их обычно сокращалось. Впрочем, ненадолго. Париж не знал недостатка в сиротах.

Несмотря на то, что наша благодетельница была вдовой кондитера, о сладостях мы имели смутное представление. Не пробовали, но знали, как они выглядят. На другой стороне улицы была кондитерская дальнего родственника этой вдовы. В витрине этой кондитерской я видел сладости. Помню, я часами простаивал перед этой витриной. Там переливалась всеми цветами радуги сахарная глазурь. Крошечные пирожные с кремовым шаром и ореховой крошкой. Они представлялись мне пищей неведомых могущественных существ. Где-то они обитали, эти счастливые существа, где-то рядом с Богом... Впрочем, о Боге представление тоже было смутным.

Местный кюре обещал, что Бог непременно всех нас накажет. И Бог представлялся мне в образе хозяина мясной лавки с огромным окровавленным тесаком. Этот мясник был огромного роста, широкоплеч, с красным лицом и хваткими жилистыми руками. Я видел однажды, как он ухватил за шиворот щупленького подростка, сделавшего попытку стянуть с прилавка связку кишок.

– Не укради! – громогласно возопил мясник, с хрустом выворачивая мальчишечью руку.

– Грех! – многозначительно подытожил кюре.

И я тут же представил Бога. Он хватает грешников, затем отрывает им руки и ноги. Когда видел на улице увечного попрошайку, безногого, безрукого, без глаза или с обрезанными ушами, то сразу понимал – грешник! Его Бог покарал. Он что-то украл или не был почтителен к старшим, молитву вовремя не прочитал, к мессе не явился, монаху милостыню не подал, господину не поклонился или еще того хуже – выпрашивал кусок сыра! Господь наш сорок дней в пустыне постился, крошки хлеба не вкушал, воды не пил, а мы – дети Сатаны, плоды греха – только о том и думаем, как бы животы набить. Я плохо понимал, о чем нам толкует по воскресеньям кюре, есть очень хотелось, но одно уразумел: я – грешник. В чем моя вина и каков мой грех, я не знал, мал слишком, чтобы искать ответы, просто чувствовал – виноват. Грязен, ущербен и плох. Есть те, кого Бог привечает, а есть те, кого отвергает. Вот я среди вторых. Задумка дьявола. Я смирился с этим и не задавал вопросов, да и не умел их задавать. Только иногда по ночам к сердцу подкатывала тоска, и я плакал от странной, узаконенной несправедливости. Вокруг пустота. Она населена людьми, но ты для них как будто невидим. И твой голос никто не слышит. Хотя ты можешь кричать. Но это не поможет. Тебе прикажут молчать. Или в наказание запрут в чулан. Объявят упрямым и капризным. А если и дальше будешь хныкать, то лишат того скудного, пресного обеда, что дает тебе силы. А еще тебя выставят босым под морозящий дождь, и там ты будешь просить прощения и ка-

ваться. В чем? Это не имеет значения. Ты доставляешь хлопоты. Ты – бремя.

Когда мне исполнилось восемь лет, выплаты на сирот внезапно прекратились. Позже отец Мартин рассказал мне, что случилось это по причине убийства маршала д'Анкра и ареста его жены Элеоноры Галигай. Молочная сестра королевы-матери время от времени делала пожертвования монастырям и приютам. А некоторым пансионатам, что принадлежали частным владельцам, она даже учредила что-то вроде ренты или пенсии. На каждого подкидыша выплачивалась определенная сумма. Половину суммы владелица оставляла себе за труды, а из другой половины оплачивала скудный рацион воспитанника. Но маршалышу отдали под суд, и выплаты прекратились. На следующий же день наша благодетельница снарядила одного из нас и увела с собой. На следующее утро повторилось то же самое. Еще один воспитанник исчез. Мы не знали, куда. Ушедшие с ней более не возвращались. Оставшиеся угрюмо теснились на лежанках, укрывались тряпьем, тихо всхлипывали. По детскому невежеству своему мы не воображали ее скидывающей маленькие тела в Сену, но нам было страшно. Что-то неведомое, темное клубилось по ту сторону ворот.

Вскоре настал и мой черед. Мадам Гранвиль поправила мою курточку и пригладила волосы. Уже давно эта буйная поросль вызывала у нее раздражение. Волосы падали мне на глаза, и она утверждала, что я похож на волчонка. Я не знал,

кто такой волчонок, но определил, что это нечто плохое. Однажды она схватила ножницы и, зажав меня между коленями, оставила бугристый, с проплешинами ежик. Волосы вновь отросли. Но на этот раз она не стала их стричь. Ограничилась тем, что провела мокрой рукой и согнала непослушную прядь со лба. Чтобы не смотрел, как звереныш. Затем взяла меня за руку и увела. Я не испытывал сожаления, но все же напоследок оглянулся. Это место, полутемное жилище, неприветливое, мрачное, стало источником моих первых воспоминаний. Там я мог укрыться от холода, там произнес свои первые слова. Там было что-то похожее на дружбу. А теперь я уходил и не знал, что ждет меня впереди.

Мадам Гранвиль привела меня на улицу Шардонне, к большому постоялому двору. Он принадлежал кому-то из ее дальних родственников.

Хозяина звали Эсташ. Слуг и служанок у него было достаточно, но нужен был кто-то еще, на совсем уж черную работу, желательно мальчишка, сирота. Месье Эсташ вовсе не напоминал того жилистого мясника, чью внешность я приписывал Богу, напротив, был тщедушен и мал ростом, но мне он показался гораздо более опасным. Мясник потрясал тесаком и угрожал, а этот мог, не произнося ни слова, убить.

Конечно, такие выводы я сделал гораздо позже, уже взрослым, а тогда я просто дрожал. За мою жизнь мадам Гранвиль получила несколько су. И расписку. Месье Эсташ стал моим господином. Моим первым владельцем.

Я работал – днем, ночью, вечером, утром. Трактир был большой, посетителей много. Иногда день и ночь менялись местами. Если я падал от усталости, любой из слуг мог пинком разбудить меня и послать за водой или на кухню. Я чистил овощи, щипал птицу, сгребал потроха, выносил помои, по десять раз на дню спускался в погреб, таскал тяжеленные бутылки с вином и уксусом, перебирал рис и бобы. И еще я постоянно таскал воду. Много воды. Вода требовалась на кухню, для мытья глиняных горшков, для чистки посуды, для приготовления супа, для привередливых гостей, для капризной хозяйки, для прачки и еще много для чего. Я таскал и таскал эту проклятую воду, по ведру в каждой руке, сползая по мостовой к набережной, сбивая колени и ломая спину. Иногда на обратном пути у меня подгибались ноги, и я падал, опрокидывая на себя ведра. Промокший до нитки, я поднимался и возвращался на набережную. За водой. Без нее я не мог вернуться. Без нее меня ждали поломанные ребра и голодная ночь в чулане. Меня запирали в нем вместе со старой утварью. Первые несколько ночей я спал на голом полу, а затем кто-то из сердобольных служанок бросил мне несколько старых, побитых молюю юбок и дырявый капор. Зимой я мерз, летом задыхался. От усталости не разгибались пальцы, от голода сводило живот. Но я не умер, я выжил. И как-то даже окреп. Для хозяина я по-прежнему оставался мелким домашним животным, но прачка время от времени гладила меня по щеке, служанка, столкнувшись со мной, совала в ру-

ку яблоко, кухарка приберегала кусок пирога, и даже хозяйка, мадам Эсташ, заметив как-то, что у меня красивые глаза, сказала, что если меня отмыть, я мог бы прислуживать за столом.

А потом случилось это. Меня заметил хозяин. Прежде я был словно невидимка, часть кухонной утвари, старательный, безотказный, он бы и в лицо меня не узнал, поинтересуйся кто, тот ли это мальчишка, что воду таскает. Но тут он спустился на кухню, когда там, по редкой случайности, было тихо. Поварята гурьбой высыпали во двор птицу щипать. Повар с кухаркой осматривали битых гусей, а служанки судачили с зеленщиком и помощником пекаря. Я остался один над мешком белого редиса, с которого обдираю ботву. От томящихся соусов и кипящих супов было душно. Я стянул куртку и поминутно вытирал со лба пот. Ныла спина. На минуту я прислонился к высокой плетеной корзине, чтобы передохнуть. Ладони стали зелеными и кое-где саднили. Похоже, я задремал. Но тут же проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. На пороге стоял хозяин и смотрел на меня. Внутри все оборвалось. Я торопливо стал выхватывать из мешка белые землястые корнеплоды и выверенным движением обрывать листья. Он перешагнул порог и приблизился. Я внутренне напрягся. Сейчас он ударит меня. Я позволил себе заснуть. Я бездельничал. Предметов, дабы произвести экзекуцию, было в избытке. Соусные ложки, черпаки, скалки, каминные щипцы. Он ударит меня тем, что окажется ближе. Я

невольню повел плечом и хотел уже закрыть лицо руками. Но он меня не ударил. Только приблизился. От его суконного передника пахло чем-то кислым. Я видел пятна на порыжевших башмаках. Этот человек за весь год моего пребывания в его гостинице и работы на него не сказал мне ни единого слова, а я безумно его боялся. Вдруг он взял меня за подбородок и заставил поднять голову. И потянул еще выше, вынудив встать. Я зажмурился. Чувствовал только холодные, сухие пальцы, что впивались мне в кожу. Сердце бешено колотилось, и в груди стало пусто. Вдруг он меня отпустил и ушел.

Я еще некоторое время стоял, оцепенев, а затем едва не повалился на корзину, из которой торчали зеленые побеги проросшего лука. Вернулись, гогоча и переругиваясь, повара. В руках у каждого по розовой голенастой тушке. На меня даже не взглянули, но я все же предпочел вернуться к редису. До самого вечера все шло как обычно. Я бегал взад и вперед, выполняя мелкие поручения, которые с наплывом постояльцев сыпались на меня со всех сторон, получал тычки, затрецины, оборачивался на голоса. Спотыкался и падал. Только далеко за полночь, когда постояльцы окончили ужин, мне удалось оказаться в своей камерке и наконец упасть. А упасть для меня означало уснуть. Иногда мне казалось, что я и не сплю вовсе, так быстро пролетали эти несколько часов. С первыми лучами солнца громыхали бидоны молочника. Я просыпался и бежал во двор, чтобы по-

мочь кухарке стащить эти огромные емкости с шаткой телеги. Закрыв глаза, а открыл уже перед бидоном с молоком. А момент провала в сон и вовсе от меня ускользал. Я засыпал, еще не коснувшись своего жалкого тряпичного ложа. В ту ночь я так же провалился в сон, но разбудил меня не грохот бидонов. В темноте на меня кто-то навалился...

Кто-то огромный, душный поворачивал меня лицом вниз, больно давил на затылок. Я уловил опасность не разумом – телом. Я был слишком мал, чтобы понимать или рассуждать. Разум еще не проснулся, а тело уже стянуло в дугу. Спасаться. Бежать. Страх будто наполнил меня воздухом и швырнул вверх. Страх подсказывал, что делать. Я изогнулся так, что зубами смог дотянуться до навалившегося врага. Это было плечо под холщовой рубашкой. Знакомый кислый запах. Я вцепился, как волчонок, с которым меня так часто сравнивали. Нападавший взвыл и отпустил меня, но в следующий миг я получил удар в переносицу. Из глаз посыпались искры, я откатился в сторону, но сознания не потерял. Наоборот, боль усилила страх. Я не знал, что нападавший хочет от меня, но то, что это угрожает моей жизни, не сомневался. Темная фигура надвинулась. Сквозь слуховое окно проникал свет, я видел растопыренные пальцы. Он надвигался, путь к бегству был отрезан. Я перебирал по земляному полу руками и ногами – отползал к стене. Вдруг ладонь легла на нечто круглое и шершавое. Жесткий, увядший плод. Репа или брюква. В этом чулане иногда хранили мешки с овоща-

ми. Я схватил шар и бросил в надвигающегося врага. Швырнул отчаянным, звериным броском. Попал. Он опять взвыл и схватился за голову. Потом забулькал, заскулил и уже не пытался приблизиться. Подскакивал и бил ногами. Глухо урчал и взвизгивал. Увернувшись, я зацепил несколько составленных друг на друга глиняных горшков. Они рухнули с оглушительным грохотом. И тут же где-то рядом послышались голоса: «Пожар! Грабят!» Сразу все заворочались, застучали. Наверху бухнула дверь. Нападавший сразу отступил. Он шептал что-то многообещающе мерзкое. Голос в темноте, как клетот. Снова дохнуло кислым, и тут я узнал его. Хозяин! А кислый запах – от его старого кафтана в пятнах мясного соуса. Этот кафтан был очень старым, в жирных разводах, но хозяин никак не мог с ним расстаться. Чего бы он ни надевал под этот кафтан, даже новую сорочку, все мгновенно пропитывалось этим гнилостным, жирным запахом. Я укусил хозяина. Я ударил его. Но что он от меня хотел? Я не знал. Почему он спустился ночью из своей спальни в мой грязный чулан? Он хотел меня убить? Но если он хотел меня убить, он мог бы сделать это и днем. Мог взять плеть, трость, наконечник разливной ложки, кочергу и забить меня насмерть. Он заплатил за меня несколько монет. Он имел на это право. Что же он делал здесь? Впрочем, теперь он убьет меня наверняка. За дверью нарастал шум. Искали пожар.

Мне недолго осталось жить. Скоро рассвет. Я покосился на крошечное слуховое окно под потолком. Высоко... Но ме-

ня вел все тот же животный страх, который помогает кошке выбраться из горящего дома. Я подтащил из угла мешок с луком, взгромоздил на него большую плетеную корзину кверху дном, а затем взобрался на импровизированную лестницу. Это было несложно. Я так долго учился балансировать с двумя полными ведрами над обрывом набережной, что хватило двух коротких движений. Я даже сообразил выбросить в окно пару своих растоптанных сабо, которые падали с ног, но оберегали от заноз и уличной грязи. На шею я нацепил связку сушеных грибов, а за ней связку мелкого лука. С десятков таких связок было развешано по стенам моей каморки. В ушах прозвучал голос кюре: «Грех!», а когда выбрался на улицу, то даже втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас с небес протянется жилистая, волосатая рука и схватит меня за шиворот. Но это быстро прошло. К тому времени мне уже с трудом верилось в карающую длань Господа. Я столько раз видел, как воровство оставалось безнаказанным, что видение Страшного суда значительно потускнело. Кюре твердил о десяти заповедях, грозил вечными муками, а люди вокруг только тем и занимались, что опорожняли карманы ближнего. Слуги воровали у хозяина, хозяин обсчитывал постояльцев, постояльцы грабили друг друга. Однако Бог вовсе не спешил вмешаться и пустить в ход свою жилистую длань. А если нет, то чего бояться? И я поудобней расположил обе связки у себя на шее.

Я почти не бывал за пределами гостиницы. Единственное,

что я видел, так это набережная Вязов, куда я спускался за водой, и городской рынок. Кухарка время от времени брала меня с собой, чтобы на обратном пути я тащил корзину с пучками редиса и связками сельдерея. Иногда она навешивала мне на плечи полотняный мешок со свежее испеченным хлебом. Он был еще горячий и приятно грел спину. И запах был такой мучительно вкусный. У меня живот сводило от этого запаха. Я ни разу не пробовал этот хлеб, только помнил запах. Успевал заметить блестящую золотистую корку, когда уже на кухне сбрасывал мешок с плеч на солому и вытряхивал содержимое в большую корзину. Меня тут же выгоняли, и я уже не видел, что происходило с этим хлебом дальше. Но посещать рынок мне нравилось. Это единственное, что вносило некоторое разнообразие в череду нескончаемых ведер. Шум, гам, толчея, застрявшие повозки, красные лица, разинутые рты. Это давало пищу воображению, ибо ничем иным ему еще не доводилось питаться. Я смотрел на этих людей, потных, разгоряченных, таких разных и в чем-то фундаментально единых, пытался угадать, разведать, что там, по ту сторону их гремящей суеты. Я воображал их дома, их родителей, их детей, их повседневную жизнь, их тревоги. Все мои задумки не имели разительных отличий от уже известных мне картин, но я все же учился подмечать детали. Я запоминал и придумывал. Обрывок цветной материи представлялся мне таинственной картой. Незнакомое слово – ключом к этой карте. Было опасно и увлекательно. Мир был полон за-

гадок. Я, само собой, не задавал себе вопросов о страданиях и противоречиях, окружавших меня, я всего лишь смотрел. Картины, запахи, звуки. Вся эта круговерть указывала на неведомую мне прежде сложность окружающего мира, на долину, что лежала по ту сторону улиц. Я бы хотел увидеть эту долину, уже заглядывал в узкий, темный переулок, но тут кухарка окликнула меня, и с мечтами приходилось расстаться. Я плелся вслед за ней, волоча покупки, и грезил об одном – скинуть с плеч тянущую ношу и тайком поживиться куском черствого хлеба.

И вот я свободен. Я там, где давно хотел оказаться, и нет более стража, что велит мне повернуть обратно. Я избавлен от ведер с водой и жесткой, ранящей пальцы ботвы. Почему же мне так страшно? Мне страшнее, чем было прежде. Неизвестность пугает. Я наконец вышел за ворота, но едва жив от страха. Готов вернуться обратно и лечь к ногам хозяйина. Пусть бьет, пусть пинает ногами, только пусть не гонит сюда, в мир, где все незнакомо. С утра я бы вновь проснулся от грохота бидонов, привычно взялся бы за дужку ведра, под вечер мне бы достался кусок гренки или даже вываренный хрящ, а после ужина я бы свернулся в углу на своем дырявом ложе, и все повторилось бы сначала. Больно и тяжело, но знакомо. Куда же теперь? Где я найду приют и скудный ужин? Чем укроюсь от непогоды? Послышался шорох. Я заполз под прилавок. Там кучей была навалена солома. Гнили луковые очистки. Я забился в самый дальний угол, прижал-

ся спиной к дощатой перегородке. Опять шорох. С одной и с другой стороны. Я подумал, что это крысы, и у меня отлегло от сердца. Крыс я не боялся. Они были привычными, почти ручными. Я видел их марширующими в погребе, заставал в собственной каморке, иногда замечал перебегающими улицу. Нет, они были почти друзьями. Сметливые, ловкие, с черными блестящими глазками. У мэтра Эсташа им время от времени объявляли войну, брызгали ядом, сыпали отравленное зерно, но это не помогало. Они всегда возвращались. А одну из них я даже пытался приручить. Оставлял ей в углу сухие корочки сыра, которые подбирал в зале, где обедали постояльцы. И по вечерам, если оставались силы, угощал ее этим лакомством. Она даже приходила заранее и ждала меня. Воздевала к луне остроносую мордочку и принюхивалась. А потом она исчезла. Не пришла больше. Это случилось вскоре после того, как мадам Эсташ завела новую кошку. Вернее, кота. Огромного зверя с рыжими подпалинами. Его голода и ярости хватило, чтобы внести некоторое замешательство в ряды погребных крыс. Но кот тоже вскоре исчез. Полагаю, переоценил свои силы в неравной схватке. Крысы быстро учатся. На рынке их тоже много. Солома шуршала все громче. Маленькие ножки топотали. Вдруг шевельнулось нечто более объемное по весу. И шевельнулось совсем рядом. Это уже не крыса, это создание ростом с меня. Глаза мои уже привыкли к темноте, и я различил эту фигуру. Человек! Но небольшой. Мальчишка. Едва я подумал,

даже издал какой-то горловой звук, как он придвинулся ко мне. Большие настороженные глаза, волосы – свалывшийся колтун, личико треугольное, злое. Он сопел и подползал ко мне. И я вновь последовал совету не рассудка, а инстанции, мне совершенно неведомой, – снял с шеи связку грибов и протянул незнакомцу. Он на мгновение замер, обдумывая, затем схватил связку и обнюхал ее с той жадностью, с какой обнюхивала сырную корку моя знакомая крыса, распознав запах, сорвал подсушенный стручок и захрустел. Я смотрел на него с удивлением. Надо же! Даже мне не приходило в голову утолять голод сушеной приправой... А он ест. Вновь шорох. И ящерицей скользнула вторая тень. Еще один мальчишка. И потянулся к той же связке. За ним еще один.

Вскоре меня уже изучали три пары сверкающих глаз, а три голодных рта жевали шляпки, ножки и перечные стручки. В конце концов я отдал и вторую связку с луком. Не из страха – страх к тому времени давно сменился странным возбуждением, – а из какого-то неведомого мне прежде любопытства. Они были так похожи на меня, будто отражение, только еще более жалкие и потерянные. Руководствовался все тем же звериным разумом, что управляет нашим телом без участия мысли. И этот разум требовал расстаться с добычей.

Моя следующая жизнь была недолгой. Я мало что помню, ибо те несколько недель, которые я провел на улице, слились в игольчатый серый сгусток. Париж осаждала осень. Шли дожди. Под ногами хлюпала зловонная жижа. А трое моих зна-

комцев с рыночной площади оказались посланцами Двора Чудес.

Двор Чудес – это королевство воров. Остров проклятых, к берегам которого прибывает тех, кто утратил надежду. Вотчина Альби. Не прояви судьба милосердия, та же участь ожидала бы и меня – стать ночной тенью. Мой неожиданный проводник, такой же сирота, как и я, привел меня к своему наставнику. Я вдруг оказался в мире еще более сумрачном и смрадном, чем тот, где обитал прежде. Мне доводилось видеть попрошаек и нищих, замечать мрачные, сосредоточенные лица в толпе, оглядываться, уловившись о чей-то взгляд, но видеть этих ночных людей, согнанных в плотную, рычащую стаю, походило на те сны, что накрывали меня в самые тревожные ночи. Ярко горели костры, и люди в лохмотьях, в язвах, без рук, без ног неожиданно преображались. Слепые прозревали, безногие вставали, увечные смывали язвы. Потому и Двор Чудес. Я сам это видел. В первый же вечер, когда Томá, самый старший из моих проводников, привел меня к королю, я с ужасом и любопытством взирал на это превращение. Вот у слепца выкатились из-под век темные зрачки, и на меня уставились два здоровых глаза. Вот безрукий солдат, неловко подпрыгивая, высвободил свернутую за спиной руку. А безногий, сползая с тележки, вытянулся и уже блаженно потирал затекшие икры. Я засмотрелся и едва не упал. Томá пихнул меня. У костра сидел его наставник, хмурый худой мужчина. Томá кратко поведал о нашей встрече.

Мужчина кивнул и указал куда-то в угол, в нагромождение корзин. Там, на соломе, а то и вовсе на камнях, расположились с десятков мальчишек, старше и младше меня. На самой внушительной тряпичной куче возлежал подросток лет пятнадцати. Он окинул меня равнодушным взглядом, остальные тарасились злобно и недоверчиво. Все бледные, худые, невымытые, с блестящими голодными глазами. Я примостился на самом краю старого полотнища, но кто-то выдернул его из-под меня, и я оказался на земле. Раздался хохот. Поднявшись, я попытался сесть на сломанную корзину, но корзину кто-то выбил ногой, и я вновь повалился на бок. Хохот. И вдруг я понял. Не словами, не разумом, а все тем же звериным сердцем – здесь будет то же самое. Спасения нет. Будут побои, голод и отчаяние. Однако совершить еще один побег я не решился. Не было сил.

Наставник, известный вор, обучал мальчишек своему ремеслу. Там, где ночью горел костер, утром появилось соломенное чучело в дырявом камзоле. Сверху донизу это подобие человека было увешано колокольчиками. В кармане камзола прятался кошелек, и кошелек этот полагалось извлечь, не потревожив крошечных стражей. Наставник поманил меня грязным узловатым пальцем и кивнул на чучело. Я в первое мгновение не понял, что означает этот кивок, боязливо косился на Тома. Втянул голову в плечи. Дабы внести ясность, наставник пнул меня ногой. Я приблизился к чучелу, взобрался на перевернутый бочонок и попытался нащупать

кошелек. Пытался вспомнить, где у постояльцев гостиницы находились карманы. Наконец мне показалось, что я установил его местонахождение, протянул руку и... ближайший колокольчик тут же предательски звякнул. Дружный хохот, гиканье, свист. Меня стащили с бочонка и кто-то, кажется, тот подросток, презрительно бросил: «Смотри, как надо, растяпа!» И я смотрел. У него действительно получилось. Тонкая мальчишеская рука, как змея, нырнула в карман, и в торжествующей тишине он предъявил наставнику свою добычу. Тот одобрительно буркнул, указал на меня и сказал, что Томá должен взять меня с собой, чтобы я смотрел и учился. Тот недовольно поморщился, но послушаться не посмел. После такого своеобразного урока ученики всегда отправлялись на промысел. Томá сказал, что, если я хочу есть, то я должен либо выпросить еду, либо украсть. Я сутки ничего не ел, и у меня в голове мутилось от голода. Само собой, я не смог ни выпросить, ни украсть. Первое было стыдно, а второе – страшно, несмотря на то, что товары валялись с повозок прямо на мостовую. Я стал думать, не переночевать ли мне вновь под одним из прилавков. На рыночной площади торговцы оставляли мятые, подгнившие овощи. Мне тогда и в голову не приходило, что это влажное богатство уже стало собственностью здешних нищих, и попытайся я приблизиться к этой куче, мне размозжили бы голову. Но благодаря Томá я избежал этой участи. Он нашел меня там, где оставил, в дверной нише на улице Тюрбиго, и увлек за собой. Но

прежде вытащил из-за пазухи еще теплый батон хлеба и отломил горбушку. Вернул долг. Кусок белого свежего хлеба. По всей видимости, он стащил этот батон прямо с прилавка. Я обеими руками ухватил кусок, вдохнул влажный, щекочущий аромат. Желудок едва не вытянулся до самого горла, обратившись в щупальце, но я не спешил. Я вдыхал и выдыхал, надкусывал, пробовал. Потом медленно жевал, и так же медленно, отслеживая собственное горло, глотал.

Пришло другое воспоминание, совсем свежее. Накрытый стол в гостиной. Фаршированный трюфелями фазан, плачущий сыр, прозрачный окорок. Все безвкусное, жесткое, будто из бумаги. А тот кусок из-под грязной рубашки, с запахом пота, я как будто ем до сих пор. Трапеза, сравнимая с пиршеством короля.

Но повториться ей было не суждено. На следующий день Томá был вновь отправлен за добычей, а я поплелся следом. В толпе на Гревской площади – там как раз зачитывали приговор двум мятежникам с Юга – я его потерял. И больше не видел. Тщетно я ждал его на нашем условленном месте у тумбы Нового моста, он так и не появился. Возможно, был схвачен за руку бдительным торговцем на площади и отдан стражникам или затоптан в толпе зевак. Стемнело. Я остался совсем один. Знакомство с Томá длилось чуть более двух суток, но за это время я нащупал связь с неким целым, пусть темным и смрадным, но частью которого я мог бы стать. Я уже не был гонимой песчинкой, я был опекаем. Обо мне за-

ботились, пусть даже таким странным, уродливым способом. Но эта связь вдруг оборвалась. Без Тома я не решился вернуться к королю Альби.

Оставалось брести куда глаза глядят. Вновь ночевал на рынке, прятался от дождя под сломанным прилавком. В соломе удалось найти размякшую репу. Но с утра голод погнал меня дальше. Я и раньше никогда не ел досыта, почти смирился с вечным ощущением пустоты в желудке, но теперь голод стал нестерпимым. И еще эти запахи. Я бродил по улицам, а из распахнутых окон ко мне стекались густые, жирные ароматы. Они будто целились в меня. Когда человек сыт, он, вероятно, не замечает этих запахов. Но когда его терзает голод, эти запахи заполняют вселенную. Они становятся основой, формируют предметы. Мир вокруг будто состоит из еды. Солнце – это огромный круг сыра, крыши – хлебные корки, потолочные балки – длинные маслянистые колбасы. Кружево – это пар над котелком с супом. Стекло – расплавленный сахар. Я заглядывал в окна и видел людей, сидящих за столом.

Около одного окна я задержался. Уютно горели свечи. Полная женщина в белом чепце разливала по мискам луковую похлебку. Мужу, старшему сыну, среднему, двум дочерям и, наконец, сухонькой старушке, сидевшей у самого края. Стук черпака о край оловянной супницы. Мерный ход наполняемых и осушаемых ложек. Я приподнялся на цыпочки, ухватился за оконную раму и зачарованно смотрел. Я

смотрел на мальчика со светлыми волосами, среднего сына, который был моим сверстником. Я будто пытался переселиться в него, влезть под его чистый суконный костюмчик и обжечь язык в этой густой, дымящейся жидкости. Вот я подношу ложку ко рту... вот губы мои охватывают круглое оловянное брюшко... вот зубы стучаются, а язык сметает кусочек мяса и волокна лука. Я держу этот нестерпимый жар во рту, а затем глотаю. И чувствую этот жар сначала в горле, а затем в благодарном желудке. Мое горло сократилось, я глотнул... Но ничего нет. Обманутый желудок дернулся, будто вскрикнул. Но оторваться я не мог, смотрел и смотрел. Кажется, так теплее. В комнате горел очаг, потрескивали дрова. Если я придумаю себя там, у закопченной решетки, мне станет теплее... И я придумал. Снова спрятался в теле светловолосого мальчика. Он уже покончил с супом и теперь ковырялся в пироге. У его ног прошла кошка. Он пнул ее. Я подтянулся чуть выше, чтобы видеть, что произойдет дальше, но тут полная женщина повернула голову и посмотрела в окно. Увидела меня, мое бледное расплющенное лицо. Облик сменился мгновенно. Вот только что хлопотливая, нежная мать, круглое лицо сияет радостью и довольством, и вдруг она щерится, как волчица, разевает пасть, замахивается черпаком... Я бросаюсь прочь.

Так близко к окнам я больше не приближался, смотрел издалека.

Глава 16

Герцогиня давно заметила этот парадокс. Чем меньше люди едят, тем больше они производят детей. Самые бедные семьи кишмя кишат неумытыми голодными отпрысками. Иная мать, сама шатаясь от истощения, тянет за собой вереницу младенцев, а в чреве зреет еще один. Но почему? От невежества? От животной глупости? Но животные, согласно рассказам королевского егеря, не столь безрассудны. В неурожайные годы, когда оскудевают луга, когда урожай желудей ничтожен, а лесные ягоды становятся наградой, число новорожденных зверят сокращается. Животные своим бессловесным разумом осознают, что потомство будет обречено на гибель среди засыхающих деревьев. Звери заботятся о своих щенятах. Без грамоты и философии, без проповедей и религиозных воззваний они стремятся к уменьшению страданий. Почему же люди, претендуя на божественное родство, на обладание разумом и душой, так безнадежно слепы? Почему они так безжалостны к своим детям?

* * *

Кажется, что люди разнятся между собой по множеству признаков. Они верят в разных богов, говорят на разных

языках. У них разные мечты, разные привычки, несхожие вкусы. Одни рождаются на вершине, другие – внизу. Они мужчины или женщины, взрослые или дети. Есть тысячи различий. Рост, походка, цвет глаз. И все эти различия весомы и осязаемы. Служат нам неопровержимым доказательством нашей самости. Мир состоит из разных, между собой несхожих людей, и у каждого своя судьба, своя линия жизни. И что может связывать нас, столь разных? Кто осмелится утверждать, что это слепящее разнообразие – всего лишь обман? Что видимое разнообразие ложно? На самом деле все не так. Нет высоких, толстых, угрюмых, болтливых, веселых, умных, ленивых, злобных, знатных, нищих. Нет мужчин, и нет женщин. Нет детей. И нет стариков. Никого нет. Есть только башмаки и ступени. Больше ничего нет. Все остальное – сон. Блаженная ложь. Ступени простираются под башмаками. Башмаки попирают ступени. Пока ты ребенок, каждый, кто чуть выше ростом и крепче стоит на ногах, для тебя – башмак. Но как только ты вырастешь, обретешь силу, нарастишь кулак, то найдешь того, кто станет твоей ступеню. Так оно и идет. Мир – будто огромная лестница. Живая лестница из людей. Сильный стоит на плечах слабого. А над этим сильным возвышается еще один, более сильный. А над тем – еще один, и так до самой вершины. Каждый одновременно и перекладина, и башмак. Я вспомнил того подростка, что согнал меня с холстины, когда я впервые оказался в королевстве Альби. Для наставника он – маленький порожек

внизу, о который всегда спотыкаешься (я видел, как тот бил его – без злобы, лениво, согласно установленному порядку), ступенька он и для других взрослых воров, и для старого попрошайки на углу, и для хитрого рябого прево, что являлся за данью, и для стражников, и для лакеев, но для нас, худых, голодных мальчишек, для двух сироток лет пяти, он – башмак. Из нас он соорудил свою лестницу. У перекладки нет выбора. Она должна превратиться в башмак. Должна найти свою ступень, свою перекладину. Иначе не выжить. Если не хватает силы рук и ростом мал, то действуй хитростью и обманом. Если нет денег, то кради. Бери терпением или умом. Или выносливостью. Вероятно, мне удалось бы выжить. Я был терпелив и вынослив. Безропотно ел жидкий суп у мадам Гранвиль, таскал воду в гостинице мэтра Эсташа. Я прижился бы и в королевстве Альби. Обрел бы ремесло. Стал бы грабителем или ловким вором, своего рода сильным, и обзавелся бы слабым. Выжил бы и на улице, прибившись к одной из многочисленных банд. Обратился бы в ступень для чужой лестницы, а со временем взобрался бы на свою. Но вмешалась судьба. Неожиданно, как бесцеремонный хирург.

После очередной ночи на промокшей соломе я обнаружил, что не могу встать. Руки и ноги налились свинцом, голова кружилась. Но не встать я не мог. Вскоре придет хозяин и прогонит меня. Еще и сапогом угостит. Я почти ползком пересек улицу. Накануне вечером я перебрался с правого берега на левый, в Латинский квартал. Я уже побывал

здесь двумя днями раньше, и какой-то студент в дырявом плаще поделился со мной куском сыра. В Латинском квартале было много студентов. Много шума, много маленьких винных погребков. Там меня не гнали прочь и даже швыряли мелочь. Но Латинский квартал я знал плохо и ночевать возвращался обратно, к Центральному рынку. А тут решился провести ночь по ту сторону Сены. Там тоже были торговые улочки, разбегавшиеся, как ручейки, от площади Сорбонны, и на этих улочках оставались прилавки. Я выбрал место посуше и попытался заснуть. Уже с вечера чувствовал озноб и боль в горле. Чуть пониже горла поселилась странная болезненная щекотка. Хотелось кашлять. Слезились глаза. Но я подумал, что это всего лишь усталость. За ночь я отдохну, и щекотка исчезнет. Я снова смогу дышать. Ночью мне снилась огромная балка. Она упала с крыши и давила на грудь. Я просыпался, ворочался, засыпал и вновь чувствовал ее тяжесть. А утром мне едва удалось встать. Меня шатало, ноги были ватные, душил кашель.

«Я умираю», – мелькнуло у меня в голове. Но было не страшно. Мысль была привычной, как «я хочу есть» или «мне холодно». Я ничего не знал о смерти. В детстве смерть – это всего лишь слово, даже если встречаешь ее на каждом шагу. Дети, подобно животным, не осознают и не боятся смерти. Их страх не обретает имен. Их разум молчит. Сражается тело. Я чувствовал, что лишаюсь сил, что тело мое в огне и в глазах темно, но связать воедино недомогание и на-

двигающуюся опасность не мог. Надвигалось что-то подавляюще огромное, от чего полагалось спасаться. Но что это было? В нескольких шагах от меня была церковь, маленькая, почти часовня. Прежде я не замечал ее, даже избегал. Как и других церквей и часовен. Они были грозные, молчаливые, с острыми башнями, с которых время от времени, будто огонь небесный, обрушивался набат. Из обитых железом дверей выходили люди в длинных темных одеждах. Они напоминали мне нашего кюре. Я помнил его рассказы о грешниках, о геенне огненной и потому бежал от этих людей. Мне представлялось, что именно там, за этими высокими дверями, по указке этих людей в рясах, Бог и вершит свою расправу над грешниками. Потому и гремят колокола на башнях. А тут по непонятной причине почти в беспамятстве я поплелся к дверям часовни, будто признавал свой грех и желал расплаты. Помощи я не ждал. Я тогда ни от кого не ждал помощи, ибо мир ни разу не позволил мне даже предположить, что помощь возможна. А как поверить в то, чего нет? Оттого и причин моего поступка мне не понять. Вмешательство судьбы? Голос свыше? Не знаю. Но это случилось. Я добрался до ступеней, влез на самую верхнюю и прислонился к стене. Дальше идти не мог. Дурнота усилилась. Дышать было трудно. Я был один. Посреди огромного города. Грохотали повозки, переругивались, хохотали люди. Их было много, и все же я был один. Люди, экипажи, лошади, собаки – это мираж. Потому что на самом деле их нет. Они не существовали, а я

не существовал для них. Внутри меня полыхал огонь, тело пожирал озноб, боль звенела, но меня никто не слышал. Я был заперт в пустоте. Огромный, равнодушный мир и тысячеглазое небо над головой. Я свернулся клубком на холодных плитах. Слез не было. Да я и не привык плакать. Если падал, сбивал колени, слезы катились из глаз, но я быстро справлялся. В пустыне до слез ребенка никому нет дела. А если дать им волю, станет только хуже. Невыносимое, горькое теснение в груди.

Я не плакал, я чего-то ждал. Ждал, когда звуки окончательно стихнут, и свет угаснет, и станет тихо. Все кончится. Я услышал еще один звук, уже в темноте. Распахнулась дверь... Но этот звук стал последним.

Из часовни вышел отец Мартин, один из тех людей в длинных, темных одеждах, которых я так боялся. Он нашел меня на ступенях, и я выжил. В той пустыне оказался еще один путник. Он взял меня за руку и вывел к свету.

Почему я вспоминаю об этом? Почему именно сейчас, здесь, в этой темной галерее, на холодной скамье? Почему не думаю о хорошем? Почему не пытаюсь перейти эту ночь по светлым островкам выпавшего мне счастья? С тех пор прошло более десяти лет. Счастливых лет. Отец Мартин вырастил меня, как родного сына. Он излечил мое сердце, разбудил душу. Он научил меня верить. Жизнь была трудной, но радостной, полной надежд. Радость познания, радость любви. Первый поцелуй Мадлен, первый крик нашей дочери.

Почему я ничего не помню? Я пытаюсь увидеть их лица, но это всего лишь плоские, равнодушные картинки. Это было не со мной. Ничего не было. Есть только каменная плита на церковной паперти. И такая же жесткая, холодная скамья. Круг замкнулся. Та же пустыня и то же безмолвствующее небо. Оно подглядывает за мной своим большим, серебряным глазом. Но ему даже не любопытно. Ни жалости, ни удовольствия. Только скука.

Глава 17

Она уснула. Вместе с сознанием угас и гнев. Она уже не помнила, за что разгневалась на него. Была какая-то неловкость, щемящее несоответствие. Она потерпела неудачу, но на рассвете с трудом могла осознать, в чем совершила промах. Воспоминания были другими. Сладкими. В теле все еще сохранялась теплая эйфория, эхо познанного блаженства. Как же она была слепая, невежественная! Она столько лет отрицала эту дарованную привилегию, лишая себя цветения жизни. Она ошибалась. Ее просчет состоял в неправильном выборе, ибо прежде она выбирала мужчин, как модные ткани, тех, кого одобряет молва и принимает двор. Истинный выбор она себе запрещала, как будто не доверяла или стыдилась. Теперь все изменилось. Теперь все будет иначе.

Она видела горящие солнечные пятна на золотых кистях полога. За окном зеленая дымка еще влажного от росы леса. Вероятно, это красиво. У нее возникло желание вскочить, вот такой как есть, без единого лоскутка пристойности, и подбежать к окну, отбросить портьеру, чтобы робко протиснувшийся в узкую прорезь день обрушился бы на нее, как ливень в первый день потопа. Последний раз она испытывала нечто подобное, это радостное ожидание, на заре юности, когда в невежестве своем воображала жизнь че-

редой праздников и триумфов, а себя их участницей и устроительницей. В юности раскинувшаяся впереди жизнь, с ее гирляндой дней и ночей, с ее годами и десятилетиями, которые несут в себе тысячи открытий и свершений, представлялась ей лежащей у ног волшебной долиной, таким переменным раем, куда достаточно спуститься по узкой каменной тропе мелких ошибок. И там, в этой долине, с первым же шагом начнут происходить чудеса. Будет восторг, будет блеск, будет огонь. А она будет ступать по брошенным ей под ноги золотым цветам в сиянии славы и красоты.

Каждый рожденный на этой Земле проходит через ожидания и надежды юности, через трепет нетерпения, но далеко не каждый так быстро исцеляется. Ей повезло, она исцелилась быстро и уже давно не страдала от того, что жизнь оказалась вовсе не волшебной долиной, где цветут сады, синеют реки и по белым тропинкам бродят единороги, а лабиринтом вонючих городских улиц, где по утрам находят ограбленные посиневшие трупы, а по вечерам бродят осипшие от вина непотребные девки. Она не страдала от утраченных иллюзий, ибо сразу признала разочарование как данность, а, пробудившись, выстраивала свой день, как столбцы цифр, чтобы правильно оценить возможную прибыль и принять убытки. Это было скучно, тоскливо, но разумно!

Ее что-то мучило, какая-то несообразно колкая мысль, шершавая и угловатая среди гладких и мягких. Она в чем-то ошиблась. Или это не она? Но приниматься за эту от-

ступницу-мысль она не хотела. Она хотела насладиться покоем, блаженной усталостью, которую дарует лишь удовлетворенная женственность. Ее постель впервые за долгое время была согрета мужчиной. Подушка и смятые простыни давно остыли, но красноречивый беспорядок свидетельствовал о его присутствии. Она вспомнила, как совершила почти девически-смешной ритуал – заняла его место за столом в кабинете епископа, ладонями прильнула к подлокотникам, будто пыталась удержать невидимый фантом. Несколько часов спустя ей было стыдно самой себе в этом признаться. Какая сентиментальная слабость! Она уподобилась тем экзальтированным девицам, которые почитают за счастье стать рабыней мужчины. Как глупо она, должно быть, выглядела! В очередной раз упрекнула себя и тут же перебралась на ту половину кровати, которая несколько часов назад служила ему пристанищем. Вытянулась на спине и закрыла глаза, пытаясь всем телом уловить полустертые, остывшие контуры. Еще одна бессознательная попытка пленить и подчинить неизвестное, захватить сам его образ, будто сохранившиеся очертания, вмятина на подушке могли бы дать дополнительные знания, открыть его тайну.

** * **

Все повторяется. Жизнь – это лабиринт, по которому

неумолимо возвращаешься к первому повороту.

Луна уходит, и за окном синеет. Небо становится прозрачным, звезды бледнеют и гаснут. На другом конце галереи шаги. Мелкие, торопливые. Шум накрахмаленных юбок. Женщина... Я вижу ее. Это Анастаси. Она идет сюда не случайно. Она ищет меня. Прямая, хмурая, бледная. Волосы высоко собраны на затылке. Я невольно подаюсь назад. Она служит врагу. Позыв спрятаться, отползти. Но почему? Все это время она даже заботилась обо мне... Мой исколотый разум молчит, в ожидании только тело. Что ей нужно от меня? Но она не приближается, только делает знак и манит за собой. Колени не разгибаются, пальцы омертвели. Я похож на человека, который полночи провисел над пропастью, ухватившись за перекладину лестницы. Чтобы не сорваться, он боится пошевелиться. А теперь, когда пришла помощь и ему надо всего лишь протянуть руку, рука не слушается... Наконец мне удастся встать. Анастаси терпеливо ждет, лицо ее неподвижно, но глаза горят. Она берет меня за руку и уводит, как заблудившегося ребенка. Я будто пьян. Ночь без сна, долгие часы изматывающей тревоги.

Она приводит меня обратно к той комнате, где я провел предыдущий день. На пороге спит рыжий парень. Шумно дышит во сне, будто внутри у него не легкие, а кузнечный мех. Анастаси, не церемонясь, тычет его ботинком в бок. Он сразу просыпается и ошалело моргает. У него редкие, бесцветные ресницы...

– Теплого вина, – приказывает Анастаси. – И затопи камин.

Парень бросается исполнять. Анастаси усаживает меня в кресло, накрывает пледом. Озноб возвращается. Там, в галерее, я уже не замечал холода. Я замер и позволил ему овладеть собой, стал его частью. Я уподобился тем крошечным водным счастливым, что с наступлением холодов погружаются в сон. Кровь течет медленнее, и сердце сокращается в полудреме. Но с первым шагом мое тело вернулось к жизни, и я вспомнил эту дрожь. Она не оставляет меня, хотя Анастаси почти сразу принуждает меня сделать глоток вина. Я слышу, как мои зубы выбивают дробь о стеклянный край.

– Позови Оливье, – не оборачиваясь, приказывает Анастаси.

Она садится напротив и не сводит с меня глаз. Потом встает и касается ладонью лба.

– Похоже, у тебя жар. Ничего удивительного. Ночь на сквозняке...

Появляется Оливье со своим неизменным кожаным мешком. Тоже щупает мой лоб, находит пульс, заглядывает в глаза. Затем роется в мешке. Раскладывает на столе снадобья, смешивает, разводит, добавляет вина и тоже заставляет выпить. Жидкость густая и сладкая. Он еще раз заглядывает мне в глаза, пальцами давит под подбородком и спрашивает, не больно ли мне глотать. Я мотаю головой.

– Плотный завтрак – и спать, – бросает он. – И пусть спит

до вечера. Не будить, не тревожить. У этого парня слишком тонкая кожа.

– Что? – переспрашивает Анастаси.

– Кожа, говорю, тонкая, – брюзгливо, дергая щекой, повторяет он. – Вот у этого, – он, не глядя, тычет пальцем в сторону Любена, – кожа, как хороший доспех. А у этого, – лекарь делает движение ко мне, – считай, ее вовсе нет.

– И... что это значит?

Лекарь собирает порошки и настойки.

– Что значит? А то и значит, что чрезмерно хлопотать не придется. Скоро все кончится...

Глава 18

Ярость подступала медленно. Будто умелый палач настраивал гаротту, предуготовляя долгую и заунывную смерть. Воздух будет застревать в груди, вдох – укорачиваться. Вдох будет оставаться внутри, проникать под кожу, образуя пузыри, багровые и тугие. Эта ярость будет все пребывать, как египетская саранча, как воды Красного моря, что покрыли колесницы фараоновы. Эта ярость в конце концов заполнит ее всю, а затем взметнется к потолку кровавым плевком. Но взрыва не произошло. Под выбитой пробкой оказался безобидный сидр. Она засмеялась. Да, засмеялась. Она смеялась от свершившегося абсурда, от дерзости муравья, от нелепости мизансцены, от собственно-го бессилия. Еще одна апория, черепаха, затеявшая скачки с Ахиллом. И победившая благодаря безукоризненной логической неувязке.

* * *

Страшное не может быть настоящим. Это такая шутка, игра... Чтобы напугать или наказать. Надо закрыть глаза, и сразу все кончится. В каждом из нас, вопреки рассудку и опыту, живет эта надежда. Самая безумная и несбыточная, единственная, что удерживает нас от отчаяния.

Действует лекарство, и мне удастся уснуть. Как ребенок, прячусь под одеяло. Неизбывная детская надежда – вот сейчас откину душный уголок, и мир станет другим, призраки исчезнут.

Я засыпаю с этой надеждой. У меня есть повод. Закатившееся в щель зернышко. С именем Анастаси что-то связано. Я помнил об этом, когда смотрел на нее. Это зернышко разбухает и прорастает сквозь сон. Это было совсем недавно... По ту сторону мрака. Ну конечно! Герцогиня обещала послать Анастаси за моей дочерью. Анастаси – это гонец, вестник, путеводная нить. Когда я открою глаза, Анастаси будет ждать меня с хорошими новостями. Она обязательно будет ждать. Когда я проснусь, все будет по-другому.

К счастью, я не вижу снов. Я знаю, что они есть. Там происходит движение, тени идут гуськом, одна за другой, но я их не различаю. Сон – будто тяжелая повязка на глазах. Надо стянуть и взглянуть, что же там, по другую сторону... Но за повязкой уже не сон, а день. Солнце расположилось в прямоугольнике на полу. Полдень миновал. Где же Анастаси? Откинув полог, ищу глазами. Никого нет. Любен, вероятно, за дверью. Как услышит шум, сразу войдет. Анастаси тоже там? Ждет? Не хочет будить? Я откидываю одеяло и встаю. Делаю несколько шагов к двери. Даже задеваю что-то мимоходом, намеренно, с шумом. И Любен действительно входит. В руках у него аккуратный сверток из кружев и атласа. Одежда, но другая. Более яркая и роскошная. Уже награда? Серебря-

ный галун вдоль шва, пуговицы – нежный перламутр в блестящей обертке. Под свертком у него в руках башмаки. Кожа прошита золотом, точеный красный каблук.

– Что это, Любен?

Кажется, я впервые заговорил с ним.

– Ваша одежда, – почтительно отвечает он. – Не желаете примерить?

– А где вчерашняя?

– Та чужая, а эта по вашей фигуре.

Он раскладывает мой новый наряд почти благоговейно, разглаживает складки, расправляет кружева. Мне не по себе от этой его почтительности. Он замечает, что я бос, и тут же подвигает мне башмаки.

– Примерьте, сударь, эти должны быть впору.

Я не хочу их мерить. Не хочу. Да, я знаю, уверен, они мне впору, не малы и не велики. И кожа мягкая, испанская, выдержанная в меду, и пряжка в драгоценных стразах. Это плата за мое тело... За мое предательство. Хозяйка благосклонна к своему рабу. Он доставил ей удовольствие. Заслужил. Боже милостивый... Но где же Анастаси?

– Любен, – осторожно говорю я, – а кроме одежды вы ничего не должны мне передать?

Парень в недоумении. Хмурит лоб, шевелит бровями. Они у него широкие, но такие же бесцветные, как и ресницы. Две широкие полосы на кирпично-красной коже. – Передать? Ну я должен спросить, что бы вы желали на ужин.

И к обеду я должен вам что-нибудь подать. Но ужин обговорить особо...

– И... все? – Все, – парень разводит руками.

– А мадам Анастаси? Парень явно удивлен моей разговорчивостью.

– Мадам Анастаси в замке? Не отлучалась?

– Нет, она здесь, с ее высочеством.

Анастаси никуда не отлучалась. Это может значить только одно – герцогиня не сдержала слова. В утешении самому себе я готов вообразить, что она отправила в Париж кого-то другого, не Анастаси, и гонец еще не вернулся. Жалкая попытка. Она и не думала никого отправлять. Зачем? Она исполнила свой каприз.

– Принеси воды, – вдруг говорю я.

Любен удивлен еще больше.

– Желаете пить? Я налью вина.

– Нет, нет, воды, побольше воды, ведро... Пожалуйста, Любен. Воды! Мне нужно умыться.

Я помню ее руки, холодные, гибкие. Ее пальцы... Она трогала мои губы, проталкивала пальцы внутрь, чтобы добраться до языка... У нее кожа, как мокрая бумага. Она исследовала меня, изучала... Я меченый. Весь перепачкан ее слюной и женской влагой. Этот след все еще на теле, он, как ядовитая плесень. Ее язык у меня во рту, и я сам в ней... И тело вновь отзывается желанием и болью... Глухой плотский рокот. Не хочу...

– Воды, Любен, пожалуйста...

– Вам плохо? Позвать Оливье? – он испуганно заглядывает мне в лицо. Я мотаю головой.

– Нет, черт возьми, не надо никого звать. Воды...

Любен бежит к двери. Я сжимаю кулаки, комкаю сорочку. Предатель, прелюбодей. Как быстро ты сдался... Ты смотрел на нее, ты видел ее наготу, ты восхищался ею... Не лги самому себе. Тебе нравилось! У тебя горло перехватывало, так она была хороша... Без стыда, без сомнений, белая, гладкая... Она взяла тебя, и ты блаженно ей подчинился. С трудом вспомнил о дочери. Старался, дергался, наседали... Посмотри, тебя уже одарили за оказанные услуги. Атласный камзол, башмаки... К утру будет еще одна подачка. Шлюха... Грязная, сговорчивая шлюха. Где же Любен с водой? Нужно было напроситься в парк. Там есть пруд, его видно из окна. Дойти до пруда и нырнуть с головой, смыть с себя ее запах, ее пот, избавиться от этой боли...

Любен, тяжело дыша, втаскивает ведро. Наконец-то! Я следую за ним в примыкающую комнату.

Вода холодная. Обжигает. Дыхание сорвалось. Но это к лучшему, да, так хорошо. Сумятица, переполох. Но это желанный ожог.

– Еще, Любен, еще...

На коже блестит вода. Чистые, прозрачные капли. Но под ними все еще грех. Невидимый и жгучий.

– Еще, Любен, еще воды.

Бедняга возвращается со вторым ведром. И вновь обжигающая струя по спине. Я подставляю ладони, плескаю в лицо. Тыльной стороной руки оттираю губы. Любен наблюдает за мной с испугом. Наверное, думает, что я сошел с ума. Безумец, который оттирает с кожи только ему видимые пятна. Тщетно... Я могу омыть тело, но как мне очистить душу? В отчаянии я охватываю колени руками и прячу лицо. Замираю так на несколько минут. Грешный, жалкий, трясущийся... Любен переминается с ноги на ногу. Хватит, пожалуй, а то он и в самом деле укрепитя во мнении, что я сумасшедший.

А в комнате уже ждут. Знакомые лица. Вновь цирюльник и куафер с помощником. Явились, чтобы подготовить жертву к закланию. Облачить свежевывытую тушку в перья и подать на стол. Какие торжественные! Что это с ними? Поклоны – сама почтительность. Едва ли не в пол тыкаются лбами. И это мне, безродному, с прилипшими ко лбу волосами, в мокрой простыне. Ах да, у меня новый статус! С сегодняшнего дня я не просто вещь, я – любимая вещь. Хозяйка пожелала меня еще раз. Неслыханная удача. Я близок к тому, чтобы стать единственным фаворитом. Вроде маршала д'Анкра или графа Эссекса. А с фаворитом следует обращаться бережно. Вот они и вытянулись благоговейно.

Не хочу!..

Любен пытается промокнуть мои волосы сухим полотенцем, но я с негодованием толкаю его. Нет, я вам не фазан,

чтобы втыкать в меня перья. Убирайтесь! Любен сразу распознает угрозу и перехватывает меня за локти. Он очень сильный. Мне бы месяц назад с ним силой помериться, но сейчас... Смешно. К тому же эти двое непременно ему помогут.

– Сударь, вам нужно одеться, – ровно и назидательно говорит Любен.

– Нет, Любен, пожалуйста...

– Я вам помогу. Сейчас я разотру вас полотенцем, а потом вы оденетесь.

– Пожалуйста, Любен...

Он вздыхает, но тут же делает знак тем двоим. И они уже втроем разжимают мне руки, сдирают мокрую простыню, за которую я упорно цепляюсь. Это полусопротивление такое жалкое. Я знаю, что драться с ними так же глупо, как умолять Любена о помощи. Они верные слуги. Я могу отшвырнуть этих двоих, рыхлого, слабосильного цирюльника и тощего куафера. Тогда Любену придется со мной повозиться. Он будет действовать осторожно, чтобы не наставить мне синяков или, не приведи Господь, не вывихнуть руку. Но он кликнет на помощь еще одного лакея, и тогда они меня сломят. Это займет больше времени, но они все равно сделают со мной то, что им велено. А я потеряю силы. Силы терять нельзя. Мне они понадобятся. Я еще не сдался. И она еще не победила.

Я будто капризный ребенок в руках трех нянек. Знаю, что

надо остановиться. Знаю, что это неумелый детский взбрык. Я смешон и жалок. Мотаю головой и не желаю попадать в рукава.

Я живой! Живой! Разве вы не видите? Загляните же мне в глаза! Прислушайтесь к сердцу! Разве вы не слышите, как я кричу? Не чувствуете, как содрогаюсь? Чужая боль всегда заключена в жесткую, непроницаемую скорлупу. Как пламя свечи в стеклянной колбе. Ближний надежно от нее защищен.

Наконец я устаю. Вернее, преодолевает рассудок. Я больше не сопротивляюсь. Не пытаюсь смять ткань или сорвать кружево. Смирненно опускаю руки. Если они не исполнят приказа, их накажут. Весь ритуал – точная копия предыдущего. Только в зеркало я не смотрюсь.

В их глазах я настоящий безумец. Вот искреннее недоумение в глазах куафера. В растерянности кусает жидкий ус. Что задумал этот парень? Что с ним не так? Чему противится? Зубы скалит, руки заламывает. Вот чудак! Цирюльник того же мнения, но лучше скрывает. А Любен с недоумением уже свыкся. Я для них вроде уродца в банке. Стоит взглянуть и ужаснуться. Я только усмехаюсь в ответ. Уродец...

Вот дичь и готова. Можно подавать на стол. Я им больше хлопот не доставлю. Сижу, как истукан, на том месте, где меня посадили, посреди комнаты. Само послушание и покорность. А вокруг суетятся две горничные под присмотром Любена. Они встряхивают простыни, взбивают подуш-

ки, приносят свежие цветы, накрывают стол. Неужто грозная госпожа пожалует сюда? Похоже на то. Убить ее сегодня? Или вновь просить о милости? Просить? Ее?! Холодное, безупречное лицо перед глазами. Неподвижный, безразличный рот. Она не сжалится. Снова обманет. Марию мне не спасти. Мария, девочка моя... Бедная моя девочка. Твой отец – бессильная, бесполезная кукла. Что же делать? Нет, она не прикоснется ко мне. Все что угодно, только не это. Что она сделает, если я откажусь? Прикажет своим лакеям держать меня? Вот будет потеха. Впрочем, она способна даже на это. Стыд ей неведом. С меня сорвут одежду и распнут на этой кровати. Растянут ремнями, как четвертуемого на эшафоте. Тело, конечно, меня предаст. А для верности умелец Оливье подмешает мне в вино зелье из крапивы со шпанкой. Тут мое согласие и вовсе без надобности. Ненасытный любовник к вашим услугам. (Жаль, что месье Амбруаз Паре уже умер. Написал бы еще один трактат о несчастном, страдающем сатириазмом.) Ее высочество не откажет себе в удовольствии. Ее это даже позабавит. Отличное средство от скуки. Она повторит опыт в следующую ночь, а затем в следующую. И так будет продолжаться до тех пор, пока я действительно не сойду с ума. Тогда по своей воле? Смириться? Но тогда я тоже сойду с ума. От угрызений совести и тоски. Мне понадобится другое средство из арсенала Оливье: сироп из маковых зерен. А к нему белое бордо. Оно терпкое, обдирает глотку и сразу сбивает с ног. Очень скоро я стану развалиной, и гер-

цогиня от меня избавится. И там, и там путь к свободе через безумие. Не лучше ли сразу? Нанести удар и умереть? Пусть не сразу, но долго это не продлится, пытка избавит меня от сердечной боли. А если я не смогу ее убить?

Я жду ее нетерпеливо. Как любовник возлюбленную. Даже тревожусь, как бы не передумала. Скорей бы явилась. Я готов к схватке. Сегодня или никогда. Хватит недомолвок. Пусть решает. Я или моя смерть. От волнения сминаю кружево. Бедный воротник... Наконец-то! Тихий щелчок, и она здесь. Входит осторожно, будто и не хозяйка вовсе, а гостя. Приблизиться не спешит. Стоит у двери и смотрит. Будто приглашения ожидает. Лицо скрыто в полумраке. И спина не такая прямая. Распустила железный корсет. Одета неброско, без украшений, почти по-домашнему. И волосы не открывают шею, а рассыпались по плечам. Вовсе не грозная госпожа, а красивая, немного смущенная женщина. Даже слегка улыбается, с выражением властной отрешенности. И тут же начинает говорить. Уклончиво, издалека. Голос мягок и в меру заботлив. Расспрашивает что-то о предоставленных мне апартаментах. По вкусу ли они мне, хороша ли обивка, не темен ли фон. Если я нахожу мебель слишком громоздкой, то она прикажет ее сменить. Что мне больше по вкусу? Стоит лишь пожелать. Я в некоторой растерянности. Разговор об обивке мебели. Но она опять за свое. Делает несколько шагов и переходит к обсуждению блюд. Благо их не менее пяти на столе. И каждое достойно напутствия. Она перечисля-

ет их все по очереди, называет соусы, ингредиенты, области, где подстрелен бекас и выловлен фазан, и в подтверждение своих слов поддевает на вилку паштет. Корочка хрустит. У меня подкатывает тошнота, и я отворачиваюсь. А она кругами ходит, приближается ко мне по кривой. И продолжает болтать. Почти щебечет. Ее не узнать. Ни угроз, ни посягательств. Кокетливая барышня. И я, слегка сбитый с толку этим превращением, позволяю ей приблизиться. Ей бы продолжать играть, отвлечь меня той же бессмысленной болтовней, но она вдруг делает шаг и протягивает руку. Почти касается моего лица. И это движение уже не смущенной барышни, это жест владелицы. Ее порыв не терпит возражений. Она пришла сюда за тем, что принадлежит ей. Здесь ее собственность. Я тут же уворачиваюсь. Едва не поддался на ее уловки. А вот теперь она настоящая. С протянутой рукой и проглянувшим бешенством. Взгляд немедленно стекленеет.

– Что это? – резко осведомляется она.

Я в свою очередь задаю вопрос.

– Где моя дочь?

Недоумение и даже замешательство. Я вижу, как она пытается вспомнить. Даже усилия прилагает.

– Вы обещали. Вчера вы дали мне честное слово, вы клялись, что пошлете за ней. Я ждал с самого утра, но не получил никаких известий. Вы меня обманули.

Она успевает справиться с собой. Недоумение тает, за ним – смущение. И вот уже привычная самоуверенная власт-

ность. Она вскидывает голову, ее веки вновь полуопущены и образуют ровную линию.

– Вот уж важность. Пошлю за ней завтра.

– Нет!

– Что нет?

– Сейчас! Вы пошлете за ней сейчас!

Я осмелился сказать ей то, что намеревался, хотя сердце едва не разорвалось.

Она тут же склоняет голову набок и хитро щурится.

– А если нет, то... что? Убьешь меня?

Я чувствую, что на лбу у меня выступают капельки пота. В горле ком, сухой, огромный.

– Не знаю, убью или нет, но... попытаюсь.

Она вдруг понимает.

– Да ты мне угрожаешь! Вернее, ты ставишь мне условие.

Ей приходится произнести эти слова несколько раз. Ей понятен смысл, каждое слово в отдельности привычно и знакомо, но принять этот смысл она не в силах.

– Ты. Мне. Ставишь. Условие.

Ее голос становится глуше. С лица сбегает краска. Она опускает голову и уже смотрит на меня исподлобья.

Я делаю последний шаг в пропасть.

– Да, я ставлю условие.

Все. Обратного пути нет. Я подписал себе смертный приговор.

Ее лицо начинает меняться. Сначала багровые пятна, за-

тем более темные, почти синюшные. Кровь приливает, и на лице у нее тоже выступает испарина. Взгляд уже не стеклянный, а мертвый. В меня вонзились два темных, сузившихся зрачка. Губы беззвучно шевелятся. Она будто раздувается на глазах, пухнет от ярости, заполняет собой всю комнату, раздается в ширину и в высоту, до самого потолка и даже выше, чтобы потом с этой высоты обрушиться на меня и раздавить. Передо мной возвышается священная цитадель, сам божественный миропорядок обнажает передо мной свою костлявую спину, грозит, грохочет, призывает одуматься. Я, смертный, восстаю против Бога. Посягаю на древние, изначальные законы. «Рабы, повинуйтесь господам вашим...»

Теперь я жмурюсь. Жду обрушения потолка или удара молнии. Кинжал или веревка. Но в ответ слышу смех. Закинув голову, она смеется. Хрипло и презрительно. Я вижу ее темное небо и ряд острых верхних зубов. Она отступает на шаг и будто заново изучает меня. Будто здесь и не я вовсе, а нечто совершенно необъяснимое, запредельное. Какой-то фокус.

– Итак, условие, – едва отдышавшись, говорит она. Ей трудно сдерживаться, она готова снова расхохотаться.

Я отвечаю кивком. Этот ее хохот еще страшнее, чем ярость и громы небесные. Она забавляется! Я как та собачка, что неожиданно для всех посреди гостиной совершает курбет.

– Я возвращаю твою дочь и только тогда могу рассчиты-

вать на... на... благосклонность, не так ли?

Я снова киваю. В отчаянии стискиваю зубы. Что бы я ни сделал, что бы ни совершил, как бы ни угрожал, я все равно останусь забавной комнатной собачкой, что потешает зрителей своими прыжками. Даже если кусну протянутую ко мне руку, даже если в горло вцеплюсь. Она, истекая кровью, будет смеяться.

– Если же я это условие не выполняю, то на взаимность и покорность рассчитывать не могу, а ты, в свою очередь, готов сделать попытку меня убить и понести наказание. Я правильно поняла?

На этот раз мне удастся ответить.

– Да, ваше высочество, вы правильно меня поняли.

– Дать ответ сразу?

– Как вам будет угодно.

Мне бы хотелось украсить свою реплику насмешкой, но выходит плохо. В этом искусстве мне ли с ней тягаться?

Она некоторое время молчит, размышляя о чем-то, вероятно, перебирает виды казней, затем возвращается к своему первоначальному образу смущенной кокетки. Даже взгляд отводит.

– Смею предположить, что переубеждать тебя бесполезно.

Я уже не в силах совершать прыжки на потеху публике. Только дергаю плечом.

– А ты знаешь... – начинает она.

– Знаю. – Я зол и груб. – Смерть, пытки, огонь, виселица.

Не трудитесь перечислять, ваше высочество.

– Маленькая неточность, – замечает она вкрадчиво. – В другом порядке. Огонь, пытки, виселица, смерть. Так будет точнее. Но смерть будет не скоро.

Я не спору. От забавы она так быстро не откажется.

– Разумеется. Я буду умирать медленно, очень медленно. Вы прикажете своим палачам побережь меня, продлить это как можно дольше. Так за чем же дело стало? Зовите их.

– Если ты находишь это необходимым, я их позову. Только когда я сделаю это, будет уже поздно. Но время еще есть. Подумай, стоит ли жертвовать собой ради... ради верности мертвецам? Кого ты воскресишь своей жертвой?

– Я уже подумал. И времени у меня было достаточно. Я сделал свой выбор. Две недели назад вы своей прихотью разрушили мою жизнь. Вы пожелали меня, а я поддался слабости. Моя жена не перенесла этого удара, мой ребенок родился мертвым. Мой отец, честнейший, благороднейший человек, праведник, погиб под колесами вашего экипажа. Вы... вы переехали его, будто... будто кучу тряпья. Я потерял сразу все. Жизнь, надежды, мечты, всех, кого любил, будущее... Единственное, что у меня осталось, это моя дочь, крошечное, невинное создание, которое лишилось матери по моей вине. Это я осиротил ее, я лишил ее матери, поддавшись на ваши посулы, прельстившись вашим могуществом и вашим богатством. Да, богатством... Я соблазнился им. Вообразил, что в награду за прелюбодеяние, которое я совершу, за мою

погубленную душу мне перепадет несколько монет, и я смогу купить моей девочке новое платье, а Мадлен новые башмаки. Старые совсем прохудились... В последние недели ей трудно было ходить. А на оставшуюся мелочь я хотел купить им сладостей, этих маленьких пирожных, облитых глазурью... Она так их любила. А еще дров. И акушерке надо было заплатить. Ведь малыш должен был вотвот родиться. Я подумал, что если я... если я вам понравлюсь, то мои девочки смогут наконец досыта поесть. Им будет тепло... Но с дьяволом нельзя заключать сделки. Цена слишком высока. Бедняжка Мадлен умерла, проклиная меня... Я ее предал. А вчера я предал ее вновь. Я поверил вам. Уступил вашим дьявольским посулам и своей собственной слабости. Я всех их предал. Предал во второй раз. И свою дочь я тоже предал. Согрешил, а ее не спас. Знал ведь, что вы не сдержите слово. Знал! Какое вам дело до маленькой безродной девочки из Латинского квартала! Мало ли их таких... Крохотные, беспомощные, они сотнями рождаются и умирают, как мотыльки, как рыбки в пруду. Какая в них может быть ценность, в этих голеньких червячках? В щенках и то больше проку. Из них вырастают гончие и борзые. А маленькая девочка... Да вы забыли о ней в ту минуту, как бросили мне это обещание! Забудете и на этот раз. Для вас ее уже нет, еще один скелетик на кладбище Невинноубиенных, а для меня она единственное, что осталось. Но слабости я больше не допущу. Делайте, что считаете нужным. И вот вам мое последнее слово. Если

ваша похоть все так же сильна, что лишает вас разума, если мое грешное тело вам все так же желанно, я буду вашим любовником, буду служить вам, согласен быть вашим рабом, вашей вещью, вашим лакеем, кем угодно. А вы позаботитесь о моей дочери. Для вас это особого труда не составит. Вам это почти ничего не будет стоить, несколько монет. Если же нет, если мое условие для вас неприемлемо, что ж... Тогда мне лучше умереть. Зовите их, я готов.

Я замолк, а она все еще чего-то ждет. Даже плечи опустились. Но я не оставил ей выбора. Я сжег мосты и за собой, и за ней. Оскорбление тяжкое, и она уже не может позволить себе отступить. Ее обязывает к этому кодекс чести. Герцогиня вздыхает и звонит в колокольчик. На лице ее почти страдание. «Господь свидетель, я сделала все, что могла!»

Вместо стражников и палачей является Любен. Герцогиня томно ведет рукой и указывает на меня.

– Отведешь его вниз. Скажешь Жилю, что я приказала заковать.

Любен изумлен и смотрит на меня почти с укором. Что же вы себе позволяете, сударь? Да как вы могли? Вот только что бедняга был при особе фаворита, и вот на тебе – «вниз». Парень похож на обескураженного родителя, чей ребенок не оправдал возложенных на него надежд. Но делать нечего. Переваливаясь, он приближается ко мне. Но я не намерен доставлять ему лишние хлопоты. Не дожидаясь, пока он схватит меня и потащит за собой, сам иду к лестнице. Вниз

так вниз. Он уныло плетется следом. Через пролет я останавливаюсь, снимаю свой роскошный камзол в жемчугах и протягиваю его Любену.

– Он мне больше не понадобится. Если бы вы были так добры, Любен, уступить мне свою куртку.

Любен в ответ бросает на меня такой злобный взгляд, что мне становится ясно: своим поведением я не заслуживаю не только его куртки, но и грязной тряпки, брошенной на конюшне. Я пожимаю плечами и продолжаю спуск. У нижней ступени Любен оставляет меня и отправляется искать прево. Парень даже не заботится приглядеть за мной. Полагаю, что намеренно. Надеется, что я пушусь в бега. Я побегу, он меня догонит и с наслаждением сломает мне парочку ребер – в отместку за разочарование. Но я не трогаюсь с места. Стою под влажным каменным сводом в своих щегольских башмаках, в атласных кюлотах с кружевом, в батистовой сорочке, благоухающий, безупречный. Оказавшийся здесь в результате страшной ошибки. Появившемуся из-за угла Жилю, грузному мужчине лет сорока, немедленно приходит в голову та же мысль. Он с изумлением на меня смотрит. Любен мрачно поясняет:

– Ее высочество распорядилась заковать.

На пороге того самого каземата, где я уже провел несколько дней, рыжий парень швыряет мне свою куртку.

– Спасибо, Любен, – тихо говорю я. Возможно, это мои последние слова.

Глава 19

Оказалось, что он недостаточно хорошо усвоил урок. Двое суток за пределами каземата смертников, и он уже ставит условия. Печально. Ей вновь придется рядиться в мантию разгневанной Артемиды. Придется ему кое-что напоминать. Например, то, что его жизнь принадлежит ей. Пусть вернется на тот же соломенный тюфяк и заново слушает все шорохи и стуки. Ему вновь предстоит томиться в ожидании смерти. Он усугубил свои деяния дерзостью, и просто так смерть к нему не придет. О смерти еще предстоит молить, как о величайшей милости. Пусть думает не о петле, рывком ломающей шею, но о том, что этой петле будет предшествовать. Она ему намекнула. Пусть думает об «испанском сапоге», о дыбе, о раскаленных прутьях и пусть ждет заплечных дел мастера. Но не как освободителя, а как врага. Было бы действенным даже показать упряму все эти приспособления, и даже привязать на пару минут к решетке, под которой вот-вот разведут огонь. Насколько быстро он позабудет свою дерзость? А имя дочери? На какое-то мгновение она даже вообразила его, распятого на этой решетке, обнаженного, молящего о пощаде. Ей стало мстительно-сладко, но видение она отогнала. Нет, это будет, пожалуй, жестоко. Что, если это скажется на его рассудке? К тому же она не хотела так страшно его

пугать. Она хотела действовать мягко, не причиняя ущерба ни рассудку, ни телу. Проведя пару ночей в одиночестве и заточении, в предвкушении страданий, он изгонит свои заблуждения и сам попросит пощады. Это случится скоро, очень скоро.

* * *

Вновь тишина и ожидание смерти. Ничего не изменилось. Тот же рваный тюфяк, та же каменная прохлада. Где-то с потолка каплет вода.

Исполняя приказ, Жиль возвращается с высоким пожилым человеком в кожаном фартуке. Тот несет большой деревянный ящик. Кузнец с инструментами. Под крышкой оказывается так же пара ручных кандалов. Я не сопротивляюсь, предоставив этому человеку исполнять свою работу. Я ему безразличен. Он зарабатывает на хлеб. Вероятно, у него тоже есть дети. Я протягиваю руки и позволяю надеть на себя железные кольца. Двумя ударами молотка кузнец закрепляет их на моих запястьях. То же самое происходит и с моими щиколотками. Я с усмешкой смотрю на красивые башмаки. Кто ж знал вашу судьбу? Неблагодарный у вас владелец.

Жиль оставляет мне маленький светильник. Но он скоро погаснет. А будет ли еще один, неизвестно. Относительно света в моих новых апартаментах ее высочество никаких распоряжений не оставляла. Я плотнее кутаюсь в куртку Лю-

бена. Он шире меня в плечах и выше ростом. Мне хватает, чтобы укрыться.

Странно, но мне совсем не страшно. Скорее необъяснимая эйфория. Мне удивительно легко. Избавился от тяжелой ноши. И все уже кончилось. Или скоро кончится. Я похож на человека, который лез по отвесной стене, обламывая ногти, и вдруг достиг вершины. Повалился на спину и увидел небо. Нет больше страха, и нет того безумного напряжения, от которого сводит спину и ломит кости. Только блаженная тишина. И покой.

А как поступит она? Сразу не убьет. Уже сделала бы это, если б хотела. Казнить меня сейчас – это слишком просто. Все равно что отпустить на все четыре стороны. Признать свое поражение. Так она не поступит. Слишком уж тяжела обида. Попыткой ее убить я оскорбил в ней только принцессу, своим отказом я оскорбил женщину. И эта вина многим тяжелее. Во дворе епископского дома я поставил под сомнение ее власть. Ей к этому не привыкать. На протяжении всей истории королевского дома его отпрыски всегда подвергались нападкам. Но оскорбить в ней женщину – это поступок из ряда вон выходящий. Вряд ли с ней случалось нечто подобное. Сестра короля, молода, хороша собой. Ей достаточно подать знак, и вокруг нее окажется не одна сотня тех, кто мечтает о милости. Она не знает поражений. И вдруг я, безродный, наношу ей удар. Это больно. Она будто на всем скаку ударяется о стену. Издалека стена выглядела хрупкой, а

на деле оказалась тверже гранита. Она переломала себе все кости. Ей очень больно. Такую муку она мне не простит. К тому же, поступи я так вчера, удар не был бы таким болезненным. Но я сделал это сегодня. После того как был с ней близок. Она уже была в моих объятиях, подарила мне себя. Предстала передо мной беззащитной, смертной женщиной, не стыдясь и не скрываясь. А я оттолкнул ее. Чудовище! Злой, неблагодарный мальчишка. Я заслуживаю самой суровой кары. И скоро она мне отомстит. Она измыслит казнь. Так поспешите, ваше высочество. Накажите неблагодарного. Я хочу умереть. Я готов умереть. Там, за чертой, меня ждут Мадлен и мой сын, а может быть, и дочь. Чем длиннее муку вы мне измыслите, тем вернее очистите от греха. Я победил, устоял перед соблазном и не сдался. Вот почему я почти счастлив. Я торжествую.

Время идет, а за мной никто не приходит. Неужели передумала? Нет, нет, она не может так поступить! Она не простит меня. Это невозможно. Тогда в чем причина? Все еще выбирает казнь? Или эта неизвестность – уже пытка? Она прибегла к испытанному средству. Я не сплю, прислушиваюсь. Вот шаги за дверью, ближе, сейчас лягнет замок. Но шаги удаляются. Через час новая мука. Снова шаги, голоса. Я внутренне собираюсь, шепчу молитву. Я не буду дрожать и молить о смерти. Я буду спокоен. Лучше претерпеть здесь, чем обречь себя на вечные мытарства в аду. Дух сильнее плоти.

Я храбрюсь, но мне вряд ли удастся сдержать крики...

Опять шаги. Сердце падает. И вновь тишина. Она того и добивается. Чтобы мне вновь стало страшно. Краткий миг торжества уже забыт. Я больше не ликующий мученик, что принес себя в жертву во славу Господа, я трепещущий смертный. И силы мои почти на исходе. Я не могу ждать. Мне нужна определенность. Но тюремщик приносит мне обед. Вот даже как! Одно из моих предположений ложно. Я вообразил было, что меня уморят голодом. Вполне оправданная мера. Долго и мучительно. Ее высочество будет удовлетворена. Я буду сходиться с ума, кататься по полу, царапать ногтями стены и... жевать свои щегольские башмаки. Но я ошибся. Башмакам подобная участь не грозит.

Проходит еще день или ночь. Так ничего и не происходит. Еще один обед. Постепенно мной овладевает тревога. Чего она хочет? Что задумала? В этом у меня нет сомнений. Она готовится и меня готовит. Тревога все сильней. Я пытаюсь отвлечься, думаю о том, о чем прежде запрещал себе думать.

Мадлен, отец Мартин, Мария у него на руках в день Благовещения. Как же она вопила! Требовательно, басом. Будто вразумить пыталась бестолковых взрослых, что проделывают с ней такие странные штуки. Младенца, голенького, поливают водой. А вода-то холодная. Она прежде дремала у меня на руках. Мадлен только что накормила ее в ризнице, и малышка блаженно посапывала. И вдруг ее, такую теплую, разомлевшую, извлекают из нагретых пеленок и обливают

водой. Никогда мне не забыть ее круглого изумленного личика. Глазки широко раскрылись, рот округлился, но сначала – тишина. Ей не удалось набрать достаточно воздуха. Отец Мартин бормочет молитвы: «Ego te baptizo in Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti»¹⁶. Мария хмурится, морщит лобик, ей удается наконец вдохнуть, и она кричит. Не хнычет, не жалуется, а протестует громко и настойчиво. Без единой слезинки. Ей холодно и неудобно. Она требует немедленно все прекратить. Она и через год нисколько не изменилась. Требовала свое без сомнений и раздумий. Сделай, дай, прекрати. А если неразумные родители продолжали, то подкрепляла свой крик первым же попавшимся ей под руку предметом. Бедная моя девочка, кто же теперь услышит тебя? Где ты сейчас? И вот я уже вернулся обратно. Совершил неудачный побег. Как бы мне убежать и не возвращаться?

Время тянется медленно, шаги за дверью то приближаются, то затихают. Третий обед. Что же дальше?

Она правильно рассчитала. Я уже ничего не жду. Даже к шагам прислушиваться перестал. Только мерзну. Тюфяк рваный, солома во влажных комьях, под ними каменный холод, который живому телу не одолеть. Он поглотит все, выпьет до последней капли. И куртка Любена уже не спасает. Я тяну ее на голову, но мерзнет поясница, одерну вниз – затылок, как ледяной шар. Встать и пройтись мешают оковы. Когда сделал попытку, слишком резко дернул и чуть не упал.

¹⁶ Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого духа (лат.).

Этот подземельный мрак поселился в костях. Суждено ли мне выбраться отсюда? Она обо мне забыла? Вечное заключение и вечный мрак. Счесть это за проявленное ко мне милосердие? Или это изощренная жестокость? Провести годы в одиночестве и темноте. Я уже стал приучать себя к этой мысли. И вдруг засов лязгнул. Все повторяется. Опять двое. Жиль и с ним кузнец. Что же это? Еще одна пара кандалов? Посадят меня на цепь? Но я ошибся. Оковы с меня снимают. Так же быстро и ловко, после двух ударов. Кажется, начинается. Жиль указывает мне на дверь. Я с ним не спорю. Идти так идти. Бежать не пытаюсь. Зачем излишне утомлять своих палачей? У них хватает забот. Сердце все же бьется. Страшно. Укрепи меня, Господи.

Жиль ведет меня вдоль по узкому, темному коридору и направо. Похоже, помещение для стражи. Квадратная комната с низким потолком. Растоплен камин. Но ничего, что напоминало бы дыбу или «испанский сапог». В углу массивный стол, рядом лавка. За столом трое. Очень напоминают Жилю, но помоложе. И больше в комнате ничего, пусто. Какая же роль отводится мне? Жиль толкает меня в середину и выходит. Я в полном недоумении. Хмурая тройка за столом достает кости. В мою сторону они не глядят. А что же я? Предоставлен самому себе. Я отхожу к противоположной стене, с опаской наблюдаю за игроками. Для чего они здесь? Для чего здесь я? Это мои палачи? Что им велено сделать? Избить, надругаться? Но зачем понадобилось приводить ме-

ня сюда? Подобные действия с тем же успехом могут совершаться и в темноте. Там даже удобней, узник скован. Зачем же меня освободили? Чтобы продлить забаву?

Я продолжаю настороженно наблюдать. Они изредка бросают взгляды в мою сторону, но без всякого интереса. По столу катятся кости. Дробно подпрыгивают в деревянной кружке. Хлопок по столу. Рычание или тяжелый вздох. Я окончательно отхожу назад и прислоняюсь к стене. Опять неизвестность. Еще более мучительная. Смотри и терзайся.

Сесть мне негде. Но здесь тепло. Очаг сложен из грубых речных камней, но огонь в нем горяч и приветлив. Пробую подойти к огню. Мне не препятствуют. Куртка Любена отсырела и висит на плечах, будто свежесодранная шкура. Я ее снимаю и приспособливаю на разогретые камни. Мне опять никто не возражает. Только один из стражей, круглолицый, с темными волосами, бросает через плечо:

– Если чего надо, скажи. Пить там или есть.

Я хотел было задать вопрос, но он уже отвернулся. Странно все это. Если им приказано меня стеречь, то почему для меня нет даже соломы? У огня каменные плиты нагрелись, и я опускаюсь на колени. Пытаюсь устроиться поудобней, поджав под себя одну ногу. Другое колено обхватываю руками. Смотрю на огонь, вспоминаю.

Глава 20

Когда Клотильда обращала свой мысленный взор к той стороне, что противодействовала рассудку, к той части самой себя, что отвергала возможность компромисса, она видела нечто вроде живой чешуйчатой горы, которая возвышалась на столбообразных когтистых лапах, от упрямства и ярости глубоко вросших в каменистую почву. Чудовище было таким огромным, что сдвинуть его с места, заставить сделать шаг не смог бы даже архангел Михаил со всем своим небесным воинством. Чешуя чудовища блистала, как самый крепкий отполированный доспех. И в доспехе не было ни трещины, ни вмятины, ни другого изъяна. Стрелы и копья тыкались в эту броню, будто беспомощные котятки. И это чудовище обитало в ней. Возможно, это чудовище и была она сама. Голов у чудовища было по меньшей мере три: гордыня, самолюбие и тщеславие. А рассудок, будто карлик с игрушечным мечом, подпрыгивал где-то у пятки дракона, пытаясь пощекотать или оцарапать. Нет, она не могла уступить. Уступить означало отогнать чудовище, набросить стальные удила на три огнедышащие морды, а рассудку, этому карлику, позволить вцепиться в загривок. Нет, она не могла уступить, не могла унижить себя. В ее жилах текла королевская кровь. Она лишится права носить титул принцессы, если уступит безродному.



Вот так же мне было тепло и странно, когда я впервые очнулся в келье отца Мартина. Я лежал на чем-то мягком и был укрыт. На самом деле постель монаха была жесткой, но для меня это была едва ли не первая настоящая постель, в которой я оказался. Не куча тряпья или соломы, а действительно постель – одеяло, льняная простыня, две маленькие подушки. Я вернулся из небытия и удивлялся новизне собственных ощущений. Мне было тепло. Осторожно открыл глаза. А вдруг за этой удивительной новизной таится страшное? Спиной ко мне сидел человек в длинной темной одежде. Голова седая, а на самой макушке проплешина, круглая и аккуратная. Я тогда еще не знал, что это тонзура. Подумал, что человек просто лысый. Человек временами потирал макушку ладонью и даже похлопывал. Он сидел за столом. А стол был весь завален бумагами. Листы большие и маленькие, в стопке и вперемешку, свернутые и прямые. На самом углу стола – огромная книга в черном переплете с медными застежками. Человек время от времени ее открывал. Переворачивал листы очень бережно, будто они были стеклянные. А еще на столе было много свечей. Они были наклеплены друг на друга, возвышались, как восковая гора. И все горели, потрескивали и чадили. Свечи были наклеплены и на стену над столом. Мне сначала показалось, что их прикрепили к штукатурке,

но затем я разглядел темные скобы и крючки, торчавшие из стены. На них и висела вся эта гирлянда. Свечи сгорали и обращались в длинные узловатые сосульки. Человек за столом что-то писал. Я слышал, как скрипит перо. Изредка кивал головой и даже произносил непонятные мне слова. Я поискал глазами второго человека, но никого не нашел. Человек разговаривал сам с собой. Перо отрывалось от бумаги, и он размышлял, подперев голову кулаком. Тогда он очень сутулился, и я даже вообразил, что у него горб. Про горбунов рассказывали, что они умеют делать всякие волшебные штуки и что нос у них длинный, загнут к самому подбородку.

Я приподнялся, чтобы разглядеть, какой у него нос. Человек услышал и оглянулся. Я испугался. Потому что горбун мог меня заколдовать. И еще он был из тех, в рясах, а я уже стал грешником. Я украл и сбежал. И еще хотел украсть. Даже придумал, как это сделать.

Но у человека не было горба и длинного носа тоже не было. Он смеялся, а морщинки вокруг глаз разбегались, подобно лучикам на воде.

– Очнулся, беглец. А ну-ка, расскажи, откуда ты взялся?

Оказалось, что горло у меня все еще болит и говорить я не могу. Как рыба, разеваю рот. Он еще громче рассмеялся. Потом переделал меня в чистую, сухую сорочку и накормил теплым бульоном. Как же это было вкусно...

Я тряхнул головой и отогнал видение. Слишком больно вспоминать. Побег вновь не удался. А что не больно? Ку-

да бы я ни обратил свой взор, везде будут они, те, кого я любил, и те, кого потерял. Даже если попытаюсь вспомнить свою первую студенческую пирушку в кабачке «Грех школяра». Там со мной был Арно, брат Мадлен.

Все три стража смотрят на меня.

– Не спать, – глухо говорит тот, с темными волосами.

– Я не сплю, – отвечаю машинально.

– Ну вот и пройдишь лучше, – продолжает темный. – А захочешь передохнуть – вот тебе.

Он вытаскивает из-под стола маленькую скамеечку, какие обычно ставят в молельнях, и, пнув, отправляет ее на середину.

Я не стал пренебрегать советом и поднялся. Все же здесь творится что-то странное. Время идет, ничего не происходит. Я брожу от стены к стене. Пытаюсь сосредоточиться, но получается плохо. Мысли мечутся, как испуганные овцы в загоне. Перескакивают с предмета на предмет в лихорадочной попытке убежать. Но куда? Они заперты в моей голове точно так же, как я заперт в этой комнате. Сесть в углу у стены мне не разрешили. Хотел прислониться спиной и затылком, чтобы действительно подремать, но тут же послышался голос темного.

– Я же сказал – не спать, или придется тебя встряхнуть.

Сколько же это будет длиться? День? Два? Тревога все нарастает. Я изнываю от неизвестности. И еще от скуки. Мне нечем заняться. В своем каземате я мог бы, по крайней ме-

ре, предаваться своим мыслям. Мог бы улыбаться, горевать, плакать. А здесь, в присутствии этих троих с хмурыми лицами и руками, тяжелыми, как булыжник, я чувствую себя неловко. Я будто насекомое в стеклянной банке. За мной наблюдают. Они видят все, что со мной происходит. Это еще тяжелее, чем оковы.

Остаться в неподвижности нелегко. Я считаю шаги. Десять в одну сторону и десять в другую. Сто, двести, тысяча. Прислоняюсь к стене. В ногах легкая дрожь. Эта скамейка посередине очень притягательна. Но опуститься на нее означает выказать слабость. И стать беззащитным. Чего же она добивается? Входит Жиль. За ним поваренок с корзиной и еще трое. Что дальше? Поваренок извлекает из корзины пару оловянных мисок, салфетку, ломти паштета, зелень и сыр. Обед для стражей? Но Жиль делает знак мне.

– Иди поешь.

Я не так уж голоден, но главный приз – это перемена в одуряющем однообразии. У меня дрожь во всем теле. Только опустившись на скамью, ощущаю, в каком болезненном напряжении пребывает мой хребет.

– Что дальше, Жиль?

Он невозмутимо извлекает бутылку.

– Ничего. Вам велено оставаться здесь.

– Как долго?

– Пока ваше решение остается неизменным.

– Какое решение?

– Вам лучше знать. Мое дело исполнять приказы. А приказ таков – держать вас здесь под охраной, без сна, пока вы не передумаете. Если же передумаете, то вас тут же освободят.

– Да, но...

– Я больше ничего не знаю, – он отхлебывает из бутылки.

Так вот оно что! Без сна. Вот она, пытка. Меня лишают сна. А эти трое здесь для того, чтобы не позволить мне спать. Вот почему тот темноволосый так строго следит, чтобы я не дремал. И вот почему здесь ни тюфяка, ни соломы. Я могу либо стоять, либо сидеть на этой скамеечке. И больше ничего. Если я прислонюсь к стене, они будут зорко следить за тем, чтобы я не заснул. Если сяду, они не позволят мне уронить голову на грудь или завалиться на бок. Длиться это будет долго, не день и не два. Может быть, неделю. До тех пор, пока я не уступлю или не лишусь рассудка. Разум, лишенный благословенных часов покоя, разорвет мне голову. Вот что она задумала – измотать меня бессонницей. Это не просто пытка во имя мести, это схватка, и она жаждет победить в ней. Мои кости останутся в целости. Палач не тронет мои ногти и не потревожит суставы. Я ей нужен живым, нетронутым. Она будет ломать мою волю. Жажда все еще терзает ее. Самолюбие не позволяет уступить, и вот почему она выбрала этот путь. Глупая женщина! Одна маленькая уступка, и я той же ночью лежал бы в ее постели. Но уступить мне, безродному, дерзкому, выше ее сил. Она предпочитает войну.

Ну что ж, à la guerre comme à la guerre¹⁷, ваше высочество.

Чувства странные, противоречивые. С одной стороны, моя судьба определена. И судьба эта на первый взгляд не настолько ужасна, чтобы впасть в отчаяние. Меня не вздернут на дыбу и не поджарят на решетке, как святого Лаврентия. Для слабой плоти человеческой новость почти отрадная. А с другой стороны... С другой стороны, мое пленение грозит стать бессрочным.

Приступ невероятной тоски сжимает сердце. Господи, лучше бы они избили меня! Лучше боль, крик, отчаяние, чем эта серая, тягучая мука. Где-то будет свет, солнце, смех, но у меня под этими сводами не будет ничего. Только равнодушно бубнящий голос: отрекись, отрекись. Черная тоска и скука. Обед уносят, а в комнате остаются три новых стража. Сначала они таращатся на меня с любопытством. Им известно, какое я должен принять решение? Скорее всего, нет. В противном случае любопытство сменилось бы глумливым недоумением. Они взирали бы на меня как на юродивого, существо странное и опасное. А так я всего лишь сослан сюда за некий проступок.

Теперь я, по крайней мере, знаю, что меня ждет. Бессонница. Если я попытаюсь закрыть глаза, мне ткнут кулаком под ребра. Или обольют водой. Я уже чувствую сонливость. Вот она, природа человеческая. Всегда требует то, чего лишена по прихоти судьбы. Четверть часа назад я с трудом мог

¹⁷ На войне как на войне (фр.).

бы вообразить себя спящим. Терзаемый страхом, не сумел бы уснуть, будь к моим услугам самое мягкое ложе. Но едва Жиль поставил меня в известность о грозящей напасти, как я тут же обнаруживаю признаки сна. Голова тяжелеет, веки слипаются. Ноги я переставляю с трудом. Мне и прежде случалось не спать. Что ж тут страшного? Когда родилась Мария, в те первые ночи, когда Мадлен была так слаба, что не могла оторвать голову от подушки, я ухаживал за ней и за новорожденной дочерью. Я глаз не смыкал. Мария плакала, Мадлен бредила. Мне помогала мадам Шарли, экономка. Давала советы и пару часов нянчилась с девочкой. Мне удавалось коротко вздремнуть, привалившись к стене. Я даже не раздевался. И не замечал тех коротких минут сна. Впоследствии мне приходилось до рассвета засиживаться в библиотеке. А утром бежать на лекции. Я обходился двумя-тремя часами сна и почти не чувствовал усталости. Но здесь другое. Со мною нет плачущей Марии, и я не должен готовиться к очередному семинару по трудам Галена или мэтра Парре. Я обречен на праздность. Мне нечем себя занять. Мой разум бездействует. У меня нет цели, ради которой мне удалось бы собрать силы и противостоять сонливости. Я могу двигаться только между этих четырех стен. Туда и обратно. Пока не загудят ноги. Тогда у меня не будет выбора и мне придется опуститься на эту скамеечку.

Я вновь считаю шаги. Приноравливаю к шагам дыхание. «...Если я виновен, горе мне! если и прав, то не осме-

люсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое...»¹⁸ На какое-то время мне это удается. Но сердце вновь замирает от предчувствия беды. Сколько это продлится? Сколько выдержу? Да и выдержу ли? Отцы-инквизиторы называют эту пытку «бдение». Она считается мягкой, и признания, под ней полученные, судом не принимаются. Но герцогиня не ждет от меня признаний. Ей нужна моя воля.

Стражи вновь сменяются. Еще четыре часа. Я уже не мечусь, как зверь в клетке. Подолгу задерживаюсь у каждой стены. Теперь за мной наблюдают пристальней. Чтобы не задумал подремать стоя. Жаль, что не умею. Говорят, это умеют лошади. А волы даже спят на ходу. Вынужден передохнуть. Стражи не сводят с меня глаз. Но действовать им не пришлось. Я поднимаюсь и продолжаю свой путь.

Вновь шаги, счет, дыхание... Мадлен у окна, подглядывает. Приподнялась на цыпочки, белый лобик над подоконником. Я поднимаю голову, и она тут же ныряет вниз... Но я заметил. Мелькнул светлый локон. Я отворачиваюсь, пряча улыбку. Она не стерпит, выглянет... Придерживает на груди косынку, но плечико все равно голое. От усердия закусил губку. Я вновь делаю стремительный поворот, но она успевает юркнуть в свое убежище... Ветер раздувает кисею, как парус.

Снова шаги, угол, поворот. На этой стене трещины обра-

¹⁸ Иов 10:15.

зуют узор, напоминает карту. Неведомый узник начертил ее, мечтая о побеге. Надо передохнуть...

На лестнице она как-то замешкалась, и тогда я впервые взял ее за руку. Она стояла очень близко. Нежная большеглазая девочка. Дышала коротко и часто, но руки не отнимала. Только в глазах изумление и мольба...

Я поцеловал ее, когда Арно оставил нас на чердаке одних и спустился за чернилами. Мадлен за минуту до этого принесла поднос с острым беарнским соусом, который любил Арно, и ломтики ветчины. Старший брат тут же посетовал на ее забывчивость и гусиную глупость. Отправился за чернилами сам. Мы остались одни. Она смотрела на меня, будто ждала чего-то. Белокурая прядка выбилась из-под чепца, мягкий, еще детский, носик, тонкая шейка. Верхняя губка чуть приподнялась. Я сделал шаг и поцеловал эту губку. Она была влажной и теплой. Очень податливой. Я прикоснулся осторожно, стыдясь собственного страха. И тут же отступил, будто нарушил некий запрет. У нее на скулах сразу расцвел румянец, и она вскинула руки, хотела этот румянец скрыть... Отвернулась и пошла к двери.

Стражи сменились еще два раза. Мысли путаются. Кажется, что ноги величиной с те молочные бидоны, которые по утрам сгружали на мостовую перед гостиницей на улице Шардонне. Устал бы я так, если бы шел пешком через лес? Пересек бы герцогство Орлеанское, Мэн и не вспомнил бы об усталости. А в этой клетке мои силы уходят в камни. Сон

безжалостно подступает. Я уже не могу поднять голову. Тяжесть невыносимая. Огромный жернов на шее. Вот меня и встряхивают в первый раз. Пока обошлось без тычков. Ребра целы. Я и сам прилагаю усилия, чтобы не упасть, не желаю, чтобы меня встряхивали, как мешок с брюквой. К счастью, на ужин мне подают что-то острое, и это взбадривает. Соус обжигает язык и глотку. Что-то вроде шпоры для умирающего рассудка. Короткая вспышка. Меня уже валит с ног. Балки над головой плывут влево. Затем медленно поворачивают. Я хватаюсь за стену. Она пританцовывает. Издалека хохот, брань, стук игральных костей...

Два шкодливых послушника из монастыря Св. Женевьевы затеяли драку. За углом бродячие лицедеи. Непристойная сценка... Жирная циркачка в розовом трико... Деревенский парень глядит на нее, вытянув шею. Башмаки стрекочут по мостовой. Я у грифельной доски вывожу первые буквы... Мел противно скрипит, по спине дрожь, крошки на пальцах... Я осторожно пробую их на вкус. Сую пальцы в чернила. Шлеп. Огромное пятно на бумаге. Вожу пером, у пятна вырастают ноги. Затем рога и хвост. Отец Мартин, смеясь, грозит мне пальцем. Отбирает испачканный лист. Кладет передо мной новый. Скрип пера... А дальше... Дальше темно.

Если мой подсчет верен, то мои надсмотрщики сменились двенадцать или тринадцать раз. Первый удар темноты. Голова закружилась. Она кружилась и прежде, но я как-то удерживал равновесие. Пал на колени, ждал, когда пол под но-

гами перестанет вращаться, и вновь поднимался. А тут уже не нашел опоры, провалился. Всплеск и рывок. На лице вода. Я падал, а веревка застряла и рванула меня вверх. Мгновенное удушье – и снова свет. Меня держат под руки. Знакомая фигура... Черный балахон. Я отчетливо вижу какие-то желтоватые пятна на воротнике. Лекарь... Холодные, пергаментные пальцы. Твердые, ловкие. Трогают запястье, тянут вниз веки. Покачав головой, Оливье уходит. Я жив, попытка продолжается. Теперь моим надсмотрщикам есть чем себя занять. Встать я не могу. Я забыл, что у меня есть кости, лишь раздавленная мякоть. Спина тряпичная. Голова болтается, как чугунный шар. Как только не оторвется... Меня вынуждают сидеть прямо, держат за волосы. Если ресницы залипают – в лицо ледяной кулак. Под веками – резь. Трудно дышать. Злобные окрики, тычки. А где-то в уголке, в утомленном разложившемся разуме черные и белые пятна, точки, штрихи, треугольники. Они вращаются, смешиваются... Улыбка Мадлен, над белыми зубками розовая десна... Свекла? Нет, что-то гладкое. Яблоки? Сливы? Сломанное колесо... Раздавленные очистки на мостовой... Грязный фартук торговца... Вскрытый желудок овцы... Все кружится, рассыпается, дурман, ужас. Потом все сжимается в точку. Снова обморок. И снова вода. Много воды. Куртка Любена промокла насквозь. Оливье... Встревожен, прислушивается дольше. Он что-то говорит, обращается ко мне, но я не понимаю. Вижу, как двигается челюсть, за тонкими губами желтые зубы,

один сломан.

Стражи все время меняются. Дверь невыносимо грохочет. Стены содрогаются. Зачем же так громко? Каждый звук, шаг, скрип – все это внутри меня. А что это справа? Виноградная лоза! Прорастает в стену. Разворачивается, как пружина, ветвится, зеленеет... И на ней огромные кроваво-красные плоды. Прозрачные, налитые. В сердцевине – косточка. Гладко поблескивает. Я тянусь к спелым гроздям, хочу ухватить губами. Там сок, сладкий, прохладный... Но откуда ни возьмись – Мадлен, отводит побеги, взмахивает юбками, убегает. Я хочу ее догнать, делаю шаг и снова падаю...

Оливье бьет меня по щекам. Резкий запах уксуса. Мое тело вязкое, как желе. Почему мне не дают умереть? Я уже умер. Оставьте меня. Оливье возвращается с тюфяком и подушкой. Я уже и забыл о существовании подобных предметов. Мне их назначение неизвестно. Еще один обморок? Я проваливаюсь в тот миг, когда мои соглядатаи укладывают меня на этот тюфяк. И обратно я возвращаюсь сам, без попуканий. Я спал? Неужели я спал? То же помещение с низким потолком. Свет от огня в очаге. За столом кто-то сидит. В ответ на мое движение – скрип скамьи.

– Чего тебе? Есть? Пить?

Я действительно хочу пить. Моя «сиделка» подносит прохладную глиняную кружку к самым губам. Я приподнимаюсь с трудом. Тело разбитое, но слушается. Ломота в кистях рук. Пытаюсь прикоснуться к кружке. Пальцы матерчатые, пу-

стые. После трех глотков падаю и проваливаюсь вновь. Всего лишь короткий миг. И снова голоса, толчки, свет. За веками красное зарево. Я с трудом осознаю, где я. Их опять трое. Один из них поднимает меня и толкает к стене. Жиль сворачивает тюфяк и уносит. Нет! Нет! Опять все сначала. Меня охватывает ужас. Изнутри рвется крик. Я готов кинуться к двери и молотить в нее руками и ногами. Нет, только не это. Не оставляйте меня здесь! Не надо. Меня даже швыряет к двери. Истошная мольба тела. До боли сжимаю кулаки. Сердце бешено колотится, воздуха не хватает. Я падаю на колени и закрываю лицо руками. Я не умру, я всего лишь сойду с ума.

Глава 21

Свечи давно погасли. Она сидела в кабинете, обхватив голову руками. За окном шумел ветер, и ветка муторно, назойливо царапала стекло. Звук проникал под кожу, как ржавое лезвие. Этот звук стал походить на чей-то скрипучий насмешливый голос. Этот голос говорил.

– Он тебе не достанется. Он достанется мне. И тихий надсадный смешок. Она не понимала, кто это говорит. Да и говорит ли. Это скрежет мертвой ветки по стеклу. Вечер раскачивает дерево, и ветка елозит по свинцовому переплету. Ей подыгрывает выбитая непогодой и временем черепичная бляшка. Ветер цепляет ее, как подсохшую корку на ране, бросает, и она позвякивает, глухо отбивая слоги. А ветка скрипит, как старое перо по дешевой бумаге. Выводит слова: «Он тебе не достанется. Он достанется мне».

В дверь кто-то вошел. Крадучись, но без стука. Шорох кружев. Следовательно, женщина. Анастаси. Остановилась в тем – ноте и сказала:

– Он умирает.

В ее всегда холодном, без тональности и мелодий голосе не то слезы, не то подавленный стон.

– Умирает, – повторила она еще глуше. – Позвольте мне сделать это. Пусть умрет без мучений. Он не заслуживает мучений. Он ни в чем не виноват.

И тогда герцогиня догадалась, чей насмешливый, скрипящий голос она слышала за окном. Это была смерть. Она явилась за своей добычей. И теперь насмехается над неудачливой соперницей, которая предпочла холодное чешуйчатое чудовище теплomu, юному и прекрасному телу. В перекрестье серебряных лучей ей предстала худая старуха в черном балахоне. Морщинистая, пятнистая кожа обтягивала кости, обращая лицо в оскаленный смеющийся череп. Но впалые щеки старухи были покрыты толстым слоем белил, а поверх белил аляписто багровели румяна. На седых нечесанных волосах старухи – подобие венца. Она принарядилась, будто невеста. Ее костлявая хваткая рука простерта. Она тянет ее к темноволосому юноше. Юноша поднимает голову, и герцогиня узнает красивое, бледное лицо. Обведенные тенями запавшие глаза смотрят с немым укором. «Мой! – хохочет старуха. – Мой!» Костлявая рука тянется, чтобы коснуться бледного лица.

* * *

Странно, но за все это время, за эти страшные четверо или пятеро суток, когда мои глаза превращались в тяжелые, пылающие угли, я так и не задал себе главного вопроса: да или нет?

Где же дьявол? Ах, вот он. Здесь по первому зову. Лукавый всегда за спиной, поджидает минуты слабости. Прежде

ко мне было не подступиться. Я не допускал и тени сомнений. Был тверд и глух к его советам. Теперь же я ослабел. Я слышу его голос. И мысли лезут, наступают. За что ты сражаешься? У тебя же нет никаких доказательств, что твоя дочь жива. Для полуторагодовалого ребенка пара недель сиротства могут стать роковыми. Она могла замерзнуть, простудиться, ее могли позабыть на улице. Она голодна. О ней некому позаботиться. Ты сражаешься за мертвецов. Они все умерли. Их нет! Нет! Пойми же наконец. И нет такой силы, которая вернула бы их к жизни. На их могилах холмики уже затвердели, их тела гложут черви. И ради бранных останков ты убиваешь себя? Ты еще так молод. Твоя жизнь может измениться.

«...Предоставь мертвым погребать своих мертвецов...»¹⁹ Сам Иисус, Сын Божий, обратил эти слова к ученику своему, велел ему покинуть похоронную процессию и следовать за ним. Ибо мертвые уже не нуждаются в заботах живых. Мертвых нет. В любви и заботе нуждается жизнь. Жизнь – это сам глас Божий, Его дыхание, Его свет. А смерть – это прошлое. Там ничего уже нет, и проливать слезы над мертвым телом бессмысленно. Все эти приглушенные всхлипы, скорбные лица, заплаканные глаза – все это обман, утешение для тех, кто остался. Бездыханному телу, что покоится на столе или на ложе, они без надобности. Те же, кто оплакивает это тело, становятся ему подобны. Вот почему Иисус го-

¹⁹ Св. Евангелие от Матфея 8:22.

ворит о мертвецах, о тех, кто поклоняется мертвой, уже истаявшей плоти. Он изгоняет учеников из траурных шествий, он ведет их к жизни. Почему бы и тебе не последовать за ним? Там, наверху, свет. Ах да, там еще эта женщина. А ты не желаешь быть прелюбодеем. Так ты и не прелюбодей во все! Кто есть прелюбодей? Тот, кто сам, по собственной воле, движимый темным духом, ищет наслаждений. Он одержим похотью, одержим страстью. Но таков ли ты? Да, она красивая женщина, но ты никогда не желал ее. Ты не пытался приблизиться, не вождедел. А то, что произошло, не твоя вина. Это она пожелала! А ты подчинился. Как подчинился бы налетевшей буре путник, вынужденный свернуть с дороги и укрыться в хлеву. Тебе не из чего было выбирать. Точно так же, как и сейчас. В том нет греха. Ты никого не предаешь. Твоя уступчивость никого не приведет к смерти, не обрушит стены, не раздует пожарищ. Ты всего лишь спасаешь жизнь. Ты сохранишь от безвременного разрушения свое тело. А оно не менее ценный дар Бога, чем твоя душа. Если помнишь, Господь собственноручно извлек эти формы из глины и вдохнул в них жизнь. Своим пренебрежением ты оскорбляешь Его. Его! Его божественный промысел! И оправдываешь свою гордыню. Да, да, гордыню. Ты не ее боишься, ты боишься ее торжествующей усмешки. Если ты сдашься, то позволишь ей победить. Ты окажешься слабее! А это уже раненое самолюбие. Ты страшишься прелюбодейничия, но забываешь о гордыне. Ты слишком горд, чтобы поко-

риться. В тебе нет смирения. Ты противопоставляешь греху свою гордыню, а не добродетель. Она желает обратить тебя в ступеньку для своей лестницы. Но если ты умрешь здесь, в этом подземелье, ей уже не подняться к вершине, ее лестница останется незавершенной. Ты это знаешь, и в этом твое мелкое, подлое торжество.

Мертвых не воскресить. Тогда как же быть? Ряди чего все это? Чего я добиваюсь? Господи, я не знаю. Я уже ничего не знаю. Я запутался. Возможно, и нет в этом никакого смысла. Одна лишь гордыня.

У меня губы пересохли. И горло – сухая кость. Прошу пить, но мне отказывают. Стражи, буркнув, отводят глаза. Вот даже как... Им приказали. Теперь еще жажда. Еще одна мука. Я еще быстрее теряю силы. Несколько шагов на подгибающихся ногах, и сразу приступ головокружения. Язык шершавый, будто камешек во рту. И губы – как металлические зазубрины. Я хватаю воздух, глотаю, но там ни капли влаги. Сколько все это длится, я не знаю... Глухие, далекие стуки. Дверь, засов, кости, кружки. Они пьют у меня на глазах. Вино стекает розовой дразнящей каплей из угла рта, цепляется за щетину на подбородке, висит, потом срывается и летит медленно, сверкая, вытягиваясь, и падает в серую суконную тину, мгновенно расплываясь мокрым круглым пятнышком. Еще одна кружка... Струйка на подпрыгивающем вверх и вниз адамовом яблоке. Этот горловой хрящ усердно ходит туда-сюда, принимая жидкость. И глаз

закрыть нельзя. Я отвожу взгляд. Огонь в очаге по-прежнему ярок, но мне холодно. Озноб. Меня лихорадит. Ломота усиливается, а с ней и тошнота. Тела уже нет, одна лишь искра сознания. Я стараюсь дышать как можно реже, чтобы беречь силы. Но сердце истошно, требовательно молотит, требуя вдоха. Этот грохот в ушах, висках, везде... О том, чтоб встать и пройтись, речь уже не идет. Я даже не делаю попытки. Потому что тут же свалюсь. Им даже приходится меня держать, потому что я все время сползаю то вправо, то влево. Потом им это надоедает. Меня подтаскивают к стене и приковывают за руки к широкому ржавому кольцу, за которое я прежде цеплялся, как за якорь, чтобы удержать равновесие. Железные обручи немедленно начинают резать запястья. Кожа лопается и сползает, как иссохшая кожа. Но эта боль быстро глохнет в рыхлом спасительном тумане, в котором я постепенно растворяюсь.

Обморок один за другим. Настоящая милость Господня... Но меня возвращают, обливают водой. Она течет по моему лицу, даже касается растрескавшихся губ, я пытаюсь слизнуть хоть каплю, она шипит и дымится на моем языке. Горло болезненно сокращается. Меня накрывают сны. Не те сны, что видишь под покровом ночи, а те, что приходят в бреду. Это видения. Сумбурные, яркие, иногда страшные. Ожившие гравюры адовых мук. Все виденное мной в жизни странным образом порублено на части, перетасовано и вновь совмещено. Лица одних, тела и руки других. Разинутая лоша-

диная пасть, голова на сухом ослином остове... мальчишки с золочеными колесами вместо ног... огромный шествующий по улицам крест, облепленный страшными, размалеванными масками... И гул, нарастающий гул, издалека, низкий, катящийся... Все ближе, ближе...

Глава 22

Герцогиня, вероятно, сочла бы себя оскорбленной, если бы ее сравнили с наследником, который, следуя за экономом, твердит «мое», касаясь гобеленов, статуй и серебряных приборов, но ее мысли и действия указывали на это пародийное тождество. Подобно наследнику, она тоже мысленно повторяла: «Мой! Мой! Наконец-то мой!» Ей самой казалось, что это только мысли, вернее, одна-единственная мысль, многократно умноженная, гонимая по кругу, и что она держит эту мысль в плену сознания, не позволяя вырваться и обрести словами. Но эта мысль, звенящая, поглотившая и запленившая, уже давно срывалась с ее губ. Она уже переросла в своем триумфе наследника и больше походила на обезумевшего Шейлока, которому в обладание достался редкой чистоты драгоценный камень. Этот скупец во мраке сокровищницы, при тусклом сопереживании крошечной лампы, любясь своим приобретением, содрогается от страсти. Он трогает безупречные грани, изучает камень на прозрачность, взвешивает на руке, подносит к лицу, прижимается то щекой, то губами и твердит, твердит себе о его стоимости и уникальности.

Палачи расчетливы. Чем больше заботы, тем дольше в жертве будет теплиться жизнь.

Еще темно, но все изменилось. Нет боли в запястьях. И тело не тянет вниз огромной свинцовой гирей. Суставы уже не вывернуты. Я укрыт, мне тепло. Спиной чувствую льняную податливую поверхность. Постель. Не брошенный на пол тюфяк, а именно постель. Глаз не открываю, но тьма под веками розовеет. По ту сторону свет.

Еще одна передышка? Открываю глаза. Та же комната, где я провел две предыдущие ночи. То же окно в петливой решетке, за ним зеленая громада дуба. Я еще изучал его ветки, раздумывал, где лучше ухватиться рукой, а куда поставить ногу. Одна из ветвей протянута к окну, как ладонь, широкая, окладистая. В ногах моей постели Любен. Лицом не то растерян, не то удручен. А скорей всего, раздосадован. Бедняга, я доставляю ему столько хлопот.

– Слава Пресвятой Деве и всем архангелам. Я уж думал, вы и вовсе не проснетесь.

– Пить, Любен...

Это не голос, это какой-то скрип.

– Да, да, конечно. Я уж приготовил.

Похоже на подслащенный, разбавленный сок лимона. Я однажды пробовал круглый оранжевый плод, привезенный

из Лангедока. Внутри сочная, такая же яркая, чуть кисловатая мякоть. Она разделена на дольки, а сами дольки состоят из крошечных сочных капелек. Говорят, сок из этих плодов каждый день подают королю. Сегодня я разделяю трапезу с его величеством.

Сколько на этот раз? День? Два? Сколько они будут ждать? Любен нарочито заботлив. Возится со мной, будто обеспокоенная сиделка. Торопится. У него приказ как можно быстрее поставить меня на ноги. Оливье так же обеспокоен. Является по три раза на дню. И тоже проявляет заботу. Лицемеры. Вы же знаете, к чему готовите меня! Свежий бульон (Любен сказал, что за цыплятами посылали в Манс), душистые яблоки из Прованса, сладкое, густое вино с южных виноградников, в которое Оливье подмешал какие-то свои травы. Время от времени мелькает мысль, что от всего этого следовало бы отказаться... что, принимая эту заботу и глотая бульон, я уже становлюсь ренегатом. И я даже пробую отказаться. Переворачиваю чашку с бульоном, которую Любен ставит на столик у кровати. Осколки летят во все стороны. А я с четверть часа терзаюсь угрызениями совести, наблюдая, как Любен их подбирает.

Он не виноват. Он слуга, человек подневольный. Где-нибудь в Нормандии, под Руаном, живет его мать, с ней младшая сестренка или две, отец давно умер, и старший сын несет бремя заботы о всей семье. Он их любит, он за них в ответе. Точно так же, как я в ответе за Марию. Каждый из нас прав.

Он вовсе не жестокосерден. Он выполняет то, что должен. За хорошую службу герцогиня платит ему жалованье. Это жалованье он отправляет в Руан, а там его мать покупает на эти деньги еду и одежду. Он не смеет ослушаться. Он потеряет место. Его мать и сестры будут голодать. Кто о них позаботиться? Выбор прост – я или престарелая мать. Как можно сравнивать? Я бы и сам поступил точно так же, если бы передо мной стоял выбор. Тут винить некого. Прежде всего те, кто связан с нами узами крови. Твоя кровь и плоть, а уж затем долг и сострадание.

Больше я не противлюсь. Бульон так бульон. Я все равно не чувствую вкуса. Вероятно, Оливье подмешивает мне в питье какие-то снадобья, потому что я почти не просыпаюсь. Сплю и ночью, и днем. Сплю даже тогда, когда хотел бы уже проснуться. Но точно так же, как меня прежде обрекли на «бдение», теперь меня так же насильственно держат в забытьи. И все же держат недостаточно строго. Однажды я просыпаюсь и вижу ее. На какое-то время я даже забыл о ее существовании. Вместо нее где-то вдали грохотала и дыбила невероятная сила, пожар или наводнение. Эта сила надвигалась, и я вынужден был ей противостоять. Ни лица, ни рук, ни имени у этой силы не было. Сизая туча с молниями в подбрюшье. Темное нечто, застилающее горизонт. А теперь вновь проступают черты. Вот она, я ее узнал. Она рядом, она видима и телесна. От неожиданности мне трудно справиться с собой. Я уже изгнал из памяти ее образ, как пугающий и

ненужный. Но она здесь, такая же самоуверенная и любопытствующая. Но под веками растерянность. Я продолжаю нарушать правила. Мне бы спрятаться от этого взгляда, исчезнуть. Вот прямо сейчас, у нее на глазах, уменьшиться до муравьиных пределов и затеряться в складках. Я скрываю лицо руками, дергая покрывало, будто легкая ткань может меня защитить. Но она не приближается, даже отступает. А затем и вовсе уходит. Боже милостивый, почему же так страшно?

Она всего лишь смотрит. Смотрит. А я корчусь в холодном поту. Пресловутый ужас раба. Раб знает, кто его господин. Раб может прикинуться господином, может даже занять его место, но он не перестанет быть рабом. Едва лишь над головой свистнет бич, как раб снова падет на колени. Мной владеет искушение немедленно сделать это, сбросить невыносимое иго выбора и свободы. Пусть господин решает, пусть владеет мной, только бы ушел этот страх, только бы сойти с призрачного перекрестка.

Она возвращается спустя несколько дней. Я уже не валюсь с приступом дурноты, если пытаюсь встать. Осмелился даже спуститься в парк. Вернее, Любен уговорил. Я по-прежнему сопротивляюсь. Не желаю выздоравливать. Саботирую собственное тело. Упорно, осмысленно произношу «нет». Нет этой телесной легкости, нет ясной голове, нет этому здоровому, внезапно пробудившемуся аппетиту. И солнце не желаю видеть. И цветочный аромат, что подбирается, как вор, мне ненавистен. Я хочу назад, в спасительную темноту, укрыться

за ней, спрятаться. Там моя немощь станет мне единственной защитой. Если бы удалось сломать руку или ногу... Но Любен неумолим в своей заботе.

Я пытаюсь проследить сквозь решетку, по скудным знакам, солнечную метаморфозу, от расплавленного золота до стужившейся крови. День сменяется ночью, ночь – рассветом, гроза – полуденной духотой. Все движется согласно закону. Облака, время, люди. Только меня там нет. Прежде я очень остро чувствовал свою причастность к происходящему, к божественному разнообразию, что меня окружало. Сменялись времена года, и я менялся вместе с ними. Зима, весна, лето, осень. Зима – спокойствие и созерцание; весна – безрассудство; лето – смех и радость; осень – предчувствие. Я был крошечным зеркалом, в котором отражалось небо. Огромная синяя полынья и блаженная пауза в утомительной игре разума. Временами удавалось окунуться в нее, обнаружить в собственной беспокойной душе эту странную безмятежность. Так же, как тоскующий взгляд открывает кусочек синего неба среди предзакатных туч. Капля стекает в море, а крошечный обломок приходится к месту, дабы завершить великий замысел. Теперь же этот обломок не у дел. Все будет происходить как прежде, но только без меня. Связь прервалась. Я жив, но это лишь жалкое притворство. Я ничего не чувствую. Я изгой.

Заметив герцогиню, я не пугаюсь. Предшествующее открытие было гораздо значительней. Ничем другим ей не дано

меня удивить. Будут сначала угрозы, затем посулы или угрозы и посулы вместе. Одно будет перемежаться другим. Как же я устал... Но она не подходит. Одета неброско, без пугающего господского величия. Вокруг шеи – округлый белый воротник. Грудь скрыта за высоким корсажем, даже стянута шнурками. На руках ни единого перстня.

– Не пугайся, – говорит она. – Я пришла с миром. Что она задумала?

Я внутренне подбираюсь, как перед схваткой. Угрозы привычней, чем эта мягкость.

Она начинает говорить, и я слушаю, цепenea...

– Более того, я сожалею о случившемся. Сожалею о своем упрямстве. Мне бы следовало послушать тебя и принять твое условие. Но я совершила ошибку. Пошла на поводу у своей гордыни и согрешила. Наказала себя за упрямство. Что оно, твое условие? Пустяк, ничего не значащая формальность. Сама не понимаю, почему мне это сразу не пришло в голову! Гордыня проклятая. Принцессе не пристало идти на уступки. А тут какой-то безродный школяр из Латинского квартала, нищий, требует, чтобы я уступила. Как же я могла сразу сказать «да», если с самого своего рождения привыкла говорить только «нет» на все условия и просьбы! Условия всегда и везде ставлю я. А тут вдруг такая несуразица. Неслыханно. Вот я и не сдержалась. Вспылила. Едва не потеряла тебя. К счастью, вовремя одумалась и решила принять твое условие. А за случившееся прости меня. Я поторопилась.

Пошла по пути заведомо неразумному. Но этого больше не повторится, обещаю. В будущем я буду паинькой. Само милосердие и степенность. Никаких безумных порывов. Только благоразумие и нежность.

Боже милостивый, да она похоже играет в раскаяние. Признается в ошибке. Не стыдится обозначить причину. Гордыня! Ловкий ход. Обезоружить врага внезапной уступчивостью, сразу признать вину, не ожидая обвинений. Противник готовится к бою, грозно бряцает оружием, строит бастионы, а ему вдруг подносят ключи от города. Что же это? Выходит, все эти гордые демарши и стрельбища ни к чему? Есть отчего смутиться. Тем более что она так доверительно обращается за поддержкой.

– Ты мне веришь?

Но я не принимаю участия в игре.

– А вы себе верите?

На высокомерном жестком лице смущение. Она знает, что лжет. Скрывает за полуправдой ложь. Ей нужна победа, она всего лишь сменила тактику. Герцогиня позволяет себе нерешительность, даже легкий румянец на щеках. Опускает глаза, будто стыдится. Смотрит в сторону и говорит вновь:

– Я здесь только для того, чтобы признать свое поражение и засвидетельствовать твою победу. Ты победил, и я принимаю твое условие. А в качестве доказательства перескажу тебе кое-какие новости. Надеюсь, они послужат тебе утешением, а мне – чем-то вроде индульгенции.

Короткая пауза.

Теперь она уже вновь глядит прямо.

– Твоя дочь жива и находится в доме своей бабки, мадам Аджани. Я не ждал никаких имен, никаких уступок.

Я все еще напряжен, пальцы стиснуты. Имя знакомо, но отскакивает, как стрела от доспеха. Лишь машинально ее отбив, я замечаю, что стрела эта несет послание. Аджани! Это же девичье имя Мадлен! Мадам Аджани – ее мать! Твоя дочь в доме своей бабки. Твоя дочь жива! Целый град стрел барабанит гулко и настойчиво. Твоя дочь жива! Жива! Моя дочь в доме своей бабки. Как такое может быть? Мадам Аджани не желала видеть свою внучку.

Когда Мария появилась на свет, Мадлен, как послушная, любящая дочь, воспитанная в страхе и почтении перед родительской властью, написала матери нежное, покаянное письмо, умоляя благословить ребенка. Мадлен была уверена, что появление на свет девочки смягчит ее родителей. Она даже мечтала о том, как вступит в родительский дом с малюткой на руках и как счастливые старики будут восхищаться красотой и здоровьем внучки. Ведь это было их продолжение, их кровь и плоть. Чего бы ни совершила дочь, какие бы запреты она ни нарушила, эта новая жизнь искупала все. Это крошечное личико... малюсенькие ручки... Она так забавно морщилась, разевала розовый ротик... Как они могли устоять?!

Но они устояли. Я сам отнес это письмо в дом ее родите-

лей и так же, как она, пребывал в радостном возбуждении. Я только что ощущал на своих руках тельце новорожденной дочери. Я был так счастлив, что готов был призвать весь мир к восхищению и сорадованию. Чудо, божественное чудо, и я к нему причастен! Ветер радости нес меня над мостовой. Я швырял эту радость горстями, как швыряют серебряную мелочь богатые сеньоры во время шествий и коронаций. Но их кошельки быстро истощались, а моя сокровищница была бездонной. Я швырял ее содержимое к ногам каждого, кого видел, и грустные мрачные лица преображались. Я улыбался, и мне улыбались в ответ. Каждого встречного я воображал в светлых, блистающих одеждах, в солнечном венце, с крыльями удачи. Я осуществлял их мечты, осыпал их дарами, а каждый дом представлялся мне в цветочных гирляндах. И дом на улице Сен-Дени я так же засыпал блестками и украсил праздничными огнями. Приблизился к двери с бронзовым молотком и прислушался. Внутри было тихо, ставни закрыты. Но стоит мне постучать, и все немедленно преобразится.

Я постучал. Дверь долго не открывали, затем служанка долго недоумевающе тарасилась на меня в щель между створками. Лицо хмурое, заспанное, в оспинах. Но мне оно показалось чрезвычайно прекрасным. Я твердил о том, что рад ее видеть, что румянец на ее щеках, как яблоневый цвет, что глаза удивительной глубины и мягкости, после чего она как-то даже смягчилась, порозовела. Смущенно бормотала,

что не может никого позвать, ибо хозяйка занята, но я был настойчив. Лучше бы мне послушать добрую женщину. Вручить письмо и поспешно удалиться. Прodelать тот же радостный путь, а в самом его конце вновь неловко, с пугливой осторожностью взять на руки малышку. Не пришлось бы огорчать Мадлен. Но я не ушел. Я был слишком уверен в своем преобразующем, радостном могуществе.

Служанка впустила меня в крошечный закуток перед лестницей и отправилась за хозяйкой. И та вскоре явилась. Высокая, сухопарая, в черном плисовом платье. Я вытащил из-за пояса письмо и, все еще радостный, бормоча приветствия, протянул его женщине, которую в тот миг искренне любил. Выпалил, что у нас родилась дочь, что Мадлен просит благословить внучку, что как только она оправится от родов, готова засвидетельствовать свою любовь и почтение. Мадам Аджани выслушала меня, взяла письмо, разорвала на четыре части и бросила мне в лицо. Я мгновенно осекся. И тогда я услышал ее голос. Сиплый и яростный.

У нас нет дочери. Есть шлюха, которая родила ублюдка.

Когда я вновь оказался на улице, меня поразила тишина. Я оцепенел. Радость померкла. Я был похож на щеголя, который, отправляясь на бал в шелковых чулках и лентах, был сброшен в сточную канаву. Белый скрипучий шелк заляпан зловонной жижей. А вокруг дикий, глумливый хохот. Но я вместо хохота слышал голос: «У нас нет дочери. Есть шлюха...» Что же я скажу Мадлен? Что я ей скажу? Всю дорогу

я едва волочил ноги. А у дома епископа долго топтался, не решаясь войти. Я даже пытался солгать, когда Мадлен взглянула на меня своими ясными, доверчивыми глазами. Но она сразу догадалась. В ту ночь Мадлен долго плакала. Сдавленно, глухо. А я ничем не мог ей помочь. Притворился спящим и слушал ее всхлипы. Сердце кровоточило от стыда и бессилия. Ведь это я был во всем виноват. Я один. Это я обрек их на сиротство.

С тех пор мы не вспоминали о доме на улице Сен-Дени. Изредка заходил Арно, мой свежее испеченный шурин. Отец выгнал его из дома вслед за сестрой, после того как тот попытался вступить за Мадлен. Отец обвинил его в попустительстве сестре. Арно пришлось оставить университет и зарабатывать на жизнь младшим клерком в конторе некоего мэтра Кошона. Но он не пал духом, был весел, охотно нянчился с племянницей и пророчил нам всем великое будущее. Знает ли он, бедняга, что случилось? Если знает, то, вероятно, уже пожалел о своем дружеском расположении. Проклял не единожды. А для будущей встречи держит за поясом нож – для друга, предателя и убийцы.

Но как все-таки Мария оказалась в том доме?

Я преодолеваю свой страх и обращаюсь к герцогине. Она уже больше не враг. Она вестник.

– Как... как она там оказалась? Герцогиня сразу чувствует перемену. Осажденные выбросили белый флаг. Она улыбается кротко, почти приветливо – принимает парламентаря.

– Об этом лучше спросить Анастаси. Это все ее рук дело. Моя придворная дама, как видно, решила поиграть в провидение. Отыскала девочку, доставила ее в дом бабки. Кстати, малышку взяла на временное попечение жена привратника. Женщина добрая, но, как я поняла, крайне стесненная в средствах. Полагаю, в ее планы не входило долговременное опекуновство. Подыскивала сиротке близлежащий приют. Но заботой девочку не обделяла. Во всяком случае, та не умерла от голода и не простудилась. А тут и Анастаси со своей загадочной миссией пожаловала. Отблагодарила добрую женщину парой монет и отправилась со своей находкой на улицу Сен-Дени, здраво рассудив, что поручать ребенка следует ближайшим родственникам. Далее выяснилось, что эти в высшей степени милые, добропорядочные люди, истинные христиане, вовсе не горят желанием становиться дедом с бабкой. Дочь, видите ли, покинула родительский дом и вышла замуж без их на то величайшего позволения и таким образом лишилась их родительского участия. Но моей придворной даме каким-то образом удалось их убедить. Я даже догадываюсь – каким. Анастаси умеет убеждать. Звон монет – непререкаемый аргумент. Дед с бабкой приняли внучку и поклялись (заметь, Анастаси не ограничилась простым словом), поклялись на святом Евангелии, что девочка будет окружена вниманием и заботой и, невзирая на все прегрешения ее матери, будет признана законной наследницей и удостоена имени Аджани. И вот уже более двух недель она там.

Ты доволен?

Что я мог возразить? Я получил то, что желал. Моя дочь в безопасности. Она не кричит от голода, не мерзнет, у нее есть крыша над головой. В том доме, где она живет, ее никто не любит. Но какое это имеет значение? Главное, она жива. И я могу ее видеть. Могу взять ее на руки, могу прижать к груди, могу слушать стук крошечного сердца. Точно так же, как делал это совсем недавно. Детское невесомое тельце. Такое хрупкое.

Я снова смотрю на герцогиню. А она торжествующе ждет. Она знает, что победила.

– Смею ли я надеяться?..

Вот мы и вернулись к исходной точке. Она – божество, а я – проситель. Я там, где мне и положено быть, у последней ступеньки лестницы, коленопреклоненный.

Она отвечает не сразу, улыбается, тянет паузу. Это ее триумф, и она желает в полной мере им насладиться, распробовать, как редкое вино.

– Можешь, – наконец говорит она.

И не сводит с меня глаз. Сначала изучает лицо, затем ее взгляд ползет ниже, с подбородка на шею, на полоску кожи, что не скрыта воротом сорочки. Я чувствую это так же явно, как если бы она сунула туда руку. Она, как рачительный хозяин, водит пальцем по карте только что приобретенного поместья, изучает холмы и тропинки. Все это теперь принадлежит ей. Все это ее собственность. Мое тело

больше не мое. Это ее вещь. И все, что с этим телом происходит, тоже ее. Боль, озноб, дрожь, усталость – все это ее. Она вправе сейчас стянуть с меня одеяло и скрупулезно изучать мою наготу, а я не посмею пошевелиться. Она может взять меня сейчас, если пожелает. И я вижу, как она борется с соблазном сделать это. Я побежден. Только протяни руку и возьми. И рука ее тянется к самому уголку вышитого покрывала, чтобы откинуть его. Ее дыхание сбилось от неожиданного поворота. Но она себя преодолевает. Рано. Ей нравится предвкушать. При всем своем могуществе и телесном нетерпении она все-таки женщина, ей нужно время, чтобы воображение довершило работу. Она будет распалать себя медленно, методично. Только по истечении некоторого срока, уже ступив на край, она прикоснется ко мне.

Нет, она не будет спешить, и герцогиня тут же это подтверждает.

– Можешь. Как только окрепнешь. Ты еще очень слаб, а девочке нужен сильный и здоровый отец. Я немедленно распоряджусь привезти ее сюда, как только Оливье мне это позволит. Ты к тому времени встанешь на ноги, будешь хорошо есть и выполнять все его предписания.

Как много условий! Это значит, что свою дочь я увижу не скоро. Ей нравится эта игра, и она будет тянуть ее и тянуть. Почему бы ей не взять меня сейчас? Я стерплю, я справлюсь. Насилие будет коротким. Но, возможно, завтра я увижу свою дочь. Однако герцогиня только гладит меня по щеке. И про-

ИЗНОСИТ ПОЧТИ ЛАСКОВО:

– Обещаю. Через несколько дней ты ее увидишь.

Глава 23

Она решила, что сдержит слово. В конце концов, они заключили сделку, а если свои обязательства нарушит она, то даст ему те же преимущества. Сделки для того и заключаются, чтобы соблюсти взаимную выгоду. Каждый из смертных заключает бесчисленное количество сделок, начиная с раннего детства. И самая первая из них – это сделка с собственной матерью. В обмен на кормление и заботу ребенок предлагает послушание. С возрастом количество сделок возрастает. Сделка с отцом (наследство за удачную женитьбу), сделка с учителем (похвала в ответ на льстивый донос), со священником (пожертвование в обмен на отпущение грехов), со стряпчим, с сувереном, с королем и, как апофеоз всех сделок, сделка с дьяволом. Весь мир – это огромный реестр сделок. Кто-то продает молодость, кто-то – тело, кто-то – талант, кто-то – доблесть. А кто-то покупает и расплачивается: золотом, властью, любовью и самолюбием. Обязательства исполняются безукоризненно, ибо в противном случае мир погрузится в хаос.

* * *

К Рождеству гуся откармливают. Какой же праздник без жирной, сочащейся тушки? Птицу сажают в тесную, с тол-

стыми прутьями клетку и кормят. Кормят обильно и часто. Рубленые овощи, морковная ботва, ядрышки миндаля. В невероятном количестве. Если гусь сыт и отказывается глотать, то куски в зоб проталкивают пальцем.

Нет, меня не сажают в клетку и зубы не разжимают, чтобы протолкнуть кусок, но ощущение сходства с этим украшением стола у меня явственное. Любен намекает на то, что ребра мои слишком выпирают, а скулы заострились. Герцогине это не нравится. Ей нужна безупречная вещь. С гладкой, шелковистой кожей, блестящими волосами. Да и тени вокруг глаз украшением не служат. Бледность опять же. Мне следует больше гулять. Перед завтраком и перед ужином. Нагуливать аппетит. А перед едой выпивать бокал сухого шабли. Тогда и цвет лица улучшится, и тело окрепнет. Крови прибавится. Трещинки на губах исчезнут. А то что же это? Смотреть больно. Вот и мэтр Оливье настаивает. Лекарства готовит. Пейте, сударь, пейте, полно вам комедию-то ломать.

Так и сказал – комедию. Он прав. Все это и в самом деле напоминает комедию. Откорм праздничного гуся к обеду. И гусь это знает. Ест, тем не менее, охотно. Давится, но хватает куски. Мэтр Оливье время от времени тычет пальцем мне в ребра. Будто рачительная хозяйка, проверяет, не торчат ли кости, вырос ли под крылышками жирок. Я стараюсь, господин лекарь, стараюсь. Меня мутит от ваших настоек, но я не смею перечить. Вы тоже слуга, волю господскую исполняете. Как и те повара, что подают мне блюда по королевским ре-

цептам. И Любен, что печется о цвете моего лица. Он даже позволил мне поплавать в пруду. Строго следил за тем, чтобы я переплыл его два раза туда и обратно. И не вздумал нырять. Или бежать. Признаюсь, такая мысль у меня была, однако поросший крапивой противоположный берег и отсутствие штанов избавили меня от соблазна. Не безумец же я. Я вполне здравомыслящий гусь. И клетка у меня просторная. Даже прутьев не видно. Светло и чисто.

Ветер приятно холодит кожу. Я выбираюсь на берег, и теперь уже Любен играет роль хозяйки. Оглядывает меня со всех сторон. Нет, он не кухарка, он заботливый конюх. А перед ним породистый жеребец, чью атласную шкуру он только что отполировал до блеска. Теперь, пустив животное мелкой рысью, любитесь, как под этим сияющим, тонким покровом перекачиваются мышцы. Он приложил столько стараний. У животного должна быть безупречная выездка. Скоро хозяйка вденет свою изящную ножку в стремя и сядет в седло. Оливье накануне ощупывал мои руки по выше локтя. Я терплю. Меня это даже забавляет. Воображаю себя на праздничном столе, под сырным соусом и в яблоках. А когда Любен после очередного купания и осмотра накидывает мне на плечи простыню, я советую ему добавить в соус базилика и полить тушку сливочным маслом. Он ничего не понимает, но тут же воображает, что я наконец одумался и готов принять все радости чревоугодия. Никаких больше глупостей. Я его не разубеждаю. Даже делаю вид, что надежды его не

напрасны. Я должен жить. Ради своей девочки. Я не думаю о том, что будет позже. Я думаю только о ней. Ту, вторую картинку, час расплаты, я уменьшаю и лишаю цвета. А первую, желанную, раскрашиваю и озвучиваю, осветляю и заполняю ею все мысленное пространство.

Где она, моя девочка? Я так давно не видел ее. Прошла целая вечность. Помнит ли она те словечки, что мы с ней выучили? Не разучилась ли смеяться? А бегать? Она у меня такая умница. Ловкая, сильная. И на ножки быстро встала. Будто понимала, как нелегко ее матери, какие у нее слабые, прозрачные руки. Мария научилась ходить как будто тайком, чтобы сразу предъявить победу. Я вернулся под вечер, а Мадлен, накрывая ужин, украдкой качнула в сторону девочки головой. Но сама не повернулась и мне знак подала, чтобы не смотрел. Только сбоку, украдкой. А малышка вытянулась за своей деревянной перегородкой, за перекладину ухватилась и стоит, покачиваясь. Личико радостное и удивленное. У нее что-то получилось. Я все же не удержался, бросил взгляд, она тут же потеряла равновесие и шлепнулась. Но на следующий день она осмелела и уже держалась за перегородку с внешней стороны. Перед ней расстился поистине вселенский путь – пять шагов до стола и шесть до родительской кровати. Она в нерешительности покачивалась на слабых еще ножках. Затем оторвала ручку от перекладины и беспомощно задвигала ею в воздухе. Я успел подставить ладонь, и она почти повисла на моем указательном пальце. Но

не отступила. Сделала шажок, потом еще один. Восхитилась собственным подвигом. Засмеялась и тут же плюхнулась на пол. Она смеялась, обратив ко мне личико. Глазки блестели, два передних зуба – будто молочные капли. Она призывала меня к соучастию. Смотри же, смотри, говорили ее светлые глазки – у меня получилось.

– Ай, bravo! Ай, bravo. Сама! Сама встала и пошла. Bravo! Я подбросил ее в воздух, и она завизжала от восторга. Оказавшись внизу, она тут же повторила попытку, упала, повторила опять и уже не останавливалась. Мадлен, вздохнув, возвела глаза к небу. Забот ей прибавилось. Девочка научилась самостоятельно двигаться, и бедной матери предстояло следить за тем, чтобы малышка ничего себе не повредила. Я брал на себя эту обязанность при каждом удобном случае. Это было так восхитительно. Любоваться тем, как она учится, познает возможности собственного тела, наслаждается огромным, неожиданно открывшимся ей миром. Вот она уже умеет ходить, может одолеть пустыню, что пролегает между ее деревянной кроватью и столом, за которым сидит за пяльцами ее мать, может добраться вон до тех странных угловатых предметов, что громоздятся в углу, может потрогать их, потянуть на себя. Предметы разные. Есть прохладные, округлые и тяжелые. Это чернильницы. А есть длинные, мягкие, увязанные в пучок. Это перья. Она еще не знает, что это такое, но эти предметы ей нравятся. Каждый из них – загадка. Эти предметы меняют форму, меняют цвет. Она пыта-

ется вырвать лист из проповедей Бернара Клервоского, но я вовремя вмешиваюсь и пресекаю поползновения – обращаю внимание девочки на тряпичного скомороха, которого сшила из старой юбки Мадлен. Мария тут же забывает великого аскета и хватается игрушку. Игрушка тоже меняет форму. Ее можно швырнуть в угол, а затем бежать за ней. Можно забросить под стол, а затем лезть туда на четвереньках. Можно отправить тряпичного человечка в полет, а затем смотреть на него снизу вверх. А можно упрямитесь и дуться, если отец попытается игрушку забрать. Но особую радость ей доставляет мое участие в ее познавательных опытах. С моей помощью она выяснила свою способность висеть в воздухе на одной руке или ноге, открыла гибкость и силу своих пальчиков, побывала за дверью на лестнице, сползла по ступенькам, обнаружила красящее свойство чернил и, конечно же, попробовала на вкус «Оды» Горация. А еще она начала говорить. И сразу фразами, короткими и решительными. «Папа, скажи-ка». Где она подхватила это «скажи-ка»? Она указывала на предмет и требовала его обозначить. «Папа, скажи-ка». А еще ей понравилось слово «браво». Она приходила в дикий восторг, хлопала в ладоши и повторяла: «Пляво, пляво». Она вторила мне как эхо. Или опережала, заметив, что я готов похвалить и одобрить. Она даже превращала это слово в вопрос. Подскок на одной ноге. «Пляво?» Прыжок с табуретки. «Пляво?» Клякса на бумаге. «Пляво?» Тут она, конечно, одобрения не получала, но, позабыв о смущении,

прикладывала измазанную ладошку к бумаге и снова оглядывалась. А так? «Пляво?» Мадлен хмурилась и порывалась ее отшлепать. Я останавливал ее. Понимал, что в мое отсутствие у бедной жены моей нет сил и времени объяснять девочке ее ошибки и что она прибегает к методу отчаявшихся родителей – наказанию, но если я как отец был в наличии, то сводил ее порывы к жесту, ловил слабую, почти прозрачную руку и надолго припадал к ней губами. Нельзя ожесточать девочку. Она будет совершать те же проступки умышленно. «Не браво», – говорил я дочери, указывая на испачканные ладошки. Она смущалась, тут же прятала ручки за спину и, чтоб сгладить впечатление, начинала носиться по комнате, время от времени проверяя, наблюдаю я за ней или нет. Достаточно было шутливо сморщиться, приподнять бровь, чтобы она немедленно сменила род деятельности. С подскоков на кружение волчком, с жевания перьев на комканье бумаги. К счастью, в мое отсутствие девочка вела себя гораздо спокойней. Мать не представлялась ей таким уж заинтересованным зрителем. Мария забиралась в свой угол, в закуток за деревянной кроватью, и там сосредоточенно возилась с игрушками, с теми, что я смастерил ей из дерева и соломы, и с теми, что сшила Мадлен. Некоторых странных длинношеих и длинноногих существ она сплела из разноцветных лент. Также в игрушечный арсенал попала погнутая ложка, бронзовая крышка от чернильницы, обрывок кружева, шахматный конь и потертый бархатный веер, который давным-дав-

но позабыла в исповедальне какая-то дама. Я сам проверил все эти предметы на размер и безопасность. Ей не удастся их проглотить или одним из них пораниться. С набором этих предметов и своими игрушками Мария производила множество одной ей понятных действий. Перекладывала, громоздила друг на друга, разбрасывала, сгребала в кучу, пробовала на зуб. Иногда по много раз повторяла одну и ту же манипуляцию. К чему-то прислушивалась, изучала, наблюдала, склоняла голову набок. Вносила чуть заметные изменения и снова повторяла. При этом она произносила длинные монологи, составляя фразы не из слов, а из слогов. В лингвистике она тоже производила изыскания: разбивала все слышанные понятные и непонятные слова на мелкие осколки, перемешивала и пыталась соорудить нечто новое. Мадлен сердилась на странную отчужденность девочки, но вскоре сочла это за благо – малышка почти ей не докучала. А если, покидая свое убежище, припадала к ней, требуя ласки, то это и вовсе сглаживало обиды. Мать была слишком слаба, чтобы разделять ее забавы. Я сам запретил ей это. Вторая беременность протекала тяжело, и малейшее напряжение, неловкий поворот, падение могли обернуться кровотечением и потерей ребенка. Мария, как лесной зверек, угадывала мою заботливую настороженность по отношению к ее матери и старательно мне подражала. К ней надо подбираться медленно, прижиматься вкрадчиво, не прыгать и не озорничать. Зато с отцом можно позволить себе пошалить, поиграть и даже

покататься верхом. Вот так! «Пляво!»

Что с ней теперь? При мысли о том, какие пагубные перемены могли с ней произойти, у меня сжимается сердце. Всего одно слово, недобрый окрик, угрожающий жест, и в трепетную, незрелую душу западет первое зернышко страха. Оно очень скоро даст всходы. Рана будет кровоточить. Душа, как драгоценная ткань, будет испорчена навсегда, загублена, узор нитей нарушен. Даже если рана зарастет, останется грубый узел. Он будет натирать, давить. Будет уродовать походку, как надоевший мозоль. От него уже не избавиться. А сердце скоро утратит веру.

Я места себе не нахожу от беспокойства. Почему никто ничего мне не говорит? Я же исполняю все, что от меня требуют. Я послушен и прилежен. После нескольких дней мытарств появляется Анастаси. В последний раз я видел ее, когда она нашла меня на скамье, в галерее. С тех пор я видел ее только мельком, издали, когда спускался в парк. Она меня избегает? Или я ей больше неинтересен? Я собственность герцогини, и придворной даме запрещено ко мне приближаться. Но она вопреки господской воле позаботилась о моей дочери. Так сказала герцогиня. Анастаси нашла мою дочь, спрятала через пару дней после трагедии у жены привратника, а затем перевезла к бабке. Почему? Неужели она так предана хозяйке и заранее все просчитала? Спешила оказать услугу? Какая предусмотрительность! Госпожа только пожелала, а ее верная служанка уже подносит ей желаемое

на золотом блюде. Меня подносит, мою свободу, мою душу.

И все же я жду ее. Она единственная, кто помнит меня живым. Нас связывает кровь. Ее кровь. Ее мятые, окровавленные нижние юбки. Ее боль и крик. Теперь мы будто сообщники. Я такой же, как и она. Пусть враг, пусть непрощенный свидетель, но все же равный по крови.

Она неожиданно появляется на пороге. Я бросаюсь ей навстречу. Кулаки сжаты, челюсти сводит. Она отводит взгляд, упрямо склоняет голову. Лоб у нее выпуклый, высокий, волосы стянуты в большой темный узел. Уши открыты, и в них две серебряные слезы. Она, подобно хозяйке, в черном, но без шитья. Только белый воротник облегает плечи. Между нами остается пара шагов, мы останавливаемся и в упор смотрим друг на друга. У нее глаза блестящие, как две огромные черные бусины. Она не моргает и не отводит взгляд. Я готов произнести заготовленные слова, но только приоткрываю рот. Воздух прорывается впустую. Его слишком много, я захлебываюсь. Но она понимает.

– Она здорова, – говорит Анастаси без всяких предисловий. Все, что я пытался сказать, она прочла в моем вздохе. – Завтра я привезу ее.

У меня ноги становятся ватными. Я вновь делаю судорожную попытку что-то сказать, и меня с той же неумолимой последовательностью постигает участь рыбы. В груди жесткая, бутылочная пробка. Я столько хочу спросить, столько узнать. Мой язык – будто окровавленная подушечка для иглоков, где

каждый вопрос торчит острием наружу. Главное... Что же главное? Девочка прежде была отвергнута своей бабкой. Как ее приняли теперь? Анастази вновь меня опережает.

– Я сказала этой святоше, твоей теще, что сверну ей шею, если с девочкой что-то случится.

Я закрываю глаза и чувствую, что земля из-под ног уходит. Это отхлынула волной тревога. Даже не сознавал, в каком изнуряющем, тягучем страхе живу. Я слишком хорошо помню безгубый, сухой рот мадам Аджани и слышу ее голос: «У нас нет дочери...» Маленькая девочка – улика грехопадения.

Анастази касается моей руки. Вновь угадывает мысли.

– Старуха не посмеет послушаться. А ее муж слишком жажен. К тому же я обещала время от времени навещать их.

– Они не любят ее... Я произнес это медленно, скорее режюмируя услышанное, чем обращаясь к придворной даме.

– Да, не любят. Насколько я поняла, ты не принадлежишь к числу их любимых родственников. Ты соблазнил их дочь и увел ее из дома. Девушка нарушила родительскую волю. Опозорила семью. Добрые христиане, само собой, вознегодовали. Так чего же ты от них хочешь? Восторга при известии о смерти их дочери или радости от того, что в их в доме появится незаконнорожденный ребенок?

– Мария родилась в браке. Отец Мартин обвенчал нас.

– Да, родилась в браке, но зачата в грехе, до того, как вы получили благословение священника. Да и обвенчаны вы

были без согласия родителей. Выходит, незаконнорожденная. Какая уж тут любовь?! С их стороны это величайший подвиг – принять девочку в своем доме. Пришлось долго уламывать. А как по-другому? Сдать ее в приют? Для меня это было бы гораздо проще, чем вести переговоры с таким семейством, как это. В конце концов, иметь крышу над головой, теплую постель и родственников, которые о тебе заботятся, не так уж и мало. А любовь...

Анастази водит в воздухе рукой, как бы очерчивая что-то эфемерное, несущественное.

– А как же сердце? Ее маленькое сердце, которое так нуждается в любви? Кто позаботится о ее сердце?

Анастази презрительно фыркает.

– Сердце и забота о нем – в наше время непозволительная роскошь. Даже королевским детям она недоступна. Что уж говорить о таком создании, как твоя дочь. О сердце не вспоминают, если по щекам хлещет холодный ветер, а живот сводит от голода. Забудь о сердце. И забудь о Боге.

– Но если мне попытаться вернуть мою дочь...

Анастази опять презрительно фыркает. Но я продолжаю.

– Что мне нужно сделать для того, чтобы я мог сам заботиться о ней? Я понимаю, что подчиняться. Понимаю, что выполнять все ее капризы. Но что еще?

Анастази смотрит на меня со странным, болезненным участием. Она долго молчит, как бы прикидывая, смогу ли я уразу – меть то, что она собирается мне сказать, или стара-

ния ее канут втуне.

– Играй по ее правилам, – тихо говорит она. – Пусть герцогиня верит, что победила. Пусть получает тому доказательства. Пусть думает, что ты разбит, что ты сломлен. Притворись. И не вздумай смотреть ей в глаза, как сейчас смотришь мне. Она этого не любит. Дай ей то, чего она хочет. Ей, собственно, и нужно-то не так уж много. Это только кажется, что она готова проглотить целый мир, но это не так. На самом деле целый мир ей не нужен. Ей нужна только жизнь, твоя жизнь, но она должна верить, что эта жизнь принадлежит ей. – Анастаси еще понижает голос. – Ей нравится ощущать себя богом.

Я отшатываюсь.

– Как это? Это же богохульство!

– А вот так! Она – бог. И все вокруг зависит от ее доброй воли и ее доброго расположения. Сыграй с ней в эту игру и ты добьешься всего, чего пожелаешь. Только играть надо правильно. Фальшь она сразу почует.

– И тогда она вернет мою дочь?

Анастаси делает неопределенный жест.

– Возможно. Из гордыни. Или из самолюбия. Дабы явить великодушные божества. Но это только в том случае, если ты не дашь ей усомниться в ее божественности.

– Но как?

– Не знаю, – Анастаси пожимает плечами. – Я не настолько хорошо владею этим искусством, чтобы давать советы.

Пусть верит в то, что решает она, а не ты. И еще. Скрывай свои чувства. Ты слишком открыт. Слишком доступен. Учись притворяться. Здесь без этого нельзя, не выжить.

– Звучит так, как будто заключение это на всю жизнь. Не продлится же это долго!

Анастази смотрит на меня с насмешливым состраданием.

– *Desine sperare qui hic intras.*²⁰

²⁰ Оставь надежду всяк сюда входящий (лат.).

Глава 24

Она позволила Анастасии привезти девочку в замок. Изначально ее великодушие не заходило дальше словесной уступки. О девочке уже позаботилась придворная дама, а самой принцессе оставалось только признать этот поступок легитимным. Она всего лишь произнесла несколько фраз, и запретная ересь обрела статус догмы. Более ничего от нее не требуется. Анастасии засвидетельствует сделку. Герцогиня не сомневалась, что ее служанка уже сделала это. Иначе Геро не вел бы себя столь смиренно. Он поверил Анастасии и ничего не потребовал от герцогини. Но она обещала ему свидание, он ждет. Его сопротивление глубоко внутри него самого, в частицах самого его тела, как болезнь. Чтобы спасти его от болезни, ей придется уступить.

* * *

Следующий день – это ожидание и мука. Они дразнят меня, вынуждая пестовать и благословлять жизнь. А на деле это приманка. Из моего окна мне ничего не видно. Оно выходит в парк, но я все равно поминутно подхожу к нему. Вдруг донесется стук копыт? Или я увижу Анастасии с девочкой? Позволят ли мне взять ее на руки? Подробности свидания мы с придворной дамой не обсуждали. Формально в обяза-

тельства герцогини входит представить мне доказательства и ничего более. Моя дочь жива, о ней заботятся, и ничего сверх обговоренного я требовать не смею. У меня холодеет в груди. А если она так и поступит? Я ничего не в силах изменить. Упрекнуть ее мне не в чем. Нет, нет, ей же нравится играть в бога, как говорит Анастази. Герцогиня не ограничится таким сухим, бесчувственным ритуалом. Ей необходимо насладиться триумфом. А если все быстро кончится, она даже не успеет распробовать. Она женщина. Ей нужна длинная пьеса, с монологами и подробностями. В этой пьесе должна быть страсть. Кровь, слезы и вздетые руки. Так для нее будет занимательней. Она не ростовщик с улицы Тампль, который удовольствуется подписанием счета. Она устроит представление. И других заставит в нем сыграть. Как это делал Сулла, вынуждая своих просителей влезать на котурны. К тому же так велик соблазн продлить мои муки.

Надо успокоиться. Я могу испугать Марию своей излишней горячностью. Я слишком взволнован. Она не видела меня больше месяца. Для ребенка это целая вечность. Узнает меня не сразу. Или... не узнает?

Я сам себя не узнаю. Что уж говорить о ней? Я другой. Другие мысли, другой взгляд, другой запах. Только внешнее сходство осталось. Я нахожу в зеркале странного двойника, плохую копию. Есть старая притча об императоре, которому подарили механического соловья. Настоящий соловей, не желая жить в клетке, не радовал своего владельца

пением, и тогда услужливый мастер сотворил точную копию птицы. Механический соловей махал крылышками, раскрывал клювик и даже пел. В его горлышке помещалась крошечная серебряная флейта. Каждое перышко этого соловья было украшено бриллиантом, а вместо глаз сияли изумруды. Он был ослепительно прекрасен и, главное, не умел летать. Соловей пел, слепил золотыми перьями, придворные восхищались. Вот и я такой же соловей. Только мою копию сотворили из меня самого. Покрыли золотой краской, как того бедного мальчика, что изображал Золотой век на празднествах Лодовико Сфорца. Но изменениям подверглась не только моя кожа – у меня заменили внутренности. Человеческое, кровавое изъяли, а вместо него поместили нечто прочное, из тонких блестящих нитей, из тех, что никогда не перетрутся. То, что я при такой замене разучусь жить, никого не тревожит. Это даже к лучшему. Хозяйке меньше хлопот. А как же моя дочь? Ей тоже предстоит лицезреть механическое чучело с крахмально-торчащими перьями? Я с ненавистью стал комкать скрипучие, жесткие манжеты. Она испугается. Она увидит настоящее чудовище, фальшивое и пестрое.

За дверью легкий шум. Шаги, голоса. Ждать не могу, сам бросаюсь вперед. Мне показалось? Или я слышу ее голос? Лепечущий, слабый. Рядом голос Анастаси. Она увещевает и успокаивает. Я распахиваю дверь и выбегаю на круглую площадку перед лестницей. Три ступенями ниже – придворная дама. Хмурая, сосредоточенная, ведет за руку девочку в

черном платье. Девочка с трудом взбирается по ступенькам. Ей не сразу удастся закинуть ножку, а потом опереться на нее. Теряет равновесие, но Анастаси вовремя поддерживает ее вверх. Голова девочки опущена. Все ее внимание на ее ножках, которые еще недостаточно проворны, чтобы легко преодолевать ступеньки. И потому я не сразу могу понять, кто это. Слабая, неловкая фигурка лишена сходства с той шумливой, проказливой девочкой, что живет в моем сердце. Я смотрю с изумлением и страхом. Вот она уже на последней ступеньке и, утвердившись, может наконец оторвать взгляд от углов и провалов под ногами. Обращает ко мне свое личико. Бледное, с ее собственный кулачок. На голову ей напялили огромный, неуклюжий чепец. Он давит сверху, топорщится и мешает смотреть. Малышка испугана. Анастаси для нее чужая, но за те два пролета лестницы, по которой они взбирались, девочка успела к ней привыкнуть и жметя к держащей ее руке. Мария... Бедная моя девочка. Осиротевшая, покинутая. Она ничего не видит перед собой и меня не видит. Слишком много вокруг пугающих, незнакомых фигур. Они слишком быстро меняются. И я такая же фигура. Она не плачет и не кричит, ибо устала бояться. Она оцепенела. Я не приближаюсь. Только опускаюсь на колени в нескольких шагах и тихо говорю:

– Ай, браво! Сама... ножками... по ступенькам. Ай, браво!

И она слышит. Вздрагивает, вертит головенкой. Отпуска-

ет руку Анастаси, уже готова пуститься в плавание, как безрассудно храбрый морячок. Она широко раскрывает глаза – ищет. Ищет! Изучает меня. Но я так непохож, так пугающе ярок. Она слышит только голос: «Ай, браво!» Голос не изменился. Его нельзя подделать. Она его помнит. Ее взгляд больше не блуждает. Он останавливается на мне. Незнакомом. Она еще колеблется. За эти долгие недели она столько раз обманывалась в своих надеждах. Вдруг и сейчас обман? Но я произношу ее имя... Произношу с затяжной нежностью, как произносил его раньше, в той, другой, жизни. Я вспоминаю испачканный в чернилах пальчик, тряпичного забытого под столом лицедея, набитый соломой мяч, которым в меня так удобно было попасть... И она будто обретает зрение. Сомнений больше нет. Она протягивает ручки и делает быстрые, неловкие шажки. Она уже у меня в руках, у моего сердца. Цепляется пальчиками за мою одежду. Не то всхлипывает, не то смеется. А скорее, и то и другое. Это страх прорывается слезами, страх долгих, страшных ночей сиротства. А вместе со страхом нечаянный смех. Она что-то лепечет, но я не понимаю. Только прижимаю ее к себе, маленькую, хрупкую. Жесткий, уродливый чепец падает у нее с головы, и я целую ее мягкие, теплые волосы. Они у нее не такие темные, как у меня, сказывается белокурый локон Мадлен, а в раннем младенчестве она и вовсе была светло-волосой. Мадлен где-то хранила ее первую прядку. Потом детские кудряшки стали быстро темнеть. И за этот месяц по-

темнели окончательно. Мать умерла и унесла в могилу все знаки своего присутствия. Остался только я. Она и чертами лица больше походит на меня, только носик как у Мадлен, чуть вздернутый. И лобик она морщит как мать. И вздыхает, и хнычет. Я держу в объятиях сразу обеих. Пытаюсь вымолить прощение у одной, обнимая другую. В этой маленькой девочке частичка моей умершей жены, половинка души. Если я сохраню эту драгоценную жизнь, то сохраню и Мадлен. Она не умрет окончательно. Не уйдет от меня. Она будет жить в этом маленьком теле и смотреть на мир из-под этих золотистых ресниц. Она будет счастлива. Ей в наследство достанется наша нерастраченная доля. Господь поровну отмеряет счастья. Мы своим воспользоваться не успели, потратили самую малость. Так почему же оставшуюся часть не унаследовать ей, нашей дочери?

Анастаси отвернулась. Она будто стесняется представшего ей зрелища. Затем, не поворачиваясь, произносит:

– У тебя есть пара часов. Если повезет, я уломаю герцогиню оставить девочку чуть подольше. Но не обольщайся. Она согласилась на это свидание с большой неохотой. И в любой момент может его прервать.

Конечно может. Она все может. В роли божества она не упустит случая вмешаться в судьбу простых смертных. Но у меня есть время. Целых два часа! Да это же вечность! Такой удачи нам прежде не выпадало. Я был слишком занят, часто возвращался за полночь, когда Мария уже спала, или уходил

так рано, что девочка еще не просыпалась. Я проводил с ней время урывками, делил сей скудный рацион между Мадлен, которая только и делала, что ждала меня, и Марией, которая в мое отсутствие изнывала в бездействии. А тут два часа! Какое великодушное божество.

Я унес Марию к себе. Она все так же зверьком сидит у меня на руках, спрятав личико и вцепившись в одежду. Она не шевелится и, кажется, не дышит. Боится нарушить возникшую связь, утратить ощущение безопасности, что давали ей мои руки. А вдруг я вновь исчезну? Я шагаю от окна к двери и обратно, целую в теплую макушку и беспрестанно повторяю:

– Я с тобой, моя девочка. С тобой. Не бойся. Я всегда буду с тобой.

Я лгу и знаю это. Через два часа ее вырвут у меня из рук, и одному Богу известно, свидимся ли мы снова. Нас разлучат надолго, может быть, навсегда. Мне обещали сохранить ей жизнь, позаботиться о ее будущем, о встречах с ней в этом будущем речи не шло.

Некоторое время спустя Мария затихает. Вертит головкой, оглядывается. Рассматривает окружающее ее пространство из-за моего плеча. Ничего угрожающего не видит и мягко ворочается:

– Пусти...

Любопытство возобладало.

Я немедленно уступаю. Она еще робеет, цепляется за мою

руку, но очень быстро преодолевает свой страх. Детское сердце, к счастью, не умеет долго грустить. Быстро забывает печали и страхи, а если и стучит учащенно, так это от нетерпения и восторга. Все вокруг нее было слишком занимательным, чтобы избежать пристального изучения. Вот кровать под ярким, расшитым пологом. А полог весь в складках, по краям – золотые кисти. Она подбирается к резному столбцу у изголовья, подпрыгивает и тянет за кисть. Я подсаживаю ее на кровать, и она уже прыгает, елозит коленками по шелковому скрипучему покрывалу. Поглядывает на меня украдкой: одобряю или нет. Смейся, моя девочка, смейся. Изгони из этой комнаты злых духов.

– Пляво? – невнятно произносит Мария.

Это было первое членораздельное слово, которое я от нее слышу. То, что она бормотала сквозь плач у меня на руках, фразами и словами назвать было трудно. Она утратила приобретенный навык, за недели отчаяния откатилась в немое младенчество.

– А еще? Что еще ты говорила? Помнишь?

Мария смущенно улыбается, сунув в рот пальчик. Бессмысленно просить ее вспомнить. Кто заговорит с ней завтра? Она, само собой, будет улавливать то, что произносит бабка, но какие это будут слова?

Напрыгавшись, Мария вновь протягивает ко мне ручки. Я тоже интересен. Ведь я так изменился. Надо убедиться, освидетельствовать, я ли это. Или со мной что-то не так. Вот

она трогает мою щеку, лоб, для верности тянет за волосы. Затем обеими ладошками прикрывает мне глаза.

Помнит! Мы с ней так прежде играли. Вернее, она научилась этому у Мадлен. Подглядела. Когда я возвращался усталый, с покрасневшими после бессонной ночи глазами, Мадлен охватывала мою голову руками и ладонями укрывала от света. А я намеренно моргал и щекотал ей пальцы ресницами. Мария это заметила, выбралась из своего убежища, и, стоило Мадлен отойти, как малышка, взобравшись ко мне на колени, сделала то же самое. Моргая, я щекотал ей ладошки, и она залиvisto смеялась. Помнит! Она все помнит. Это было как последнее доказательство. Сомнений не осталось. Это ее отец.

«Сётно», – говорит девочка.

Это означает «щекотно», но я не стал ее поправлять. «Сётно» так «сётно». Затем ее внимание привлекает мой обшитый кружевом воротник, все эти складочки, узелки, петельки. Она, сопя, возится с нитяным плетением. Следующим ей становится интересен шнурок на моем камзоле. Свитый из шелковых нитей шнурок был увенчан перламутровым наколочником. Он ярко сверкает на солнце. Она тут же хватает его и тянет в рот.

– Нет, нет, Мария, это не конфета.

У меня нет ни одной игрушки, чтобы занять ее. Впрочем, отвлечь ее от познавательных подвигов было бы непросто. Она изучила завязки и крючки на мне и вот уже отправля-

ется дальше. Есть еще столик с резными ножками, на котором возвышается хрустальная горка, разноцветные шпалеры с красноязыкими собаками, разверстая пасть камина, куда она не преминула бы залезть, если бы не решетка, высокий прямоугольник окна и рядом с ним придвинутое кресло. К нему она и направляется. Чтобы, упершись ручками и повсаднически забросив ножку, лечь животом на это препятствие, немного побарахтаться и через мгновение уже попирать ногами покоренный редут. Я следую за ней по пятам, готовый подхватить, если она сорвется, но восхождению не мешаю. Вот она уже залезает с ногами, вот выпрямляется, уже держится ручкой за высокую спинку и пытается выглянуть в окно. Там, в этом пламенеющем четырехугольнике, – манящая светополосица. Солнечные пятна, согбенные, мятущиеся тени, ветви деревьев, мелко стучащие в стекло. Она пытается встать на цыпочки, но едва достает лобиком до подоконника. Тогда я подхватываю ее и ставлю на этот недосыгаемый подоконник. Она смотрит вниз и замирает. С досадой я думаю о том, что не спросил Анастаси, можно ли нам спуститься в парк. Там, внизу, цветочные гроздья, белые дорожки, зеленые травяные полотнища. Ей бы побегать...

В это время за моей спиной скрипит дверь. Я оглядываюсь. Входит Любен с большим серебряным подносом.

– Тут сладости, фрукты. Холодная телятина, – как-то вбок глухо произносит он, водружая поднос на стол. – И вы, сударь, поешьте.

– Спросите у мадам де Санталь, можем ли мы спуститься в парк. Пожалуйста.

Он молча кивает.

Мария уже забыла про окно и волшебный зеленый ковер за ним, только во все глаза смотрит на изменившийся стол и собрание предметов на нем. Сам поднос отражает своими серебряными ребрами солнечный свет и раскидывает мелкие желтоватые пятнышки по темным шпалерам. Это уже само по себе выглядит замечательно, но и то, что возвышается на подносе, не менее аляписто и забавно. Мисочки, тарелочки, крышечки, ложечки. И содержимое у них заманчивое. Она такого никогда не видела. Разноцветные ломтики засахаренных фруктов, подсушенная вишня, кубики дыни. Под серебряной крышкой оказывается воздушное суфле. Пожалуй, за все мое пребывание в этой тюрьме я ни разу не смотрел на предложенные мне изыски с нескрываемым вождением и мысленно не возносил хвалу тем, кто это сотворил. Мария, очарованная сахарным куполом суфле, тут же запускает в него руку, с хрустом разламывает, затем задумчиво извлекает липкие пальчики. Сердцевина оказывается творожной, с дроблеными зернышками орехов. Мария оглядывает перемазанные пальчики и слизывает сладкий творог. Я не в силах удержаться от смеха. Душу его в себе, закрываюсь рукой, но справиться не могу. Мария, скосив на меня лукавый глаз, продолжает медленно слизывать начинку. Мне следовало бы нахмуриться, сдвинуть брови, сыграть в строгого от-

ца, но я, нарушив приличия и нормы, следую примеру своей маленькой дочери. Так же самозабвенно слизываю осколок ореха с указательного пальца. «Пляво, папа, пляво».

За этим занятием – варварским уничтожением злосчастного суфле, из которого мы наперебой вылавливали кусочки фруктов, – нас застает Анастаси. Она так изумлена, что не может заговорить. Брови ползут вверх, губы приоткрываются, она шумно выдыхает.

– Когда с этим... закончите, спуститесь вниз. В парк, – быстро произносит она и ретируется.

Я оглядываю Марию и качаю головой. Мордашка перемазана, следы варварства повсюду – на переднике, на манжетах, даже в волосах. Видела бы нас сейчас Мадлен! Такого попустительства она бы мне не простила. Я всегда был снисходителен к девочке. Ее проказы меня больше веселили, чем вызывали раздражение. Да я и сам не раз принимал в них участие. Мадлен говорила, что я все еще ребенок. Что не сознаю своей роли отца. Отец должен служить примером. А если сам отец вот так неприхотливо, без участия ложки, поглощает сладкое блюдо, то у кого же малышу учиться хорошим манерам? Скорее всего, Мадлен была права. Я никогда не чувствовал себя взрослым, а уж отцовского долга и вовсе не сознавал. Да и что такое долг? В чем он состоит? Я знал только, что моя жена и дочь нуждаются во мне, в моей любви и защите. Я готов был сражаться за них со всем миром, только бы укрыть от невзгод. А что движет мной – долг или

любовь, я не задавался вопросом.

Я смачиваю водой из графина салфетку и вытираю круглую раскрасневшуюся мордашку. Избавляюсь от улик и на темном сукне ее платьца. Кто же выбрал для маленького ребенка такую темную и жесткую ткань? Сукно из самых дешевых. Щедрая опекунша... Желает, чтобы дочь носила вечный траур по матери. Расплачивалась за грех. При мысли о Мадлен вновь подкатывает тоска. Нет, нельзя. Нельзя!

– А теперь гулять, – бодро говорю я, извлекая из-за стола слегка осоловевшую девочку.

Ей бы поспать. Может быть, у меня на руках?

Но Мария сразу забывает про сон.

Да и как ей уснуть, если перед ней как будто взвился занавес, открывая новый сверкающий мир. Там, где мы жили прежде, и там, где ее поселили сейчас, не было ни цветов, ни деревьев. Крыши почти смыкались над головой, дома слепо пялились друг на друга. Земля – под булыжной мостовой. Серое, одноцветное нагромождение. Ни единого зеленого мазка. Дерзкая травинка, что рискнет протиснуться меж гладких булыжников, будет немедленно стерта лошадиным копытом или каблуком. К епископскому дому, правда, примыкал крошечный садик. Но он, скорее, только так назывался. На самом деле это был крошечный кусочек земли с пожухлой травой и двумя старыми каштанами. Между ними порыжевшая от времени и непогоды скамья. Там отец Мартин часто принимал гостей, кто не желал быть услышанным

и узанным. Мадлен иногда спускалась туда, если духота под крышей становилась невыносимой, и брала с собой Марию, для которой расстилала на траве шерстяной плащ в заплатках. Но едва ли их пребывание там можно было назвать полноценной прогулкой. С трех сторон над этим кусочком зелени возвышались глухие стены: стена церкви Св. Стефана, стена епископского дома и стена монастыря бенедиктинцев. С четвертой стороны под высокой аркой пряталась дверь, ведущая в ризницу. Это скорее походило на высохший колодец, где дно устлано опавшей листвой. Слишком слабое утешение для тех, кто лишен солнца и воздуха.

Как истинное дитя города, Мария пугается открывшегося ей простора. Противится тому, чтобы я спустил ее с рук, цепляется за меня. Так пугающе ярко вокруг. На нее обрушился настоящий водопад света, надвинулись зеленые громады деревьев, гигантскими мячами запрыгали краски. И все это шевелится, двигается, колышется. Я снова ее утешаю.

– Чего ты испугалась? Здесь никого нет. Никаких чудовищ и драконов. Это всего лишь деревья. Они большие, но они не кусаются. Не бойся. Посмотри. А еще здесь цветы. Таких ты еще не видела.

Истинная правда.

Единственные цветы, какие ей прежде доводилось видеть, это пара жалких кустиков герани, которые Мадлен выращивала на подоконнике. Они не шли в рост, но в ответ на ее заботу время от времени выбрасывали красно-белые кулач-

ки. А здесь настоящая вакханалия роз. Всех цветов и оттенков, от нежно-розовых до пурпурных. Герцогиня вправе гордиться своим садовником. Цветник великолепен. Розовые кусты высажены по цветам правильными геометрическими фигурами, которые, взаимодействуя, сливаются в единый рисунок, как громадная мозаика. Тщательно подстриженные, облагороженные кусты жимолости сияют в этом узоре как своеобразные островки. И между этими островками извиваются белые дорожки. С замершей девочкой на руках я не спеша прогуливаюсь от одного островка к другому. Она уже не прячется, а осторожно подглядывает. Почти точно так же, как делала это в комнате наверху. Любопытство, неутолимая страсть, вновь одерживает быструю и решительную победу. Мария упирается мне в грудь и требует свободы. Я не смею препятствовать. Напротив, поспешно повинуюсь.

Она делает несколько шагов по гравиевой дорожке. Мраморные осколки чуть слышно похрустывают. Малышка изумленно таращится – по-другому и не скажешь – на тугие темно-красные полураскрытые чашечки и таинственные бутоны. Они великолепны. Я испытываю почти гордость за то, что благодаря невольному содействию, пусть довольно печальному, одарил свою девочку таким восхитительным зрелищем. Это сама божественная воля в действии, сама красота, и какая в том разница, по чьему распоряжению эта красота вызвана к жизни.

Девочка трогает пальчиком бутон, он прохладный и бар-

хатистый. С соседнего цветка шумно снимается шмель. Гудит брызгливо и низко, делает несколько кругов над нашими головами. Мария испуганно отступает. Следит за мохнатым раздосадованным чудищем.

– Не бойся, – шепчу я ей, – он сейчас улетит.

– Стласный, – в ответ шепчет девочка.

Шмель все еще кружит, выписывая зигзаги и петли, выбирает более гостеприимный цветок и наконец грузно плюхается. Выбранная роза негодует на подобную бесцеремонность – покачивается. Мария даже на цыпочки привстает, дабы уловить перемещение жуткого существа. Когда мы идем по дорожке дальше, она все еще с опаской косится, но скоро забывает мохнатого незнакомца. Цветы меняют свои одежды, склоняются к ней. С визгом она прыгает через распростершуюся на дорожке тень. Это мы достигли первого зеленого островка. А дальше еще извивы и повороты. Простор для прятков и беготни.

Я невольно бросаю взгляд назад, на высокие окна замка. В них, ломаясь, отражается солнце, и оттого эти окна кажутся слепыми. Но это не так. Я чувствую взгляд. На нас смотрят. Кто? Любен, Анастаси, любопытствующие слуги, а может быть, и сама герцогиня? Скрылась за одним из этих окон-соглядатаев. Белое лицо в узкой раме. Ровная линия век, высокомерный рот. Она позволяет своим игрушкам маленькие шалости. Это забавляет. Рот чуть кривится. Она отсыпала мне эти минуты от щедрот своих. Это маленькая ссу-

да, с которой мне придется выплачивать огромные проценты. Нет, сейчас не буду думать об этом. Придет еще время, часов и дней достаточно. Сейчас только солнце, тень и моя дочь.

Глава 25

Детские силы на исходе. Она хнычет и просится на руки. Ничего удивительного. С ней так много случилось сегодня. Почти невыносимый груз счастья. Целую гору блестяшек набили в карман. Она уже изнемогает под этим грузом. Мгновенно засыпает у меня на руках. Я еще брожу несколько минут под каштанами, которые своими огромными шестипалыми листьями баюкают завязь плода. Время вышло. Я не вижу часов, но я это знаю.

Анастази издалека делает знак. Вот и все. Я послушно переставляю ноги. Делаю робкую попытку.

– Она спит, – объясняю вполголоса. – Лучше ее не тревожить. Еще немного...

Анастази отводит взгляд.

– Я знаю, но ее высочество уже распорядилась на этот счет. Она приказала отправить девочку в Париж.

У меня сразу пустеет в груди.

– Я сам ее отнесу. Можно?

Взгляд Анастази перекатывается поверх моей головы, застревает где-то в паутине веток, потом стремительно возвращается, чтобы упереться в бочонок угловой башни.

– Не вижу препятствий. Только там, у экипажа, твоя теща. Особа желчная. Рада будет вцепиться тебе в глотку.

– Не важно. Тем более что она вправе это сделать. Ведь

это я убил ее дочь.

Анастази ведет меня через боковую дверь для слуг, мимо дымной и шумной кухни, через ту самую людскую, где я стоял обнаженный и мокрый. Я еще помню этот закопченный потолок, стол в пятнах и огромный очаг с медным котлом. Здесь шумно, но при моем появлении все как-то стихает. Рты замерзают, слова повисают в воздухе, замирают прежде подвижные руки, разгибаются спины, косят в мою сторону глаза. Я почти приговоренный к смерти, чье появление, даже на позорной тележке с полозьями, вызывает у возбужденной толпы замешательство. Вот-вот произойдет нечто ужасное, непоправимое. Этим неискушенным зрителям не объяснить того, что должно произойти, но они пребывают в невольном почтении и страхе. Свершается поворот судьбы, чья-то жизнь идет на излом. Это неотвратимо и таинственно, как смерть. Со мной происходит нечто, близкое с казнью. Я теряю душу свою, изымаю из груди сердце. Сейчас я своими руками отдам свою дочь и потеряю ее навсегда. Я больше не почувствую этого разлившегося тепла на груди, не упрется в меня острый локоток, не склонится на плечо головенка. Я не услышу ее дыхания и сонного шепота. Это маленькое существо, уже проросшее в меня своими корнями радости, будет отделено, как отделяют голову на эшафоте. Во мне внешних утрат не произойдет, из перерезанных жил не брызнет кровь, заливая кожаный палаческий фартук, и дыхание не прервется. И все же я умру. Стану таким же окровавленным, бесчув-

ственным трупом, как и те осужденные, что сложили свои головы на плахе. Только, в отличие от них, меня не придется оттащить крючьями, с эшафота я сойду сам.

Но это еще не конец. Мне еще предстоит просторный нижний зал с охотничьими трофеями на стенах. На меня будут взирать стеклянными глазами мертвые рогатые, клыкастые головы. А впереди выложенный щербатым булыжником двор, необъятный, залитый светом. Там, нетерпеливо позвякивая сбруей, переступают с ноги на ногу лошади. Дверцы экипажа распахнуты, подножка опущена. Там меня поджидает призрак. Мадам Аджани. Сурово подобран рот, глаза клеймят и жалят. Мое приближение – это шествие проклятой души по кругам ада. Каждый шаг мне дается все тяжелее. Твердость камня под ногами обманчива, я увяз в нем, как в глине. И проваливаюсь все глубже. Ухожу под землю, как и положено грешникам, чье прощение не под силу даже Господу Богу. За один шаг до экипажа я проваливаюсь по самые плечи. Только Мария еще удерживает меня у самой поверхности, не давая захлебнуться и пойти ко дну. Мадам Аджани выхватывает ее у меня из рук.

– Негодяй, висельник, – слышу я свистящий шепот. Воздух с шелестом проходит сквозь ее редкие зубы, через суетливое отверстие рта, чтобы брызнуть проклятием. – Будь ты проклят! Язычник, филистимлянин! Гореть тебе в аду. О дочери думать забудь. Нет ее у тебя! Нет!

– А вот это не вам решать, благородная госпожа.

Это голос Анастаси. Она успела подойти и стоит за моим плечом. Последние слова она произносит с нескрываемой иронией.

– Как решит ее высочество, так и будет, – холодно, почти с угрозой добавляет придворная дама.

Как волшебным образом действуют эти слова – ее высочество. Ярость на лице моей, увы, родственницы сменяется раболепной почтительностью. Она сразу становится меньше ростом, и стальная спица гнется, опустив плечи.

– Садитесь в карету, – приказывает Анастаси. – И девочку не потревожьте.

Лакей помогает мадам Аджани влезть на подножку. Она путается в своей юбке, спотыкается. Темнокудрая головенка мотается у ее локтя. Мои свежесрезанные кровоточащие ткани отзываются нервным подергиванием. Я не отрываю взгляда от этой головенки. Макушка у нее повлажнела, волосики слиплись. И лежать ей так неудобно. Я слежу, ловлю каждый жест, каждое движение. Вот бабка устроилась на бархатной скамеечке, повозилась, поерзала по мутному шитью тощим задом, расправила юбки. Выпрямляется и бросает на меня едва ли не торжествующий взгляд. Мария дышит ровно, я еще успеваю заметить, как шевелится прядка волос на щеке. Но это уже последнее. Лакей захлопывает дверцу. Влезает рядом с кучером на козлы. Свист бича, скрип, и снова поворот огромного заднего колеса. Карета, разворачиваясь, делает круг. Лошади теснятся в упряжи, в разнорядной перебирают

ногами. Нетерпеливо храпят. Карета чуть клонится набок. Но тут же выравнивается. Огромное заднее колесо вращается все быстрее. Золоченых спиц уже не видно.

Я слышу крик. Пронзительный, детский. Он доносится из той удаляющейся, грохочущей коробки. Мария! Она испугалась. Она кричит от ужаса. Девочка моя...

Меня бросает вперед не разум, но мигом взорвавшееся сердце. Я не размышляю над тем, смогу ли я догнать экипаж, смогу ли остановить. Я только подчиняюсь горячему вихрю. Из самых недр, из сердцевины. Подчиняюсь инстинкту зверя, что слышит крик своего детеныша. Но меня останавливают. Оказывается, кто-то предусмотрительно приставил ко мне двух лакеев, которые для начала держались в отдалении, но в нужный момент приблизились. Меня грубо ставят на колени, выворачивают руки. Мне не шевельнуться. Я снова слышу крик, уже приглушенный, жалобный. Рвусь с отчаянием пойманного волка, изгибаюсь, чтобы дотянуться зубами, схватить, куснуть... Но усилия мои тщетны. Меня держат крепко. Я беспомощен. Карета удаляется, грохочет по мосту через ров и вскоре исчезает.

Над ухом взволнованный голос придворной дамы.

– Геро, успокойся, не надо. Завтра же я пошлю в Париж своего человека. И каждый день буду посылать. Ты будешь знать все, что с ней происходит. А сейчас успокойся. Успокойся. Ты ничем ей не поможешь. И себя погубишь.

Пот заливает мне глаза. Красная пелена, удушье. Мое те-

ло еще в броске, еще догоняет удаляющийся экипаж. Но за коротким взрывом уже стелется дымная пелена. Я чувствую усталость. Разочарование и подавленность. След потерян, и обезумевший зверь потерянно кружит на месте. Лапы заплетаются, тускнеет взгляд. Вот он уже, тяжело дыша, валится на бок. Блестит вывалившийся язык.

Я медленно поднимаюсь с колен. Мое тело потеряло напряженную, пугающую упругость, и меня никто не держит. Анастаси быстрой, невнятной скороговоркой продолжает увещевать, будто извиняясь сразу за всех – за весь мир, за судьбу, за Бога. Я не прислушиваюсь, покорно иду к двери. Сейчас она закроется за мной, и одному Богу известно, удастся ли мне когда-нибудь увидеть небо.

* * *

Герцогиня отвернулась. Она тяжело дышала, и сердце бешено колотилось. Явление необычное, ибо она с детства не отличалась чувствительностью. На ее глазах разъяренная толпа волочила по мостовой обезображенный труп маршала д'Анкра, с балкона ратуши она наблюдала казнь заговорщиков на Гревской площади, а в садах Фонтенбло она видела жестокую схватку на мечах. В Париже она видела стихийный бунт черни, слышала чавкающий звук опустившейся на чей-то затылок алебарды, участвовала в травле оленей, рассматривала бьющуюся в агонии лошадь, чьи потро-

ха тянул за собой издыхающий кабан. Она видела достаточно смертей и крови и не знала дрожи брезгливости, не испытывала дурноты. Она знала, что мир отвратительно, неприглядно жесток и кровавое месиво из отрубленных пальцев и кишок – это вечная его составляющая, естественная изнанка. Но эта возня во дворе, треск ткани и хриплый стон вдруг оглушили ее. Она не хотела, чтобы он страдал, не хотела, чтобы с его локтей и колен вновь была содрана кожа, не хотела, чтобы он вновь испытывал боль, вновь был унижен. К счастью, когда она осмелилась вернуться к окну, внизу, на раскаленном от полуденного солнца дворе, все уже было кончено.

Часть вторая

Глава 1

Это случилось с ней впервые. Она испытывала нечто совершенно иное, отличное от прежних оценок рода человеческого. Она была благодарна смертному, мужчине. Ей хотелось выразить эту благодарность немедленно, нанести эту благодарность на полотно, как жирную несмываемую отметину, соорудить из нее не то клетку, не то ловушку и возвращаться за этой благодарностью, как за оговоренным ранее процентом.

* * *

Я больше не твой муж, Мадлен. Я тебе изменил.

Утром она дарит мне перстень. Стягивает со среднего пальца и одевает на мой мизинец. Кольцо с огромным синим камнем.

– Сапфир, – шепчет она. – Под цвет твоих глаз.

Этот камень – целое состояние. Я никогда не видел таких, даже считал их выдумкой. За что этот камень достался мне? Не продал ли я за него свою душу?

Она пришла ко мне в ту же ночь. После заключения сделки, после исполнения обязательств все гораздо проще. Не имеет смысла тратить время даже на смехотворное обольщение. Мне достаточно приказать. Для меня это тоже проще. Не нужно уговаривать себя, спорить, выдвигать аргументы. Все уже решено. Достаточно оставить тело в залог, а самому отправиться в прошлое. Свое настоящее я соскребаю со стены сознания, как неудавшуюся фреску. На штукатурке уже проступает фигура, я узнаю запах волос и вкус ее губ, фигура будет проступать все ярче, слой за слоем, но у меня есть право на нее не смотреть. Я мысленно поворачиваюсь к ней спиной, а свою память, словно якорь, погружаю в прошлое, цепляясь за неровность, излом прожитого дня.

Я все еще там, во дворе. Я слышу голос дочери и стук колес. Все повторяется. Моя память, будто обезумевший художник, делает один и тот же набросок в сотый, в тысячный раз. Моя дочь на руках мадам Аджани... подножка... дверца. Колесо набирает ход, колесные спицы гонятся друг за другом, сливаются. Скрип деревянного обода. Рывок. Вскрик. Сюжет обрывается. Лист скомкан и брошен. Но под нервной, мечущейся рукой оживает новый. Мелкие, прорастающие детали. Брусчатка под колесом, чуть провисший на сторону кузов, мазок высохшей грязи, смятая ливрея лакея, и снова крик. В отличие от сменяющихся подробностей, крик неизменен. Он не распадается, не слабеет. Он накладывается один на другой и звучит как хор. Моя дочь взывает

о помощи, а я бессилён. Я беспомощен. Неподвижен. Мне даже руки не поднять.

Этот крик оглушает меня и сводит настоящее до бесцветного пятна. Герцогиня уже здесь, но я уделяю ей такую ничтожную толику своего внимания, что она предстает мне, будто водяной знак на стене. Крик в голове поглощает все чувства, попирает их, он насыщается страхом, отчаянием, отвращением и нежностью. Он объемён, обладает весом и перспективой. А герцогиня – это несколько безликих цифр. Ободранная до костей пифагорова азбука. Я все знаю про нее. Это легко. Ибо мой оголенный, обездоленный рассудок не обременен чувством. Он мертв и потому бесстрастен.

Вот она смотрит на меня. Смотрит совсем не так, как смотрела на меня, когда я стоял посреди ее гостиной, желая оскорбить своей наготой. Мои качества и категории изменились. Я уже продан, я вещь. Прежде я был всего лишь выставлен на продажу, и она только оценивала меня, примерялась. А теперь я ее собственность. Именно так она на меня и смотрит. Взглядом владельца. Она не спешит, ибо знает, какова моя кожа на ощупь. Подобно творцу, оттягивает миг вмешательства. Наслаждается. Она победила. Ее триумфальный обоз, звеня литаврами, громокая цепями, под крики глашатаев тащится по Марсову полю, мимо Форума, к Палатинскому холму. Конец процессии теряется где-то в Итальянской Галлии, а начало давным-давно скрылось за горизонтом. Сама она распалась на множество самосознающих

крупинок и поселилась в каждом из танцующих, полупьяных зрителей. И она же взирает на себя с трибуны. Она женщина, ей некуда спешить. Ее главный восторг, блаженный тлеющий экстаз заключен в прологе. Будь на ее месте мужчина, я был бы уже давно изнасилован. Но женщина поглощает медленно, как зыбучий песок или трясина, переживая содрогания жертвы через многократный восторг. Мужчине этот восторг недоступен, он слишком нетерпелив.

Герцогиня касается моей ступни и зачем-то всеми пальцами охватывает мою щиколотку. Как будто ей стал нестерпимо интересен размер. Слишком тонкая? Или, наоборот, слишком массивна?

Все еще сомневается в качестве? А может быть, отождествляет себя с кандальной цепью? Именно там, на щиколотке, закрепляется ударом молота кольцо. Меня уже заковывали по рукам и ногам. Там даже остались отметины, не такие яркие, как на руках, но все же есть. Возможно, она воображает свою власть, как невидимые путы, которые меня держат? Похоже на то. Потому что другой рукой она сжимает мое запястье. Этими путами объясняется моя неподвижность, совершенно неуместная при подобных обстоятельствах. Я не расслаблен и не безразличен. Я напряжен, мои жилы как струны. Я даже возбужден. И мое возбуждение нарастает. И все же я не делаю попытки шевельнуться. Эти путы тяжелее, чем каторжные колодки. Герцогиня проводит рукой по моему телу и ловит пробежавшую дрожь. Это

все еще упоение собственника. Затем наклоняется и ведет языком от ключицы по горлу вверх, старательно, как собака. Опять эта сладострастная греховная ярость. Мое желание состоит в равных долях из чувственности и отвращения. Я хочу ее убить и в то же время страстно ее желаю. Схватить и подчинить себе. Я кусаю губы, чтобы сдержаться. Она чувствует движение и подается ко мне.

– Какой же ты красивый. И как молод, как желанен. Твоя кожа все равно что кожа ребенка и пахнет... миндалем. Это потому, что ты невинен. Да, да, я помню, что у тебя была жена и есть дочь. Но это ничего не значит. Пусть даже сотня жен! И сотня детей. Ты все равно невинен, ибо душа твоя – душа праведника. Ты целомудрен и пахнешь цветами. Как праведники. Ах, какое же это блаженство – обладать праведником.

Я сразу чувствую ее тяжесть, белокурые волосы покрывают мне лицо, она дышит мне в щеку, едва касаясь губ кончиком языка, откидывает голову и стонет. Этот стон подобен триумфальному кличу. Меня обдаёт жаром, и я помимо воли отвечаю ей тем же. Она не шевелится, чтобы продлить мою муку, мое пленение. Зверь сладострастия готов меня пожрать, и я, замороженный, призываю его, я хочу быть пожранным, хочу погрузиться в бездну первозданного хаоса и довериться древним языческим божествам, которым люди поклонялись среди трепещущих сердец и дымящихся внутренностей. «...и поклонились зверю, говоря, кто подо-

бен зверю сему? И кто может сразиться с ним? ...И дано было ему вести войну со святыми и победить их...»²¹ Зверь вонзает когти, и яд струится по жилам, смертельный и сладостный. Я подаюсь ему навстречу, я кричу с передавленным, иссохшим горлом.

– Нет... нет... не надо...

Это только шепот. Я уже ослеп и наполовину съеден.

Она ловит губами мой стон, пробует на вкус мольбу.

– Еще, еще, – требует она. – Попроси еще. Мне нравится, когда ты просишь.

Я слышу смех и хриплый булькающий рык зверя. Погибель! Вечная безвозвратная гибель.

Но тут она внезапно скатывается с меня и тоже корчится и хрипит.

– О Боже! Боже!

И дробно бьет меня коленом в бок, пихает локтем, кусает в плечо. Когда все стихает и дыхание ее выравнивается, герцогиня касается моей щеки и произносит:

– Ты опасен, мальчик. Ты сводишь с ума.

Со мной происходит то же самое, что и в прошлый раз. От волнения, отчаяния, страха перед выходящим из вод зверем разрядки не наступает. Я чувствую только тупую боль. Оскорбленный, поруганный дух сам когтит плоть железным крюком возмездия. Если бы я мог уснуть... Она, будто хмельная, продолжает что-то шептать. Я закрываю глаза,

²¹ Откровение Иоанна Богослова 13:4; 13:7.

и мою голову вновь заполняет крик. Он страшен, но окутывает меня холодом и пугает зверя. Ко мне приходит то же самое кратковременное облегчение, какое я испытал, свалившись на каменные плиты после изнуряющего бега у крупа лошади. Один враг одолевает другого. Герцогиня засыпает, как упившийся нетопырь. Будет переваривать мои судороги, стоны и вздохи.

Перед самым рассветом, еще в темноте, когда ночь обеспокоена, но по-прежнему в праве и силе, все повторяется. Я готов отдаться до конца, но не могу, потому что снова вижу торжествующего, подбирающегося ко мне зверя. Герцогиня не замечает моих страданий. Она слишком увлечена мистерией власти и своим восхождением к вершине. На восходе, подобно благодарному зрителю, бросает мне вознаграждение – надевает на мой левый мизинец перстень. И даже целует в ладонь. Когда она уходит, мне, к счастью, удается заснуть. Боль притупляется, отступающая кровь несет ее по телу дальше, между лопаток и в поясницу. Я дышу медленно, от живота до ноющей лобной кости. Ложусь на бок, подтягиваю к животу колени. Мне приходит страшная мысль. Так теперь будет всегда. Ночь за ночью. Ночь за ночью. Тоска и зверь, а потом боль.

Глава 2

Она смотрела на гобелен, закрывающий потайную дверь, великолепный гобелен из Арраса с изображением библейского сюжета. Все гобелены в ее кабинете были с сюжетами из Писания. Но этот был особенный. История Иосифа Прекрасного и жены Потифара. Мастер ткач запечатлел на ковре тот пикантный момент, когда супруга египетского военачальника требует от юного раба покорности. «Спи со мной», – говорит она, протягивая руки. Иосиф изображен в миг соблазна и колебаний. Он коленопреклоненный раб, испуган, смущен. Он знает, что жизнь его в руках этой женщины, супруги хозяина, что за отказ повиноваться он может быть жестоко наказан. Он испытывает страх, готов бежать. Но в то же время он испытывает и соблазн, желание, ибо он юн и полон сил. Герцогиню забавляла эта телесная подробность, подчеркнутая мастером.

* * *

Подарки сыплются один за другим. Рубиновая булавка. Длинная золотая игла с мерцающей кровавой каплей на конце. Массивная золотая цепь с ладанкой. Еще один перстень. Взносы очень щедрые. Королевские. Она очень милостива ко мне и каждую ночь оценивает в драгоценный камень. Мне

отводят другие, более значительные, апартаменты, состоящие из спальни, кабинета и гостиной. Это почти господская обитель. Только окна зарешечены. У меня двое слуг, тот рыжий парень Любен и расторопная пожилая горничная.

Обед и ужин мне накрывают в покоях ее высочества. Когда от портного доставляют заказ, она лично присутствует при первой примерке, собственноручно поправляет манжет или воротник. Ей нравится украдкой трогать меня. Герцогиня так предусмотрительна, что кроме безделушек и расширенных золотом камзолов дарит мне книги. Заказывает для меня самые дорогие и редкие издания. Из Аласонского дворца в Конфлан перевозят большую часть библиотеки. Некоторые тома не уступают по стоимости рубину. Первое издание Абеяра²². «Поэтика» Аристотеля. Бесценный анатомический атлас Леонардо. Запрещенный Мор²³. Его знаменитая «Утопия», внесенная в Index Librorum Prohibitorum²⁴. Я держу книгу в руках. За ней жизнь и смерть на эшафоте. Где-

²² Пьер Абеяра (фр. Pierre Abélard / Abailard, Ле-Пале, близ Нанта – 21 апреля 1142 г., аббатство Сен-Марсель, близ Шалон-сюр-Сон, Бургундия) – средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант.

²³ Тóмас Мор (англ. Sir Thomas More; 7 февраля 1478 г., Лондон – 6 июля 1535 г., Лондон) – английский юрист, философ, писатель-гуманист. Лорд-канцлер Англии (1529–1532). В 1516 г. написал книгу «Утопия», в которой показал свое понимание наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного островного государства.

²⁴ «Индекс Запрещенных Книг» – издававшийся Ватиканом в 1559–1966 гг. список произведений, чтение которых запрещалось верующим под угрозой отлучения от церкви.

то глубоко под спудом из обломков надежд подрагивает любопытство. Что ж, пусть будет Мор. Герцогиня протягивает мне руку.

– Целуй. Благодарю. Сделай это, как в первый раз. Помнишь, в библиотеке. Сделай так, чтобы я поверила.

Я теперь часто слышу это. Она требует благодарности. По ее подсчетам я уже должен образумиться и, если не воспылать страстью, то, по крайней мере, испытывать благодарность. Она заботится не только о теле, окружая его роскошью, но и о душе. Она помнит, как жаден и неутомим мой ум. Она заботится и об этом. Книжные полки, доставленная из Антверпена зеркальная труба Галилея, глобус Меркатора с осью вращения и горизонтальной подставкой. Я холодею, глядя на это. Чего она добивается? Зачем я ей? Тратит столько денег на пустую, скоротечную забаву. Скучный, угрюмый, молчаливый любовник. От меня ни ласки, ни нежности. Я почти к ней не прикасаюсь. Только если она сама не возьмет мою руку и не положит себе на грудь или на бедро. Близость с ней для меня все так же мучительна. Я испытываю резкое, болезненное возбуждение, которое ни к чему не приводит.

– Благодарю, – говорит она, являясь с очередным свертком.

Герцогиня протягивает руку, а я становлюсь на колени. Это часть сделки. Чтобы ее исполнить, зову на помощь Мадлен. Совершаю кощунство. В противном случае лицедейство будет выглядеть жалким. Я вспоминаю пальчики Мадлен.

Ногти неровные, один из них сломан... Под обветренной кожей тонкие жилки. Ладонь узкая, почти детская, с сетью розовых морщинок. Подушечки пальцев исколоты и загрубели. Она вскрикивает и бросает иглу. Укололась. Я ловлю порхающую в воздухе кисть и вдохом, лаской пытаюсь смягчить боль. Я грею эту хрупкую пятипалую звездочку меж своих ладоней и, как пес, зализываю крошечную рану. От воспоминаний у меня сжимается сердце. Я должен отдать и это. Но игра моя безупречна. Герцогиня мне верит. Гладит по щеке и щиплет за подбородок.

Глава 3

Она жила в своей божественной обособленности и не желала из нее возвращаться. Чего еще ей было желать? Геро не выказывал недовольства и ничего не просил. Напротив, он, казалось, учился ей угождать. Его опыт как любовника был ничтожен. Анастаси, несомненно, была права, когда утверждала, что у него не было любовницы. Была только жена, слишком юная и слишком набожная, чтобы позволить ему узнать все тонкости любовной науки. Все его познания сводились к самым простым и незатейливым ласкам. И ласки эти были строго ограничены супружеским ложем. Этой деликатной нежностью хватало для его добродетельной супруги, но герцогине этого было мало. Она вкушала страсть как экзотический плод и жаждала им насытиться.

* * *

Однажды я решаюсь задать ей вопрос. Стоя у окна, гляжу вниз. Там гарцуют всадники. Свита заезжего герцога. Их господин прибыл, дабы засвидетельствовать даме свое почтение. Он ждет, что она присоединится к его охоте, украсит своим присутствием. Горячит коня, поднимает его на дыбы. Под широкополой шля – пой – гордое, мужественное лицо.

Волна белоснежных перьев.

Герцогиня, уже в платье для верховой езды, неслышно приблизившись, стоит рядом. Не отрывая взгляда от всадника, спрашиваю:

– Почему я? Почему не он?

Она смеется.

– Хорош жеребчик! Даже не знаю, кто из них лучше – тот, кто в седле, или тот, кто под седлом.

– Он знатен, богат...

– А еще глуп и самонадеян.

Она берет меня за подбородок и поворачивает мое лицо к свету.

– Чтобы было понятно, я объясню. Этот господин при всех его неоспоримых достоинствах прост, как барабан из отлично выделанной кожи. Он пустой. Ударяешь по нему, и он гремит. А внутри... пусто.

– Тогда кто же я?

– Ты... – она задумчиво улыбается. – Ты... Кто же ты? А, знаю... Ты скрипка. Инструмент таинственный, нежный, струнами режет пальцы, издает то крик, то восторженный шепот. Манит своим чарующим голосом. Истязает душу, гонит ее из рая в ад. Но как звучит... Музыка божественная. Вот только играть на тебе трудно.

Тут она вздыхает. И переводит взгляд на гарцующего всадника.

– А на нем легко. Но... скучно.

Я ничего не понял. Я струнный инструмент, на котором сложно играть. Зачем же она тогда играет? Проще взять барабанные палочки. Пусть эта сложность для нее привлекательна, но не будет же она утруждать себя вечно. В конце концов она устанет, собьет себе пальцы о скрипичные колки, бросит инструмент или сломает. Конец неизбежен.

Иногда она уезжает в Париж, и тогда надежда вспыхивает вновь. Там она обязательно кем-нибудь увлечется. Или запутается в интригах. Там, в столице, ее истинная обитель. Там она ведет другую войну, другим оружием, но с той же целью – радость победы. Как сказала Анастаси, «позволь ей чувствовать себя богом...». Игрок, кукловод и музыкант. Она соединяет в себе сразу три ипостаси, позволяя каждой из них время от времени выходить на сцену. Со мной у нее нет радости притворства, а при дворе она и хищник, и жертва. Игра получается сложной, со множеством ответвлений. Мне одному с этим не управиться. Там найдется немало соперников, и я мысленно подбадриваю счастливица. Я даже воображаю его, наделяю сложностью струнного альта и громким голосом барабана. Ей должно быть интересно. Она не узнает скуки. Она увлечется.

Но она возвращается. Точно в указанный срок, ни часом, ни минутой позже, с очередным драгоценным взносом. Берет то, что ей причитается, и платит.

Глава 4

Ей случалось и прежде поднимать руку на своих подданных. Еще в ранней юности она, не задумываясь, могла дать пощечину горничной или наградить конюха ударом хлыста. Благородной даме, управляющей целой армией челяди, твердость была необходима. Она вынуждена проявлять жестокость во имя подавления хаоса. Ибо еще Макиавелли сказал, что милосердие губительно для того, кто желает удержать власть. Милосердие – враг истинного государя. Ибо прощение преступника может обратиться в проклятие, и тогда взамен одной жизни в жертву будут принесены тысячи. Ее высочество верила, что поступает правильно и ее жестокость только вынужденная мера. Она наказывала за дерзость и нерадивость, за расточительство и непослушание, за медлительность и леность. Но вина Геро в строгом смысле не подпадала ни под одно из этих определений. Он не нарушал правил. Но он был виновен, и вина его состояла в том, что он был несчастен. Она могла бы простить ему дерзость и даже грубость. Могла оправдать неловкость, извинить неопытность, ибо они имели под собой мотивы. Но он был несчастен, и причина его несчастий не укладывалась в свод грехов и первопричин.

Господи, если б знать, что все это скоро кончится... Дьявол, по крайней мере, дает советы, как этим воспользоваться, а Ты, Господи, молчишь...

Однажды она теряет терпение и бьет меня по лицу. Все отпущенные мне сроки вышли. Я должен был образумиться или, по крайней мере, смириться. Но я все тот же бесчувственный, исполнительный чурбан. Лед, который она не в силах растопить. Я исполняю пункт за пунктом условия сделки. И ничего не могу с этим поделать. Ничего не в силах изменить. Страдаю не меньше нее от бесплодных попыток разорвать этот круг. Но выхода не вижу.

Когда она касается меня, мое тело становится мне чужим. Это тело обреченного грешника. Герцогиня подавляет собственную гордость. Настает черед лицедействовать, но роль ей дается плохо. Ей приходится продирается сквозь заросли и щупальца высокомерия и брезгливости, какие она испытывает к такому ничтожному существу, как я. Она вынуждена ради меня – меня! – покинуть свой блистающий трон и доставить мне – мне! – удовольствие. Великий Рим, властелин мира, вынужден платить дань полуразвалившейся галльской деревушке. Попытки ее неуклюжи и полны такой уничижительной снисходительности, что я вздрагиваю, будто она каждый раз касается меня раскаленными клещами.

Несмотря на полумрак, я способен разглядеть ее лицо, застывшее, в гримасе отвращения к несговорчивому плебею. Ее вынудили служить этому телу, добиваться от него расположения, вместо того чтобы самой одаривать этим расположением. И, как естественное следствие, жертва ее напрасна. Я противлюсь еще упорней. Сжимаюсь в комок, желая уползти в первый подвернувшийся разлом, стать прозрачным и склизким. Но мои надежды так же бесплодны, как и ее.

Тогда она бьет меня по лицу, раз, второй, затем еще и еще. Вымещает горечь неудачи. Рука у нее хлесткая, гибкая и сильная, как вымоченная розга. Сказывается умение обращаться с хлыстом и многолетнее управление фрейлинами и горничными. Она не останавливается, пока у меня не начинает идти носом кровь. Липкая жидкость пачкает шелковую простыню. Герцогиня брезгливо стряхивает темные густые капли. Я чувствую теплую струю на щеке и на губах и солоноватый ком в глотке.

– Убирайся! – шипит она.

Я подчиняюсь. Не пытаюсь утереть кровь, на ощупь сгребая одежду и отступаю к двери. Она еще не удовлетворена мезью. Она делает шаг вслед за мной, взбешенная, смертельно бледная, на кружеве ее сорочки несколько капель крови. Она переживает ярость отвергнутой Мессалины. Безрассудный Мнестр пытается избежать чести быть ее избранником. Ее ладонь замазана темным, и она брезгливо вытира-

ет ее о шелк. Остаются длинные полосы. Она ударила бы меня еще раз, если бы не отвращение к липкой жидкости, стекающей мне на подбородок. Я прижимаюсь спиной к двери, ожидая удара. У нее под рукой каминные щипцы и увесистая фигурка фарфоровой нимфы, которой так просто рассечь мне лоб.

– Вон! – глухо повторяет она.

И я оказываюсь за дверью. Но это еще не спасение. Я сталкиваюсь лицом к лицу с двумя пажами и Анастаси. Они, вероятно, уже несколько минут прислушивались к тому, что происходит в спальне их госпожи. У пажей, двух мальчишек лет пятнадцати, испуганные, вытянутые лица. Они разглядывают меня, окровавленного, с охапкой одежды, с насмешливым интересом. Я будто непристойное, полураздавленное насекомое, возбуждающее гадливое любопытство. Первая мысль – отшатнуться, но все же смотреть, подойти ближе и даже ткнуть сапогом. Только Анастаси невозмутимо бесстрастна.

Она произносит то же слово, которым несколько мгновений назад плевалась ее хозяйка. Но обращено оно не ко мне.

– Вон.

Это относится к пажам.

Те следуют приказу незамедлительно, сами обращаясь в застигнутых светом насекомых.

– Я помогу тебе, – быстро говорит Анастаси, приближаясь.

Извлеченным из рукава платком вытирает мне лицо.

Пальцы у меня скрючены и застыли. Ей приходится с усилием извлекать из них скомканную одежду.

– Пойдем. Тебе надо умыться.

Куда же теперь? В собственную тюрьму. Раздавленное насекомое ползет в свою нору. Волочит перебитые лапки.

Идти недалеко. Всего два поворота и лестница. Есть еще потайной ход из кабинета хозяйки в мою спальню. Но для нас этот ход как будто не существует. Я бос. Мои башмаки остались где-то в господских покоях, каменный пол приятно отрезвляет. Галерея не освещена. Без моей провожатой, этого бесстрастного Вергилия, я бы расшиб себе лоб о первый же косяк, подобно злосчастному Карлу Восьмому, или свалился бы с лестницы. Но Анастаси держит меня цепко. И уверенно направляет.

Любен изумлен. Он видит мое лицо с темными разводами, часть наспех напяленной одежды и босые ноги.

– Чего ждешь? Воды принеси! – приказывает Анастаси.

Любен от усердия кидается сначала в одну сторону, потом в другую, напоминая исполошенного раскормленного зайца, над которым делает круг охотничий ястреб. И выбегает за дверь.

– Закинь голову, – говорит Анастаси. – Кровь все еще течет.

У меня и губа разбита. Языком я чувствую мягкий, набухший валик, расплзшийся размером в пол-лица. Анаста-

зи подносит свечу ближе, чтобы оценить картину разрушений.

– По-хорошему надо бы приложить лед.

Я мотаю головой.

– Не хочу лед.

Анастаси внезапно соглашается.

– Правильно, пусть видит, что натворила.

Возвращается Любен с кувшином и серебряным тазом. Анастаси сама смачивает кусок полотна в воде и смывает с моего лица кровь. Содержимое таза розовеет. Она вновь опрокидывает кувшин и проводит полотенцем по моей шее и груди. Мне кажется, или ее движения замедлились? Любен маячит за ее спиной. Он делает движения руками, выказывая участие и рвение. Однако Анастаси ограничивается еще одним приказом.

– Принеси вина.

Любен исчезает. Со дня моего «назначения» ему увеличили жалованье, и он чрезвычайно гордится собой. Ему нравится быть доверенным лицом фаворита. Анастаси все не уходит. Она вновь смачивает полотенце и водит по моей коже. Хотя крови на белом полотне больше нет. И кровотечение прекратилось. Я больше не нуждаюсь в помощи. Ей во все незачем здесь оставаться, прежде она не делала попыток приблизиться. Те слова, что я слышал от нее во дворе, когда прощался с дочерью, были последними, адресованными именно мне. Больше она со мной не разговаривает. Мне ка-

жется, что она даже избегает меня. Изредка передает через Любена записки, в которых сообщает новости о моей дочери. «Здорова. Взяли новую няньку» или «Утром водили в церковь». Но сама Анастаси в моем присутствии всегда молчит. Не отвечает на мои вопросы и спешно уходит. Я жду, что она и сейчас уйдет. Убедится, что я в некотором сознании, и удалится. Но она не уходит. Любен возвращается с бутылкой кларета. По неизвестной мне причине герцогиня позволяет мне пить только его. Огонь в камине разгорается, искры взлетают к закопченному своду. Анастаси вновь оттесняет мою плечистую, краснорожую сиделку и сама наливает вина.

– Выпей.

Я выпью. Как выпил накануне и третьего дня. От вина становится легче. Мысли путаются, и не так знобит. Один яд ослабляет действие другого. С каждым днем я делаю на глоток больше. Потому что прежней порции уже не хватает. После первого стакана Анастаси наполняет второй. Любен ожидает дальнейших распоряжений, изнывая от потребности быть полезным. Но она отсылает его прочь. Почему она все еще здесь? Что ей нужно? Я выпиваю все, до последней капли. Пью, не задумываясь. Нет будущего, ради которого стоило бы беречь себя, нет мечты, ради которой стоило бы сохранять свой разум незамутненным. Вино действует, и я хочу спать. Мне все безразлично, присутствие Анастаси уже не задает мне вопросов. Но она помогает мне подняться и дойти до кровати. У меня легкая пьяная дурнота. Я не сра-

зу понимаю, что происходит. Анастаси прикасается ко мне. Это не дружеское участие, это нечто другое, о чем я не желаю догадываться. Она проводит рукой по моим волосам и затем трогает лоб, так, будто цель ее – обнаружить признаки лихорадки. Висок влажен, но жара у меня нет. Однако рука ее остается, скользит по щеке, затем вниз по шее и по груди. Я все еще в недоумении. Я пытаюсь причислить это к ошибкам, назвать заблуждением. Возможно, она ищет раны или порезы. Но Анастаси касается меня уже второй рукой, без всякой неопределенности.

– Анастаси, что ты делаешь?

Она не отвечает. Вместо ответа наклоняется и коротким укусом целует в губы. Я отшатываюсь.

– Остановись! Что ты делаешь? Это же я!

Она молчит. Ее рука уже под полотном рубашки и скользит по спине. Я так ошеломлен и разочарован, что не могу пошевелиться. У меня звон в ушах. Вероятно, я испытываю то же, что и несчастный Гай Юлий, когда в мартовские иды увидел занесенный над собой кинжал Брута. «Et tu, Brute?»²⁵

– И ты, Анастаси? Ты тоже хочешь узнать, каково это с таким, как я?..

Согласно преданию, заметив среди своих убийц Брута, Цезарь лишился воли к сопротивлению. Сами боги отреклись от него. Сама земля, вечная, незыблемая, колебалась у него под ногами, несокрушимые столпы, держащие небес-

²⁵ «И ты, Брут?» (лат.).

ный свод, пошли трещинами. Сейчас его поглотит пустота, ненасытная, ухмыляющаяся тщета жизни. Я в том же оцепенении, я не могу пошевелиться.

– Пожалей меня, Анастаси. Не надо... Ты же единственная была моим другом. Ты знаешь, как я верил тебе. Зачем ты делаешь это? Зачем? Ты же не такая, как она! Почему же ты следуешь за ней?

– Доверься мне, – тихо говорит Анастаси. – Я знаю, что с тобой происходит. Тебе это нужно.

– Что... что мне нужно?

Она не отвечает. Касается осторожно, будто врач, изучающий рану. А мое тело – сплошная рана, невидимая, подкожная. Это зверь выгрыз меня изнутри. Анастаси стягивает с меня одежду. Действует умело, деловито, как наемник, привыкший грабить мертвых. Только на что она рассчитывает? Моя дееспособность подобна павшим на поле битвы. Я не отдал герцогине своего семени, но, похоже, лишился крови. Я тяжел, неподвижен и холоден. Слышу шорох одежды.

Она тоже раздевается. Упрямая женщина! Все еще надеется. Я закрываю глаза. С тоской думаю об украденных минутах покоя и одиночества.

Она приближается, вкрадчиво ложится рядом. Не спешит, позволяет мне привыкнуть. Тело у нее поджарое, как у молодой гончей. От него веет теплом. Все так же неспешно, как набегающая волна, прижимается ко мне. И снова шепчет:

– Доверься мне.

Я уже доверился. Уже проглотил свою горечь. Уже смирился. Что дальше?

Она трогает меня, руками и губами. Начинает со лба, опущенных век и скользит вниз, согревая, разглаживая кожу, вынуждая ее к дрожи и чувствительности. Действия ее как будто бесцельны. И замкнуты на самих себе. Она ничего не требует от меня, только ласкает, обволакивает странной умиротворяющей нежностью. Будто только для того и пришла – прикоснуться. Я, прежде ожидавший натиска, постепенно допускаю ее ближе. Мое оцепенение размягчается и спадает, как подсохший рубец. Я верю в ее бескорыстие. От меня ничего не ждут. Я волен быть эгоистичным и непонятливым, как младенец.

– Успокойся, – тихо повторяет Анастаси, – доверься мне. Только доверься.

Ее губы скользят вслед за руками. Сначала вниз, а затем вверх, по ребрам, до самых ключиц. Внутри меня происходит сдвиг. Это кровь насыщается теплом и бежит быстрее. Боль возвращается, но она разбавлена теплой, забродившей чувственностью. Снова ее губы, настойчивые, горячие. И язык, почти орудие пытки... Я хочу ее оттолкнуть. Я знаю, что она поступает неправильно. Знаю, что преступает законы. Но она продолжает. Это не игра, не каприз распаленной самки. Это акт милосердия.

Сначала огненное колесо, ступицы следуют одна за другой, постепенно сливаясь, а затем – бездна. Та самая, куда

ночь за ночью меня пытается столкнуть герцогиня. Я проваливаюсь. Меня трясет, к горлу подкатывает крик. Анастаси зажимает мне рот рукой. Но руки ее недостаточно, и она глушит мой крик чемто душным и шершавым, похожим на угол простыни. Из меня одним взмахом мясницкого крюка вырывают все внутренности. И сцеживают кровь, которая была молотом в виски. Я пуст. Ничего не чувствую. Только радость долгожданного избавления. Анастаси гладит мой затылок.

– Ну вот и все, – спокойно говорит она. – Теперь спи.

Анастаси осторожно высвобождается и встает. Я смотрю на нее с немой благодарностью. Она прикладывает палец к губам и едва слышно произносит.

– Спи.

Я чувствую, что должен что-то сказать, что одних взглядов и мычания недостаточно. Но ее бережное прикосновение сразу же дает ответ. Анастаси, прежде чем покинуть комнату, подбирает сползшее одеяло и укрывает меня. Ничего не нужно говорить. Все ясно без слов. Я больше не убийца. Я не жажду мести. Я хочу жить.

Глава 5

И все же остаются загадки, которые ей разрешить не под силу. Да, она может гордиться своей способностью угадывать мотивы и мысли. Да, она все знает о тех, кто ее окружает, о своей семье, о придворных, о парижанах, о тех, кто плетет интриги и участвует в заговоре, но как тогда быть с ним, с одним-единственным человеком, чьи мысли и порывы она разгадать не в силах? Почему он не подчиняется выверенным ею законам? Чего хочет он? Во что верит? Он не может быть устроен как-то иначе. Он такой же, как все. Из той же плоти и крови. Он должен желать благополучия и богатства. Должен терзаться честолюбием и гордыней. Должен сгорать в тщеславном огне. Но этого не происходит. И она не в силах понять, что нужно этому человеку, почему его глаза не загораются алчным блеском при виде драгоценностей, почему его не распирает от осознания значимости, почему его разум не застит самолюбие мужичины. Если ему что-то нужно, ему достаточно только попросить. Она будет только счастлива, если услышит его просьбу, она воспарит к небесам, если он наконец прервет этот обет молчания и откроет свою тайну. Чего же ты хочешь? Скажи! Она была готова пойти на любые уступки. Но Геро молчал, и как она ни ломала голову, разгадывая его тайные мысли, ответа не находила.

Проснувшись, я знаю, что делать. Я увижу свою дочь. Больше двух месяцев прошло с момента заключения сделки, а у меня только короткие сухие записки. Я знаю, что она жива, и более ничего. Я хочу ее видеть. Если герцогиня желает страсти, ей придется платить. Не золотыми побрякушками, а тем, что для меня действительно имеет цену. Сегодня же скажу ей об этом. Это Анастаси дала мне решимость. Вернула надежду, изгнала дурную кровь и заменила ее свежей. Я благодарен ей. Осознание случившегося пришло сразу, едва лишь я открыл глаза. Никакой благодарности от меня не требовалось. Она меня не предавала. Напротив, пожертвовала собой. Забрала мою ярость, вскрыла рану, как решительный, но жестокий хирург. Позволила мне стать победителем, испытать короткое исцеляющее наслаждение. Она меня пожалела. У меня снова есть силы жить и даже действовать. Я готов немедленно бежать к герцогине, но оказалось, что ее нет в замке. Она покинула его на рассвете.

Когда герцогини нет, я предаюсь праздности. Большую часть времени сплю или брожу по окрестностям. Любен следует за мной по пятам, но мне это не мешает. Это еще одна из его обязанностей, он и телохранитель, и надсмотрщик. Уза петляет, прежде чем соединиться с Сеной, и одна из ее петель вытягивается к самому замку. Я выбираю место на бе-

регу и часами смотрю на воду. Я думаю о том, как река схожа с человеческой жизнью. Прозрачная у истока, она постепенно мутнеет, буреет и в конце своего пути напоминает забродившую похлебку, которую великодушное море растворит и поглотит. Жизнь не имеет смысла. Короткий путь страданий от рождения к смерти. Страх, боль и кровь. Зачем? Лучше не думать... Эти дни праздности еще мучительнее тех, когда она здесь. Когда мне страшно и больно, я, по крайней мере, не терзаю себя мыслями и не ищу ответа. Я боюсь и страдаю. Это тоже способ занять себя. Когда думал о куске хлеба, делая по ночам переводы, крамольные мысли о мироустройстве меня не посещали. Я думал о свежем молоке для Марии и курином бульоне для Мадлен. А теперь, когда я выброшен за пределы, когда опустошен и ограблен, мне ничего другого не остается. Только мысли. Я смотрю издалека и вижу то, чего не замечал прежде.

К счастью, самые мучительные только первые сутки, на вторые я уже не терзаю себя вопросами, на которые нет ответа. Я начинаю что-то замечать. Вижу деревья, слышу шелест их листьев. Узнаю, что лето на исходе и каштаны обзавелись бурыми колючими плодами. Я брожу между ними, слушаю ветер, ступаю в солнечные пятна. Иногда ложусь на траву и часами смотрю в небо. Это не скучно. Напротив, очень увлекает. Небо постоянно меняется. Оно не становится лучше или хуже, оно становится другим. Как вода в реке или как огонь. Перистые облака, сизоброхие тучи. Совсем как люди,

разные... Иной формы, цвета, но из того же субстрата. Я перевожу свой взгляд вовне, от разума к чувствам. Думать себе запрещаю и только наблюдаю за небом. На щеке прохлада, а в поясницу, кажется, впился камешек, и левая нога затекла. А мысли текут где-то стороной, как та река, в которую я могу окунуться, но не делаю этого, потому что покой мне желанней.

Герцогиня возвращается неожиданно скоро, к вечеру второго дня. По ее лицу я вижу, что она не в духе. Но отступить не намерен. Если промолчу сейчас, погрязну в сомнениях и страхе. Я израсходую в терзаниях ту силу, что дала мне Анастаси. Герцогиня смотрит хмуро. Кожа на лице серая, глаза запали. Ее кукольный спектакль не удался, и она переживает муки отвергнутой. Мне приходит в голову мысль, что момент выбран неудачно, следует подождать, но я уже стою на пороге. С ней две горничные, младшая фрейлина и секретарь, невысокий, лысый человек с бархатным бюваром под мышкой. Герцогиня вполголоса говорит с ним. Меня она не ждет, ибо я никогда не являюсь по собственной воле. За мной всегда посылают. И такая вольность должна сыграть мне на руку. Разве она не желает от меня действий? Вот оно, действие, в чистом виде. Даже без ее участия и знака. Меня заслоняют фигуры горничных – у одной в руках нюхательные соли, у другой серебряный таз с розовой водой, но герцогиня видит меня. Натывается взглядом, ведет глазами и тут же поворачивается всем телом. Она удивлена. Мой рас-

чет оказывается верен. Она даже отгоняет секретаря. Мне кажется, что она смягчилась, и складка у губ не так режет глаз. До этого я видел эту складку, как расщелину в скале. В гневе ее черты заостряются, вытягиваются вперед, как стрелы, готовые пронзить врага, а в довольстве углы закругляются. Она довольна. Мой шаг навстречу она расценивает как победу. Сам! Пришел сам! Признал ее право! Она не так уж далека от истины. Я никогда не сомневался в ее праве и, как предписано подданному, пришел просить. Ее землистая бледность уступает место разбавленному румянцу. Губы нарушают прямую линию. Она смотрит на меня с удовольствием. Я, не дожидаясь указаний, дерзаю занять свое место у ее ног. Удивление ее возрастает. Но эта вольность ей нравится. Я веду себя как верный пес, который спешит засвидетельствовать свою преданность хозяину, положив ему голову на колени. И хозяин его вознаграждает. Она ерошит мои волосы, откидывает со лба непослушные пряди.

– Что с тобой? – спрашивает она. – Тебя что-то тревожит?

Она задает вопрос, и я могу на него ответить. Не я заговорил первым.

– Моя дочь. Прошло уже достаточно времени... Я не видел ее...

Ее рука в моих волосах замирает. Она хмурится. У меня сухо во рту, но я продолжаю.

– Могу ли я просить?.. Могу ли я надеяться?..

Она сверлит меня взглядом, рот мгновенно сжимается и

выпрямляется.

– Я не желаю слышать об этом ублюдке! – членораздельно, с ударением произносит она. Пальцы ее, сведенные, тянут меня за волосы.

– И не смей напоминать мне об этом! Тут она меня толкает.

– Вон!

Я немедленно повинуюсь. В спину – взгляды, злорадные, испуганные. Я ошарашен и вновь мгновенно опустошен. Все напрасно, все мои надежды напрасны. Дорогу нахожу ощупью, как слепой. Она не позволит мне видеть мою дочь. Зачем же тогда жить? Зачем терпеть? Влачить это жалкое существование. Терять разум, обращаться в животное. Я становлюсь чувствительным только к палочным ударам. Почему? Я прошу так мало, всего лишь обрывок любви, один глоток, каплю влаги... Один взгляд моей дочери, чтобы чувствовать себя живым, чтобы сердце не обуглилось, не обратилось в камень.

Я кружу по комнате, как зверь. Даже Любен встревожен.

– Сударь, что мне сделать для вас? – вдруг спрашивает он.

Я с трудом понимаю. Сделать? Для меня? Что он может сделать? Если только убить... Пожалуй, только это. Избавить меня от страданий. Мне так больно. Сердце, похоже, и в самом деле обуглилось. Мне надо двигаться, чтобы охладить этот жар.

– Вина... Принеси мне вина.

Он укоризненно качает головой. Большой, упрямой, крестьянской головой. Соломенный шар на широченных плечах.

– Тогда зачем же спрашиваешь, что можешь сделать для меня? Мне больно, а это единственное, что облегчает боль. Но есть еще выход, если, конечно, ты хочешь мне помочь...

Он смотрит в недоумении. Я срываю шнурок, которым подвязывают портьеры, и протягиваю ему.

– Самоубийство – смертный грех, но если ты убьешь меня, то окажешь мне неоценимую услугу. Спасешь мою бессмертную душу.

Любен в ужасе. Осеняет себя крестом, шепчет молитву. Выбегает за дверь и возвращается уже с двумя бутылками кларета. Я залпом выпиваю стакан, за ним второй и тут же получаю как обухом по голове. Арно, как-то заметив действие на меня вина, сказал, что мне нельзя пить. Я слишком быстро пьянею и обращаюсь в подобие сомнамбулы. Мой разум сразу прекращает борьбу и покидает отравленное тело. Но боль стихает. Теперь я – только набитый мясом бесчувственный бурдюк. Что же дальше? Подчиниться, и пусть все идет своим чередом? С каждым днем пить все больше и так убить себя? А если снова вступить в борьбу? Заупрямиться, сказать дерзость? Она придумает новую пытку, более изощренную. Второй раз она не уступит. Владелец не идет на поводу у вещи. Бог не играет по правилам смертного.

Я провожу несколько часов в неподвижности. Все в том же

пьяном полусне. Чтобы не выходить из него, допиваю вторую бутылку. Любен пытается стащить ее у меня из-под локтя, но я смотрю на него так мрачно, что он предпочитает ретироваться. Затем шум у дверей, и он появляется вновь. Взволнован.

– Сударь, ее высочество... вас требует.

Я нехорошо усмехаюсь. Ее высочество требует! Желает развлечься. Плоть горит и жаждет. Я подзываю Любена и произношу нечто крамольное.

– Передайте ее высочеству, что я не в настроении. Болен. У меня голова болит, мигрень.

Любен бледнеет. Лицо у него вытягивается. Он выскакивает за дверь и возвращается уже не один. С ним Анастаси. Госпожа первая придворная дама! Что она предпримет на этот раз? Снова уложит в постель? Я протягиваю к ней руки.

– Прикажете раздеться, мадам?

Она отвешивает мне оплеуху. А я смеюсь. Глухо и непристойно.

– Немедленно успокойся, – шипит она.

Но я задорно трясу головой и снова хохочу. Ну уж нет! С вашей игрой покончено. Не хочу больше... Не хочу... Анастаси снова бьет меня по щеке. Хватает за руки и шепчет.

– Я знаю, знаю. Ты просил, она отказала. Тебе больно. Но, Геро, прошу тебя, умоляю... Стисни зубы, покорись. Сейчас покорись. Не губи себя. Потом, позже... Если ты не придешь сей – час, будет хуже...

Я качаю головой. Анастаси вздыхает.

– У меня нет выбора.

У нее тоже нет выбора! Ни у кого нет выбора.

Меня тащат силой. Любен и еще один лакей. Весь путь до ее гостиной – тихая, яростная борьба. Я упираюсь, выкручиваюсь, они заламывают мне руки. Хмель плохой помощник в драке, я быстро теряю силы. У самой двери я делаю последнюю попытку. Анастаси подбегает и жарко шепчет в ухо, как она уже шептала во дворе замка, когда увозили мою дочь.

– Я все сделаю, чтобы уговорить ее. Все сделаю. Богом клянусь! Спасением души.

Я поднимаю голову и вижу их лица. У Анастаси – страдальческое, она кусает губы, острые скулы вот-вот прорвут кожу; Любен – виноват, растерян; даже тот, второй лакей, чувствует себя неловко, отводит глаза.

– Отпустите меня, – говорю. – Дальше я сам.

Герцогиня сидит за столом и вертит в руках золотую вилку. Видно, что ждет давно. Раздражена. Она в другом платье, свежая, отдохнувшая. Любезно подается вперед. Глаза влажно блестят и губы – не прямая линия, а ласковый полукруг.

– Почему ты не пришел к ужину? Мы же договорились! Ты всегда ужинаешь со мной. И если нет на то особых распоряжений, ты обязан присутствовать.

Я не отвечаю. Голос ее повелительно резок. Она требует своих прав, напоминает. Хмель выветрился, и я чувствую ярость. Она вновь начинает говорить. Уже мягко, почти за-

стенчиво.

– Геро, послушай, не стоит начинать все сначала. Я бы-
ла резка с тобой, я сожалею. Но я прощаю тебя за твою дер-
зость.

Мне снова смешно. Какое великодушие!

– В чем ты можешь меня упрекнуть? – продолжает она. –
Все твои желания исполняются, все капризы прощаются.
Твоя последняя выходка осталась безнаказанной. Да любой
смертный на твоем месте...

Как я ненавижу эту фразу! По любому поводу поминается
этот смертный. Некто безмерно благодарный. Тот, кто готов
осквернить могилу жены и отречься от собственного ребен-
ка. С ним не будет хлопот. Почему бы ей не взять этого дру-
гого? Зачем возиться со мной, злым, неукротимым упря-
мцем? Я кричу ей об этом.

– Так почему бы вам не взять этого любого?!

Она молчит, ответить ей нечего. Странно упрекать вещь,
которую так легко заменить другой. Если у вас ломается каб-
лук, вы не воздеваете руки к небу и не обращаетесь к нему
с речами. Вы зовете сапожника. Так что же мешает ей про-
делать то же самое со мной? Ах да, барабан и скрипка. Она
не хочет играть на барабанах, это слишком просто, ей нужна
скрипка. Герцогиня тут же подтверждает мою догадку.

– Мне нужен ты.

– А мне нужна моя дочь!

– Я выполнила то, что обещала.

Глава 6

Смертные просят у бога. Они приходят в храм, опускаются на колени, воздевают к небесам руки, возжигают в чашах благовония, приносят на алтарь жертвы. И просят. А божество хранит молчание, презрительное и величавое. Лишь по истечении времени, вдохнув достаточно жертвенного дыма, насладившись криками жертв, божество нисходит до молящихся. Эти мольбы жалких смертных, испарение их страждущих души – суть лакомства, источник силы божества, столпы, что поддерживают храм. Каждая просьба, каждый стон делают это божество сильнее. Божество кормится, наращивая эфирную плоть, оно становится все более алчным, все более требовательным, все более могущественным. Подобно Зевсу, оно играет молнией, подобно Посейдону, тревожит и дыбит океан, подобно Гелиосу, двигает по небосводу солнце. Языческие боги властно царили на земле, когда в тысяче храмов во славу их курились благовония. Но что они сейчас? Забыты, обречены на прозябание. Их никто ни о чем не просит.

* * *

Я глуп. Действую наобум, в лоб. Будь я умнее, я бы нашел способ, как обойти эту преграду. Надо бы притвориться,

успокоиться, улестить ее. Как действуют опытные царедворцы? Они устилают пусть суверена лепестками роз и склоняются перед ним, они позволяют ему властвовать. Истинный фаворит умеет угождать. Обманом и лестью, клеветой и притворством он поднимается к самой вершине. Играй на слабостях, дай своему монарху то, чего он жаждет. А я умею только дерзить. Мне не хватает смирения, точно так же, как не хватает ума. Упасть на колени, склонить голову и нежно молить о прощении. Робко поднять глаза, увлажнить их непрошеной слезой, ждать с замиранием сердца... И только потом просить. Униженно, с колен. Как просит истинно верующий у верховного бога. Ради дочери... Но я не умею! Я ничего не умею. Мой путь – это путь безумца.

Я оглядываюсь вокруг, еще без всякой определенности, с одним только вдохновением упряма. Вижу зеркало. Огромное, квадратное, над камином. Вижу в нем себя, растрепанного, с блуждающим взглядом, и ее, непоколебимую. И вновь приступ ярости. Я хочу ударить ее, напугать, подпортить эту безукоризненную личину. Желание это так велико, что я подбегаю к зеркалу и бью по нему ребром ладони. Это жест бессилия, порыв труса. К настоящей герцогине я подойти не решаюсь, я бью отражение. Удар силен, и зеркало трескается. Это сила моей ярости, она подступает как волна. Тогда еще раз. Трещина пробегает от верхнего угла вниз. Гладкая поверхность распадается на куски. Один разлом рассекает ей лицо, и верхняя половина сдвигается над

алебастровым подбородком. Я бью по этому разлому, дабы уничтожить это лицо, из поверхности вываливается кусок. Он большой, похож на изогнутое лезвие. С такими лезвиями изображают неверных, они всегда гибнут под копытами христианской конницы. Я подбираю этот кусок. Ее убить я не смогу, но могу убить себя. Самоубийство – смертный грех, я буду наказан. Впрочем, какая разница, я уже проклят. Пусть дьявол празднует победу. Богу до меня нет дела. Он глух и безжалостен, как и эта женщина. Но у меня все еще есть свобода воли, выбор жить или умереть. Господь сам дал мне эту свободу, так пусть пожинает плоды.

Лучше сразу полоснуть себя по горлу, но решимости не хватает. Плоть хочет жить – руки становятся ватными. Чтобы вернуть им чувствительность, я бью себя зубчатым лезвием по левой руке ниже локтя, там, где скрывается вена. Ее обычно надрезают при кровопускании. Вспышка боли, и сразу горячо. Кровь брызнула и впитывается в рукав. Я смотрю на герцогиню. Она бледнеет. Бледность ее разливается от середины лба. Там возникает пятно и медленно пожирает ее лоб, спускается ниже, на скулы и подбородок. Будто сверху стекает гипс. Ее кровь уходит глубоко внутрь тела. Она видит мою кровь и таким образом пытается спасти свою. Я наощу себе второй удар совсем близко к запястью. Моя правая ладонь тоже кровоточит. Кровь каплет, как дождь. Тут герцогиня наконец понимает, что происходит, и кричит. Не вскрикивает мелодично и томно, как приличествует знатной

даме, а визжит, как перепуганная торговка. Даже я глохну. Я так ошеломлен этим преображением, этим квадратным ртом на белом лице, что забываю о третьей цели. Третий удар был предназначен яремной жиле. Если удастся ее перерезать, я быстро истеку кровью. Но поздно... Все проклятая нерешительность.

На ее крик в комнату врывается паж, за ним рослый лакей, Дельфина и офицер охраны. Герцогиня дрожащей рукой указывает на меня. Говорить она не в силах. Окровавленный осколок в моей руке выглядит устрашающе. Я отступаю по хрустящим останкам венецианского зеркала. Кто-то набрасывается сзади. Второй лакей сжимает мне запястье, моя ладонь изранена, лезвие мокрое и скользкое, пальцы мои немеют, разгибаются. Я сопротивляюсь, бьюсь, невзирая на боль, на алые, теплые брызги. Левая рука повисает, рукав весь пропитан кровью. От моих рывков, изворотов кровотоечение усиливается. Меня волокут по галерее, и на паркете кровавый след. Смешно... Сначала меня волокли туда, теперь волокут обратно. Не судьба мне ходить по этим коридорам без сопровождения. Рядом вертится испуганный Любен. В руках у него полотенце. Он пытается накинуть эту льняную тряпку на мое предплечье и перетянуть рану. Я пинаю его в голень. Но он не отступает. Все же накидывает полотенце, как аркан, и затягивает узел. В ушах у меня звенит. Сказывается кровопотеря. Но я не сдаюсь. Не желаю быть спасенным. В моих апартаментах Оливье с иглами и лигатурой. Он

взбешен. Его я тоже пытаюсь лягнуть, хотя движения мои неловки. Я слабею. Все еще повторяю беспомощные попытки освободиться, как раненый вепрь под сворой собак. Через минуту я сдамся, но для пущей верности кто-то оглушает меня ударом по голове. Колени подгибаются, но сознания я не теряю. Превращаюсь в тряпичную полуослепшую куклу. На меня будто накинули душный, тяжелый плащ, в котором я путаюсь, как в липкой паутине. Слышу голос Оливье. Он приказывает уложить меня на кушетку и раздеть. В левой руке невыносимая ломота и холод. Резкий запах опия. Чьи-то руки раскрывают мне рот и заталкивают пилюлю. Нижняя челюсть быстро немеет. Вскоре притупляется и боль. Я слышу плеск воды, прикосновение влажного холодного комка. Это смывают кровь. А затем снова боль, покрывало вспухает и тяжелеет, противный запах паленого мяса. Это Оливье прижигает перебитую вену. Боль отбрасывает меня в темноту, но я все же чувствую, как он колет кривыми иглами мою плоть. Собирает лохмотья кожи и осыпает меня ругательствами. Глухо, с застарелой злобой. Самое мягкое из них – «безмозглый юнец». В этом он прав. Действительно, безмозглый, вспыльчивый, неуравновешенный юнец. Уже в полудреме я чувствую стыд. Я поступил, как неразумный ребенок. Где-то внутри нас живет зерно разрушения. Это как затаившийся ураган, который ждет оплошности, слабости рассудка. Мой не устоял и я тут же поддался искушению. Теперь только умереть. Но я не умру. Мои раны перевязаны. Кровь

остановлена. Через несколько дней я вновь обрету силы.

Меня переносят с кушетки на кровать. Я слышу голоса. Визгливый – Оливье, мягкий – Анастаси. Я в полусне, но окончательно так и не засыпаю. Левая рука ноет, и я все еще чувствую холод. Я – безмозглый юнец. И кожа у меня тонкая.

Ее голос я тоже слышу, приглушенный. Она тоже награждает меня эпитетом. «Глупый, почему же ты такой глупый?..» В ее глазах я – олицетворение глупости. Она не понимает. Ей это в диковинку, такая страсть, такая жажда разрушения.

Она гладит меня по лицу и шепчет. Я плохо разбираю слова, но она меня о чем-то просит.

– Прости меня, мой мальчик, прости. Это все гордыня проклятая и кровь. Я этого не хотела. Это все от слепоты. Отчаяния твоего не угадала. Больше этого не будет. Я выучила урок, и повторять его тебе не придется. Ты непременно увидишься с ней... Я прикажу Анастаси снова привезти девочку, или ты отправишься к ней. В моем экипаже. Я дам тебе мой экипаж, с гербами. Пусть все видят, что ты мой возлюбленный. Только не пытайся убить себя, не калечь. У тебя такая нежная кожа...

Я хочу спать. Я очень хочу спать. Тело уже наливаются свинцом. Но она шепчет и шепчет и проводит пальцами по моим губам. У нее потребность трогать мое лицо. Она будто проверяет, настоящий я или присвоил чужой облик.

Наконец я понимаю. Она уступает! Да, она уступает. Я вы-

играл. Я заплатил совсем недорого – залитый кровью коридор и несколько ран. Но я выиграл. Я увижу свою дочь.

Глава 7

Когда-то, отвечая на вопрос Геро, почему она остановила свой выбор не на блестящем царедворце, а на нем, безродном найденыше, она совершенно неожиданно для себя сформулировала изящный постулат, уложив в него едва ли не аксиому мироустройства. Барабан. Маркиз был похож на огромный, парадный, украшенный кистями барабан. Звучал этот барабан оглушительно, звук его победно катился по луврским галереям, но внутри этот барабан был пуст. Сыграть на нем мог каждый, главное, ударить посильнее. Но был ли тот звук, что извлекался, подлинной музыкой? Барабаны хороши на военном марше, особенно для таких тугоухих, дряблых созданий, как ее брат Людовик, но для тех, кто обладает слухом более тонким и вкусом более изысканным, барабан отвратителен. Герцогиня сама восхитилась точностью сравнения и стала в дальнейшем пользоваться этим когноменом²⁶, объединяя его носителей в условную родовую ветвь. Герцог такой-то Барабан или маркиз такой-то Тамбурин. Как в Риме к личному и родовому имени добавляли Метелл или Агенобарб²⁷. Барабанов, литавр,

²⁶ Когномен – (греч.) индивидуальное прозвище, данное некогда кому-либо из представителей рода и часто переходившее на потомков и становившееся названием семьи или отдельной ветви рода.

²⁷ Агенобарб – рыжебородый.

трещоток, тамбуринов вокруг было превеликое множество, все они гремели, звенели, ухали, щелкали, но истинную ласкающую музыку мог подарить инструмент совсем иного рода, сложный, редкий, созданный гением, полный секретов и вдохновения. Она тогда и сравнила самого Геро со скрипкой, создание которой было всегда сопряжено с определенной тайной. Эти инструменты создавались потомственными мастерами и стоили баснословных денег. И звучали скрипки только в руках подлинных музыкантов. Невежа мог извлечь из струнного инструмента только режущий ухо скрип. Но если скрипка звучала в умелых руках, песня ее лилась подобно бальзаму в тоскующее сердце.

И Геро как нельзя лучше подходил под это определение. Играть на скрипке сложно, пальцы могут быть изрезаны в кровь, но если добиться ее звучания, то услышишь райские песни, а на барабанах играть легко, но... скучно.

*** * ***

Собственно слабость была вызвана только потерей крови. Сами раны неопасны. Оливье сшил края мастерски. Пару недель с повязкой – и два тонких шрама. Они будут розоветь на моем предплечье как предупреждение. Вещь подпорчена. Но к концу второго дня я уже на ногах. Оливье мрачен, два раза в день делает перевязки, осматривает швы, щупает пульс. Рана у запястья чуть покраснела, но жара нет. Он

заставляет меня глотать чесночную вытяжку, от которой меня тошнит, но я повинуюсь, утешая себя тем, что это зелье избавит меня от непрощенных поцелуев. Анастаси говорит, что герцогиня, пытаясь загладить вину, распорядилась заложить для меня свою карету, едва лишь Оливье позволит мне совершить поездку. Святые угодники! Я пожалуй на улицу Сен-Дени в карете с гербами!

Временами у меня кружится голова, но ждать я не в силах. Не могу избавиться от мысли, что она изменит свое решение, едва лишь ко мне снова вернутся силы. Она может меня перехитрить. Может принудить к близости, не терзая свое самолюбие уступкой. Ей достаточно пригрозить мне похищением дочери, напомнить, как хрупка и уязвима жизнь ребенка. Слуги бывают так неосторожны! Мария вовсе не в безопасности в доме своей бабки. Новая кухарка невзначай опрокинет раскаленный противень, или подкупленная горничная слишком туго затянет детский воротничок. Герцогиня очень недорого купит чужую жизнь. Средств у нее превеликое множество. Я не посмею оспорить ее решение, я безропотно подчинюсь, и шанса ее напугать у меня больше нет.

Анастаси неодобрительно качает головой, но я настойчив.

– Посмотри на себя в зеркало, – говорит она. – Ты бледен как смерть.

– Это от беспокойства. Она передумает.

– Не передумает. Она боится тебя потерять и сделает все, что ты пожелаешь.

– Тогда едем, едем! Едем сию же минуту.

Я даже позволяю себе нечто вроде шутливого флирта. Игриво касаюсь ее руки, целую в плечо. Анастаси морщится.

– Прекрати. Я тебе не дочь короля.

К вечеру нам подают экипаж. Герцогиня держит слово – на дверцах гербы Ангулемского дома, нарядный фореитор впереди и два лакея на запятках.

Со мной Любен и Анастаси. Оба молчаливые и торжественные. Лошади рысят, карета ровно катит по Венсеннской дороге. Я почти не чувствую хода.

– Английское новшество, – поясняет придворная дама. – Эти еретики так берегут свой зад, что придумали соединять несколько стальных прутьев в единую связку и подводить ее под днище кареты. Действует как пружина. Колесо проваливается, но железные прутья смягчают удар. Карл Стюарт прислал два таких чудо-экипажа своему шурину. Один ее высочество выпросила для себя, а второй достался королеве-матери.

– Что же это получается? Я еду в экипаже самого короля?

– Именно. Помни об этом и гордись.

Вот и ворота Сент-Антуан. В сумерках на башнях Бастилии уже горят факелы. Париж надвигается, нависает и готовится поглотить. Я с рождения не покидал его смрадных улиц, потом был выброшен за его пределы, а теперь, как блудный сын, готовлюсь переступить порог отчего дома. Я отсутствовал совсем недолго, но здесь я уже чужой. Я вы-

рван с корнем, мое место занято кем-то другим. Меня не узнают те, кого я знал, мне не подадут руки. Мне знакомы очертания крыш, силуэты церковных шпилей, запруженные перекрестки, каменные тумбы, вывески, но разгадываю их, как заблудившийся иностранец. Этот город прожит мною во сне, а теперь я сам призрак. По широкой Сент-Антуан лошади вновь идут рысью. Я вижу, как двое дворян, посторонившись, почтительно снимают шляпы. Эх, знали бы они... Перекресток с улицей СенЖак, а за ней рынок, ратуша, Новый мост. Вот и купеческая цитадель Сен-Дени. На первых этажах с подслеповатыми окнами – лавки и мастерские. Штуки сукна, клубки кружев, связки перчаток. Есть сокровища, о которых догадываешься только по вывескам. Это лавки аптекарей и ювелиров. Мэтр Аджани – золотых дел мастер. Ставни в его доме уже закрыты. Еще до наступления темноты это маленькая крепость. Наш блистательный экипаж оглядывают из соседних домов, здесь же – ни движения, ни луча света. Я вижу знакомую вывеску. Единорог, попирающий копытом змея. Голову сказочного зверя украшает венец, на его спине юная дева с гирляндой из лилий. Когда-то я восторженно взирал на эту вывеску. Девственница укрощает единорога. Целомудрие одерживает победу над животной силой. Сейчас же мне эта вывеска кажется крайне безвкусной. Грубая мазня. Анастаси делает знак одному из лакеев. Тот прыгивает на мостовую и берется за дверной мол оток. После удара – долгая, настороженная тишина. Где-то в верхнем окне

мелькает свет. Анастаси приказывает стучать громче. Я подхожу к массивной дубовой двери вслед за лакеем. Стук все настойчивей. Наконец шорох и тихий голос.

– Кто там?

Голос я знаю. Это Наннет, нянька Мадлен. Крестьянка из Нормандии, она была кормилицей хозяйской дочери, а когда ее ребенок умер, осталась жить при воспитаннице. Наннет единственная плакала, когда девушка покидала родительский дом. Нянька даже осмелилась навещать нас, возилась с новорожденной. Какое счастье, что она здесь, эта добрая женщина.

– Наннет, открой, это я, Геро. Я хочу видеть мою дочь.

Замешательство и тишина. Конечно, ей проще признать за дверью самого дьявола, чем погубителя ее молочной дочери.

– Кто? – переспрашивает она.

– Ты знаешь меня. Мадлен моя жена... была. Сейчас у вас в до – ме наша дочь. Открой мне, Наннет.

Скрипит засов. Она чуть приоткрывает створку с намерением захлопнуть ее сразу, едва лишь незнакомец за дверью попытается войти. Я торопливо сбрасываю с головы капюшон. Сумерки еще не сгустились до чернильной завесы, поэтому она сразу узнает меня. На худом лице и радость, и скорбь.

– Мадам сказала, что вы умерли, – тихо говорит Наннет. – Сказала, что вас повесили за убийство. Вы убили свою жену.

Боже милостивый, да что же это! Из меня сделали убийцу.

– Я никого не убивал, Наннет. Мадлен истекла кровью во время родов. Мой ребенок родился мертвым. У меня никого не осталось, кроме Марии. Пожалуйста, пусти меня.

Глаза ее блестят от жалости. Лицо испуганное. Наннет еще не стара, но голова у нее совсем седая. В ее деревушке к северу от Амьена была вспышка оспы. Она всех потеряла – мать, мужа, двоих сыновей и маленькую дочь. Она знает, что я чувствую. Она понимает.

– Я должна доложить мадам.

– Конечно, Наннет, я подожду.

Она захлопывает дверь. Я оглядываюсь. Анастази уже рядом. Она прислушивалась к разговору.

– Я могу назвать себя и потребовать, чтобы нас впустили.

С хозяйкой этого дома мне уже приходилось иметь дело.

– Нет! Нет! – я охлаждаю ее пыл. – Попробуем обойтись без угроз, там моя дочь. Как-никак, это ее дед с бабкой, ее единственные родственники. Они заботятся о ней. Кто знает, смогу ли я когда-нибудь сам это сделать. Сейчас меня все равно что нет. Герцогиня утратит ко мне интерес, меня вышвырнут на улицу, возможно, повесят. Что станется тогда с ней?

Анастази опускает руку мне на плечо.

– Я не дам ей убить тебя. Я сама ее убью.

Вновь громыхает засов. Наннет отступает и отводит створку, позволяя мне войти. Она все еще недоверчиво ко-

сится. Мой голос ей знаком, лицо тоже, но все прочее внушает ей страх. Она видела студента в потертой шерстяной куртке, а тут перед ней знатный господин в кружевах и бархате, пожаловал в экипаже с лакеями на запятках.

У мэтра Аджани дом высокий и узкий. Комнаты поставлены друг на друга и вытянуты вверх. Их соединяет скрипучая лестница. Она начинается сразу, от самой входной двери, оставляя по сторонам два маленьких закутка, куда втиснуты ларь и корзина. На ступеньках уже застыла грозная тень. Прошлое настигает меня. Тот страшный и благословенный день, когда родилась Мария. Все повторяется. Та же полутемная прихожая, масляная лампа в руках трясущейся служанки, и молчаливая хозяйка на лестнице. Она точно так же возвышалась надо мной и смотрела сверху вниз. Она и сейчас так же смотрит. Только лицо у нее стало суше и глаза запали. Анастаси осталась за дверью, и старуха видит только меня. Справа масляная лампа в руках у Наннет, на фитиле капля красноватого пламени. Светильник жалок и тускл, но все же отражается в золотом шитье моего камзола. Мадам Аджани щурится на это пятно, и губы ее становятся все тоньше, морщины – все глубже.

– Что тебе нужно? – наконец спрашивает она.

Я не в силах ответить сразу. В горле пересохло. Я превозмог взгляд герцогини, а тут страх какой-то глубинный, с примесью вины. Я виноват перед этой женщиной, я погубил ее дочь.

– Мария... Могу ли я повидать ее?

Я подставляю ладонь как нищий проситель. Так униженно я не смотрел даже на герцогиню.

– Зачем?

Я в замешательстве. Как ответить на этот вопрос? Зачем отцу видеть свою дочь?

– Зачем тебе ее видеть? Зачем такому как ты дочь?

– Я... я люблю ее. Я ее отец.

Она презрительно фыркает.

– Отец... Любит... Так убирайся отсюда и забудь, что она есть! Избавь свою дочь от позора. Ты погубил душу ее матери, так оставь Богу невинного младенца. Уходи из этого дома и более не возвращайся. Она станет доброй христианкой и будет молить Бога о прощении. Будет поминать тебя в своих молитвах.

– Я только взгляну на нее. Позвольте мне только взглянуть!

– Убирайся!

– Поминать живого отца в молитвах? – слышу я за спиной голос. Это Анастаси. Я умолял ее не вмешиваться, но она и не подумала сдержать слово. – Не спешите с ответом, мадам. К вам обращаются с просьбой. Извольте выслушать, в противном случае к вам обратятся с приказом.

Лицо пожилой дамы мгновенно преображается. Откуда-то проступают губы, открываются глаза. Она подобострастно моргает.

– Ах, ваша милость, простите. Такая честь для меня!

Она сбегает вниз.

– Мой супруг, к сожалению, сойти не смог. Подагра. Но я полностью к вашим услугам. Простите, я не знала...

– Не знала, что отец любит свою дочь? Впрочем, вы правы. В вашей семье об этом действительно мало что знают.

Мадам Аджани беспомощно разевает рот, хватая губами воздух. А Анастаси продолжает:

– Вы позволите господину Геро увидеть свою дочь? Или мне обратиться за содействием к ее высочеству?

Старую даму как будто толкают в грудь.

– Я вовсе не возражала! Я только позволила себе заметить, что час поздний и девочка спит. Маленькие дети засыпают рано.

– Я не прошу вас ее будить! – уверяю я торопливо. – Я прошу только позволения взглянуть на нее.

– Да, да, конечно. Идите за мной.

– Я останусь здесь, – говорит Анастаси. – Но мадам будет вести себя благоразумно.

И она многозначительно смотрит на нашу хозяйку. Та, путаясь в юбках, бежит наверх. Я поднимаюсь следом. Я знаю этот дом. Я помню, как ставить ногу, чтобы лестница не скрипела. Когда-то, очень давно, я хорошо освоил эту науку. Комнатка Мадлен была под самой крышей, и я взбирался туда, едва касаясь предательски скрипящих ступенек. Вот я вновь совершаю этот путь, вновь спешу на свидание. Какая

путаница событий! Я все еще тот, прежний? Или я другой? Может быть, и не было ничего? Мне приснился страшный сон. Я выдумал невесту что, а Мадлен жива и ждет меня. Ее родители нас простили, и мы теперь живем здесь, в той самой спальне наверху, и ждем нашего второго ребенка. Старуха сердится, что я вернулся так поздно, могу потревожить и мать, и Марию. Потому что она уже спит... Дети засыпают, как птички, с последними лучами солнца. Но Мадлен ждет меня.

Мадам Аджани оглядывается и шепчет:

– Ты здесь, потому что здесь эта дама. Это она вынудила меня. Но я сделаю все, чтобы оградить от тебя невинную душу. Ты обесчестил и убил мою дочь, внучку я тебе не отдам.

Я не отвечаю. Любой ответ поведет к ссоре, а последствия этой ссоры могут быть какими угодно. Она предпочтет столкнуть меня с лестницы, чем позволить пройти. Мадам Аджани указывает на дверь:

– Не вздумай ее будить, язычник. Ей вовсе незачем тебя видеть в этом бесовском облики. Не постеснялся, вырядился. Похваляешься своим грехом.

Я снова не отвечаю. Тихо иду вперед. Как сердце болит... Ее комната. Маленькое окно под самой крышей, крошечное зеркальце на стене, узкая кровать. Над ней деревянное распятие, которое Мадлен украшала цветами. Она привязывала букетики из ромашек или колокольчиков, украдкой покупая их за пару денье на рынке. Говорила, что Господу Иисусу

будет приятно, если она подарит ему цветы. Его это порадует. Даже в ее молитвеннике я находил засохшие лепестки. Весной я приносил ей фиалки, и она ставила их в кособокую глиняную чашку. Ее мать называла ее цветочные гирлянды греховными и запрещала Мадлен брать для цветов фарфоровые или стеклянные вазы. Эта старая чашка до сих пор стояла на полочке рядом с корзинкой для рукоделия. Мадлен штопала старые юбки и чулки, а когда мать не видела, шила из разноцветных лоскутков забавных зверушек. Чтобы не гневить мать, она отдавала их брату или мне, а я дарил детям на улице. Мадлен будто предчувствовала, что в этой комнате поселится ее дочь, и готовила для нее цветных, мягких, беззаботных соседей. Но их всех изгнали отсюда. Исчезло даже покрывало из обрезков сукна. От комнаты остался темный суровый остов. В углу – крошечный ночник. Мне едва удастся разглядеть детскую фигурку на кровати. Я крадучись делаю несколько шагов, но вплотную подойти боюсь. Боюсь напугать. Времени прошло немало. Она забыла меня. Увидит – испугается. Мое кружево топорщится, как чешуя дракона. А перстни – как когти. Пусть лучше спит и не видит, кто глядит на нее из темноты. Я опускаюсь на колени и смотрю на нее. Глаза уже приспособились к сумеркам, и ночник, осмелев, тянется из угла желтоватым лучом. Сопящий носик и темная прядка на подушке. Ручки раскинуты. Возможно, ей что-то снится. У нее уже есть воспоминания, есть страхи и разочарования. В своей короткой жизни она

познала отчаяние. Оно вернется во снах, к ней придут тени постигших ее потерь. Она слишком мала, чтобы обозначить их именами, но они будут пугать ее и тревожить. Пока она безмятежна. Она не слышала, как скрипнула дверь, не слышала наших шагов. Она чуть шевелится, когда я протягиваю руку, чтобы поправить одеяльце, но, к счастью, девочка не просыпается. Я готов обратиться в камень. Мне нельзя говорить с ней. Нельзя даже успокоить. Я должен молчать.

Со стороны мне трудно судить, но Мадлен утверждала, что Мария удивительно на меня похожа, а с возрастом обратится едва ли не в мою копию. Я же настаивал, что в дочери главенствует мать, и методично указывал Мадлен на собранные улики. Мягкий носик, округлый подбородок, и даже нижняя губа, которую девочка уже научилась забавно пучить, если решала сердиться. А вот лоб, я согласен, мой. И даже первая волна темных кудрей над ним, непроходимым частоколом, тоже от меня. И еще тихое, исподволь, упрямство. Мадлен сдавалась быстро, ее легко было напугать, но Мария обладала странной, недетской твердостью. Нежный персик с косточкой внутри. Получив от матери чувствительный шлепок, Мария не захлебывалась плачем, а кривила ротик и угрюмо сопела. Она отступала, пряталась, но через четверть часа повторяла демарш. Она не тратила силы на плач, она их копила где-то внутри. В маленьком существе происходила тайная деятельность. Она признавала наши правила и запреты, как исходящие от существ более могуществен-

ных, более сильных, но свое собственное могущество она пестовала глубоко внутри. Я замечаю, что и сейчас ее кулачки сжаты. Даже во сне. Бедная моя девочка, без любви и помощи ее душа очерствеет. Она научится лгать, чтобы выжить, научится быть жестокой и непримиримой, чтобы сохранить свою изначальную целостность. Ее сердце обратится в камень. Она подрастет, возненавидит и будет мстить. Сама память о нас, ее родителях, предавших ее, покинувших ее, станет ей ненавистна. Она будет мстить нам забвением. И бабушке будет мстить. Когда-нибудь та состарится, одряхлеет и окажется в ее власти. И миру, обделившему ее счастьем, она тоже отплатит. Она никого не простит.

Я не прикасаюсь к ней, но мысленно несу ее на руках, как нес ее тогда, дремлющую, в парке. И она дышит ровно, и лобик не морщит, и пальчики – как розовые лепестки. Видимо, я делаю какое-то неосознанное движение, подаюсь вперед, так как мадам Аджани глухо шипит у меня за спиной:

– Хватит. Насмотрелся. Пора и честь знать.

Я все же наклоняюсь и касаюсь волос девочки. Той рукой, на которой поперек ладони повязка. Будто это прикосновение сразу же исцелит рану. Волосы у нее чуть влажные. В комнате душно, и малышка вспотела.

– Ей жарко, – говорю я.

– Не твоя забота, – отвечает бабушка. – Ступай вниз.

Я повинуюсь. Иду и придерживаю руку ладонью вверх, будто там притаилось теплое, маленькое и живое. Я украд-

кой зачерпнул из сокровищницы горсть монет. Я не отступлю. Я не позволю им искалечить душу моей девочки. Это упорство у Марии от меня. Я буду защищать ее, буду биться за нее, пока жив.

С мадам Аджани мы расстаемся, не прощаясь. Она сразу захлопывает за мной дверь. Анастаси ждет в карете. Любен взбирается на козлы рядом с кучером. Уже совсем темно. Желтыми пятнами проступают редкие фонари. В окнах масляные светильники и свечи. Чадят, играют тенями. Улицы опустели. У лавки напротив ожидает своего владельца или владелицу портшез. На соседней улице бряцанье железа и конский топот. Анастаси торопит меня. Я забиваюсь в угол и отворачиваюсь. Лошади натягивают постромки. Карета сворачивает на Медвежью улицу и ускоряет ход. Анастаси долго молчит, смотрит в свое окно, но, проведив взглядом Бастилию, поворачивается ко мне:

– И чего ты добился? Сейчас ты еще бледнее, чем был утром. Лицо как у приговоренного к смерти. Раны разбередил. Зачем? Ты же знаешь, что она жива. Знаешь, что о ней заботятся. Так зачем тебе понадобилось смотреть на нее? Да еще в этом доме. Мало тебе страданий? Вот этого всего мало? – она тычет пальцем в мою перевязанную руку. – Так нет же, расковырял сердце ржавым гвоздем. Знаешь, на что это похоже? На повторные похороны. Мертвеца извлекли на свет, чтобы заново оплакать и похоронить. Ничего уже не изменишь, ничего не вернешь. Герцогиня не позволит тебя ви-

дется с дочерью, не позволит даже думать о ней. Пора тебе с этим смириться и дать сердцу покой. Позволь ему истечь кровью и успокоиться. Пусть рана обратится в рубец, тебе не будет так больно. Пусть даже сердце очерствеет. Чувства – это непозволительная роскошь. Любовь, нежность, привязанность – все это путы, которые только отягощают. Кандалы на наших руках. Они стирают плоть до кости и обращают нас в рабов. Это постромки и вожжи. А те, которых мы любим, – это заложники. Мы страдаем ради них, и они страдают по нашей вине. Наши чувства нас истощают, мы не выздоравливаем, а только бесконечно залечиваем раны. Мы вечно раненые и больные. Любовь – это отравленная стрела в бессмертной плоти.

Она замолкает, потом быстро пересаживается ко мне.

– Не цепляйся за эту девочку. Ты не сможешь быть с ней, не сможешь быть ей отцом. Только себя измучаешь. И ее. Сейчас она еще мала и быстро забудет свою утрату. А когда подрастет? Когда начнет узнавать тебя? Как ты объяснишь ей свои отлучки? Она будет ждать, будет надеяться, будет верить, а ты придешь к ней на полчаса и вновь исчезнешь. Сам будешь десятки раз умирать и ее сделаешь вечной плакальщицей. Будешь лгать, выдумывать, изворачиваться. А она будет спрашивать, почему нежно любимый папочка не заберет нежно любимую дочку из дома этой фурии. Что ты ей ответишь? Как солжешь? Что отправился на войну? Или в далекие страны на поиски счастья? А может быть, поведе-

ешь о знатной, богатой даме, которая держит тебя взаперти, как животное? А что будет чувствовать девочка, каждый раз расставаясь с тобой? Если не думаешь о себе, то подумай, по крайней мере, о ней. За что ей такая мука?

Я поворачиваюсь к Анастасии:

– Тогда что же мне делать?

– Не видеться с ней. Думай о ней сколько угодно, вспоминай, молись, но не встречайся. Твое сердце не выдержит, если ты будешь подвергать его таким пыткам. Ты погубишь себя. В этом земном аду побеждает лишь тот, чье сердце становится неуязвимым. Нами движет суровая необходимость, голод и боль. А чувства – это редкая и дорогостоящая привада.

– Для чего же тогда жить? – чуть слышно спрашиваю я. – Не любить, не верить, не страдать. Для чего?

Глава 8

Клотильда скучала. Она слушала трескотню пожаловавших к ней дам, этого сборища тамбуринов, бубнов и кастаньет, ущербных, завистливых, подвядших богинь, и думала, каким же средством воспользуется Геро, чтобы осуществить эту цель, эту изначальную первородную, неутолимую, как голод, потребность – чувствовать себя богом. Он рожден на земле, в той же юдоли слез, в жалкой неизбежной конечности всего сущего, и он должен этого желать. Но как? Если он отвергает привычные, заезженные легкие пути, то вынужден обрести другой. Какой? Да и есть ли он, этот путь? Она вспомнила его глаза, то печальные, то полные света, вспомнила, как он смотрел на свою беременную жену, как держал на руках ребенка, как следил за полетом птиц, как касался деревьев, будто приветствуя, как ласкал подбежавшую собаку, как улыбался нищему в трапезной, и странная пугающая мысль вдруг поразила ее. Мысль еретическая, разрушительная. Ему и не нужно искать особых путей или средств, чтобы прийти к желанной цели и соперничать с богом. Ему не нужно идти по пути разрушения и греха. Он уже достиг того, чего желал. Он – бог. А если не ходит по воде, то это не потому, что не умеет, а потому, что не пробовал.

В замке почти все окна освещены. У парадного входа три экипажа. Суета незнакомых лакеев, перебранка конюших. Ее высочество принимает гостей. Анастаси мрачно косится на гербы.

– Де Шеврез с принцессой Конти. И Бассомпьер с ними. Две главные заговорщицы и шлюхи французского двора. Лучше тебе их не видеть. Вернее, лучше им не видеть тебя. Слышал про мамашу Бурже, у которой самый дорогой бордель в Париже? Так вот эта старая шлюха – нежная роза по сравнению с этими двумя высокородными дамами. Эй! – кричит она, высунувшись из окна. – Поворачивай в парк!

Я возвращаюсь к себе по черной лестнице. Мария спала у меня на руках, когда я последний раз поднимался по ней. Сейчас я один, осталась лишь тяжесть утраты. Я вновь оставил ее, отдал в чужие руки. Любен суетится, стягивает с меня башмаки. Он делает это каждый день, и я почти смирился, хотя время от времени все же испытываю неловкость. У меня есть слуга! У меня, безродного... Это разновидность оплаты. Любен осведомляется, что мне подать на ужин. Но я не голоден. Анастаси права. Легче мне не стало. Скорее наоборот. Пустота в жилах. Будто я снова совершил кровопускание. Только на этот раз кровью замазан не коридор, а путь от ворот Сент-Антуан до Санлиса. И я изнутри подсу-

шен до шелеста. Вздохнув, прошу у Любена вина. Оно красное и послужит заменой крови. Но он требует, чтобы прежде я съел кусочек грудинки. Только тогда он позволит мне сделать глоток. Делать нечего, я соглашаюсь.

Приглушенные звуки скрипки. Вероятно, дамы пожаловали не просто с официальным визитом. У них было оговорено торжество. И слава Богу! Меня не позовут к ужину и до утра оставят в покое.

Когда я раздеваюсь, чтобы смыть перед сном дорожную пыль, Любен видит мои повязки и вновь укоризненно качает головой. Мне стыдно, и я готов уверить его, что подобное больше не повторится.

Уснуть мне трудно. Слишком много потрясений. Возвращение в отвергнувший меня город, комната Мадлен, спящая дочь и разговор с Анастаси – все это одновременно кипит и булькает в растревоженной памяти. Единой картины не складывается, бурное, терзающее нагромождение, где каждый из образов лезет вперед, чтобы первому завладеть моим вниманием. Но стоит победителю это сделать, как его тут же оттесняет другой осколок, отбрасывает гулким ударом в висок и сам заполняет пространство. Скрипучий голос мадам Аджани, заплаканные глаза Наннет, кособокая глиняная плошка, темный локон на подушке... Вихрь, маскарад. Я бы спрятал голову под одеяло, но это не поможет. Я очень устал, веки слипаются, но между бровей все еще вращается огненное колесо, от него во все стороны летят искры и тлеют, жгут.

В теле странная тревога, беспокойство. Я никак не могу согреться, хотя ночь теплая, да и Любен всегда бросает в камин охапку виноградных лоз. Они быстро прогорают, но тепло их скоротечной жизни сохраняется до утра. Это не тот холод, который изгоняется огнем. Это холод блуждающей в пустыне души. Она бесплотна, и простым огнем ее не согреть. Я стараюсь дышать ровнее, сплетаю мысли с помощью молитвы. «Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur nomen tuum...»²⁸ Будто сшиваю их в единое гладкое, без узелков, полотно. Они уже не пихаются локтями, а соблюдают очередность. Спокойное сонное личико Марии... Она сейчас спит. В той же комнате на тюфяке дремлет Наннет. Моя девочка не одна. Эта мысль окончательно меня умиротворяет. И я тоже засыпаю. Скрипок уже не слышно. Тишина.

Ее нарушает звук, взламывает, как тонкий ледок. Я просыпаюсь сразу и холодею. Я знаю этот звук. Это потайная дверь. Она спрятана в спальне за шпалерой. Тайный ход ведет из кабинета герцогини сюда, и она время от времени пользуется им. Не часто, ибо предпочитает, чтобы меня приводили к ней, как одалиску. Но случается и по-другому: ее высочество снисходит до визита. Как будто пытается застать меня врасплох. Является ранним утром или в полдень. Но звук я помню. Вот он, щелчок. Ни с чем не спутаешь. Визит укротителя к зверю.

Я лежу спиной к двери и лихорадочно соображаю, стоит

²⁸ Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое...

ли притворяться спящим дальше и поможет ли мне эта бессильная уловка. Нет, не поможет. Какое ей дело до моего сна, до моей усталости и до моих терзаний. Она пришла удовлетворить свою прихоть. Но все же я не шевелюсь. Приказаний не было. Пока я только слышу ее шаги. Шелест шелка. Она не подкрадывается. Ступает властно. И все же я замечаю неровность. Она оступилась или споткнулась. Мне полагается поспешить к ней на помощь или притворяться дальше? Трудно принять решение, если тебя лишают собственной воли. Господин все решает сам, а раб только исполняет приказ. Но как быть, если от раба требуется помощь? Но ей она не требуется. Она не валится без сил, не натывается на мебель и не ломает в темноте ног. Добирается благополучно. Шарит по подушке, затем по плечу и сразу стягивает с меня одеяло. Притворяться уже нет смысла. Я покорно ложусь на спину. Она торопливо находит в темноте мое лицо и гладит всей ладонью. Другой рукой, похоже, освобождается от одежды. У нее вновь возникает путаница и неловкость. Она даже теряет равновесие. Когда же она ложится рядом и губами утыкается мне в скулу, я понимаю причину ее неловкости. Она пьяна! Дышит вином и выдыхает его в мои легкие. Я едва сдерживаюсь, чтобы не отстраниться. Она прежде не позволяла себе такого! Герцогиня могла сделать пару глотков за ужином, но благоразумия не теряла, сохраняла высокомерное спокойствие. Ибо полагала сильное опьянение за дурную привычку грязного плебса. Существом высшим негоже упо-

добляться безродным свиньям. Но сегодня она внезапно им уподобилась. И сделала это очень правдоподобно. Барахтается, шарит по мне растопыренными пальцами и водит мокрым, горячим ртом. Хватает мои губы, будто куски долгожданной пищи. И еще шепчет в промежутках с винным хрипом: «Мой сладкий... Какой же ты сладкий...» Пожалуй, я бы предпочел, чтобы она оставалась прежней, деловитой и безразличной. Отдавала бы приказы. Не тратила бы время на излишнюю нежность, не кусала бы и не облизывала. Она знает последовательность: запустить механизм, воспользоваться и отбросить. Но в пьяном угаре она пытается меня ласкать. Вероятно, даже кажется себе умелой и страстной. А на деле причиняет мне боль. Ногти у нее длинные и острые. Задевает мою израненную руку, я вскрикиваю. Она замечает пробежавшую по мне судорогу, понимает вину и лепечет что-то о прощении.

– Ах, мой мальчик, тебе больно... Я сделала тебе больно. Прости меня, прости, мой сладкий...

Я сжимаю зубы от отвращения. Только бы не оттолкнуть ее, размякшую, потную, только бы стерпеть. Но страшно не это. Это все я стерплю. Страшно другое – моя каменная безучастность. Мое тело молчит. Ничего, кроме жгучего отвращения и мерцающей боли. Когда понимаю, то к отвращению добавляется еще и страх. Она пока не замечает, довольствуясь моим безропотным присутствием, будто за этим только и пришла – убедиться, что я есть, расточает свои ласки от

внезапно нахлынувшей щедрости, но скоро вспомнит. И что сделает? Ударит по лицу? Пнет коленом в пах? У меня мурашки по коже, я судорожно сглатываю. Я колода, мертвец... Она мне не простит. Что же делать? Моя чувственность в мертвенном оцепенении, ушла вместе с кровью. Я отчаянно роюсь в памяти. Мою чувственность – спящего зверя – надо разбудить, посулить ему лакомство. Он не привередлив и готов проглотить все, что дарует сытость. Только бы найти пищу... У меня так мало воспоминаний... Мои мальчишеские сны тревожила оброненная подвязка и гладкая щиколотка дочери бакалейщика, пышнотелой веснушчатой девицы. Я украдкой засматривался на нее. Затем голые плечи уличной танцовщицы. Нет, мне скорее было ее жаль. Кожа у нее посинела от холода. Была еще хозяйка трактира «Грех школяра». Она ходила от деревянной стойки к столу, где шумели студенты, подхватив сразу четыре винные кружки. Я сидел с краю, и она задела меня бедром. Задела намеренно. По пути оглянулась. Арно хлопнул меня по плечу и подмигнул. Мое лицо тут же вспыхнуло от стыда. Моя молодость искала выход, желания бродили, как молодое вино в крови. Но я помнил слова отца Мартина. Он не пугал меня геенной огненной, он говорил о любви. О любви божественной, той, что осветляет плоть. О любви, что дарует неслыханное блаженство, если соединяет в себе жар плоти и пламя души. Истинная радость в единении, в слиянии тела и духа. В этом горниле плавится грех, и плоть обретает новое, божественное си-

ание. Однако, если пренебречь жаждой души, ограничиться ипостасью тела, блаженство окажется убогим, жалким, как будто слепым. Я не хотел растратить себя на такое блаженство и потому ждал свою возлюбленную. Мадлен – моя первая женщина, моя невеста, жена...

Нет, только не она! Я не стану думать о ней. Это святотатство, грех. Ее беспорочное, нежное тело... Я не посмею коснуться его даже мысленно. Но я помню другое тело, смуглое, вертящее. И воспоминания эти свежи, еще не подернулись дымкой. Там стыд, удивление и сладость. Анастаси... Горячая, нежная, бесцеремонная и такая чуткая. Как дразняще скользили ее пальцы, и соски, такие жесткие, упирались мне в ладонь... Я сразу чувствую тепло, оно идет по ногам, поднимается выше. Я начинаю вспоминать с самого начала, иду по ощущениям, как по знакам. Кровь разгоняется. Уже совсем тепло. Я пытаюсь наложить один образ на другой. Воображаю в этой дебелий, скользкой фигуре свою тайную сообщницу. Герцогиня тем временем тоже пытается воззвать к моей чувственности. Я угадываю ее руку, но своей настойчивостью она мне скорее мешает. Чтобы ее отвлечь, я кладу руку ей на бедро, слегка поглаживаю и сжимаю. Она тут же прижимается ко мне теснее. Я обхватываю ее стан, чтобы приподнять и дотянуться до ее груди. Мне все же удалось заглянуть в декольте той молодой, румяной трактирщицы. Она прижималась ко мне не только бедром, но и своим полузашнурованным, ярко красным корсажем, отчего у меня тем-

нело в глазах. Я воображаю, как утыкаюсь в этот корсаж лицом и переносицей упираюсь в самую ложбинку. И я делаю это, как когда-то мечтал. Я даже целую эту навалившуюся на меня грудь. Герцогиня благодарно стонет, не подозревая, что целую я вовсе не ее, а ту веселую легкомысленную бретонку. Обнимаю я тоже не ее, а первую статс-даму Анастаси де Санталь. Герцогиня отвлекает меня своим тяжелым дыханием и удушливым поцелуем, но я крепко держу воображаемую Анастаси за узкие, вертлявые бедра. Надолго меня не хватит. Еще, еще немного! Снова вспоминаю трактирщицу, затем Анастаси, наделяю это нелюбимое, тяжелое тело всеми когда-либо виденными мною прелестями, избавив от переселения только Мадлен, ибо мысль о ней произвела бы совершенно противоположное действие, и слышу наконец ее долгожданный, протяжный всхлип. Она выгибает спину, закидывает голову, затем тихо сползает на бок.

Засыпает она быстро. Правда, успеваешь снова погладить меня по щеке, отчего меня передергивает, и шепчет свое неизменное: «Мой сладкий...» Я вовсе без сил. Тепла уже нет. Герцогиня так и лежит на боку, придавив мне левую перевязанную руку. Мне уже не уснуть. А вытащить руку не решаюсь. Как-нибудь дождусь утра. Бог даст, она проснется и вспомнит, что нарушила все установленные ею законы.

И все же странно, что она пожаловала ко мне среди ночи. Как будто что-то искала... Не только утешения плоти, а нечто большее. Непривычна была в своих ласках. Только по-

тому, что пьяна? Вино породило множество искажений или, наоборот, избавило от них? «От тебя исходит тепло, – сказала Анастаси, – и все это чувствуют, даже герцогиня». За этим и пришла? За тем самым пресловутым теплом? Поэтому так ласкалась, а сейчас так безмятежно спит и дышит мне в щеку?

Анастаси не так уж и не права. Я мог бы поработить ее, мог бы сыграть роль врачевателя и даже пожалеть. Она несчастна. Играет во всемогущество, а на деле одержима пустотой, которая обитает в ней, как болезнь. Властью эту пустоту не заполнишь. Ей нужен тот, кто избавит ее от этой пустоты, кто наполнит ее существование смыслом, и в благодарность она станет его рабой.

Под утро мне удастся высвободить руку и уснуть. Рассвет уже на пороге. За окном первые птичьи трели. Она так и не проснулась и не ушла. Все так же лежит, привалившись к моему плечу. Я не смею пошевелиться. Spина затекла. К счастью, раненая рука свободна. К ней приливает кровь, в пальцах ледяные иголки. От бессонницы я в полубреду. Сны уже не стыдятся разума, проскальзывают сложившимся, цельным сюжетом. Как же хочется спать... Я чуть отодвигаюсь. Теперь можно согнуть колено и попытаться лечь на бок. Спать...

Мгновения в сладостном небытие. И грохот. Оглушительный. Апокалипсическое знамение. Я вскидываюсь. Лоб уже в холодном поту. Любен! Он стоит с позеленевшим лицом,

а на полу серебряный поднос и опрокинутая чашка. Он принес мне бульон. О, несчастный! Это предписание Оливье. Он распорядился каждый день с утра поить меня куриным бульоном. И Любен свято тому следует. Он же ничего не знает, бедняга. Не слышал, как пришла герцогиня. Не знал, что она здесь. Его комната далеко, по ту сторону моего кабинета, я могу позвать его, только потянув за шнурок. Как ему было догадаться? Он входит и видит в моей постели голую женскую спину. По светлым волосам угадывает владелицу и роняет поднос. Ничего удивительного. Кто бы на его месте сохранил самообладание, узрев прелести принцессы крови?

Ее высочество, как это неудивительно, спокойно приподнимается на локте и оглядывает гостя. Любена качает от ужаса – он видит ее грудь! И она не спешит укрыться. Взгляд лакея ее не тревожит. Всего лишь лакей, не мужчина. Лениво указывает ему на дверь. Любен пытается подобрать поднос, роняет, наклоняется за ним снова, спотыкается, цепляется одной ногой за другую, валится и к двери бежит на четвереньках. Герцогиня, закидывая голову, хохочет. Она почти захлебывается от смеха.

– Прикажу вздернуть мерзавца!

У меня сердце падает.

– За что же? Он ничего не сделал!

Смех обрывается. Она оборачивается ко мне.

– Тебе его жаль?

Взгляд ее снова ясен. Серо-стальная радужка с точкой

зрачка посередине. У меня в подреберье холод. Тихо повторяю:

– Он не виноват. Оливье распорядился каждое утро приносить мне бульон, а Любен исполняет предписание.

Она все еще смотрит на меня, кружит, будто ястреб над кроликом. И вдруг тихо произносит:

– Да, она права...

Я не понимаю и не смею спросить.

– Анастаси права, – продолжает герцогиня. – Ты блаженный. Так выгораживать своего тюремщика. А ты знаешь, что он доносит о каждом твоём шаге? Знаешь, что он не только лакей, но и соглядатай? И получает за свое иудино ремесло двойное жалованье.

Ее взгляд – это гвозди в мои жилы и связки. Но я все же отвечаю:

– Я знаю. У него семья в Руане, мать и две младшие сестры. Отец давно умер, мать больна, а сестрам необходимо приданое. Кроме него, о них некому позаботиться. Это его долг.

В глазах герцогини мелькает странное выражение, не то недоверие, не то насмешка.

– Поразительно, – говорит она. – И поразительно то, что ты сам во все это веришь.

Откидывает одеяло и бодро спрыгивает с кровати. На ковре, у самого изголовья, ее ночное платье. Не спеша, как будто и не нагая вовсе, она разглаживает кружевную хламиду,

отыскивая рукава.

– Ты не перестаешь меня удивлять, Геро. Полагала все это за игру, а теперь не знаю, что и думать. Никто не в силах притворяться так долго. Да и зачем? Ради чего? Ты же ничего не получаешь за свое притворство, не имеешь никакой выгоды, напротив, терпишь убытки. Каков же вывод? Ты либо святой, либо... дурак.

– Дурак, – быстро подсказываю я.

Она снова смеется.

– Красивый дурак. И нежный. Жаль тебя покидать. Ты такой... бледный. И такой... беспомощный.

Я перестаю дышать.

– Но надо идти. Гости, черт бы их побрал! Она идет к потайному ходу, но возвращается.

– Я вот что подумала. Если тебе так уж нужна эта девчонка, пусть Анастаси привозит ее. Скажем, раз в месяц. И за шпиона своего не бойся. Я прикажу его высечь, но... несильно. Любен под вечер является прихрамывающий и несчастный. Падает на колени и пытается целовать мне руку. Я отшатываюсь.

– Что это? Что ты делаешь?

– Благослови вас Бог, сударь! Вздернуть хотели, уже петлю приготовили, привязали к стропилам, да помиловали. Жилье сказал, чтоб вас благодарил. Вы заступились, слово перед ее высочеством замолвили. Если бы не вы, болтаться бы мне в петле. Выпороли только, но это так... милость Господня. У

меня шкура толстая, заживет. Не в первый раз...

Я отступаю, а он ползет за мной на коленях, хватается за руки, за одежду.

– Простите меня, сударь. Я вам верой и правдой служить буду.

– Довольно! – кричу я в отчаянии. И он сразу умолкает. – И не стой передо мной на коленях. Я такой же подневольный, как и ты. Ничуть не лучше. Хватит!

– Но что мне сделать для вас?

– Ничего, Любен! Ничего.

Глава 9

Она внезапно открыла еще одну истину. Еще один закон, прежде от нее скрытый. Есть некий срединный путь, едва заметная тропа, которой следует придерживаться даже олимпийскому богу. Если лишитъ смертных всякой надежды, увести за горизонт череду неудач, загасить все светильники, то души этих смертных истлеют, обратятся во прах раньше их дряхлеющих тел, и сам этот бог останется без привычного лакомства – молитв и курений. Смертные забудут такого бога. Тот же распад души произойдет и в прямо противоположном случае. Если наивное божество, или покладистый правитель, возьмется исполнять все прихоти и желанья, избавив свое племя от тревог и страданий. Тогда души, как и неподвижные пресыщенные тела, разбухнут и разжиреют. Сверкающие стрекозиные крылья этих души обратятся в оплывшие отростки, в эфирные окорока с прослойками лени и чревоугодия. Такие подданные так же бесполезны для бога и правителя и сгодятся разве что мяснику. Нет, оба пути ошибочны и ведут в никуда. Нужен срединный путь, тот единственно верный, когда день сменяется ночью, а вслед за тьмой приходит рассвет. Тогда надежда не дает душе рассыпаться в прах, иссохнуть в ожидании рассвета, а подступивший голод не позволяет сытости обратиться в икоту пресыщения.



Моя жизнь – лабиринт. Я блуждаю впотьмах, передвигаюсь, путаюсь, петляю, лишь изредка выхожу на свет. Вдоль стен лабиринта – факелы. Это мои встречи с дочерью. Цепочка огней проходит сквозь непроглядную ночь и уходит в размытую даль. Я перебегаю от одного к другому. То, что происходит в промежутках, я вижу издалека, окружая себя тьмой, как спасительным плащом. Первые две недели я живу воспоминаниями, а последующие две, когда свет последнего факела уже растаял, живу надеждой.

В первый месяц после той ночи и внезапной милости я долго пребывал в страхе, что обещание герцогини так и останется брошенным всуе словом. Прислушивался, как звучит ее голос, ловил ее взгляд. За ужином, если она удостаивала меня разговором, я слушал, пытаюсь запомнить имена и даже вникнуть в то, что она говорила. Я мало что понимаю в политике, в том, что происходит в луврских кабинетах и на полях сражений, но постепенно начинаю улавливать последовательность событий. Начинаю слышать шорох, что порождает такое громогласное эхо на границах и у крепостных стен. Война за Мантуанское наследство, заговор Шале, женитьба герцога Орлеанского обратились для меня в тему для разговоров. Я принимал участие и даже научился бросать ответные реплики. Будто выполнил наконец задание драма-

турга и выучил текст. Герцогиня, со своей стороны, так же наблюдала за мной. Снисходительно, все понимающе улыбалась. Она достаточно умна, чтобы извлечь из-под моих стараний истинную причину. Я выслуживаюсь, как внезапно обласканный лакей, которому посулили двойное жалование. Из всех сил тянусь вверх, чтобы удержать равновесие, не разрушить тонкий лед, по которому ступаю на цыпочках. А герцогиня пробует этот лед на прочность с другой стороны. Играет с исходного пункта. Я был безразличен к ее дарам, оценю ли теперь ее щедрость? Еще один перстень, еще один бриллиант. Я опускаюсь на колени и целую одарившую меня руку. Я признателен и восхищен.

С той ночи она больше не отсылает меня прочь, позволяет остаться до утра. И новая милость сразу возносит меня на целый пролет по невидимой лестнице. Я становлюсь равным тем, кто ее окружает. Обретаю плоть в глазах ее приближенных. Ее секретарь, дю Тийе, кланяется мне при встрече, ее мажордом, месье Ле Пине, уточняет со мной список блюд к предстоящему обеду, ее фрейлины, ее пажи, восторженно улыбаясь, наперебой пытаются мне угодить. Мое расположение становится ценным товаром. Я могу замолвить словечко, могу изменить судьбу. Могу спасти жизнь, как это произошло с Любенком. Могу и низвергнуть. Я стал видимым, значимым, заметным, как становится заметным острый камень на размытой дороге. Прежде прятался, а тут вылез посреди колеи. Приходится объезжать, иначе погнетса обод или трес-

нет ось. Природа камня не изменилась, он все тот же гладкий серый валун, но он стал видим. Как стал видим я. Моя природа так же не изменилась, я все тот же школяр из Латинского квартала, но я не существовал для них раньше, потому что носил другое имя. У меня те же глаза, те же волосы, тот же рост, то же отчаяние в сердце и та же боль. Не было только ярлыка. Как несведущему отличить алмаз от стекляшки? С ведома ювелира. Ее высочество закрепила за мной звание с подписью и печатью. И за это звание они готовы простить мне мое сиротство. Готовы великодушно вознаградить меня родословной. Готовы даже признать цвет моей крови за подобный их цвету.

Анастаси поведала, какие обо мне ходят слухи. Доброжелатели сочинили целую драму о бедных влюбленных, чьи семьи были против их брака. Но влюбленные все же нашли средство получить благословение церкви и тайно соединиться, а я – это плод их кратковременного союза. Родители вскоре разлучили влюбленных, и несчастные погибли в разлуке. А я был оставлен у кормилицы, которой пришлось бежать от гнева преследователей. Ходила и другая версия. О высокопоставленном отце и хундорной матери. Отец был вынужден покинуть мою мать во имя интересов семьи и государства.

– Почему именно высокородный отец, а не мать? – спросил я, когда Анастаси завершила душераздирающую повесть. – Логичней было бы предположить, что от меня, как

от незаконнорожденного, отказалась мать, женщина благородного происхождения.

– Правильно, мать, некая Джулия Фарнезе²⁹, или... кто там при священном престоле состоит у нее в преемницах? – согласилась Анастази. – Пойду, предложу им новую версию.

Всеобщее внимание так же тягостно, как и всеобщее пренебрежение. Я почти не покидаю своей комнаты, стараясь занять себя чтением. В последнее время это стало получаться. Прежде, в самом начале моего заключения, мой разум оказался замкнут, будто запаян изнутри, и я разучился читать. Каждая буква сама по себе казалась знакомой, но смысл, который эти буквы несли сообща, от меня ускользал. Да и какая связь могла быть между постигшим меня несчастьем и знаками на желтой бумаге? Я брал с полки драгоценный фолиант, листал и равнодушно ставил обратно. Пусто. Я ничего не чувствую, и ничего не слышу. Они больше не говорят со мной. Когда-то я слышал их голоса. Достаточно было пробежать глазами первую строчку, и слова уже звучали. Автор спорил или соглашался. Давно умершие авторы, философы и поэты, воскресали и долго беседовали со мной. Делились своей мудростью, услаждали знанием мой жаждущий ум. Я задавал вопросы, а они отвечали. Почему люди так несчастны? Почему, созданные по образу и подобию Божьему, они пребывают в таком невежестве? Почему, прославляя добро, творят столько зла? Почему умирают дети? Почему страдают

²⁹ Любовница папы римского Александра VI (Родриго Борджиа).

невинные? Кто во всем этом виноват? Дьявол? Но если виноват дьявол и люди знают об этом, почему они не пытаются противостоять ему? Почему так легко поддаются соблазнам? Философы отвечали, кто как мог, писали о природе зла в человеке, о темной стороне души. Богословы все списывали на первородный грех, на изначальную, человеческую греховность. Плоть грешна и немощна, говорили они. Оттого и страшны деяния раба Божия. Ответ я нашел у святого Франциска. Любовь. Человеку нужна Любовь. Ответ, известный всем, ответ, что звучит с каждого амвона, ответ, признанный на словах, но отрицаемый на деле. Ребенку нужна любовь. Женщине, мужчине, нищему, королю. Всем нужна любовь! И больше ничего. Без любви человек обращается в животное, он дичает. А с любовью он возносится к небесам. Обделенный, он живет ненавистью и мстит. Пролитая кровь, глушит собственную боль. Его лишили любви, оставили голодным, осиротевшим младенцем, и он пытается утолить свой голод. Хватает, глотает куски. Но утолять этот голод ненавистью – это все равно что набивать желудок камнями. Сытости не наступает, только тяжесть и боль. А голод гонит дальше... Снова кровь, снова отчаяние. От насилия и горя рождаются дети, рождаются в ненависти, уже отравленные ею, вырастают и несут эту ненависть дальше, и так же в этой крови и ненависти зачинают своих детей. И так бесконечно, год за годом, век за веком. Круг замыкается, змея кусает свой хвост. Бог источает Свое милосердие, взывая к нам, греш-

ным, но Его никто не слышит. Любовь? Смешно. Бредни мещинстрелей и нищих монахов. Глупая никчемная затея. Есть война, политика, налоги, государство. А любовь – это забава, которой предаются легкомысленные поэты. Пастушья пляска в рощах Аркадии. Выдумка, вздор. Как сказала Анастаси? Прежде всего сытый желудок и крыша над головой.

Я не смел рассказать о своих догадках никому, кроме отца Мартина. Он слушал меня, грустно улыбаясь, но не возражал, не спорил, и по его молчанию я понимал, что он прошел тот же путь. Он задавал те же вопросы и нашел те же ответы. Оказался в том же тупике недоумения. Все знают ответ, все твердят одни и те же заповеди, цитируют наизусть Евангелия, молятся, возжигают свечи и ничего не слышат. Знание остается на поверхности ума, как масляное пятно на поверхности озера, не касаясь души, не пробуждая дух, и очень часто оказывает прямо противоположное действие: вместо целительной радости – злобное, животное раздражение. Поэтому знающие истину либо молчат, либо прячут ее за тысячью иносказаний, разделяя солнечный шар на тысячи свечей. Они вынуждены нести эту истину крадучись. Ибо не каждому даны силы взойти на крест во имя любви. Не каждый найдет в себе силы противостоять вражде. Все мы слабы.

Вероятно, по этой причине я решил изучать медицину. Не мог указать путь к счастью, но учился изгонять боль. Избавить от толики страданий – та же крупица истины, та же тень божественной благодати. Я учился изгонять лихорад-

ку и врачевать раны, облегчать муки роженицы и сращивать переломы. Я мечтал о том времени, когда мое прикосновение будет дарить надежду. В этом море страданий, что представляет собой мир смертных, я желал себе участи суденышка, что вынесет потерпевших крушение к далекому берегу. Жажда знаний будила меня среди ночи и гнала вперед. Я не знал, не чувствовал усталости, обходился без сна, только ноги внезапно становились ватными, а перо падало из рук, если на четвертые сутки я пытался пренебречь собственной природой. Мне казалось, что так будет всегда, что пресыщение знанием никогда не наступит.

И вдруг это случилось. Я больше не желал ничего знать. Более того, я испытывал отвращение к книгам. Они меня предали. Ибо все, что в них написано, – ложь. Они учили мудрости и долготерпению, а на деле все их уроки оказались обманом: и найденный мною ответ, и путь, избранный как единственно возможный. Все оказалось пустым.

Однако герцогиня упорно продолжала дарить мне книги. Количество их все увеличивалось, матово светились тисненые переплеты. Последним было прижизненное издание Монтеня 1580 года. Я вспомнил, как после рождения Марии читал «О воспитании детей». Позволь ребенку развивать свои склонности, предлагая самому изведать вкус разных вещей. Я тогда твердо решил следовать его советам и даже попытался объяснить это Мадлен. Ничего не понимая, она только жалобно улыбалась. Рассуждения философа из Бор-

до были ей так же чужды, как расчеты по баллистике Никколо Тартальи³⁰. В ее глазах главная добродетель ребенка – послушание, а долг родителей – строгость. Родитель – это суровый пастырь, призванный усмирить и наставить на путь истины непокорное чадо. А позволить отпрыску проявлять склонности, уклоняясь от обязанностей, есть нарушение заповедей. Я оставил попытки объяснить ей что-либо сразу, решил – Мария будет подрастать, мне для начала предстоит наблюдать, а затем предлагать ей различные игрушки, которые станут указующими знаками. Возможно, ей понравится счет, или она обнаружит склонность к наукам естественным, будет рифмовать слова или выводить точные линии. Мария, конечно, девочка, вряд ли ее будущее предполагает ученую степень, но кто сказал, что разум женщины должен оставаться во мраке? Она вправе воспользоваться его дарами и употреблять их себе на пользу.

Этот внезапно объявившийся на полке Монтень потревожил меня. Я содрогнулся от боли, как если бы задел незажившую рану, и помимо своей воли вернулся в прошлое. Моя дочь жива, я по-прежнему ее отец, и мой долг заботиться о ней. Я увижу ее. Пусть у нас будет немного времени, пусть свидания будут редкими, я смогу употребить их с пользой. Кто еще позаботится о моей девочке? Кто разбудит ее разум? Вот он, мой первый ослепительный факел. Я уже вижу красноватый полукруг за поворотом. Я так долго шел в темноте,

³⁰ Итальянский математик (1499–1557).

обдирая руку о шершавые стены, что на них ни клочка кожи не осталось. Теперь я пойду свободно. И раны больше саднить не будут.

На глазах у изумленного Любена, который уже привык лицезреть меня где-нибудь в углу, пребывающим в праздности, я срываюсь с места и бегу в кабинет, к книжным полкам. Для начала я перечитаю Монтеня.

Глава 10

– Что за книга? – поинтересовалась герцогиня, уловив благоприятное действие перемен.

Лакей почесал в затылке огромной ручищей.

– Ты что же, болван, не посмотрел?

– Посмотрел, – угрюмо протянул тот. – Мон... Ман... Манмень...

– Монтедь, глупец, – презрительно поправила герцогиня.

Соглядатай едва умел читать. Это занятие для людей с такими руками и обрубками вместо пальцев представляется бесполезным и бессмысленным.

– Что еще он делал? – с трудом скрывая неудовольствие, осведомилась Клотильда.

Ей не нравилось то, чем она сейчас занималась, не нравилось с самого начала. Было в этих расспросах что-то нечистое, нечистоплотное и даже унижительное, сходное с подглядыванием в замочную скважину. Какая, собственно, разница, какую книгу он читал? Первоначально в обязанности этого тюремщика входило доносить ей о попытках побега или самоубежья. Все прочие занятия красивого узника не имели значения. Она так думала, но с течением времени стала задавать стражу все больше вопросов. Она объясняла это предосторожностью, ибо лакей был слишком глуп, чтобы вовремя распознать задуманный акт. А Геро слыш-

ком умен, чтобы действовать грубо и прямолинейно. Он будет готовиться скрытно и сплетет себе петлю из таких нитей и волокон, о которых этот тупица даже не догадается. Подготовку побега, если Геро его все-таки задумает, а он рано или поздно задумает, он начнет с таких далеких подступов, так аккуратно будет подбираться к цели, что предотвратить этот побег без ущерба будет непросто. Или с таким же искусством и выдержкой он подготовит собственное самоубийство. Что тоже в своем роде побег.

Так объясняла своей излишний интерес герцогиня, чтобы успокоить не то самолюбие, не то неизжитую деликатность, но в действительности, когда она набиралась мужества сама себе в том признаться, это была жажда соучастия. Она хотела присутствовать как равная в его жизни, стать ее частью, пусть даже в таком неприглядном виде. Если он не пускал ее в свою жизнь добровольно, если не открывал своих тайн, то она проникнет туда по собственному почину, как взломщик, подобрал отмычки.

– Так что он делал потом? Или он все это время читал? Соглядатай, герцогиня всегда забывала, как его зовут, порылся в карманах и вытащил измятый, сложенный вчетверо листок.

– Вот, он потом написал.

Весь следующий день я провожу за составлением плана. Известно, что каждое, даже малозначительное дело, следует начинать с рекогносцировки. Не имея представления, с чего начать, я рисую портрет моей девочки. Большим художественным талантом я не обладаю, но определенная склонность есть. Отец Мартин не раз выговаривал мне за разрисованные поля книг и латинских прописей. Изнывая от скуки над спряжением латинских глаголов, я развлекал себя тем, что рисовал шаржи на своего учителя и на товарищey по несчастью, сопящих и корпящих над учебниками. Сходство было несомненным. Узнавшие себя грозились меня самого превратить в шарж, однако с удовольствием смеялись над шаржами других.

Портрет Марии мне удастся быстро. Я рисую пером, ибо не позаботился ни о каких других художественных принадлежностях. И вот на листе, под герцогским гербом, – ее круглое чуть удивленное личико. Я долго смотрю на нее, потом бросаю лист на стол и ухожу к окну. Нет, это слишком больно, я не смогу. Все равно что тайком пробраться на кладбище и вскрыть свежую могилу. Моя девочка жива, слава Создателю, но все нити, все пути ведут меня в прошлое. Я начинаю вспоминать. А за воспоминаниями вновь подкатывает тоска, отчаяние, глухая неизлечимая ненависть. Вина, бес-

силлие... Я стискиваю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Сейчас самое время попросить у Любена вина. И пить из горлышка до дна. А потом уснуть.

Нет, черт возьми! Пьяный отец – отвратительное зрелище. Пусть даже сердце разорвется. Я справлюсь. Закрыв глаза, читаю молитву. Отец Мартин говорил, что если научиться правильно молиться, заполняя молитвой разум, изгоняя мысли, то такой молитвой можно излечивать любые раны. Но я этому так и не научился. Был слишком порывист и непоседлив. Хотя временами, сосредоточившись и погрузившись в молитву, испытывал нечто божественно-необъяснимое, будто обращался в молитву сам. Но случалось это крайне редко. А сейчас мне это вовсе недоступно. Довольствуюсь троекратной молитвой святого Франциска. «Господи, сделай меня орудием твоего мира. Там, где ненависть, дай мне силу сеять любовь». Мне становится легче, и я могу вернуться к столу. Монтеня я перечел два раза. Все правильно. Позволь ребенку развить его собственный разум, а не принуждай его поглощать готовые максимы. Его знания должны проистекать из собственных проб и ошибок. А наставник лишь предлагает, но не навязывает пути. Но моя дочь еще слишком мала, чтобы постичь азы философии. Ей бы научиться твердо стоять на ногах. Я вновь беру лист с ее портретом и делю его на две половины. На одной стороне пишу «Тело», на другой «Дух». Под заголовком «Тело» я пишу названия детских игр, которые помогут моей девочке стать ловкой и сильной.

Ей надо научиться быстро бегать, перепрыгивать через ступени и держать равновесие. Одной этой узкой лестницы в том темном доме достаточно, чтобы ее покалечить. Крутые занозистые ступени. Ее пугает темнота. Ну что ж, тогда мы поиграем с ней в прятки. Темнота станет ее сообщником, ее помощником в играх и перестанет пугать. Ей страшно заблудиться, и мы построим с ней лабиринт, по которому она доберется до сокровища. А из стола и табурета возведем башню, чтобы она не боялась высоты. А для маленьких пальчиков я соберу несколько круглых предметов. Мы устроим с ней тайник. Это и будет сокровище, до которого ей придется добраться. Попрошу повара, чтобы он приготовил драже разной величины и формы. Новый приступ тоски вынуждает меня бросить перо. Да что же я делаю, в самом деле? Воображаю себя настоящим отцом. Я заключенный, которому позволят двухчасовое свидание. Да и позволят ли? Я помню ее своим участием, своей игрой, а что потом? Я исчезну. И вновь появлюсь через несколько недель, когда она уже все забудет. Снова нанесу рану и вновь исчезну. И так до бесконечности. А она будет ждать этих коротких свиданий, будет верить. Будет просить меня остаться, будет умолять не покидать. А я буду отводить глаза и спасаться бегством. Ее отец, сильный и добрый, почти Господь Бог, окажется бессильным трусом. Анастаси права. Для чего я прошу этих свиданий? Кому от этого лучше? Я разобью ей сердце. Девочке лучше забыть меня, а мне – смириться со своей участью.

Но через час дурные мысли проходят. Небо, с утра опухшее, набрякшее, будто веки старого пропойцы, внезапно светлеет, и я вижу, как в узкие облачные прорехи проливается солнце. Эти светлые столбы мягко скользят по верхушкам деревьев, и один из них проходит по моему окну. Комната освещается, и я стряхиваю дремоту. Почему я так быстро сдаюсь? Я еще жив, я в милости, Господь благоволит ко мне. Герцогиня – женщина и не лишена милосердия. Если я буду послушен, то она, возможно, проявит великодушие. «Дай мне силы, Господи, понимать, а не быть понятым». Будь я один, раздумывать бы не пришлось. Совершил бы еще одну попытку убийства, и все было бы кончено. Избавил бы себя от постыдного существования. Но на свете есть моя девочка, и помышлять о смерти – недопустимая роскошь. Нужно жить и принимать условия сделки.

В этих метаниях проходит день, второй, третий. Меня бросает из холода в жар. Не так просто сохранять спокойствие в присутствии герцогини. Она не настолько слепа, чтобы не видеть того, что со мной происходит. Но ее это не беспокоит, напротив, ей это нравится. Мои терзания вызывают у нее интерес.

– Как трепещет твоя душа, – время от времени говорит она, заглядывая мне в лицо. – Искра божественного пламени. Живой среди толпы мертвецов. И ты еще спрашиваешь, почему я выбрала тебя. – Она делает жест в сторону окна, ссылаясь на тот наш давний разговор, когда я наблюдал за

красивым гарцующим всадником. – Теперь-то ты должен понимать. Тот блестящий молодец в перьях, с гирляндой титулов – всего лишь разряженная кукла. Скорлупка. Хорошо выделанная кожа на костном каркасе, сверху позолота, несколько блестящих пуговиц, приложенные конечности – и более ничего. Внутри пусто. И у тех, кто с ним рядом, тоже пусто. Они мертвецы. Некоторые были живы, когда были детьми, но вскоре умерли. А есть такие, кто и родился мертвым. Ибо породили их мертвые родители. Выглядят они как живые. Двигаются, говорят, смеются, потеют, совокупляются, но при этом остаются мертвецами. *Tua quia nomen habes quod vivas et mortuus es*³¹. Это неодушевленная плоть, как у животных. Но у животных никогда не было души, а эти избавились от нее сами. Вырезали как нарыв. Оставили пустоту, заполнив ее шумом и суетой. Потому и держатся всегда вместе. Как чайки или вороны. В стае крик громче, и есть с кем подраться. А ты принадлежишь к числу тех, кто хранит свою душу в неприкосновенности, тех, кто по-настоящему жив. С тобой рядом слышен глас Бога.

Я слушаю ее рассуждения до конца, так и не задав последнего вопроса. К какой категории она причисляет саму себя? К мертвым или живым? Герцогиня отвечает сама:

– Ты, вероятно, спрашиваешь себя, кто я. Не отпирайся. Ты думаешь об этом, но не решаешься спросить, потому что

³¹ ...ты носишь имя, будто жив, но ты мертв (Откровение Иоанна Богослова 3:1).

боишься вызвать неудовольствие. Напрасно. Я давно уже ответила на этот вопрос и смирилась с тем, какой вынуждена дать ответ. Я тоже мертвец. Родилась живой, но умерла еще в детстве. Как и все королевские дети. Во дворцах живой душе нет места. Хлопот много. Во дворце предпочтительней обитать после смерти. Спокойней. И самим проще. С живой душой не сохранить рассудка, не вынести насилия и страданий, не выжить в отравленном, зловонном воздухе королевских покоев. Вот я и умерла. Но все же я от них отличаюсь. Я другая. Знаешь, почему? – герцогиня понижает голос до шепота. – Потому что я знаю, что я мертвец. А они – нет. Они не знают! А я знаю. И в этом состоит мое преимущество. Они верят в то, что живы, ведут себя как живые, говорят как живые, действуют как живые, но не живут. Правда скрыта от них. Они видят только тени предметов, а не сами предметы. Ибо они сами – тени. Чтобы осязать предмет, следует признать собственную пустоту. Обратить в нее взор и не испугаться. Мне это удалось. Ноша нелегка, но дает право на истину. Я знаю о них все, а они – ничего. Ни обо мне, ни о себе. Я будто лазутчик во вражеском лагере, зрячий среди слепых, все знаю наперед. Я так же пуста внутри, но я уже не боюсь. Им сразу становится страшно, когда они случайно в себя заглядывают. Тогда они начинают громко кричать. Другого средства они не знают. А я знаю. Это средство – ты. Ты заполняешь то пространство, в котором когда-то обитала моя душа. Ты делаешь меня живой. Потому что ты

не просто красивый мальчик с длинными ресницами и бархатистой кожей, ты – сама жизнь. Рядом с тобой я могу чувствовать. Могу радоваться, удивляться, могу даже любить. Ты воскресил меня. Так неужели я променяю выпавший мне божественный дар на пустую, ничемную безделушку? Ты – сокровище. Но беда в том, что ты отдаешь мне свою силу только через страдание. Я вынуждена причинять тебе боль, иначе твоя душа останется безмолвной. Добровольно ты ничего мне не отдашь, даже если будешь очень стараться. Но страдая, ты отдаешь мне свой свет, допускаешь в свою душу, и тогда я пью ее как нектар. Было бы достойней приручить тебя и добиться твоей любви или, по крайней мере, дружбы, но, увы, мне этого не дано. У королевских детей не может быть друзей или возлюбленных, у королевских детей могут быть только слуги.

После этих страшных откровений я подавлен и опустошен. Она даже не пытается приукрасить мою участь ложью. Я – пища, которой утоляют голод. Тот самый, нежелудочный, о муках которого я догадывался, когда пытался объяснить мотивы человеческих поступков. Герцогиней движет тот же голод, что и другими, но она утоляет этот голод мной. А мои страдания – это особое лакомство. Она будет держать меня в страхе, в постоянном неведении, в сомнениях, в тревоге, чтобы моя душа металась, как загнанная в силки птица. От рывков и сотрясений будут лететь искры, капли той самой силы, того нектара, который она жаждет испить. Чем боль-

нее она меня ранит, тем быстрее наполнится чаша.

Глава 11

Она знала, что вино сейчас размочит ее образ и соединит с обобщенной женщиной, принимающей любое сходство, и тогда ему будет проще. Он пожелает утешения и забытья мужчины. Ему будет все равно, кто подарит это утешение. Главное, что боль уйдет. Она даже не стала уводить его в спальню, чтобы не нарушить его хмельной мечтательности. Мягко разомкнула переплетенные пальцы и почти нежно толкнула в грудь, чтобы он откинулся назад, опустил голову на тот самый подбитый мехом плащ, которым его укрыл лакей. Она как будто развязала живой страдающий узел, в котором он пытался сохранить свою целостность от разрушающей боли. Вино размягчило этот узел, и она без труда, чуть повелительно, разгладила и распрямила судорожно сведенные пальцы, локти, колени. Его руки оказались разброшенными, как сломанные крылья. Геро неожиданно дернулся, будто вспомнил что-то важное и неприятное. Взгляд его прояснился. Он узнал ее, понял. Сделал попытку приподняться на локте. Отрицательно мотнул головой, отвечая на незадаанный вопрос. Это был краткий, противоречивый всплеск. Протест неукротимой души, не желающей принять иго рассудка и обстоятельств. Рассудок был оглушен страданием, душа отравлена вином, но еще полна сил и ярости. Герцогиня быстро подавила бунт поще-

чиной. Руки вновь обратились в распластанные крылья. На запрокинутом лице тень скрытой горечи, ресницы затрепетали. Но это безучастие – ложь, видимость. Он был здесь, целиком, со всеми страхами, сомнениями, надеждами, тревогами, предрассудками, догмами, мыслями. Он был заперт в собственном теле со всеми своими сокровищами, как пилигрим, побывавший в Святой земле и схваченный сарацинами. Она развязывала, распускала шнурки на его одежде, словно сдирала с него кожу. В его обнажившейся груди сердце стало как будто видимым. Вот оно бьется, живет, волнуется. Это сердце больше не защищают ни костная броня, ни переплетения мышц, ни упругость кожи. Оно беззащитно. Его можно коснуться, поддержать на ладони. Или сжать до удушья. Можно долго смотреть, слушать беспоконный ритм, наблюдать, как оно перегоняет золотистый, мерцающий дымок жизни. И следить за тем, как этот дымок растекается по его телу. Как он поднимается по синеватым протокам вверх, по горлу, к губам и векам, чтобы под веками вспыхнуть негодующей синевой, чтобы за висками, где тоже бьются тоненькие жилки, преобразиться в череду обрывочных мыслей, чтобы замататься в его сознании образами ушедшего. Этот золотистый пар от божественного вздоха, осветляя кровь до алого, слепящего, бросится от сердца в его раскиданные руки, и они станут ласковыми и теплыми, сила наполнит сбивчивым дыханием его грудь, крошечными бисеринками пота увлажнит живот,

загустев, уже с темной кровью, она опустится до желания в паху. Но пока эта золотистая субстанция еще прозрачна и переливается в самом сердце, своей избыточностью порождая боль. Как жаль, что вот в таком первозданном виде эту силу не заполучить. Надо смешать ее с кровью, перегнать через плоть, затемнить и даже осквернить похотью. Потому что по-другому Геро ей ничего не отдаст. Потому что то, другое, то, что от Бога, называют Любовью, а в Любовь и Бога она не верит.

* * *

Свет первого факела нестерпимо ярок. Освещенный им закут невелик, всего несколько шагов вдоль и поперек, но тьма отступает. Моя девочка вновь со мной, и на несколько часов мир из черно-белого превращается в цветную мозаику. Она сразу узнает меня, несмотря на то, что с момента нашего расставания во дворе замка прошло гораздо больше времени, чем с той трагической ночи, когда умерла ее мать. Наша первая встреча заронила в ней, еще неспособной мыслить, странную надежду, которая, укоренившись в детской памяти, тихо дремлет. Это было как ожог. Теплое и яркое мгновенно вернуло ее в миг соприкосновения с огнем. Мария не испугалась даже Анастаси. Напротив, почти рванулась к ней из рук няньки. Девочка помнила ее, как доброго вестника.

На этот раз я ждал карету во дворе и унес Марию на гла-

зах негодующей тещи. Герцогиня щедро отсыпала мне целых три часа.

Конечно, я ничего не помню о своем плане, о том, как расчертил целую таблицу, как делал какие-то расчеты. Я держу ее на руках, и она тихо жалуется на своем птичьем языке. Слов не разобрать, да и слов она не знает, только слоги, обрывки, но я понимаю. Она говорит о своем страхе, о темном, холодном доме, о людях с восковыми лицами, о горьком сиротском хлебе, о резком пугающем голосе, об ушибленных коленях, о бобовой похлебке и еще много о чем, что и словами не обозначить. Но я знаю. Она просит защиты. А я ничего не могу ей обещать. Ничего. Даже держа ее на руках, я уже обманываю ее. Утешая, я готов ее предать.

Время летит быстро. На этот раз Мария не спит, будто не желая быть украденной во сне, она сразу осознает обман и громко кричит. Цепляется за мою одежду, и ее ручонки приходится разжимать. Мадам Аджани исполняет роль палача весьма умело. Лживым, дрожащим голосом я пытаюсь успокоить свою дочь, уверяю в скорой нашей встрече и ненавижу себя. Она прислушивается, затихает, но затем снова кричит. Жалобно, как брошенный на улице оголодавший щенок. Я теряю самообладание... Вскакиваю на подножку, пытаюсь схватить эту сухую жердь, мадам Аджани, и тащить ее, как лису из норы. Она оглушительно визжит. Меня хватают, валят на землю. Вновь отвратительная возня с укусами, проклятиями и пинками. Герцогиня в ярости, а меня несколько

часов бьет озноб.

Вскоре она приходит с ласковыми словами, от которых мороз по коже, и с вином, которым собственноручно меня поит.

– Не надо, – шепчу я без всякой надежды.

– Бедный мой мальчик... Зачем терпеть боль? Выпей, тебе станет легче. Господь послал нам этот волшебный напиток в утешение, дабы мы могли веселить сердца наши и усмирять разум. Он знает, как страдаем мы на этой земле. Выпей.

– Нет, не хочу.

На самом деле очень хочу. С той минуты, как мою дочь вырвали у меня из рук, я только и думаю о прохладном обдирающем горло напитке. Дьявол сулит избавление. К нему присоединяется и герцогиня. Дьявол обещает, она делает. Вместе они побеждают. Я пью, и вино сразу ударяет мне в голову. Свет больше не мешает, и звуки не бьют молотом в висок. И нет той мучительной остроты горя. Мне смешно. Я знаю, что будет дальше. Снова будут ласковые слова, лицемерные уговоры, затем она поднесет к моим губам еще один стакан. Я еще не окончательно лишился воли и буду слабо сопротивляться. Попытаюсь отвернуться, буду стискивать зубы. Но это недолго. Первый стакан делает свое дело, и воля моя вскоре угаснет. Я выпью второй. Голоса обратятся в эхо. Я буду чувствовать ее прикосновения, но перестану узнавать. Моя пьяная беспомощность ее подстегнет. Сознание окончательно не угаснет, и каким-то уцелевшим лепест-

ком разума я буду осознавать происходящее и мысленно содрогаться. Сейчас она разденет меня и овладеет. Моя душа лишена покровов, защиты нет, я на пике страданий. Снимая с меня одежду, она обнажает не только тело, но и сердце. Все так и происходит. Правда, я недостаточно одурманен и пытаюсь ее оттолкнуть, но в наказание получаю пощечину. В голове звон, и все идет кругом. Больше я не сопротивляюсь.

Что происходит в ближайшие несколько дней, я не помню. Только прошу у Любена вина. Боюсь вынырнуть, боюсь увидеть свет. Любен пытается спорить со мной, но я бросаю в него пустой бутылкой. Я погиб, окончательно погиб и хочу пасть еще ниже. Хочу убить память, разрушить разум и чтобы сердце перестало болеть. Хочу стать счастливым выючным животным. Голод, холод и страх. Больше ничего. Ни Бога, ни дьявола. Ни греха, ни раскаяния. Добраться до кормушки, набить желудок, согреться и осуществить телесную надобность с покорной самкой. А потом уснуть. И больше ничего. Ничего! Отупеть, оглохнуть. Обрасти шерстью. Какое это было бы счастье! Как счастливы существа, лишённые сердца и разума. Это великая милость – помышлять лишь о насущном, не зная страданий любви и мук совести. Господи, зачем Ты создал людей? Зачем позволил им мыслить и дал им свободу выбора? Ведь в Твоей воле было создать нас демонами или ангелами!

От вина мне скоро становится плохо. Тошнота, рвота. Меня выворачивает наизнанку. Несколько часов я мучусь от

жажды, ибо не могу проглотить даже капли воды. Оливье бранится, Анастаси осыпает меня ругательствами, Любен испуганно жметесь в углу, ибо Анастаси пнула его в голень и вывернула ухо. Оно торчит изпод соломенных волос красным просвечивающим лопухом. Через сутки затяжное похмелье с головной болью. Изнутри, в затылке, скребутся разъяренные крысы. Я сам себе отвратителен. Мне безумно стыдно. Когда решаюсь посмотреть в зеркало, прихожу в ужас. Сизые набрякшие веки, белки с красными прожилками, черная щетина на подбородке и серо-землистая кожа. Вот и добился своего. Животное...

Герцогиня разглядывает меня с усмешкой.

– Хорош. Погреб, разумеется, в твоём полном распоряжении, мой мальчик, но я запретила Любену подавать тебе к обеду больше одной бутылки. Прости, но выглядишь ты отвратительно. И вином от тебя разит.

Глава 12

Она все же придумала, как обезопасить себя от последующих соблазнов. Наиболее тягостным было видеть его с дочерью, сияющим и беззаботно счастливым. Зрелище для самолюбия непереносимое. Именно тогда, страдая от ревности, она желала его смерти. Чтобы избежать искушения, ей не следует на них смотреть. Проще уподобиться простаку-мужу, который, во избежание потрясений, предпочитает не замечать измен юной супруги. Его жена время от времени куда-то отлучается под благовидным предлогом, а он, беззаботный рогоносец, в этот предлог верит. Вот и она будет точно так же пребывать в неведении. Пусть отправляется на эту чертову улицу Сен-Дени и там возится со своей девчонкой, а здесь она не желает ее видеть.

* * *

Я вновь читаю Монтеня и думаю о дочери. Герцогиня запретила привозить ее в замок, и следующее наше свидание состоится в доме мадам Аджани. Я вспомнил разоренную комнату Мадлен и подумал, что каким-то образом надо это исправить. Эта комната совсем не похожа на детскую, скорее на монастырскую келью, место покаяния. Но Мария еще ребенок, ей нужны игрушки – кирпичики, из которых она

будет строить свой собственный мир. Они станут ее друзьями, пусть безмолвными, неподвижными, но все же верными хранителями ее тайн. Она придумает маленьким существам имена, наделит их талантами и привычками, распределит роли и там с ними будет мечтать и любить. В ее мире добро точно так же будет сражаться со злом, злые драконы будут похищать принцесс, жестокие мачехи изгонять в лес кротких падчериц, а добрые феи будут укрывать изгнанниц своими чарами и указывать дорогу храбрым принцам. В своих играх моя девочка будет учиться жить. Она будет взрослеть. Но как ей помочь? Мадлен шила ей кукол и зверушек из разноцветных лоскутков, но я шить не умею. Я вырезал ей однажды дракона из пожелтевшей бумаги, а из старого мотка шерсти соорудил невиданную птицу, пожертвовав дюжиной гусиных перьев. Пытался даже сделать ей куклу вроде марионетки из деревянных колышков, но так и забросил это занятие. Я не бог весть какой мастер.

Брат Шарло, привратник церкви Св. Стефана, одно время учил меня, когда я был еще подростком, обращаться со стамеской, но я был слишком непоседлив, чтобы свободное от зубрежки время тратить на такую кропотливую работу. Я предпочитал работать ногами – залезать на церковную колокольню, бродить по улицам, глазеть на товары в лавках и вскакивать на запятки проезжающих экипажей. Но смотреть, как работает брат Шарло, мне нравилось. Он реставрировал деревянную резьбу на хорах, вынимал потемневшие,

подгнившие фрагменты и заменял их на новые, уже искусно им вырезанные. В миру у него была когда-то целая мастерская и несколько подмастерьев, он состоял почетным членом гильдии резчиков. Потом случился пожар, и некогда успешный мастер потерял все. Жена умерла, сын погиб во время войн короля с регентшей, и мастер, сочтя обрушившиеся на него несчастья за знак свыше, ушел в монастырь. Скитался по стране, просил милостыню, затем поселился в Париже. Отец Мартин взял его плотником. Брат Шарло чинил мебель, вырезал фигурки святых – особенно достоверно у него выходила Дева Мария с младенцем, – украшал деревянной резьбой исповедальни и хоры. Я любил смотреть, как он работает, как дерево меняет форму в его руках, как из волокнистой древесной мякоти возникает рука, головка младенца или святой лик. Мне это казалось настоящим волшебством. Заметив мое восхищение, брат Шарло однажды предложил мне взять отбракованную им березовую чурку и превратить ее в луковицу. У меня, само собой, ничего не вышло, но занятие мне понравилось. В руке преобразующая тяжесть стамески, и дерево под ней податливо и одновременно упруго. Бывать в его мастерской мне случалось нечасто, но то, что я успел усвоить, мой скудный опыт доставил мне немало радости. Настало время вспомнить его уроки.

Я прошу у Любена перочинный нож. Он смотрит на меня с опаской.

– Нет, Любен, – спешу его успокоить. – Я не собираюсь

резать себе горло. Хочу сделать для дочери игрушку. Вырезать из дерева. Вот смотри.

Я показываю ему выбранное мной кленовое поленце, из тех, что были сложены у камина.

– Когда-то я этим уже занимался, хочу попробовать снова. Но мне нужны инструменты. Нож, стамеска, долото, циркуль. Ты можешь мне помочь?

Любен в ужасе отступает к двери. Названные мною предметы звучат для него, будто имена верховных демонов. Любой из них я могу обратить в оружие, могу ранить им себя или нанести удар кому-то другому. По выражению на его лице я понимаю, что он уже в красках представляет это. Вот я хватаю длинную тонкую стамеску и заносу ее, как боевой кинжал. А вот выставляю иглу циркуля, как шпагу. Нож, само собой, я использую по назначению. Любен решительно качает головой. Что ж, сам виноват. Не следовало обращаться зеркало в меч сарацина. После долгих уговоров и торжественных клятв Любен доставляет мне маленькую стамеску. Всю предварительную работу он выполняет сам. Вновь берет с меня слово, что я не попытаюсь продырявить себе шкуру. Я охотно даю это слово. Но он словом не довольствуется и сторожит меня, как стоокий аргус, шумно дышит за спиной, но некоторое время спустя все же убеждается в моих добрых намерениях. Самым действенным доказательством оказывается мое пренебрежение дарами Бахуса. Если я не прошу вина, следовательно, не схожу с ума от отчаяния. Да-

же Оливье с удовлетворением отмечает мои порозовевшие губы и блеск в глазах. Герцогиня загадочно молчит, но мне уже не так страшно.

Второй месяц ожидания я переношу гораздо легче, чем первый. Устал бояться, боль притупилась. И многое понял. Герцогиня не лишит меня встреч с дочерью. Она может отсрочить наше свидание, может сократить, но окончательно его не отменит. Ей это не нужно. Лишившись дочери, я быстро обращусь в одного из тех мертвецов, которые ее окружают. Душа моя иссохнет, тело потеряет чувствительность. Я уподоблюсь восковой кукле, и никакой пыткой ей уже не извлечь из меня тех страданий, которые служат ей излюбленной пищей. И того наслаждения, что она познала, опоив меня и обнажив мое сердце, ей также не испытать. Без девочки заклинание утратит силу.

Моя упорная возня с деревом постепенно дает плоды. Из потемневшего куска клена получается нечто среднее между лошадьё и собакой. Даже Любен почти избавился от подозрительности. Он принес мне не только столярный нож, но и набор угловых и радиусных стамесок. Купил их у проезжего мастера. Или украл. В углу кабинета соорудил нечто похожее на верстак. Это рабочее место легко было скрыть от посторонних глаз, набросив на него портьеру. Впрочем, какой смысл делать из моих занятий тайну, если мой сообщник состоит при мне соглядатаем? Герцогине все сразу становится известно. Но я пытаюсь эту тайну соблюсти. Это мой ма-

ленький запретный сад, мое убежище. Там я прячу свои воспоминания и надежды. Я не хочу, чтобы она видела, не хочу допускать ее туда. Все равно что позволить врагу нарушить таинство молитвы.

Первые мои поделки грубы и неуклюжи, но пару из них я все-таки оставляю в качестве подарка – ту самую собаку-лошадь, ставшую с нитяной гривой больше напоминать вторую, и пирамидку из разноцветных окружностей разной величины. Эти круги можно было последовательно нанизывать на гладкий колышек и превращать их в колеса для кукольной тележки. Марии всегда нравилось что-нибудь катать по полу и гоняться следом. Теперь у нее простор для импровизаций.

Снова приходится беспокоить мадам Аджани. На этот раз мой визит начинается утром, и ей уже нечего возразить. Мария бросается ко мне без всяких колебаний. И снова целый час уходит у нас на безмолвные жалобы друг другу. Прижавшись ко мне, она согревается, а я врачую свои недуги. Мы похожи на одну огромную рану, которой не дают зарубцеваться. Мы тянемся друг к другу, соединяем наши души и ткани, образуется тонкая живая корочка, но нас снова разделяют. Вместе мы обретаем кратковременный покой. Крошечная девочка избавляется от страхов, будто птенец, возвратившийся в гнездо и укрытый от непогоды родительским крылом, а я возвращаю себе способность любить. Но очень скоро Мария требует игр и движений. Она требует то, что помнит, – беззаботных и рискованных забав. Ей становится

совершенно необходимо повисеть на моей руке, взлететь к потолку, перевернуться вверх ногами и в довершение всего походить на руках, изображая тачку. Подаренную ей игрушку она тут же пробует на зуб, пытается открутить ногу, но затем водружает ее, как завершающий камень, на пирамидку. Колесики от нее катятся во все стороны, и она с визгом бросается за ними. Я чувствую, что сам готов принять участие в их поисках. Сбрасываю свой щегольской камзол и ползаю за составными частями на четвереньках. На шерстяном половике, который, вероятно, помнит еще царствование короля Франциска Первого, я выкладываю их ромбом, и Мария устраивает прыжки через воображаемую преграду. В середину фигуры и обратно. Затем мы собираем из разноцветных колесиков змею и ставим во главе нее нашу лошадь.

И тут появляется мадам Аджани. Она не произносит ни слова, только замирает на пороге. Но Мария тут же все понимает. Я сам еще не понял, еще не осознал. Возможно, она пришла сказать, что здесь у нас слишком шумно, что я выгляжу непристойно в одной сорочке с закатанными по локоть рукавами, но Мария уже кричит. Кричит дико, по-звериному, отчаянно, как не кричала еще никогда. Она совершает бросок и прыгает на меня. Охватывает ручонками мою шею и сцепляет их намертво. Она держится так крепко, будто желает прирасти, стать моей частью. Я пытаюсь ее успокоить, глажу мгновенно повлажневшие волосы.

– Мария, девочка моя, маленькая моя, родная, тише, успо-

койся. Я вернусь к тебе, я скоро вернусь.

Мне на помощь приходит Наннет, и нам вместе удается оторвать девочку от меня. Чувствуя себя непрощенным иудой, я выскальзываю за дверь, пока Наннет пытается отвлечь девочку серебряным колокольчиком и разноцветными лентами. Мадам Аджани бросает мне вслед проклятие.

В карете мне долго не удастся выровнять дыхание и унять рвущееся из груди сердце. Анастаси со мной нет, только Любен на козлах рядом с кучером и два лакея на запятках. Обхватив голову руками, я вою и мычу, как раненый зверь. Предатель! Предатель! Господи, как же она кричала! Как кричала! А я, трус, бежал.

Я не вижу улиц, не слышу шума, не замечаю ворот Сент-Антуан, у которых в это время драки и сутолока, я почти в лихорадке. Когда во дворе замка надо спуститься с подножки, я шатаюсь. И лицо, видимо, такое, что Любен осведомляется, не нужен ли мне врач. Я не отвечаю. Мне все равно, я не хочу жить. Герцогини, к счастью, нет в замке. Оливье дает мне макового настоя, и я засыпаю. Но сплю недолго. Сон у меня рваный, в заплатках. Из забытья слышу собственный стон. Анастаси права. Права! Я мучаю себя и ее. Малышка не понимает, почему отец вынужден ее покинуть. Я поступаю жестоко, дарю надежду и тут же отнимаю. Наношу удар той, единственной, кого люблю. Она будет звать меня, будет кричать, потом охрипнет, детские силы иссякнут. Мадам Аджани будет меня проклинять. Мэтр Аджани будет с раздраже-

нием требовать тишины. А Наннет будет ходить из угла в угол с девочкой на руках и беспомощно шептать молитвы.

Глава 13

Ценность женщины определяется стоимостью плененного ею мужчины, того мужчины, которого ей удалось обольстить и удержать. Она выставляет его напоказ, как мужчина выставляет напоказ голову загнанного кабана или оленя. Редко какой сын Адама догадывается о той участи, что ему уготована, – быть выставленным в зале охотничьих трофеев. Гордыня застит им разум. Они даже не подозревают, что на них охотятся. Как не подозревают об этом мухи, пока не запутаются в паутине. Мужчины верят в свою богоизбранность, в свое первородство. Разве не сотворил Господь Бог Адама по образу своему? Разве не его, мужчину, назначил наместником на Земле? Мужчины уподобили Бога самим себе, чтобы подкрепить свое могущество. Точно так же как поступили бы мухи, дабы устроить паука. Но даже этот небесный защитник, этот носитель высшей воли не смог уберечь их от участи кабаньего окорока. Женщина появляется при дворе и демонстрирует всем эту пресловутую голову.

* * *

Герцогиня ставит на стол внушительных размеров шка-тулку, поверхность которой разбита на черные и белые квад-

раты. Напоминает шахматную доску. Сама шкатулка из черного дерева, а белые клетки – из слоновой кости. Сбоку два изящных серебряных замочка. Очередной подарок. Пища для ума. Шахматы. Она открывает шкатулку, и там на самом деле оказываются фигурки, тоже из слоновой кости, вырезаны очень тщательно, в деталях. Монарх в золотом венце, в тоге через плечо, рядом с ним – первый министр. Офицер, выхвативший из ножен шпагу. Всадник на вздыбленном коне. Герцогиня извлекает их из шкатулки медленно. Сначала подержит в руке, повертит, поиграет на солнце драгоценной крошкой и затем опускает на стол.

Предусмотрительный автор размещает на поле брани своих персонажей.

– Ты нездоров? Не отвечай. Я и так знаю. Был в Париже, виделся с дочерью. Снова крик, слезы и ругань. Ты расчувствовался – и вот результат. Лихорадка.

Она оставляет фигурки в замешательстве, незадействованными.

– Я не препятствую тебе, мой мальчик, позволяю тебе встречаться с дочерью, но не вижу в том пользы. Напротив, один вред. В прошлый раз ты едва не загубил себя пьянством, на этот раз слег в лихорадке. Что будет в следующий? Эти встречи убивают тебя. Если так пойдет и далее, я буду вынуждена их прекратить.

– Нет!

– А если нет, придумай, как нам избежать последствий.

И я думаю. Проходят дни, недели. Я не нахожу выхода. Только отказаться и потерять ее. Или ждать перемен. Ждать, как ждет этих перемен приговоренный к вечности узник. Но перемен нет, все повторяется, вращается, как колесо.

Кончается лето, подкрадывается осень. Я вижу, как деревья в парке постепенно желтеют, как проступают из-под умирающей листвы ветви, обнажаются, как кости из-под тлеющей плоти. Листья сначала вспыхивают, агонизируя, коробятся, как бумага, и опадают. Небо оплачет их дождями, зима укроет саваном, листья обратятся в прах, а весной взойдут травой и цветами.

Приближается Рождество, и ее высочество все чаще покидает замок ради увеселений и празднеств. Все чаще сетует, что ради этих придворных пустяков вынуждена расставаться со мной. Ей бы хотелось видеть меня рядом. И вот она спрашивает меня, не хочу ли я стать графом. Я никогда не думал ни о чем подобном и потому искренне удивлен.

– Зачем?

– Тебе не нужен титул?

– Титул получают по праву рождения или за военные заслуги. У меня нет ни того, ни другого.

Герцогиня смеется.

– Титул еще и покупают. Или получают в подарок. А если виной тому заслуги, то не всегда военные, чаще всего это подвиги иного сорта. Вот возьмем, к примеру, господина коннетабля. Ты знаешь, как Люинь стал герцогом? Я тебе рас-

скажу. Происхождения он не самого благородного, можно даже сказать, сомнительного. Его отец был незаконнорожденным, сыном некоего священника и девицы Альбер. Мать разрешилась от бремени в местечке Люинь, вот сын и взял себе это имя, Альбер де Люинь. Титулов и земель он не имел, но был храбр, предприимчив и хорошо владел шпагой. Во время гугенотских войн он неплохо поживился и даже заручился поддержкой герцога Аласонского, возможного наследника престола. Позже, при содействии графа де Люда, приверженца того же герцога Аласонского, он пристроил своего сынка в пажи к графу де Бар. При Генрихе Четвертом сынок был уже дворянином из свиты короля. Таких как он при царствующем монархе десятки, никто не помнит даже их имен, ибо вся их ценность в бессмысленной толкотне у двери, но ему повезло. Де Люинь сумел очаровать юного Людовика. Мой братец забавлялся охотой на воробьев, а де Люинь научил его делать это с помощью дрессированных сорокопутов. Казалось бы, подвиг невелик. Де Люинь не захватил Ла-Рошель, не разгромил Великую Армаду, не сверг с престола Филиппа Испанского, но ради него Людовик восстановил звание коннетабля. Бездарный вояка получил армейское звание, не сделав ни единого выстрела. Те маленькие города в Беарне не в счет, они сдались от страха. Он получил титул и земли, он вошел в Королевский совет, он сверг Кончини. По какому праву? По праву рождения? По праву доблести? Вздор! По праву королевской прихоти. Все его заслуги со-

стоят в том, что он сумел угодить королю. Он стал ему приятен, стал необходим. Вот за это король и возвел его в достоинство герцога.

Приведу другой пример, весьма схожий с первым. Блестящий Джордж-Вилльерс, герцог Бэкингэм. Фаворит Якова Стюарта и первый министр нашего дорогого кузена Карла. Та же картина. Сомнительное происхождение, захудалый дворянский род. И головокружительная карьера – герцогский титул, присвоенный в Англии впервые за последние пятьдесят лет. Напоминает историю с коннетаблем. И за что присвоен этот титул? За взятую крепость? За караван с испанским золотом? За усмирение Шотландии? Вот уж нет! За содомский грех. Этот старый греховодник Яков именовал его в своих письмах... женой! И не постеснялся объявить об этом во всеуслышание даже перед Парламентом. Каково?! И никто не посмел возразить, никто не усомнился в титулах и правах этого господина. Воля помазанника Божьего выше всего. Если королю будет угодно, он и своего лакея делает пэром. Сделал же Калигула сенатором своего коня Инцитата. И опять же никто не усомнился, достаточно ли знатного происхождения этот конь. Дело тут не в заслугах, и не в доблестях, и даже не в происхождении. Решающим была и будет воля монарха. Подданный призван прежде всего слушать его слабостям и порокам, и уж потом интересам государства. Даже великий король – всего лишь смертный, и он одержим страстями. Он точно так же страдает от неуверен-

ности и страхов, так же сомневается и так же жаждет признания. Избавь его от этих страхов, удовлетвори страсть, и он возвысит тебя до небес. Если ты страдаешь от недостатка происхождения, он даст тебе титул, если природа обделила тебя отвагой, он подарит тебе полк. А если ты не умеешь говорить, но у тебя четыре ноги, он сделает тебя консулом. И удивляться тут нечему. Сильные мира сего – всего лишь люди.

– Я и не удивляюсь. Я всего лишь не понимаю, зачем мне титул.

Герцогиня задумчиво вертит в руках перо.

– Я в который раз спрашиваю себя. Что это? Гениальное притворство или неведение? Предположим, неведение. Ибо притворство по-прежнему не находит у меня никаких объяснений. Ты, как малое дитя, не понимаешь предназначения многих предметов и потому отвергаешь. Но твое кажущееся неведение может исходить из гордыни. Это особый вид тщеславия, средство, чтобы подчеркнуть свое незамутненное первородство. Мученичество от презрения. Ты желаешь отделить зерна от плевел. Ты – зерно, а я – плевел. Ты выше этой суетной мороки, этой тщеславной ярмарки. Титул тебе не нужен. Ты хорош и без него. Он не затронет твоей сути, не изменит тебя.

Она говорит, и я вижу ее острые, ровные зубы между чуть подкрашенными губами. Два ее верхних клыка чуть длиннее остальных и слегка выдаются. Она сопровождает свои фра-

зы движениями руки, в которой у нее зажато посеребренное перо. Она водит им в воздухе, выписывая невидимые знаки – круги, запятые, скобки. Как будто вносит все ею сказанное в невидимую книгу. Магическая субстанция памяти призвана сохранить ее слова навечно.

С последней ее фразой я соглашаюсь.

– С титулом следует родиться. Тогда он полезен и важен. А мне он – как драгоценная безделушка. Именно что тешить тщеславие. Титул ничего не изменит. Не вернет мне свободу и не воскресит жену.

Герцогиня усмехается.

– Так я и знала, что именно этим все кончится. Мы опять будет вспоминать о жене. Но если титул тебе не нужен, то он пригодится мне.

– Вам? Зачем?

– Затем, чтобы бывать с тобой при дворе.

Это повергает меня в еще большее смущение. Речь идет о мотивах скрытых, мне совершенно неясных. И я глупо твержу свое:

– Зачем?

Она благодушно смеется.

– Хочешь, чтобы я призналась тебе в своем тщеславном капризе? Я уже и так много потеряла в твоих глазах, а тут еще повинюсь в столь мелочном соблазне, против которого не нахожу сил устоять. Ну да ладно. Поздно читать

Confiteor³², когда черти тащат в ад. Зачем? Потому что я хочу бывать с тобой на людях. Хочу подняться с тобой по парадной лестнице Лувра или Фонтенбло. И чтобы все на тебя смотрели.

Я ошеломлен.

– Только ради этого?

– Это не так уж и мало! Ах да, по-твоему, это действительно мало. Даже ничего. Ты же мужчина. Для тебя это ничего не значит. Тебе спасение души подавай. А я женщина и довольствуюсь малым, и я тщеславна, в чем не стыжусь признаться. Чем похвастаться? Чем похвалиться? У женщины не такой уж богатый выбор. Городов она не берет, головы врагам не рубит. Следовательно, одно из двух. Либо драгоценности, либо мужчины. Щеголять драгоценностями при дворе моего лицемера-брата – дурной вкус, а вот похвалиться любовником... Это никогда не выйдет из моды. Для того этими любовниками и обзаводятся. Страсть, наслаждение, любовь – это все вторично. Тщеславие. Вот основной мотив. Явить свою силу, свою значимость. И возбудить зависть. Чтобы те, другие, менее удачливые, менее привлекательные, завидовали и терзались. Отчего женщины так изобретательны в своих туалетах? Думаешь, для того, чтобы привлечь мужчин? О, нет! Нет! Заблуждение. Вовсе не для этого! Они делают это, чтобы повергнуть в уныние других женщины. Мы стараемся не для вас. Ибо вам все равно, во что мы одеты. Вы

³² Краткая покаянная молитва в Римско-католической церкви.

с трудом цвета различаете. Мы трудимся для себя. Ибо нет более сладостного комплимента, более желанной награды, чем зависть в глазах соперницы. Только не воображай, будто мужчины от нас отличны. У них не менее предосудительные мотивы. Только соперничают они не в нарядах (впрочем, встречаются и такие), а в количестве нанесенных ударов и отнятых жизней. У вас предмет бахвальства – разбой. Или убийства. Что такое захват испанского галеона английским капером? Разбой. А война с неверными во имя Господа? Убийство. Правда, под все это подводятся благородные цели, государственные интересы, ибо никто не обнажает свой клинок просто так, из одной лишь жажды убийства. Честь короны, благо государства. Но сути дела это не меняет. Везде грабеж и убийства. Только названия разные. Менестрели трубят о подвигах во имя прекрасной дамы, о поисках Грааля. Но это тоже ложь. Мужчины никогда не совершают подвигов во имя дамы, они совершают их во имя самих себя, а прекрасная дама – всего лишь удачный предлог. И добыча. Но лицемерная мораль побуждает их лгать. Мужчина не может выхватить шпагу только потому, что хочет убить соперника. Он вынужден сделать это под благовидным предлогом. Якобы этот соперник покусился на честь его прекрасной дамы. На деле этот благородный защитник жаждет явить свою удаль. Поразить соперника и утвердить превосходство. Как молодой волк в стае. Бросить вызов более сильному или поглумиться над слабым. Но, дабы не вызвать осуждения,

вынужден прикрывать наготу фиговым листом. Дабы выглядеть пристойно. И красиво. Все хотят выглядеть пристойно. Одеваются в перья и украшают себя листьями. Но я предпочитаю ходить голой. Как в эдемском саду, еще до грехопадения. Во всяком случае, если речь идет о тебе. Зачем же мне лгать? Я предлагаю тебе титул вовсе не из благородных побуждений, моя цель – не тебя возвысить, моя цель – собственное удовольствие. Впрочем, ты и без меня это знаешь.

– Да, знаю. И не питаю на ваш счет никаких иллюзий. Вам нет надобности что-либо мне объяснять.

– Истинное наслаждение беседовать с умным человеком. Нет нужды лицемерить и притворяться лучше, чем ты есть на самом деле. Это так утомительно. Сокровище, – вздыхает она сладко. – Так как насчет титула?

– Но каким образом? Фальшивая генеалогия?

Герцогиня пренебрежительно взмахивает рукой.

– Ах, боже мой, как же ты наивен! Зачем нам генеалогия? Переписывать геральдические анналы и подделывать церковные книги мы не будем. Все гораздо проще. Мы заключим удачный брак.

Я не нахожу что ответить, а герцогиня с воодушевлением продолжает.

– В провинции найдется немало обнищавших девиц или вдов благородного происхождения, чье семейное древо произрастает аж от Меровингов, а за душой ни гроша. В их замке протекает крыша, а в погребках царствуют крысы... Ниче-

го, кроме крыс. Да они будут счастливы продать свой титул за сотню пистолей. Ты женишься на такой вдове или девице и возьмешь ее имя.

– Разве это возможно?

– Не смейся. Конечно возможно. Карл Валуа, брат Филиппа Красивого, через свою жену, мадам де Куртене, стал наследником Неаполитанской короны. А брат вышеупомянутого нами де Люиня, женившись на герцогине Пине-Люксембург, стал герцогом Люксембургским. Ты ни в чем не уступаешь этому нахальному выскочке. Ты достоин и титула герцога, и короны наместника, но это, однако, было бы затруднительно. Тут пришлось бы очаровывать уже не меня или вдову, а моего брата...

У меня кровь стынет в жилах, и герцогиня сразу же делает оговорку.

– Нет, нет, оставим эти мерзкие игрища мистеру Стини³³. Ограничимся вдовой.

– А что же бедная женщина? Ей придется участвовать в этом фарсе. Знать, что все это обман.

– Бедная женщина будет щедро вознаграждена. Возможно, я даже позволю ей исполнить свой супружеский долг. Или... не позволю. А то выйдет, как у моего батюшки с принцем Конде. Отдал за него свою любовницу Монморанси, полагая, что тот больше интересуется своим лакеем, чем горничными, а тот возьми и укради жену. И бедный мой батюш-

³³ Прозвище герцога Бэкингема.

ка остался с носом. Затеял было войну с испанским наместником, чтобы вернуть любовницу, двинул войска на Брабант, но... Равальяк помешал. Нет, меня подобная участь не прельщает. Я выберу тебе некрасивую жену.

Глава 14

Он украдкой взглядывался в лица мужчин и женщин. Сначала с надеждой, потом с недоумением. Клотильда усмехнулась. Бедный дурачок. Что он пытается здесь найти? Неужто светлые лики философов и горящие вдохновением глаза поэтов? Где-то здесь бродит Петрарка под руку с Данте? Или благородный рыцарь Бертран де Борн, слагая вирши во славу доблести? На языке горьковатый привкус досады. Напрасно она все это затеяла, напрасно. Толкнула невинного отрока в чумной барак. Ничего он здесь не найдет, ни истины, ни соблазна.

* * *

Но ей не терпится. Ждать, пока найдется подходящая особа, вести с ней переговоры, сулить, уговаривать для ее самолюбия мучительно. Ее страсть требует удовлетворения немедленно. Тщеславие когтит душу, как сладострастие – тело. Благоразумием его не укротить. Сейчас, сейчас! Скорее. С утра она присылает своего личного камердинера и своего куафера. Любен отеснен и даже изгнан. Он ревниво выглядывает из-за двери и пытается боком протиснуться в свои прежние владения. Как бы не так! Его отсылают с каким-то мелким поручением. Меня выставляют посреди ком-

наты, как манекен. Первая мысль – герцогиня уже подыскала мне родовитую жену, готовую сочетаться браком, и я вот-вот предстану перед алтарем. Неужели так быстро? Волоски на коже встают дыбом. Камердинер замечает мою гусиную синеву и приказывает затопить камин. Но мне не холодно – мне страшно. Страшно от той беспечной вседозволенности, с какой герцогиня меняет судьбы. Будто пешки на доске передвигает. С черной клетки на белую. Вперед по вертикали или вбок, на клетку противника. Милует и казнит. Мной овладевает нестерпимое желание испортить ей дебют: швырнуть, разбить, устроить драку, выскочить в окно... Но желание я подавляю. Что толку? Меня приволокут обратно. Пнут под ребра, чтоб задохнулся...

Камердинер, господин Ле Гранж, выбирает для меня наряд роскошный, камзол алого бархата с золотым шитьем, но герцогиня находит меня в нем слишком привлекательным.

– Восхитительно, – вздыхает она. – Великолепный Бэкин-гем сошел бы за лакея, окажись он поблизости. Но... но не в этот раз. Весь двор сбежится смотреть на этакое чудо, а лишний шум нам пока не нужен. В мои планы на сегодня не входит производить фурор и возбуждать сплетни. Я намерена всего лишь нанести визит, но не привлекать к нему особого внимания. Достаточно будет двух-трех любопытствующих взглядов. Не будем вгонять наших модников в тоску, а дам – в трепет. Во всяком случае, пока. Переоденьте его. Темно-синее или серо-стальное вполне подойдет. Широко-

полая шляпа и плащ до пят. И никакого шитья.

Через четверть часа я уже в другом обличье, и герцогиня одобрительно кивает.

Итак, она все же решилась взять меня ко двору. И без всякого титула. Без смущения перед свитой. Без колебаний. Это потому, что сегодня она показывает не меня двору, а двор – мне. Инициация для неофита. Она ведет меня в святилище, дабы я узрел славу. Благодать коснется меня, и я стану одним из них.

Карету окружают дворяне ее свиты. На скулах желваки, усы грозно топорщатся. Они все презирают меня. Недоумевают и завидуют. Все они уже успели обогреть свои руки кровью. Гонимые неукротимым честолюбием, они покинули родной дом, чтобы искать счастья в столице. Они служили принцессе королевской крови, дочери Генриха Четвертого, в тайной надежде стать ее избранниками. Мечтали привлечь монарший взгляд, оказать услугу и повторить судьбу де Люиня. Все они происходят из благородных домов, все носят блестящие имена, они бесстрашные дуэлянты и воины. А тут я, невесть откуда взявшийся, презренный выскочка. Взгляды тяжелые, ненавидящие. Господа, господа, я бы с радостью... Мне ничего не нужно. И милость эта мне ни к чему, и место в карете. Я здесь не по своей воле! Но как им объяснишь? Кто поверит? Сочтут успешным, ловким интриганом. Вторым Кончини. Господи, как же стыдно... Счастье еще, что она приказала мне переодеться. В этом золотом шитье я го-

тов был сквозь землю провалиться.

Анастази сидит в карете напротив меня с каменным лицом. Смотрит в сторону. Я не ищу ее взгляд. Она ничем не может мне помочь. Мне остается смириться и попытаться достойно пройти это испытание. В конце концов, я увижу короля.

Хочу разглядеть то, что за окном, но гарцующий у дверцы всадник поминутно заслоняет обзор, и я люблюсь то эфесом его шпаги, то крупом лошади. Но время от времени всадник все же обгоняет карету, и тогда я вижу подступившую к самым колесам зимнюю хворь. Почерневший, застывший в дремоте лес, кое-где комья подтаявшего снега. Копыта лошадей хлюпают по размокшей дороге. Боязливо жмутся к обочине пешие путники, торговцы или крестьяне. Съехала в сторону запряженная волами угольная телега. Возница сдернул шапку и почтительно кланяется. Герб, пусть заляпанный грязью, блистает герцогской короной. Вновь ворота Сент-Антуан, башни Бастилии. У меня мелькает странная мысль. В отличие от высокородных дворян, с деланным равнодушием отводящих взгляд, я могу взирать на эту крепость с победной усмешкой. Я ей не нужен – недостойн.

Королевский дворец я прежде видел только издалека. Отец Мартин, само собой, бывал при дворе, но я был тогда еще слишком юн, чтобы сопровождать его. Позже, когда я уже занял должность секретаря, его приглашали не в королевскую резиденцию, а в Пале-Рояль, к министру-гер-

цогу. Там я однажды довольно долго ждал своего наставника, наблюдая за сменой королевских гвардейцев. Ничего таинственного и сверхъестественного. Входили и выходили придворные, спешили курьеры, переругивались слуги. Ничего, что призывало бы к благоговейному молчанию и священному трепету. Всего лишь занятые своей службой люди. Но Лувр оставался загадочной и мрачной цитаделью. Там обитал монарх, помазанник Божий, и по мере приближения к этому месту каждый верноподданный обязан был познать страх. В глазах простых смертных венценосец существо необыкновенное. Волею судьбы и Господа Бога он вознесен на самую вершину, отмечен божественным знаком. Он возвышается над всеми. Выше только Бог. В такой близости к Отцу нашему небесному природа смертного не может остаться неизменной, она обязана преобразиться. Монарх более не человек, он – полубог. Иначе не вынести ему груза власти. Тысячи взыскующих глаз обращены к нему, в его руках тысячи судеб. Сколько мудрости и милосердия должен вмещать в себя тот, кто дарует жизнь или посылает смерть. Ноша неслыханная.

Помимо воли я чувствую трепет. И дальше меня уже влечет любопытство. Я почти забываю, зачем я здесь и в качестве кого. Я смотрю по сторонам. Вот она, обитель богов, Олимп и Валгалла, куда устремлены мечты и чаяния всех малых и великих честолюбцев. Ступить под эти своды означает приобщиться к касте избранных. Но я ничего не чув-

ствую и никаких знаков не вижу. Вокруг все те же смертные с той же заботой на лицах. Одеты они более изысканно, больше перьев и шитья на камзолах. Но более никаких отличий. Вооруженная алебардами стража, гремящие сапогами гвардейцы. Придворные толпятся, шепчутся, переглядываются. Изысканно одетые дамы, блестящие кавалеры. Поклоны, реверансы. От волнения и новизны впечатлений мне трудно отделить их друг от друга, угадать их настроение или обозначить возраст. Шумная людская круговерть, в которой я боюсь потеряться. Точно так же, как когда-то я боялся потеряться на рынке, следуя в толпе за кухаркой. Анастаси держит меня за рукав и тянет за собой. Мы чуть приотстаем, а герцогиня оказывается впереди, вместе со своим секретарем, старшей фрейлиной и двумя дворянами из свиты. Все, что мне удастся разглядеть, так это бесконечные лестницы и галереи. За окнами строительные леса. Дворец перестраивают со времен короля Генриха. Он пытался превратить эту полувоенную крепость в удобное, комфортабельное жилище для своей королевы, но так и не довел начатое до конца. Король Людовик продолжает дело отца, но предпочтение отдает дворцу в Фонтенбло и маленькому особнячку в Версале. Лувр – странный, пыльный, незавершенный. Где же та благоговейная тишина Олимпа, что я себе представлял? Больше напоминает Двор Чудес. А эти люди...

Успокоившись, я начинаю различать лица. Опять же, как когда-то на рынке, хочу угадать их мысли, представить, ка-

кие они, размотать цепочку их дней и пройти до первого часа. О чем они думают? О чем мечтают? Что их влечет? Они все в ожидании. Но чего они ждут? Взгляды у них тревожны. Они будто стая насторожившихся птиц. Топорчат переливчатые перья.

Мне душно. И трудно дышать. Я закрываю глаза и мысленно повторяю имя дочери. Вызываю в памяти ее личико, ее смех... Становится легче.

– Король... – вполголоса произносит Анастаси и толкает меня в бок.

Я открываю глаза и вижу стремительно идущего сквозь толпу бледного молодого человека, без шляпы, в заляпанных грязью ботфортах. Придворные расступаются, кавалеры снимают шляпы. Анастаси толкает меня, чтобы я последовал их примеру, и я неловко стаскиваю свою в тот миг, когда король уже почти со мной поравнялся. Я вижу его очень близко. Нервное, некрасивое лицо. Нездоровая бледность, и полный отчаяния взгляд. Его терзает скука. Я смотрю в его глаза только мгновение, но сразу все понимаю – этот человек несчастен. За королем следует свита, главный камергер, главный ловчий, капитан гвардейцев... Но что толку? Он все равно один. На другом берегу Сены в Люксембургском дворце живет его мать, здесь, в Лувре, – молодая жена, в трех шагах за ним – фаворит. И еще пажи, лакеи, телохранители. Лекарь, месье Эруар, что не оставляет его ни на минуту. И все же король один. Его никто не любит. В этом огромном

дворце, в этом городе, в целом мире нет ни одного человека, кто одарил бы его своим искренним участием. Его бояться, ему завидуют. Он – помазанник Божий. Но у него нет ни одного друга. Он ничего не получает в дар, он все покупает. И все эти люди, что вокруг него, тоже пришли на торг: женщины продают красоту, мужчины – доблесть. Все наперебой выкрикивают цену. И ему ничего не остается, как платить. Даже собственной матери. Отец Мартин рассказывал мне, что в мирном договоре, заключенном при содействии епископа Люсонского, с которым мой наставник был дружен, оговаривалась сумма откупных, которые мать вытребовала с августейшего сына в обмен на мирное разрешение конфликта. Разве счастливый человек подписывает договор с матерью?

Анастази снова меня толкает.

– Надень шляпу... – шипит она.

Король уже скрылся в своих покоях. Толпа придворных пришла в движение. Людские волны перекатываются от одного конца приемной к другому. Голоса стали звонче. Но рядом с нами полукруг тишины. Мы стоим в стороне, в нише, у подножия какой-то статуи. На нас бросают взгляды: украдкой – дамы и без стеснения – мужчины.

– На тебя смотрят, – шепчет Анастази. – Моя персона здесь мало кому интересна.

Какая-то дама даже замедляет шаг. Мне становится неловко. Старательно изучаю паркет под ногами. Они смот-

рят на меня, потому что я здесь чужой. Я самозванец. Я прокрался в их святилище под чужой личиной, и они слышат мой страх. Меня вот-вот разоблачат. Я замечаю справа от себя еще одну даму, высокую, одетую роскошно. Она лениво обмахнулась веером, закрыла его и снова раскрыла. Похоже на какой-то знак. Но я не понимаю их языка. Любопытствующие взгляды со всех сторон. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сделать шаг назад и не спрятаться за ту самую статую, что возвышается за нами. Но, к счастью, возвращается герцогиня. Она выступает в роли избавительницы. Мне опять трудно дышать, я вижу только темную, надвигающуюся фигуру. Она усмехается и произносит:

– Пойдем. На кладбище не место живым.

Глава 15

Это было все равно что заглянуть в небесную мастерскую и увидеть там еще безликие и бездыханные заготовки будущих поколений. Она брала в руки и разглядывала еще незавершенные, неузнаваемые фигурки. Первые из них почти невозможно было опознать, определить их породу. Проглядывали вытянутые морды, не то лошадиные, не то собачьи, прорастали лапы, не то с когтями, не то с копытами. У некоторых намечались крылья. Некоторые существа с добрыми коровьими ликами только выглядывали из занозистого дерева, завязнув в нем рогами. У других проклюнулись только уши, различные по размеру и форме. Ей представилось, что в начале времен, когда Господь задумал населить Землю, Он пребывал в том же первоначальном поиске, в муках ученичества. Ни один толкователь Священного Писания никогда не скажет об этом, ибо заподозрить Господа в неуверенности сродни богохульству, но живое изображение и ясный ум не обнаружат в этом предположении ничего оскорбительного. Разве не сказано в Писании, что человек создан по образу и подобию Божьему? Если учится человек, то почему бы и Господу не проходить Свои уроки? В начале времен Ему пришлось сотворить множество самых разных земных и водных тварей. Создатель мог искать для них наилучшую форму. Он мог и ошибаться, мог отвергать

первоначальные чертежи, мог даже начинать все сначала.

* * *

А почему, собственно, не стать графом?

Это дьявол. Он появляется сразу, едва лишь я остаюсь один.

По возвращении из дворца герцогиня принимает посетителей и соседей из мелкопоместных дворян, читает письма, а я предоставлен самому себе. Избавившись от плаща и шляпы, сбросив узкий шелковый колет, я возвращаюсь к занятию, которое оправдывает мои дни: берусь за маленькую стамеску. Уже с неделю меня не оставляет видение миниатюрного театрала. Крошечная сцена и танцующие на этой сцене фигурки. Сделать для Марии настоящий кукольный театр с веселыми и грустными персонажами. Там будет добряк Пьеро, красавица Коломбина, проказливый Арлекин, злой волшебник, прекрасная фея, бравый воин, справедливый король, маленькая принцесса и еще, может быть, потерявший надежду узник... Нет, пусть лучше это будет отец, который после долгих странствий найдет свою дочь. Вместе они отправятся в далекую страну и там победят дракона, который давным-давно похитил их маму. Мама окажется жива, и они все вместе вернутся домой. Но эту сказку я рассказывать ей не буду. Пусть будут Пьеро и Коломбина. И еще злая мачеха. Дети будут шалить и придумывать всяческие проказы, а

сварливая мачеха будет гоняться за ними с розгами. Но шулуны будут каждый раз от нее ускользать. Как заманчиво! Вот только как осуществить свой замысел?

Я однажды видел бродячего кукольника на сен-жерменской ярмарке. Это был итальянец. Две куклы танцевали у него на доске. Он проделывал это с помощью нити, продев той сквозь деревянные фигурки. Один конец нити был привязан к ноге кукольника, а другой конец – к стойке. Кукольник дергал за веревочку, и куклы взмахивали руками, крутили головами, дрались и даже танцевали. Помню, я стоял как замороженный. И очень смеялся. Подумал, что хорошо было бы устроить такое представление для сирот в нашем приюте. Хотел уже звать за собой кукольника. Но отец Мартин мне строго-настрого запретил. Сказал, что эти уличные забавы пришли к нам от язычников и что не подобает доброму христианину тешить себя подобным зрелищем. Я тогда был несколько обескуражен. Неужели Господь осудит бедных детей за радость? Но спорить с отцом Мартином не стал. Привести кукольника в приют мне не удалось, но я часто вспоминал о нем, вспоминал его танцующих кукол, их забавные выверты, прыжки и все представлял, как смеялась бы, глядя на них, Мадлен. Мне так хотелось, чтобы она чаще смеялась. Бледная, хрупкая, вечно в заботах. А потом родилась Мария, и я стал думать, как порадовать их обеих. Дал себе слово, что сделаю для нее таких же кукол. Таких же живых, забавных... Сделаю, даже если спать не придется. Теперь самое

время сдерживать слово.

Я беру стамеску и тут же роняю. Господи, о чем я думаю! Я рассуждаю, будто я свободен. Будто я каждую минуту волен видеть свою дочь и только тем и озабочен, как заполнить ее досуг. Я уз – ник, у меня нет выбора, нет собственной воли. Я сам – такая же кукла, с продетой сквозь кожу нитью, которую неведомый кукольник выводит танцевать на помост.

Вот тут и приходит дьявол.

«А почему бы тебе самому не стать кукольником? – шепчет он. – Чем ты хуже? Дергай за ниточки. Ты же видел сегодня этих людей, тех, кто называет себя благородными господами и принцами крови. Видел их приближенных, видел короля... Ты легко мог бы стать одним из них. Это очень просто. И никто не распознал бы твоего худородства. Что тебе мешает проделать это еще раз? Надень маску. Притворись. Вся жизнь человеческая – это одна бесконечная смена масок. Вся жизнь – лицедейство. Сколько у тебя ролей? Для отца Мартина ты играл роль ученика, для Мадлен – мужа. Теперь для дочери ты играешь отца. С герцогиней ты покорный любовник, для Любена ты господин. Даже для Анастасии у тебя есть роль – спаситель. Все зависит от сцены, в которой ты занят. Ты вынужден подчиняться и соблюдать правила. Иначе нельзя. Так поступает каждый. У каждого есть роль, и не одна. Бесконечная череда масок, которые сорвет одна только смерть. А пока ты должен играть. Прими еще одну маску. Сыграй графа. Точно так же, как сегодня сыг-

рал неизвестного дворянина. Под этой маской ты останешься тем, кем был, сохранишь душу, но изменишь жизнь. Сцена, декорации будут другие. Пусть герцогиня раздобудет тебе графский титул, пусть придумает тебе герб. С этим титулом у тебя появится выбор...»

Ложь! Ложь! Я не желаю такой свободы. Пусть те, другие, не распознают обмана, но я сам буду всегда помнить, буду знать, что я – самозванец.

А как же Мария? Что будет с ней? Кем она станет в доме своей бабки? Что ее ждет? Участь вечной прислуги? Монастырь? Или ее продадут, как едва не продали ее мать? Твой так называемый обман изменит и ее жизнь. Она тоже будет свободна. Также сможет выбирать. Ты искупишь свою вину перед Мадлен.

Чтобы изгнать демона, я хватаю прямоугольную заготовку, которую Любен уже отшлифовал до блеска, и размечаю циркулем срезы. Затем провожу линию косым ножом. Это яшень, твердый, упрямый. Брат Шарло говорил, что самая мягкая древесина у сосны. Ее легко резать, но мелкие детали обламываются. Лучше брать яшень или бук. Эти, как праведники, будут противостоять ударам судьбы. Я пытаюсь скрести и подрезать волокна, но не представляю, что делать дальше. В голове вертятся все те же мысли. Искушают, подмечают детали. Я не могу остановить их, они пожирают меня, как разъяренные муравьи. Неужели ты не хочешь изменить свою жизнь? Неужели не хочешь стать свободным? Вышаги-

вать по луврской галерее таким же гордым, блистательным франтом...

И вдруг – спасение! Я понимаю, что хочу сделать. Я вижу, что кроется в этом кусочке дерева, какой образ жаждет быть извлеченным. Птица! Я сделаю птицу. Таковую, чтобы махала крыльями. Взмах – и полет. Небо, тишина. Вот истинная свобода! Брат Шарло на радость окрестной детворе однажды сделал такую птицу. К туловищу крепится шелковый шнурок с крошечным шариком на конце, тянешь за него – и птица машет крыльями. Нужно только выбрать подходящий размер. Сделать легкую, небольшую, чтобы Мария могла удерживать ее за палочку-подвеску.

Я не слышу ее шагов. Я так увлекся, придумывая эту птицу. Вот растопыренный хвост. Вот крылья – овальные, продолговатые, с резьбой по краям и вытянутым посередине узором. Вместо глаз черные бусинки. Я выпрошу их у Анастасии или у горничной Жюльмет. Летать эта птица будет неторопливо, с величавой грацией, с достоинством многомудрого ворона и с проворством легкомысленного стрижа. Она взмоет под потолок, чиркнет крылом по мерцающей позолоте и в изящном круге тут же обрушится вниз. Ее деревянное тельце я покрою охрой, а крылья сделаю красными. Не было уверенности, что смогу это сделать, но с воображением не поспоришь. Я провожу в воздухе кривую, указывая путь небесной гостье... Вдруг чувствую движение.

Герцогиня наблюдает за мной уже несколько минут.

Она засвидетельствовала мои мысленные полеты, разглядела неуклюжий чертеж и даже заприметила нож, который мне украдкой принес Любен. Я не особо и прятал его, ибо не сомневался в осведомленности своей владелицы. Не может быть для нее тайной то, чем я заполняю свое время. Я потому и не прячусь. Я должен себя чем-то занимать. Это создаст видимость благополучия. Я занят, следовательно, доволен своей участью. Не мечусь по клетке, не заливаю тоску вином. Неволья мне не в тягость. Почему же она так странно смотрит на меня? Под веками – холодная ярость. Что я сделал? У меня внутри все цепенеет. Она подходит ближе и берет с моего маленького верстака две заготовки. Это две незаконченные куклы для театрала, еще нет ни рук, ни ног. Только круглая младенческая голова и спеленатое тельце. Она держит заготовку двумя пальцами, с заметным отвращением, будто это и в самом деле живое существо, замершая личинка, и затем через всю комнату швыряет в камин. За ней следует заготовка руки, уродливая, о двух пальцах, остальные мне не хватило мастерства отделить. Следующим ей попадает на глаза плоский деревянный ящик. Там, внутри, рядком, – округлые и угольчатые стамески, циркуль и маленькое долото. Сокровища, которые раздобыл Любен у странствующего торговца. Она дергает ящик на себя, крышка отлетает, инструменты валятся, как поверженные солдаты. На шум в комнату вбегает Любен. И тут же замирает в страхе. Герцогиня переводит взгляд с меня на него. Будто перекладывает тяжелую балку

с одной спины на другую. И давит на эту балку сверху, увеличивая тяжесть. И слова, что она произносит, отрывисто, почти не разжимая губ, – груз непомерный:

– Вот это все – убрать!

Глава 16

Он уже все забыл. Забыл королевский дворец, забыл величественную приемную с ее позолоченной паствой, забыл короля, забыл свою к нему мимолетную жалость и, конечно же, забыл ее, сестру этого короля. Едва переступив порог, он как будто стяхнул тот привычный ей возвеличенный мир, как уличный прах, с разума и одежды. Он не мучился, подобно ей, воспоминаниями о прерванном разговоре, не задавал вопросов, не терзался, не тешил себя надеждой. Он забыл. Для него их мимолетная близость была эпизодом, данью вежливости. Он давно заместил этот разговор уродским двукрылым сооружением, которое предназначил своей дочери. Он весь с головой ушел в это плоское сплетение линий, он весь был там, на кончике угольного карандаша, подрисовывая птице пустые круглые глаза. Он думал о своей дочери. Только о ней. Снова только о ней.

* * *

Воля тирана все равно что обезумевшая стихия – бросает то вверх, то вниз. Вскидывает на гребень и повергает в бездну.

Я снова внизу. В полной темноте, в безмолвии и на старом тюфяке. Кости мои целы, но движения ограничены – гер-

цогиня вновь приказала меня заковать. Но отведенное мне узилище – не каземат. Это узкая комната без окон, шириной в три, а длиной в четыре шага. Стены, как я определил на ощупь, обиты тканью, но такой старой, что местами она расползлась, обнажив каменную кладку. Пахнет пылью и, кажется, пряностями. Под ногами гладкие доски. Вероятно, когда-то эта комната служила тайным хранилищем. Или убежищем – в ней прятали тайных посланцев или любовников. В пользу этой версии свидетельствует приток свежего воздуха откуда-то сверху и теплая стена. По ту сторону – камин или печь. Трогательная забота! Чтобы я не застудил кости. Затяжной кашель, лихорадка. Имущество понесет урон. Благоразумный хозяин бережет свое имущество. Ее высочество помнит, что кроме сегодня еще существует завтра. А завтра она пожелает найти меня в своей постели. Я останусь в неприкосновенности. Как это уже было однажды. пытка предназначена моей воле. Темнота, тишина, одиночество. Похоже на гроб. При каждом движении натываюсь на стены. В ушах ток собственной крови. Больше никаких звуков. Искра сознания в пугающей пустоте. Мука неведения. Через какое-то время мне кажется, что стены надвинулись и потолок стал ниже. Я протягиваю руку и даже подаюсь вперед. Нет, стена на месте. Это игра моего воображения. На деле ничего не происходит. Но герцогиня рассчитывает именно на это. На праздность и темноту. На панику, которую позволит себе мой ум. Он уже мечется и тоскует. Я чувствую

себя заживо погребенным. Ум живо рисует картину. Склеп, могильная плита, под нею – задыхающийся пленник. Лучше бы каземат. Он больше, там каплет вода и холодно. Это вынуждает тело не пребывать в праздности, а бороться. И отвлекает рассудок.

Прежде я ждал смерти и молился. Сейчас я знаю, что не умру. Я живой покойник в склепе, лишенный света. А я не могу без света. Не могу без солнца. Даже безлунная ночь полна призрачных отражений, свет посылают звезды, свет исторгает божественный свод. Но здесь у меня земляной вал над головой. Я не знаю, где этот тайник – глубоко под землей или по соседству с кухней. Не знаю, сколько времени меня тащили сюда. Когда герцогиня приказала сжечь все мои поделки и даже бросить в огонь книги, я затеял драку. И так успешно, что последним средством меня переубедить был удар по затылку. Я потерял сознание, а очнулся уже здесь. Будь я благоразумен, герцогиня ограничилась бы аутодафе для игрушек, книги перенесли бы в другую комнату, а верстак был бы разобран. Я остался бы в своих апартаментах, с праздностью, но со светом. Однако не сдержался и в наказание помещен сюда. Вот что происходит с непокорным грешником, если он отвергает волю Всевышнего.

Сколько раз твердил себе – не сопротивляйся. Ты не избежешь насилия, а только усилишь боль. Силы неравны. Надо смириться. Душе эта метаморфоза не повредит. Уступает лишь тело. Так зачем дразнить своих преследователей? Сми-

рение – это добродетель. Но я слишком горд, чтобы смириться. Я жажду справедливости, желаю борьбы. И не понимаю, что моя борьба лишь укрепляет врага. Своим отчаянием я делаю его сильнее. За что я наказан? В чем мое преступление? Я вступил в драку, ибо чувствовал себя оскорбленным. Меня оклеветали. Кто? За что? Какая, собственно, разница? Она все уже решила. Ей нужна причина. Тиран ежеминутно пробует власть на зуб. А вдруг пошатнулась? Испытывает власть, как корабельный канат. Дергает и вяжет узлы. Один из узлов показался ей недостаточно прочным, вот она и затянула. А причина...

В чем же причина? Устроившись поудобней, я подкидываю эту задачку уму. Сладкий апельсин для мечущейся обезьяны. Не так ли именуют ум на Востоке? Отец Мартин бывал на Востоке, в Индии и даже в Китае. И как-то поведал мне, как тамошние монахи усмиряют свой ум, заняв его однообразным действием. Они сравнивают его с обезумевшим зверем в клетке и, чтобы усмирить этого зверя, занимают его игрушкой. Следует погрузить ум в молитву или отлечь логическим парадоксом. Ум утомится и, как обессилевший скакун, рухнет на землю. И тогда, по утверждению тех же монахов, в совершенстве овладевших искусством укрощения ума, верующий узрит Бога. Я не строю таких далеко идущих планов. Мне бы беспокойство унять.

Итак, что ее насторожило? Это случилось сразу же по возвращении из дворца. Какое правило я нарушил? Был недо-

статочно почитителен? Не поклонился королю? Но это последнее, за что я мог быть наказан. За непочтительность к королю я был бы, скорее, вознагражден. Тогда что же? Я и взглядом ни с кем не обменялся. Слова не произнес. Анастаси была рядом. Мы прятались в тени, в нише. На нас стали обращать внимание только в самом конце... Пстой, пстой! А не ревность ли это? Не может быть. На меня обратили внимание две или три дамы, да и то лишь потому, что заметили новое лицо. Но герцогиня могла истолковать это по-другому. Она могла вообразить нечто большее. Или приписать это большее мне. Так и есть. Она меня ревнует. Ревнует! Святые угодники. Принцесса крови меня ревнует! Как же я сразу не догадался? Забавно-то как. Смешно. Да еще в таком странном месте. Не могу сдержатъ смеха. Если слышат, то пусть сочтут за сумасшедшего. Но я не могу остановиться. Да что же вы себе позволяете, ваше высочество? Как можно? Тратить столь благородный пыл на недостойный предмет. Я не муж и не любовник. Именно что предмет. А вы меня ревностью удостоили. Разве предметы ревнуют? Слуг ревнуют? Ах, ваше высочество. Вы унижаете себя столь сильным чувством. Придаете мне излишнюю ценность. Я человек? Мужчина? Шутить изволите. Еще немного, и мне придется вообразить, что вы в меня влюблены! *Vade retro, Satanas!*³⁴

Отлежав правый бок, переворачиваюсь на левый. Но так вынужден уткнуться носом в стену, а спиной обратиться к

³⁴ Изыди, сатана! (лат.).

невидимой двери. Это вызывает смутное беспокойство. Тогда поднимаюсь на ноги и пытаюсь обойти свой склеп. Сразу после того как пришел в себя я это делал. Теперь для избавления от ломоты в затекших ногах делаю снова. С кандалами на щиколотках это непросто. Меня намеренно так сковали, чтобы при малейшем движении чувствовал свою беспомощность. Но двигаться я могу – мелкими шажками. Никогда еще я не был так сосредоточен при обычной ходьбе. Такие действия мы совершаем без раздумий, лишив внимания послушные ступни и молодые колени. Суставы и связки действуют безупречно, с благословения молодости. Они еще не знают, что такое подагра или пяточная шпора. Сокращаются мышцы, тянутся сухожилия, тело двигается и пребывает в равновесии. Мы пренебрегаем этим простодушным здоровым счастьем, пока оно при нас. Мы гонимся за несбыточным и потеем ради излишков. А нужно так мало... Масляный светильник да возможность сделать широкий шаг.

Сделав еще один поворот, нахожу дверь. На ощупь она едва отличима от каменной кладки. С внешней стороны дверь, вероятно, скрывают шпалеры. Потайное убежище. Слышу звук отодвигаемого засова. Свет потайного фонаря слаб, но я слишком долго оставался в темноте, и тонкий луч причиняет мне боль. Я закрываю лицо руками. И невольно подаюсь назад. Пребывание в темноте умерщвляет разум. Становишься уязвимым, будто истончается некая защитная пленка. И под кожей, как в темном, влажном подземелье, прорастают

страхи. Эта болезнь поражает быстро. Как чума. Я уже чувствую симптомы. Луч света, для разума долгожданный, для страха – будто клинок. Я едва сдерживаюсь, чтобы не метнуться в угол. Но рассудок пока в силе – я только прикрываю глаза рукой. Это всего лишь Любен. С корзиной в руках. Он ставит к стене потайной фонарь, отчего каморка обретает свои истинные размеры. Любен не говорит со мной. Даже не смотрит в мою сторону. Старательно сопит и хмурит брови. Исполняет приказ. Сейчас меня нет. Я невидимка. Еще одно напоминание, что моя жизнь – некая условность, которую легко отменить. Нет, ее высочество не пытается меня запугать, не угрожает мне смертью. Она подкрадывается изнутри. Как червь в стволе дерева.

Обед (или ужин), принесенный Любеном, скуден. Мой ангелхранитель, а теперь и тюремщик, дожидается, пока я выпью воды и съем кусок сыра, и тут же все забирает. Мне ничего оставлять нельзя. Ни фонаря, ни кружки. Чтобы не обратил в оружие. Дверь за моим верным соглядатаем захлопывается – и вновь тишина.

Странное это ощущение – нет ничего, кроме самого себя. Глаза слепы, ибо за веками и под веками тьма, в ушах гул собственной крови. Остается ум. Он ничем не занят, ему остается только привычный, изнуряющий бег, вопросы без ответов. Тянет одну ниточку за другой, сплетает цепочки, уводит в прошлое, заглядывает в колодцы, вскрывает старые письма, воскрешает ошибки. Как зеркало, создает отра-

жение. Сводит тебя с ним и заставляет глядеть. Пристально, не отводя взгляда. Изучать, вспоминать и терзаться собственным несовершенством. Я вдруг понимаю, почему люди так боятся тишины. Они боятся этой встречи! Они боятся остаться наедине с собой. Они боятся посмотреть в зеркало. В суматохе, погоне и сутолоке оглянуться некогда. Зеркало, запыленное, стоит у стены. Оно не страшит своим разоблачающим свидетельством, оно погребено под грудой забот. Не прислушаться, не остановиться. Голос души не различим. Его заглушает стук колес.

Глава 17

Своим молчанием и неподвижностью он проводил границу, магическую линию между собой и прочим миром. А там, за чертой, создавал свой собственный мир, лепил его из утраченных надежд и воспоминаний. Клотильда как-то взглянула ему в глаза и ужаснулась. Эти глаза опрокинулись. И там, за фиолетовыми зрачками, была бездна.

* * *

Люди сбиваются в города, а города – это шум. Я всегда слышал этот шум. Париж – это огромная наполненная сухим горохом тыква, которую раскачивает ветер тщеславия. Гремит, не умолкая, и в полночь, и на рассвете. Людские голоса, брань, грохот. Люди занимают себя угрозами или мольбами. А если нет собеседника, то громко стучат каблуками, бряцают оружием, колотят в двери или бросают кости. Только бы изгнать тишину. Не остаться в одиночестве, не увидеть себя. Ибо душа немедленно подставит зеркало, а зеркало предьявит отражение. Это отражение ни припудрить, ни подвести бровей. Это отражение заговорит голосом обделенного любовью сердца, за этим отражением откроется бездна. Бесмыслица, пустота. Там ничего нет, кроме запятнавшей себя преступным деянием души. В аду нет ни котлов, ни сково-

родок, служители сатаны не сдирают мясо с костей грешников. Нет шума и криков. Там тишина. Гнетущая, вечная. Но душа не одна, возле нее отец, и он неумолимо перечисляет грехи. Дойдет до конца списка и начинает сначала. И голос его не заглушить, не прикрикнуть. Тоску не залить вином, не одурманить страстями. Отец будет продолжать.

Меня не пугает тишина. И одиночество мне не в тягость. Но встреча с самим собой не радует. Я, подобно Ионе, оказался в чреве кита, но воля Господа скрыта от меня. Иона – счастливец, он знал о чем молить и в чем каяться. А какой удел выбрать мне? Где моя Ниневия? Если б знать, куда плыть...

Бодрствуя, я слеп, но во сне прозреваю. Во сне мой отец ко мне милостив. Я вижу Мадлен, живую. В моих снах она появляется незнакомкой и проходит мимо, но я не зову ее. Напротив, отпускаю. Она не знает меня. В этом сне я не стану ее убийцей. Это другая дорога, ведущая от перекрестка, на которую я мог бы свернуть, и Мадлен осталась бы жить. Но я сделал неправильный выбор.

Мир – это огромная карта перекрестков. Они повсюду. Человек делает шаг, и тут же ступает на один из них. Куда дальше? Вправо или влево? Идти вперед или повернуть назад? За каждым поворотом иное будущее. Иная судьба. Где был у меня этот перекресток? Когда я увидел Мадлен? Я мог бы отказаться от приглашения Арно и не входить в дом. Нет, свой выбор я сделал позже, когда взял ключ от черного входа.

Мы с Мадлен не говорили друг с другом. Только виделись украдкой. После того как я в первый раз поцеловал ее, я приходил к дому Арно, уже не дожидаясь приглашений. Я знал, что Мадлен с матерью и кормилицей ходит к мессе, и поджидал ее на дороге. Она знала, за каким углом, на какой улице я прячусь, и знала куда смотреть. Иногда я прятался уже в церкви и подглядывал за ними из-за колонны. Мадлен не оборачивалась, но у нее розовела обращенная ко мне щека. Но чаще я приходил под ее окно, выходящее на узкий переулок Часовщиков. Там, напротив, была маленькая ниша, вроде часовенки, с крошечной статуей не то святой Альберты, не то Амальберги из Мобёж. Латинские буквы стерлись, святая пребывала в забвении, и я, похоже, был единственным, кто обращался к ней с молитвой: прятался в этой в нише и ждал. Ждал, когда Мадлен выглянет в окно. Заметив меня, девушка деланно сердилась, хлопала ставней, а затем, приоткрыв, выглядывала снова, тут же хмурила брови, дергала плечиком, но от окна не отходила. Тогда я осмеливался выбраться из укрытия и подойти ближе. Она оставляла створку открытой, а я бросал ей на подоконник букетик фиалок.

Желал ли я чего-то большего? Я помнил, как прикоснулся к ее руке, как первый раз поцеловал. Я помнил, как вдохнул ее запах, прохладный, сдобренный ванилью, аромат свежести, помнил, как от этого запаха у меня чуть закружилась голова и меня охватил странный, пугающий восторг. Грудь

сверх меры наполнилась воздухом, обнаружив пустоты, которые приняли хлынувшую в них радость. Я мгновенно потерял вес и мог бы взлететь, если б захотел. Это было похоже на опьянение. Но ягоды, породившие это вино, созрели не в долине Гаронны, а в мифической долине снов, где обитают призрачные девы. Это не походило на земную страсть. Ее нежная, почти прозрачная кожа, тонкие голубые жилки под ней рождали какую-то щемящую нежность. Я мечтал прикоснуться к ней и в то же время боялся. Боялся надломить, как хрустальную фигурку, оказавшуюся в руках. У меня и в мыслях не было ее соблазнить. Да и как соблазнить цветок?

Мою плоть волновали совсем другие женщины. Там, без участия сердца, действовала сама природа. Помню, как некая вдова просила составить для нее прошение. Оказалась она женщиной цветущей, лет тридцати. Она взирала почти с жалостью на мою юношескую худобу и больше пыталась меня накормить, чем озадачить просьбой. Кожа у нее была цвета загустевших сливок, румянец во всю щеку. И я сразу же ощутил волнение. Почувствовал жар. Я старательно отводил глаза, но слышал, как шумят ее юбки. Слышал ее грудной, низкий голос. Говорила она с придыханием, производя длинные паузы. Я с трудом понимал, чего она от меня хочет, какое прошение я должен составить. Мне мешал ее рот, полный и влажный; ее взгляд, томительный и засасывающе-нежный. Грудь ее поднималась. Когда же она коснулась моей руки, вкладывая в нее монету, награду за труды, у меня в глазах

потемнело. Я выскочил за дверь и бежал, не останавливаясь, до самого дома. В тот же день я признался в своих плотских муках на исповеди. Заикаясь, глотая слова, поведал о грешных мыслях, о своих видениях, об этой щедрой, томящейся плоти, которая, скрытая под корсажем, двигалась и колыхалась. Эта женщина, будто вспаханная, удобренная нива, ждала плодоносного семени. Я терзался стыдом и... сожалением. Отец Мартин, не перебивая, выслушал меня, затем как бы невзначай спросил:

– Сколько, говоришь, у нее было родинок?

Поперхнувшись от неожиданности, я замолк, а он быстро добавил:

– Прочтешь десять раз Confiteor и столько же Anima Cristi.

Покинув исповедальню, он сказал:

– Сынок, Господу угодна радость, а не уныние. Пусть плоть грешна, да Господь милостив.

И, хлопнув меня по плечу, подмигнул.

Вот еще один перекресток. Я выбрал путь служения белокурой деве и отверг пышнотелую Афродиту. На следующий день меня нашла Наннет и вручила мне ключ от черного хода. Глаз кормилица не поднимала, на бледном, изможденном лице – печаль. Позже Мадлен поведала мне, какими ухищрениями, мольбами и просьбами ей удалось вынудить няньку стать ее наперсницей. Девушка грозила ей побегом, даже вещи начала собирать, угрожая немедленно это

сделать. Бедная Наннет не посмела с ней спорить. Она была преданна своей воспитаннице, как вскормившая грудью мать. И, как мать, предчувствовала беду. А я, безумец, ликовал. Мне вручили ключ от рая, мне назвали заветный час. Я не услышал мольбы и не заметил скорби. Я выхватил из слабой руки ключ и поцеловал его.

Как же я был счастлив! Ровно в той же мере, в какой был несчастен теперь. Как я ненавидел того прошлого себя, слепого и глухого от всполохов и громов небесных, дрожащего от нетерпения, холодеющего от страха и все же торжествующего. Я предвкушал. К отцу Мартину я на этот раз не пошел. Знал, что это не тот грех, что искупается дюжиной *Pater noster*. Это юная, непорочная девушка, отрада родителей, в святом заблуждении своем совершающая ошибку. Она не ведала, что творила. Из упрямства, из глупого каприза, желая досадить матери, она настаивала на свидании. И по неопытности своей не предполагала, к чему это свидание может привести. Впрочем, мне это тоже в голову не приходило. Невзирая на презрение к самому себе, прошлому, упрекнуть себя в торжестве соблазителя я не мог. Я был бы счастлив только обнять ее, дышать в ее распавшиеся волосы, робко касаться щеки и затылка. Не более. Я скорее отдал бы свою руку, чем прикоснулся бы этой рукой к ее щиколотке или подвязке. Мне хватило бы поцелуя и мимолетной нежности. В самом начале так и было. Мы не поднимались в ее комнату. Первые наши свидания состоялись в чуланчике у самой две-

ри, под присмотром Наннет. Мы держались за руки и робко целовались. А потом...

Потом я осмелел. Да и Мадлен уверилась, что громы небесные не обрушатся на землю. Обман и непослушание утратили остроту, разговоры шепотком и объятия, которые становились теснее, уже не казались греховными. Да и как эти невинные шалости, эта тихая радость могут быть неуютны Господу? Я целовал ее в шею, в нежную впадинку за правым ухом, а Мадлен, цепenea от собственной дерзости, гладила мою спину. Обнаружив, будто случайно, под сбившейся сорочкой мой тело, тело мужчины, оказавшееся вдруг в такой притягательной близости, она отдернула было пальцы, будто моя кожа ранила ее или обожгла, но минуту спустя она прикоснулась ко мне, удерживая руку в сладком напряжении, будто ребенок, изнывающий от запретного любопытства. Пальчики опускались по очереди, сначала мизинец, затем безымянный, вот уже царапнул ноготком указательный. Она прислушивалась и чего-то ждала. Вероятно, окрика с небес. Опустила всю ладонь, будто ступила на ветхий, шаткий мостик, и тут же зашаталась, вздохнула, точно оказалась над пропастью. Но в следующее мгновение под моей сорочкой была уже ее вторая рука, но уже с опытом своего двойника и бесстрашием воина. Оказалось, что под одеждой у мужчины та же теплая человеческая кожа, ни чешуи, ни шерсти звериной, что исподним своим мужчина схож с христианином и даже приятен на ощупь. Позже она стала совершать

свои вылазки, не задумываясь. Елозила своими ладошками у меня по спине и по груди. Я жмурился и едва не мурлыкал от удовольствия. Это было любопытство, не более. Узнавать меня, исследовать означало приблизиться к тайне. Эту тайну знали все вокруг, но ее от этой тайны оберегали. Как же это несправедливо! Она чувствовала себя обделенной. Все казались приобщенными, а ее изгнали. Будто она еще ребенок. А она не ребенок. Она взрослая девушка. И она желает знать, что они все от нее скрывают. Там великий грех и великий восторг, гибель и спасение. Как тут устоять? Я так же как и она был гоним нетерпением. Еще более жгучим и опасным. Ей было всего лишь любопытно, меня же терзала страсть. В неведении своем она касалась моего тела, не подозревая, каким мукам меня подвергает. Я едва сдерживался от подступающего безумства и каждый раз мысленно давал себе клятву уйти от греха, бежать и больше не возвращаться. Но уже на мосту, успокоившись и глотнув тумана над Сеной, я забывал свои клятвы.

В первых числах октября Наннет подвернула ногу. Она не смогла спуститься вместе с воспитанницей, и Мадлен оказалась у черной двери одна. Сначала все шло как обычно. Мадлен шалила и терлась об меня, как котенок. Прижавшись горячей щекой, отчего у меня в глазах потемнело, она слушала, как бьется мое сердце. Ближе к полуночи я должен был уйти. Оторвать ее от себя, как пропитанный бальзамом бинт от раны, и снова укорить себя в слабости. Но она меня останови-

ла. Оказалось, что накануне ночью на Медвежьей улице нашли труп ограбленного прохожего. Да и в предшествующие ночи раздавались крики о помощи и звон клинков. Мадлен призналась, что часто не может уснуть, терзаемая тревогой. Представляла, как я возвращаюсь на Левый берег совершенно один. Я объяснил ей, что не являюсь для грабителей такой уж притягательной добычей, ибо у меня ничего нет. Но она не сдавалась. В присутствии Наннет ей стыдно было в этом признаться, но сегодня она не намерена меня отпускать. В доме давно все спят, и мы можем осторожно подняться к ней. А на рассвете я могу выбраться через окно на соседнюю крышу. Оттуда есть выход через чердак. Соседний дом сдавался внаем, и лестница, которой пользовались жильцы, была общей. Я могу спуститься по ней и выйти на улицу. Никто меня не увидит.

И я согласился.

Когда мы вошли в комнату, на цыпочках, затаив дыхание, я понял, что это случится. Мадлен сделала несколько быстрых шагов, будто порывалась бежать, и тут же обернулась ко мне. Я поднялся к ней впервые и пытался что-то заметить, разглядеть. Масляный ночник в углу. Рядом с ним корзинка с рукоделием. Низкий табурет, ларь у стены. Ворох аккуратно сложенной одежды. Слева – узкая девичья кровать. Над ней – распятие. У изголовья раскрашенная фигурка Мадонны, и тут же глиняный горшок с геранью. У противоположной стены крошечный буфет, на нем вышитая салфетка. И

три фаянсовые тарелки, выставленные в ряд. Я помню наивный, грубоватый рисунок по краю этих трех тарелок. Насыщенная лазурь с золотым вкраплением, жирные, по-змеиному изогнутые стебли. Молитвенник, обрывок тесьмы и старый костяной гребень. Я заметил, что в комнате нет зеркала. Мать объявила этот предмет орудием дьявола и вместо зеркала повесила на стену гравюру голландского мастера Саделера «Страшный суд». Рыдающие грешники в долине Иосафата и реющая над ними черная скала с престолом судии. Вероятно, другого места для этой гравюры в доме не нашлось. Будто вздетый перст над головой. Но я сразу забыл о нем, едва лишь отвел взгляд, а привычная к черно-белым угрозам Мадлен и вовсе не оглянулась.

Она, нежная, растерянная, стояла посреди комнаты. Золотистый свет стекал по ее щеке, по плечу, по брошенной, словно обессилившей руке, по матерчатому склону ее шерстяной юбки. Она смотрела на меня со страхом и ожиданием. Понимала, что преступает некий закон, слышит материнский голос, но воспротивиться судьбе не в силах. Она тоже ступила на перекресток и должна была сделать шаг. По доброй воле или по велению рока? Кто знает. Есть ли у нас выбор? Возможно, это только обман, дарованный нам в утешение, а на деле выбора нет, все решено.

Я приблизился и впервые за все наши свидания стянул с ее головы чепец. Всегда мечтал это сделать. Этот чепец, громыхая кружевом, вечно сползал ей на лоб, и она выглядыва-

ла из-под него, как выглядывает из-за лопуха укрывшийся за ним щенок. Волосы были туго подобраны и укрыты под ним, как в сокровищнице. Я видел их только издалека, когда стоял на улице, пытаясь заглянуть в окно, а она опиралась о подоконник. Великим счастьем было сунуть палец под крахмальный обод и тронуть ненароком плененную поросль. Я мечтал найти тот виденный мной однажды локон, сейчас неуловимый среди собратьев. И когда волосы рассыпались по плечам, а Мадлен радостно тряхнула головой, я подался вперед, чтобы схватить беглеца. Но меня опередил свет. Масляный заморыш, швыряя красноватые блики, уже плескался и тонул в тяжелой распавшейся косе. Тогда я взял верх над ним по-другому. Он мог только созерцать, а мне дана была радость действовать. Я бережно откинул волосы с ее лба. Наконец ее глаза были так близко, без страха и нависшего над ними забрала из серых кружев. Я поцеловал эти глаза, но поцеловал по-другому, не так, как целовал прежде, внизу у двери, с благолепием школьника. Я впервые поцеловал ее, как мужчина, с мольбой и призывом. Я звал ее и требовал ответа. До этого поцелуя она еще могла отступить, могла обратить это свидание в шутку, но после него выбор был сделан. Она приподнялась на цыпочки и подставила лицо в знак молчаливого согласия. Ей достаточно было качнуть головой, выдохнуть «нет», и я бы ее услышал...

Я держал в ладонях худенькое, обращенное ко мне личико полуженщины-полуревбенка. Я будто удивлялся тому, что

она есть, что я осязаю ее присутствие и даже слышу дыхание. Потом мои руки скользнули по ее плечам, дивясь их неправдоподобной хрупкости, задели выставленный локоть, сжали запястья. Я чувствовал себя счастливым и неловким, будто великан, допущенный в эльфийский город. Вокруг хрустальные башенки и цветочные балюстрады, которым я одним своим движением могу навредить. А коснуться ее груди, развязать шнуры на корсаже было все равно что топтаться огромными, пыльными башмаками в стеклянном храме. Я ждал, что Мадлен вскрикнет и оттолкнет меня. Но она точно так же стала распутывать шнурок на моей сорочке. Я потянул ее платье вниз, и она, вторя мне, потянула вниз мою куртку. Я увидел ее грудь, два трогательных комочка с пыльными сосками, и был заворожен этим зрелищем. Мадлен тут же стыдливо заслонила от меня руками, а я, опустившись на колени, целовал эти скрещенные руки, впалый живот под ними и, наконец, мягкое приоткрывшееся мне полукружье. Она вдруг ослабила руки и крепко обняла меня за шею, будто окончательно решила. А потом я увидел ее всю, худенькую и беззащитную, и задохнулся от жалости и желания. Хотел немедленно бежать, ибо ощутил себя варваром. Под бледной кожей проступали птичьи ребрышки, выпирали ключицы, а колени были острые и сухие. Я опустил ее на узкую кровать прямо поверх сшитого из разноцветных лоскутков покрывала. Очень боялся ей навредить. Мне казалось, что в моих объятиях у нее непременно треснут кости, а

под моей тяжестью она и вовсе задохнется, но она протянула ко мне руки.

– Холодно, – сказала Мадлен.

Потом она плакала, прижавшись ко мне, а я готов был вопить от восторга и в то же время молить о прощении. Поцелуи были упоительно-нежными и солеными. Отныне наши судьбы стали единым целым, мы не могли их изменить, ибо Мария уже существовала. Она родится ровно через девять месяцев и определит все, что случится с нами.

Глава 18

Когда-то ей было скучно, и она пожелала разнообразия. Она забыла, что сладость всегда сопровождается горечью, а блаженство – страданием. Одно не существует без другого, как свет и тьма. Она познала блаженство, познала саму страсть, ее трепет и обжигающий восторг. Но вместе с тем она познала унижение, стыд и ярость. На великодушные ей ответили черной неблагодарностью, на щедрость – пренебрежением. Она совершила почти невозможное – она переступила через сословную гордость и протянула руку существу низшего порядка. Она вознесла это существо на невиданные прежде высоты, извлекла из нищеты. И что же взамен? Плевок, пощечина. Вот чем обернулось ее неосторожное любопытство, ее игра в жизнь. Боль, невыносимая боль. Но есть средство с этим покончить. Раненый солдат готов вытерпеть нож хирурга, занесенный над раздробленной конечностью, чтобы прекратить страдания и спасти жизнь. Перетерпеть, провалившись в небытие, пока пила кромсает кость, а затем жить, уже не тревожась о ране. Почему бы ей не поступить точно так же? Послать палача. И все будет кончено.



Я больше не вижу света. Я слышу только голос. Той радости и любовного торжества, что владели мной, упоенным, я уже не помню. Они истерлись, как щегольские башмаки на горной дороге, и осталась только вина.

Я погубил ее своим беспечным, равнодушным порывом.

А позже, когда Мадлен уже стала моей женой, разве я не был с нею груб? Она столкнулась с тем миром, о котором прежде ничего не знала. Родительский дом оберегал ее, как приграничная крепость. Она пряталась за его стены, и вдруг эти стены рухнули. Грязный поток тут же закрутил и унес. Ей пришлось учиться плавать, барахтаться, как слепому щенку. Вокруг было множество лиц, и далеко не все они были озарены улыбкой. Пловцы опытные, но мало кто из них торопился на помощь. На нее смотрели свысока, с опаской, с презрением. Ее пытались обмануть и облапить. Ее толкали и унижали. Даже я временами становился опасен.

Одно из самых мучительных воспоминаний! Я позволил себе недовольство и грубость. Раздраженный, едва живой после изматывающих сентенций профессора Граффе и последовавшей за ними хирургической фантазмагии, я обнаружил, что приготовленный Мадлен ужин несъедобен. Соус безвкусен, а бобы полусырые. В тот день это стало последней каплей. Я был так голоден и зол, что напрасно было бы вызы-

вать к христианскому милосердию и смирению. Сосуд моей души был пуст, как иссохший колодец. Вместо воды – горькая, мертвая пыль. Я швырнул ложку на стол, сказал ей что-то обидное и шагнул к двери. Господи, какие у нее были глаза... Как она смотрела на меня! Она вся сжалась, плечико задергалось. Я увидел, что под веками уже блестят слезы, и это окончательно вывело меня из равновесия. Я кричал на нее. На нее, носившую под сердцем моего ребенка... На нее, хрупкую, маленькую, доверчивую женщину. И она верила в свою вину. Она не спорила. Вместо того чтобы запустить в меня этой ложкой, она склонила голову, и руки ее упали. Глаза запавшие, носик заострился. Мадлен была на восьмом месяце беременности.

На улице я замерз и быстро успокоился. Вернулся, просил прощения, был, разумеется, прощен. Да что толку... Сказанное и содеянное уже не исправишь. Напрасно полагают самоуверенные невежды, что брошенное мимоходом слово – лишь колебание воздуха и движение горла. Это не так. Слово – не звук, слово – это обрывок души. Это крошечное, но очень действенное послание, бальзам или яд. Память непременно сохранит его и упрячет в закрома, туда, где, недоступное разуму, оно будет храниться и окрашивать последующие радости и надежды в свой цвет. Слово – это первообраз, словом Господь создал Вселенную. Человек, сотворенный по образу и подобию, обладает той же преобразующей силой. Ругательство или похвала – это своеобразное заклин-

вание, которое мы обращаем к ближнему. Дурным словом мы обращаем его в нечто грязное, ущербное, а добрым возводим до ангела. Особенно быстро это превращение происходит с теми, кто нас любит. Их не спасает магический круг сомнений, и волшебство действует быстро, разрушительно и неумолимо. Особенно уязвимы дети. Они – будто глина в руках мастера. Если мастер талантлив и движем любовью, выходящие из его рук фигурки изящны и правильны. А если мастер бездарен и убог сердцем да еще пьян, с его круга сойдут злобные, горбатые карлики.

Я вспоминаю и другие события, прощенные, незначительные, которые извлекаю теперь, как кости из могилы. Я оправдывался тем, что должен учиться, должен больше времени проводить со своим наставником, должен искать заработок, а Мадлен оставалась одна. У нее никого не было, кроме меня. Я был единственным, кто мог бы ее утешить, кто в этом грязном, захлестывающем потоке мог протянуть ей руку. Но я уходил. Она провожала меня тоскливым взглядом, не смея возразить. Ведь я был прав. Я во всем был прав. Я не говорил ей того, что мог бы сказать. Я торопился. Был занят. Или раздражен. Или зол. Я откладывал до утра, до следующего года, до лучших времен. Я думал, что времени у меня много, что я успею. Но не успел. И какое ей теперь дело до моих мук?

Воспоминания не оставляют меня. Я пытаюсь гнать их, уворачиваюсь, но они наступают стремительно, гулко. Когда

же это кончится? Выпустите меня! Я не могу больше, не могу. Но заключение длится. Еду мне приносит не Любен, а незнакомый лакей. Я задаю вопросы, но он не отвечает. Ему запрещено со мной говорить. Потому что я должен быть лишен всего. Цвета, звука и голоса. Со мной только мои мысли. Ее высочество поступает мудро. Зачем утомлять палачей? Их роль я выполню сам. А мысли кружат, вспархивают и опадают, будто мертвые бабочки. Им не за что ухватиться. Ни благословенного цветка, ни сломанной ветки. И тогда они цепляются за меня самого, снова уводя в прошлое. А в будущем ничего – ни мечты, ни надежды. Даже меня самого там нет.

С голосом чтеца я пытаюсь бороться другими воспоминаниями. Я начинаю вспоминать все, что читал когда-то или зубрил наизусть. Гомер, Овидий, Марк Аврелий... Я даже произношу вполголоса стансы и афоризмы. С их помощью я отгоняю в сторону своих жену и дочь. Я, как преступник, прячусь в толпе, втягиваю голову в плечи. Но это так же действительно, как прятать голову в песок или притворяться невидимым. Как узник день и ночь выстукивает шаткий камень, так и я все думы свожу к судьбе моей девочки. Сквозь мечи и копья ахейя³⁵ я вижу ту несчастную, преданную огню птицу. Я не смог ее оживить. Не смог научить летать.

Стоп! Птица... С нее все началось. Герцогиня вошла, обнаружила в моих руках это пародийное устройство и обезу-

³⁵ Одно из древнегреческих племен. Упоминаются в «Илиаде» Гомера.

мела. Что ее так поразило? Что испугало? Ах, глупец! Ну конечно же. Я был близок к разгадке, когда предположил, что причина ее ярости –

ревность. Она ревнует, да ревнует, но не к тем любопытствующим дамам, что глазели на меня в Лувре. Она ревнует меня к дочери. Вот в чем разгадка. Как все просто! Она поступилась своей гордостью, инициировав на вступление в мир равных, а я, слепец, вместо того чтобы пасть к ее ногам и благодарить за оказанную милость схватился за деревянных уродцев. Негодяй!

Когда за мной приходит Любен, снимает с меня оковы и помогает подняться, я готов его оттолкнуть. Это неприятное, ненужное беспокойство. И свет ранит глаза. И шумно. Все вокруг грохочет, звенит, ухает. И голоса – как трубы судного дня. Я похож на потревоженную личинку, которую выворотил из земли невежа садовник. У личинки нет ни крыльев, ни панциря. Только скользкое округлое тельце. Она слабо шевелится, сонная и беспомощная. Она хочет назад, в темную, безопасную подземную нору. Верните ее обратно. Дайте ей покоя. Пусть сон обратится в смерть. Жизнь – это слишком больно.

Часть третья

Глава 1

Герцогиня не любила осень и ненавидела зиму. Эти времена года казались ей мрачным предзнаменованием будущего. Природа ежегодно посылает беззаботному роду человеческому судебное предписание. Взгляни на эти желтеющие, отмирающие листья, смертный. Разве не видишь ты в том пугающее сходство? Вот так же бездумно, бессмысленно плясали они на ветру, не помышляя о будущем. Вот так же свежи и упруги были их тела в сеточке прозрачных жилок со сладким соком. Вот так же, не считая, растрачивали они свои дни. И что же их ждет? Они вянут. Покрываются пятнами, желтеют, сохнут. Вот так же пожелтеет, иссохнет, потрескается и твоя кожа, смертный. Твои суставы так же скрючатся и покоробятся. Кости станут ломкими и пустыми. И тот сладкий, живительный сок, что натягивал твои жилы, иссякнет. Вместо упругой кровяной струи он будет сочиться густыми багровыми каплями, чтобы окончательно загустеть и остыть. А потом придет зима. Всадник на коне бледном. Имя тому всаднику Смерть. Холодный ветер сорвет мертвые хрустящие листья с веток, швырнет их на землю, под копыта всаднику, и тот бу-

дет сгрести их в свой бездонный мешок, чтобы опрокинуть этот мешок во вселенскую бездну, где от них не останется даже пепла. Иногда ей казалось, что пресловутые всадники, напророченные безумным Иоанном, давно уже скачут по земле. Это четыре времени года. Всадник на белом коне, именуемый Завоевателем, – это весна. Весна взламывает лед, изгоняет ночь, пробуждает землю, дарует надежду. Именно так – надежду. Ирине́й Лионский³⁶ признал в этом всаднике Спасителя. Он несет Благою весть и дарует надежду всем страждущим. Весна – это возрождение, спасение, ожидание, новая жизнь, символическое младенчество. Чистый белый лист, который готов принять первые прекрасные письма. Всадник на белом коне шествует, забрасывая глупцов белыми цветами. Ему верят. Что-то случится. Что-то произойдет, что-то изменится к лучшему. За ним следует всадник на коне огненном, красном. Лето. Этого всадника с мечом в руке называют Война. При чем же здесь благодатное лето? Но войны предпочтительней начинать летом. Лето своим красным солнечным восходом легко воспламеняет кровь. Папа Урбан провозгласил первый крестовый поход в августе. Августовская ночь св. Варфо-

³⁶ Ирине́й Лионский (древнегреч. Εἰρηναῖος Λουγδοῦνου; лат. Irenaeus Lugdunensis, ок. 130 года, Смирна, Азия, Римская империя – 202, Лугдунум, Лугдунская Галлия, Римская империя) – один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II века и апологет, второй епископ Лиона. Принадлежал к малоазийской богословской школе. Его сочинения способствовали формированию учения раннего христианства

ломея обгагрилась кровью еретиков. Лето своим разлагающим теплом влечет скучающих сеньоров взяться за оружие. Лето проливает кровь. Всадника на черном коне ошибочно называют Голод. По той лишь причине, что скакун вороной! А всадник возвещает цены на ячмень и пшеницу. Что он там трубит? Три хиникса³⁷ ячменя за динарий. Черный цвет коня богословы принимают за метку смерти. Но черный – это цвет ночи, под покровом которой заключаются сделки. Осень – время сбора урожая и торговли. Собранный урожай необходимо продать с наибольшей выгодой. Осень – время возврата долгов. Черный час разоренного должника. Осень – время, когда надежда умирает, когда поданный весной знак оказывается пустой, ничего не значащей меткой. Конь всадника черен, как бесконечная ноябрьская беззвездная ночь. Осень – время меланхолии и печали. И четвертый всадник – Зима. Смерть. Конь бледный. Земля в грязном снежном саване. «И дана ему власть... умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными»³⁸. Эти четыре всадника скачут, сменяя друг друга, а смертные ждут, когда ангел снимет печати. Но всадники давно здесь, давно их кони топчут жухлую траву и выбеленные кости. Эти всадники с мерой весов и мечами разделяют на четверти жизнь каждого смертного, дарую сначала ослепительную надежду, затем огненную ярость желаний, за ними черную мелан-

³⁷ Хиникс – греческое обозначение меры сыпучих тел, равное примерно 1 л.

³⁸ Откровение Иоанна Богослова 6:8.

холою и в конце концов смерть.

* * *

Листья за окном меняют свой цвет. Желтеют, умирают, вновь восстают из почек, буйно зеленеют и вянут. В который раз я свидетельствую их смерть? Не помню. Замечаю только эту красно-желтую рябь за окном. Снова осень. Скоро в парке останутся одни древесные кости. А зима, будто стыдась открывшегося погоста, поспешно укроет их останки саваном. Это будет уже третья зима.

Я отхожу от окна, оглядываюсь. Мария сидит за маленьким столиком, который для нее сколотил дворцовый плотник, и сосредоточенно водит по бумаге угольным карандашом. Перед ней толстая старинная книга. Это украшенный миниатюрами роман Кретьена де Труа «Ланселот». Мария долго, затаив дыхание, изучала картинки, которые добросовестный издатель поместил почти на каждой странице, затем, очарованная, взялась за карандаш сама. Ничего удивительного. Миниатюры в этом старинном издании замечательные, яркие, со множеством деталей. Изображения рыцарей, пустившихся на поиски Грааля, не особо тронули девочку, а вот портреты королевы Гвиневеры и дамы Озера, леди Вивиан, задержали ее взгляд надолго. Наконец решившись, Мария собственной рукой попыталась перенести портрет прекрасной дамы на бумагу. Платье треугольником, а го-

лова – разгневанный еж. Мария склоняет голову, переводит взгляд с копии на оригинал и явно недоумевает. Непохоже. Что-то не так. Что-то она упустила. Но вот что? Я наблюдаю за ней, сдерживая улыбку.

Как она выросла! Ей скоро пять. Она бегает, болтает без умолку и даже знает две буквы «о» и «а». Она нашла их в той же книге. Каждая глава рыцарских приключений начинается с огромного инициала, который щедро удобрен листьями и плодами. Буквы «о» и «а» были особенно запоминающимися (низ их был утяжелен примостившимся амуром, а верх подчеркнут головой дракона), отчего Мария, сраженная этой безвкусицей, принялась отыскивать это громоздкое сооружение в начале всех последующих глав. Затем, потребовав, чтобы я эти буквы озвучил, повторила за мной, произнеся гласные на разные лады, от писка до басовитого рыка, после чего радостно обнаружила целую россыпь этих букв в тексте.

Сегодня она провела со мной почти целый день. Такое случалось нечасто, но все же выпадало, как белый шар после череды черных. Результат возобладовавшего равновесия.

Глава 2

«Stultum imperare reliquis, qui nescit sibi»³⁹. Клотильда с раздражением захлопнула книгу. Кто положил на стол этот сборник латинских сентенций? Бывший раб, поэт-комедиант, разъезжавший по окрестностям Рима в жалкой повозке, давая представления, давно умерший, истлевший, смеялся над ней. Он тыкал в нее пальцем и сыпал своими нравоучениями в ответ на ее молчаливую досаду. Эту шутку с книгой могла сыграть Анастаси. Это в ее манере, прибегнуть к помощи такого посредника, как мертвый латинянин, предпочитая самой в спор не вступать. Влекомая странным любопытством, будто ребенок, преодолевающий страх перед шорохом в темноте, герцогиня вновь раскрыла книгу желая не то смягчения, не то усугубления приговора. «Minus est quam servum dominus qui servos timet»⁴⁰.

* * *

После приступа ревности, который я разгадал и за который заплатил своим пребыванием в могиле, герцогиня запретила мне даже думать о дочери. Мягким, бесцветным го-

³⁹ «Безумен тот, кто, повелевая другими, не умеет повелевать собой».

⁴⁰ «Страшась рабов, хозяин сам пред ними раб».

лосом она возвестила, что все эти дни она так же предавалась раздумьям и пришла к выводу, что дерзость моя переходит всякие границы, что попустительством моим капризам более невозможно и что на этот раз она лишает меня права на свидания. Я тогда ей ничего не ответил, ибо был слишком подавлен. Даже смысл ее слов уловил с трудом. Мир внешний был еще чужд для меня. Я утратил с ним всякую связь и не воспринимал его как осязаемую реальность. Это была плоская, наспех сработанная картина. Она существовала отдельно и жила своей жизнью. Я взирал на эту картину, как прозревший слепой, который от обрушившегося на него избытка света лишился рассудка. Я все еще пребывал где-то снаружи, незадействованный и только смутно узнавал место, где находился. Вокруг все заострилось, приобрело режущие и колющие грани. Ярче стали цвета, усилились запахи, а когда вечером герцогиня прикоснулась ко мне с той хозяйской непринужденностью, с какой делала это всегда, не утруждая себя лаской, во мне внезапно вспыхнула ярость. Почему эта женщина позволяет себе такую бесцеремонность? Я не хочу ее! Не хочу! Все мое тело беззвучно протестовало. Каждый волосок, каждая жилка. Но сам я при этом молчал, подавляя внутренний звенящий крик. Разумом я понимал, что правила давно установлены, что делает она то, что делала уже не один раз, и даже с моим молчаливым пособничеством, но кожа моя, похоже, за эти дни без света так истончилась, что нервы проступили наружу. Я вдруг ясно осознал присутству-

ющий во мне черный, животный ужас, преследующий грешника. Непрощенный, проклятый! Все грехи, все преступления, все соблазны будто разом воплотились во мне одном, и я был терзаем одновременно тысячью палачей и насильников. Почему это случилось? Я уже давно смирился, давно уже принял эту близость, как обязательство, которое исполнял почти машинально. Почему же произошло это дикое отторжение? Господи, одному Тебе известно, чего мне стоило сдержаться и не оттолкнуть ее. Я кусал губы и чувствовал на языке вкус крови. Я ненавидел свое тело за его податливость и покорность, за его всеядность, за неистощимую силу. Я мог корчиться от осознания греха и предательства, а оно с животным прямодушием наслаждалось. Мою душу снова и снова вырывали из тела, тащили клещами, дробили в куски. Я слышал взывающие ко мне голоса, видел Мадлен, простирающую ко мне руки, проваливался в бездну и там оставался лежать раздавленным, опустошенным, в луже пота.

Именно тогда я и задумал бежать. Мне было уже все равно. О будущем я не думал. Знал, что больше не вынесу. Не было плана, денег, друзей. Был порыв отчаяния. Я был одержим единственной мыслью – бежать. Бежать! Дождавшись, когда Любен спуститься на кухню, я взял его плащ и просто вышел за дверь. Такой дерзости никто не ожидал, и потому хватились меня не сразу. Я совершенно не знал окрестностей, ибо ни разу не покидал замка, прятался, но держался ближе к дороге. Переночевал в лесу. Видел башни Венсенн-

ского замка, хотел идти в ту сторону, но не решился. Это был королевский замок. Мог ли я там просить помощи? Я совершенно не отдавал отчета в своих действиях, шел куда глаза глядят, и меня очень быстро схватили. Связали по рукам и ногам, перекинули через седло и привезли обратно. Я ожидал наказания, побоев, но моя выходка только позабавила герцогиню. Она рассмеялась и приказала получше за мной смотреть. Наказание понес Любен, которого высекли на конюшне. В последующие дни мне было мучительно стыдно на него смотреть. Я предпочел бы, чтобы высекли меня, но ее высочество запретила портить мою драгоценную шкуру. Однако, несмотря на угрызения совести, через месяц я повторил попытку.

Близость с герцогиней по-прежнему внушала мне ужас. Этот ужас даже усилился. Мне стало казаться, что ее жадная плоть поглощает меня, пожирает, и я растворяюсь в ней, как в огромном желудке. Я был подобен узнику, который брошен в цепях на дно колодца. Вода в этом колодце проступает сквозь камни, поднимается выше. Несчастный бьется, кричит, а вода уже заливает глаза и рот. Я тоже дергался и кричал, но она принимала эти судороги за восторг, и даже выражала восхищение тому, что я так страстен. Любен согласно приказу не оставлял меня ни на минуту. И мне пришлось пойти еще дальше. Попросил подать мне книгу с полки, а когда он повернулся ко мне спиной, ударил его каминными щипцами. Я не хотел его убивать и даже рану боялся нане-

сти, поэтому завернул щипцы в полу плаща, чтобы смягчить удар. Он был оглушен и на несколько минут лишился чувств. Я связал его своим шарфом и заткнул рот, позаботившись, чтобы он мог дышать.

«Прости меня, Любен», – шепнул я на прощание, вытаскивая из-за шкафа заранее припасенную ливрею, с которой я содрал серебряные галуны и спорол вышивку. Я стащил эту ливрею у прачки, заморочив бедной женщине голову. Что тоже служило причиной моих покаянных страданий.

На этот раз я действовал более осмотрительно и даже выбрал подходящий момент. Спрятал волосы под круглой, войлочной шляпой, накинул потертый шерстяной плащ и напялил грубые лакейские башмаки. Из замка вышел с толпой галдящих работников, которых нанимали в ближайшей деревне для уборки конюшен, а также очистки пруда от скользких водорослей. У меня было даже немного денег, несколько монет, выпрошенных у герцогини якобы для раздачи милостыни. Этими деньгами я намеревался заплатить за проезд какому-нибудь крестьянину с повозкой, чтобы добраться до Парижа. Но меня схватили прежде, чем я отыскал Оэту повозку. Оказалось, что меня узнал кто-то работников, видевших меня прежде. Он заглянул под мою войлочную шляпу, вернулся и навел справки. В награду за бдительность он получил два ливра. Герцогиня больше не смеялась. Ее даже не позабавил мой наряд. Она разглядывала меня с настороженным интересом. Единственное, о чем я просил ее, так это

не наказывать Любена, ибо вся вина целиком лежит на мне. Я во всем виноват и сам готов понести наказание. Герцогиня кивнула. Меня отвели вниз и на несколько часов подвесили за руки. Оливье потом довольно долго лечил мои изодранные запястья. Герцогиня была явно озадачена. По прошествии года она уже не ожидала бунта. Тем более, что я ни в чем другом не выказывал недовольства, по-прежнему был исполнителен и покорен. И вдруг без требований и условий сорвался в бег. Ее это и тревожило, и забавляло. Я одновременно пугал и развлекал ее, как развлекает кошку бесстрашная мышь.

Была и третья попытка, театральная, в которой я выступил как наемный актер. Как выяснилось позже, побег был инициирован самой герцогиней. Вернее, спровоцирован. Ей понадобилось провести опыт – совершу ли я побег в третий раз. После моей второй попытки меня стерегли уже два лакея, двери держали запертыми, а на прогулку и вовсе не выпускали. Затем строгий надзор стал как-то смягчаться. Сначала перестали запира́ть дверь, позволили выходить, а затем и вовсе разрешили прогулки. Оливье настоял, для улучшения цвета лица и аппетита. Уж слишком я был бледен. Более того, герцогиня подарила мне лошадь.

Это был спокойный нравом шестилетний жеребец-фриз. Верховом мне ездить не приходилось, я готов был отказаться от подарка, но передумал. Эта странная поблажка неожиданно разорвала круг изнуряющей скуки. Жеребец так доверчи-

во тыкался мягкими губами в ладонь, так бережно брал угощение, что я почувствовал в груди давно изгнанное щемящее тепло. И глаза у него были большие и грустные. Он всегда оглядывался и косил фиолетовым зрачком, дивясь моей неловкости. А я боялся лишней раз тронуть его шенкелем или натянуть повод. Вот на этом добродушном, шелковистом фризе я и уехал в третий раз, не подозревая о том, что это была подстроенная ловушка.

Случилось это так. Я довольно быстро научился сносно держаться в седле и уже бодро рысил по кругу. Конюх придерживал коня на длинном корде. Но однажды, когда я сел в седло, меня не загнали, как обычно, в огороженный манеж, а выпустили в парк. Ветер ударил мне в лицо, я вдохнул его вместе с солнцем и на минуту, пока мой фриз переходил с рыси на галоп, позабыл все ужасы прошлой и предстоящей ночи. Я был свободен! Мой фриз дружелюбно мне подчинялся, а я удивлялся его силе и чуткости. Это и сыграло со мной злую шутку. Я поверил в то, что свободен, поверил в то, что весь мир, подобно этому фризу, стал моим союзником и непременно мне подыграет, если мне вздумается изменить хронологию событий, ведь мы так отлично с ним ладим. Несколько дней спустя, так же как в две предыдущие попытки, не удосужившись обзавестись четким планом, я свернул с парковой аллеи и понесся через поля к Венсеннскому лесу. Я слышал за спиной крики, но погони почему-то не было. Однако я все же предпринял попытку запутать следы, пет-

ляя по звериным тропам. Только к вечеру мы выбрались на дорогу и помчались в Париж. Те часы, что я провел в пути, отдаваясь бешеной скачке, я чувствовал себя совершенно счастливым. Ночь была светлая, лунная, небо растеклось безбрежным морем над головой, звезды мерцали, будто прозрачные камешки на дне священного родника. Ветер бил в лицо, размеренно стучали копыта. Несколько раз я придерживал фриза, переходя на рысь, но он сам, давно уже скучая в манеже, рвался вперед. Меня никто не преследовал, но у ворот Сент-Антуан меня ждали. Насмешливо улыбаясь, ее высочество призналась, что она ничем не рисковала, позволив мне эту маленькую прогулку. Я не сверну с Венсеннской дороги. Я поеду к дочери.

Когда меня, избитого, растерзанного, бросили к ее ногам, она наклонилась и тихо спросила:

– Ты знаешь, что делают с беглыми каторжниками? Им на лбу выжигают две буквы, БК. И они носят этот знак до конца своей жизни. Чтобы все видели и знали, кто они и за что наказаны. Ты тоже будешь носить знак, но другой. Государственных преступников клеймят цветком лилии, а ты получишь от меня имя. Римские рабы носили железные кольца с именами своих хозяев. Но кольцо можно снять, а ты свою отметину будешь носить вечно.

Она взмахнула рукой, и справа от меня что-то вспыхнуло, задвигалось. Я в ужасе отшатнулся. Это были две раскаленные докрасна переплетенные буквы: КА. Инициалы. Кло-

тильда Ангулемская. В углу комнаты стояла жаровня с пылающими углями. Эти две буквы на длинном штыре только что плавилась в этом огненном мареве, а теперь они двигались ко мне. Я сделал попытку вскочить, но меня схватили и повалили. Прижали к полу трое здоровенных лакеев. Откуда-то издалека донесся повелительный голос герцогини:

– Не сломайте ему ребра.

Мне показалось еще, что где-то рядом Анастази, уговаривает, угрожает. Но затем раскаленное железо впилось мне в плечо. Шипение и запах горелого мяса. Я задохнулся от боли, крик застрял в груди и обратился в хрип. Я ловил ртом воздух, не зная, как вдохнуть. А потом дурнота и спасительный обморок.

Очнулся я уже в своей комнате. Рядом возился Любен. Открыв глаза, сразу застонал от боли. Ломило обожженное плечо, и дико болела голова. Оливье дал мне макового настоя, но боль не утихала. Голова, казалось, увеличилась в размерах и обратилась в пылающий шар. Боль продолжалась и утром, и на следующий день. Оливье сказал, что это мигрень. И приступ будет длиться долго. Мне нужна тишина и полный покой. Пришлось прятаться в темноте, ибо свет вызывал такой удар боли, что я почти терял сознание. Есть я тоже не мог, ибо любой проглоченный кусок вызывал неукротимую рвоту. Я затыкал уши, но любой шум все равно отзывался мучительным эхом. Лишенный пищи и света, я медленно угасал. Что происходило за пределами этого клубка

боли, я не ведал. А происходило вот что. Герцогиня вновь испугалась. Она могла заклеить меня, могла заковать в цепи, но права на смерть она лишить меня не могла. Я вновь умираю, а этот побег при всем ее могуществе ей не удастся предотвратить. Здесь несокрушимая цитадель власти сыпалась, как карточный домик. Не было в ее арсенале средств, чтобы заставить меня жить. Она могла либо поспособствовать моей смерти либо... уступить. И она уступила.

Через несколько дней боли стихли, я смог слышать и видеть. Анастаси, которая уже давно сидела рядом, не отпуская моей руки, тихо сказала, что немедленно отвезет меня к дочери. В ответ я попытался ей улыбнуться. Перемирие длится уже полтора года. Герцогиня не препятствует моим свиданиям с дочерью, а я не пытаюсь бежать. Установившийся паритет ее, кажется, вполне устраивает, и она даже высказывает сожаление по поводу своей гневливости и моей попорченной skóry. Но сделанного не воротишь, и на моем плече теперь красуется ее имя, знак владельца.

Глава 3

Герцогиня взирала на зрелище увядания со странным смирением. Эти оборванные лепестки, попираемые детской ножкой, представлялись ей частью жертвы, которую она принесла, медной мелочью, рассыпанной по мостовой. Эта девочка одержала над ней победу, одержала без армии и осады. Она вступила в пределы замка, откуда некогда была изгнана, совладелицей этой покорившейся крепости. Она уже не оглядывается со страхом, а выступает, как полномочная наследница. Герцогиня коротко вздохнула. Теперь ее участь, как свергнутого императора, чья власть обратилась в формальность, наблюдать, как удачливый узурпатор прибирает к рукам утерянное могущество и слушать, как эта девчонка, дочь умершей соперницы, звонко, торжествующе смеется.

* * *

Мария хнычет и выпячивает губку. Смотрит на меня с требовательной обидой. Ну что ты стоишь? Почему бездействишь? – будто спрашивает она. Ты же видишь, у меня не получается. Где оно, твое взрослое могущество, твое всеилие бога? Пришло время явить его.

– Давай вместе попробуем, – говорю я, опускаясь у ее ку-

кольного столика на колени. – Возьми новый лист и будем снова рисовать. Кто тебе больше нравится? Фея или королева?

– Кололева, – решительно говорит девочка. – У нее платье класивое. И колона. Мы налисуюем колону? А свесдочки?

– Корона, – мимоходом поправляю я.

Но Мария пропускает мимо ушей. Делает она это уже из упрямства. Но причина упрямства не я, а те, кто слишком настойчиво учит ее говорить правильно. Вероятно, за ошибки ее даже наказывают. Но Мария уже обнаружила эту маленькую лазейку, свое крошечное оружие, и всю им пользуется. Надо всего лишь притвориться глухой. Но я не настаиваю на исправлении ошибок, просто стараюсь произносить многострадальное слово как можно чаще, меняя интонацию и окраску, то растягивая гласные, то укорачивая до звуковой точки, как сделал бы на моем месте опытный торговец, желая всучить покупателю товар, и Мария, очарованная фонетическим рядом, повторяет за мной надоевший «р». «La reine», «la couronne». Она не стремится мне угодить, ей всего лишь нравится подражать. Она подсматривает и повторяет. Пытается пробраться в мой мир. Она и рисует только потому, что видела с карандашом меня. Сначала, высунув язык, наблюдала, как я вожу тонким стержнем по бумаге, изумляясь тому, как из беспорядочных на первый взгляд линий возникает рисунок, проступает силуэт бегущей собаки или летающей с гнезда птицы, а затем, потеснив меня в сторону, взя-

лась за дело сама. Живности земной и подводной я нарисовал ей достаточно, чтобы перенести ее в день шестой – к сотворению человека. Маленькая, но все же женщина, Мария уже обращает внимание на фасон рукава и гармонию складок. Дамские наряды, пусть даже нарисованные, завораживают ее. Ее мало тревожит любовная драма, погубившая легендарного короля бриттов и его королевство, она любит платье и драгоценностями. Особенно ей нравится та картинка, где королева Гвиневера посвящает коленопреклоненного Ланселота в рыцари. Сам рыцарь обращен к зрителю спиной и не представляет интереса, а вот королева – зрелище величественное. В пурпурной мантии, с короной на голове, королева гордо возвышается у священного алтаря, держа в вытянутой руке меч. Смелое и прекрасное лицо, сияющие глаза. Женственная и грозная одновременно. Богиня любящая и богиня карающая. Меч и хрупкая женская фигурка. Может быть, именно это сочетание притягивает Марию?

Девочка нетерпеливо дергает ножкой. Ее кулачок скрывается в моей руке. Карандаш касается чистого листа и оставляет след. Я направляю ее ручку едва заметным, вкрадчивым давлением, чтобы не лишить ее собственного участия. Я даже слеую за ней, пока карандаш не начинает дрожать и не нарушает уже созданную симметрию. Тогда легким нажатием я возвращаю карандаш назад. Мария от усердия сопит. Она будто переступает ножками по бревну над лесным ручьем. Руки ее раскинуты, она сосредоточенно смотрит под

ноги, а я стою рядом в готовности ее подхватить. Время от времени она чувствует мою спасительную ладонь, но оторвавшись от нее, делает следующий шаг. Она знает, что я не дам ей упасть, знает, что избавлю от промокших ног и ушибов, но этот путь она совершает сама. На бумаге уже проступил гордый профиль, затем прямая спина, полусогнутая рука и замерший в ножнах меч. Когда остается дорисовать складки на платье и волнистые волосы, я разжимаю пальцы. С этим она справится без меня.

После обеда к малому крыльцу подают экипаж. Обрато в Па – риж Мария едет с Наннет, которая также весь день провела в замке. Это я настоял. Хотел на время избавить добрую женщину от забот, от душных городских улиц и хозяйской кухни. Наннет уже не в первый раз оставалась за городом и после третьего визита она как будто даже пополнила. Она не занимает себя мыслями об истинных причинах, изменивших мою судьбу, а благословляет милость герцогини. Для нее эта милость – дар небес. *O sancta simplicitas!*⁴¹ Готов поклясться, что Наннет украдкой отвешивает поклоны конюхам и даже двум каменным сатирам, что охраняют въезд на подъемный мост. А я для нее – поистине избранник судьбы. Я не пытаюсь ее разубеждать. Пусть верит. Даже злоупотребляю. Мария более не живет в той ужасной мансарде под крышей, с подслеповатым окном и голыми стенами. Ради нее освободили комнату, которую мэтр Аджани прежде называл сво-

⁴¹ Святая простота!

им кабинетом. Кабинет и мастерскую перенесли в цокольный этаж и частично в подвал. Сам мэтр редко оставался там дольше часа. Работали в мастерской два юных подмастера. А сам почтенный мастер купил на деньги ее высочества два соседних дома и сдавал квартиры внаем. Также он присмотрел загородный павильон в СенМанде с крошечным виноградником. Узнав об этом от Наннет, я усмехнулся. Надеюсь, любезный тесть более не считает партию своей дочери столь уж безнадежной. Ее брак стал в конце концов приносить значительные дивиденды. Для Марии я добился светлой мебели из ясеня, пестрой обивки и кружевной отделки на платяцах. Наннет радостно шпионила за хозяйкой и доносила мне о малейшем нарушении предписаний. И хозяйка вынуждена была с этим считаться. Моя немилость грозила сокращением выплат. Мне это не нравилось, но другого выхода я не видел. У моей дочери не было другого дома, влиять на условия в этом прибежище, на людей, кто исполнял свой родственный долг, я мог только вот таким неуклюжим способом. Возможно, когда-нибудь мне не придется прибегать ко всем этим ухищрениям, подкупу и запугиваниям и я смогу растить свою дочь сам. Но будет ли этот день очевиден? День без долгов, хитрости и насилий?

Мария уже не кричит и не плачет. Она бодро взбирается в экипаж вслед за своей нянькой и, обернувшись, машет мне ручкой. Она поняла это год назад – плакать нельзя. Получилось как-то неожиданно, без уговоров и просьб с моей сто-

роны. Однажды, когда в очередной раз пришло время расстаться, в самый разгар новой игры, – я бросал ей разноцветные мячи, одновременно называя их цвет; если цвет мяча совпадал с мною названным, она должна была мяч поймать; если же нет, оттолкнуть мяч ко мне, – Мария, заметив на пороге бабуку, тут же приготовилась удариться в плач, набрала воздух, сморщилась. Я, бессильный это предотвратить, сам в полном отчаянии, заговорщицки прижал палец к губам, сделал страшные глаза и покачал головой. Видимо, в тот миг на моем лице было что-то такое завораживающе-ужасное, что она поперхнулась и смолкла. Услышала мою немую просьбу? Или, подобно маленькому зверьку, поняла, что надо затаяться, ибо излишний шум выдаст ее? Из глаз ее катились слезы, но она молчала. Она усвоила правила. Прощание было кратким – одно объятие, наспех. Я вздохнул. Вот и первая ложь. Я научил ее скрывать свои чувства. Я научил ее лгать.

Вскочив на подножку, я проезжаю несколько туазов. Карета выкатывается со двора через мост. Мария в восторге от моей выходки. Я нарушаю кодекс взрослого и веду себя непозволительно, как ребенок, подаю ей знак сопричастности. Я – это она, а она – это я. И в том наша великая тайна. Мы улыбаемся на прощание.

И все же, когда стою посреди дороги и провожаю экипаж глазами, я испытываю всю ту же саднящую горечь. С утратой невозможно смириться. Это всегда боль, разрыв едва сросшихся тканей. Плоть если не отомрет, то кровоточит и пы-

дает.

На мою краткую отлучку из замка никто не обращает внимания. Мой побег давно перестал быть угрозой. Не потому, что утратил свой спасительный смысл, а потому, что я изменился. Во мне что-то сломалось. Умер зверь, мечтающий о свободе, перестал грызть решетку. Я смирился, уподобился той собаке, что, повизгивая от ударов, принимает их как неизбежное, не ищет выхода и не бежит. Окажись передо мной открытая дверь, я бы шага не сделал, чтобы проверить, так ли это. Это превращение случилось в тот день, когда я получил свою метку. Я не мог избавиться от нее, не мог стереть, и это решило все дело. Она стала частью меня, я был поражен, моя природа стала иной, вернуться к прежней беззаботной дерзости я не мог. Я стал вещью, уже без иносказаний и метафор, перешел от эйдоса Платона к форме Аристотеля, обрел все признаки, качества и категории. Могу назвать место, время, положение, действие. Могу измерить страдание. Чем не идеальная вещь? Я в ряду таких значимых и необходимых в нашем онтологическом окружении предметов, как бронзовые подсвечники, столовое серебро, кухонная утварь, носовые платки и даже подседельный чепрак, на котором, как на вышеупомянутых формах, красуется имя владельца. Нам всем оказана честь из двух переплетенных букв. Мы все этим гордимся. Более мы не разрозненные осколки материи, разбросанные по вселенной, а горделивое целое, армия под развевающимся штандартом. Я солдат в этой армии, унижен,

но и вознесен. Да, да, в том и состоит парадокс. Она низвела меня до уровня вещи, но одновременно с этим поделилась со мной своим могуществом. Я стал ее частью, она дала мне свое имя. Это походило на алхимический брак, когда вещества, соединившись друг с другом, делятся своими свойствами. Она лишила меня моих, но заменила своими. Я перестал быть безымянным, гонимым обрывком, но стал частью великой цитадели. Она сделала нашу связь нерасторжимой, как если бы произнесла клятву в храме. Лакеи тоже носили ее цвета и гербовое имя, но, лишившись службы, они теряли эту привилегию, оставались без покровительства, хотя и обретали свободу. Но кому нужна свобода без жалованья? Я же был неразделим со своей кожей, я не могу снять ее и вывернуть, я не могу вывести с нее пятна, не могу расстаться с ней. Не только вопреки собственной воле, но и по воле ее высочества. Она слишком поздно осознала, что натворила, и хотела бы исправить содеянное, да не могла, ошибка была фатальной.

Поэтому я прохожу через двор между конюхами, лакеями, камердинерами, кастелянами и поварами без тревожного осмотра. На меня обращают взгляды с почтительным спокойствием. Даже приветствуют. Я давно уже не их сословия, ибо подчиняюсь власти верховной. Знаю, что за глаза меня именуют «серым герцогом» по аналогии с отцом Жозефом, который из-за серой сутаны прозван «серым кардиналом». Я бы мог без зазрения совести пользоваться этим титулом бо-

лее масштабно, а не только ради приобретения светлой мебели и кружев. Но зачем? Власть – тяжкая ноша. Если такое эфемерное противостояние с мадам Аджани доставляет мне столько хлопот, во что бы обратилась моя жизнь, пожелай я обратить формальные права в истинные? Нет, для такой ноши надо иметь крепкую спину. Или, по крайней мере, вескую цель. А какая цель может быть у меня? У вещей нет цели. Как нет прошлого и нет будущего. Есть неподвижная точка в пространстве. Вещи не знают движения, ибо у них нет души. Их двигает приходящая извне сила, толчок или удар. Тогда они катятся или сторонятся. А потом вновь замирают. Ждут следующего удара. Я точно так же неподвижен и безразличен. Единственное, что я себя позволяю, что присутствует в моей природе как rudimentum⁴², – это созерцательное удовольствие прогулки. Душа моя, спеленутая, погребенная в склепе, слабо выстукивает в стену, и я сворачиваю в парк, чтобы побродить под кленами по узкой, петляющей аллее. Листья, обрывки траурного платья, еще влажные, полуживые, устилают землю красно-желтым ковром. Они еще блестят и отражают заходящее солнце, тянутся к нему, как умоляющие ладони. Возможно, они еще не знают, что принесены в жертву будущему, еще пребывают в величавом неведении, как свергнутые монархи, которым оставляют в утешение линялый пурпур. Скоро цвета поблекнут, пятипалая ладонь сожмется в сухонький кулак, одряхлеет и будет сожже-

⁴² Начало, первооснова (лат.).

на равнодушным садовником, который явится сгребать трупы. Я подбираю несколько листьев, любуясь торжествующим багрянцем. Триумф агонии.

Солнце уже скрылось за деревьями. Огромный золотой шар пронизывает листву широкими огненными мечами, обращая лиственный узор в пылающий уголь. На западе огромное бездымное кострище, в пекле которого должен сгинуть весь мир, лежащий за невидимой гранью. Взобравшись на поросший травой холмик, жалкий последыш некогда грозного крепостного вала, я смотрю на пылающие деревья. Это странное, величественное зрелище. Ветер стих. Воздух прозрачен и полон влажной горечи. Минута прощания, тихая поднебесная скорбь. Этот день, будто последний дар осени. Лиственное золото потускнеет, покроется ржавчиной, небо утратит свою бездонную чистоту и ляжет серым брюхом на крыши. Как тихо! Короткая пауза между вдохом и выдохом. Бог затаил дыхание, и время остановилось. А если останавливается время, то прекращается движение звезд. Замерли меж берегов реки, затаились моря. Прервали свой полет птицы. Это редкая короткая тишина безвременья, когда одно время года сменяется другим. Тихий краткий сумеречный час. Его очень трудно застать, за шумом и суетой мы не замечаем его великого присутствия. А он есть, этот час, тонкая ничейная полоска бытия. Сегодня это час уходящей осени, а завтра, может быть, – час двух великих солнечных эр, одной сгоревшей и второй народившейся. Только бы услышать

этот час и не спугнуть.

Вдруг я слышу звук. Звук мерный и дробный. Очень похоже на барабанный бой или стук всполощенного сердца. Это сердце бегуна или вестника. Звук ближе, громче, идет со стороны леса. Стучат копыта, упруго и дерзко ударяют в землю. Конь идет галопом. Скакун полон сил, под его копытами дорога пружинит, возвращая удар. Прыжок, толчок, взлет. Я не вижу всадника. Вероятно, гонец. Какая у него весть? Приговор или милость? Промчится дальше по Венсеннской дороге, в этом пылающем древесном мареве. Не от того ли он так гонит коня, что кожа лопается от жара? Сейчас он в самом пекле. Солнце уже окончательно скрылось за лесом, и он горит изнутри. Стук копыт все ближе. Последние лучи падают на дорогу.

Из леса выкатывается клубок пламени. Он попадает в самое скрещение лучей, в апогей бушующих пятен. Он путается в них, отражает, разбрасывает искры. Конь огненно-рыжий, и плащ всадника – алое с золотым. И волосы – будто факел. Когда всадник приближается, я вижу, что это женщина. Солнце гонится за ней по пятам, путается в волосах. Шляпы у нее нет, вероятно, потеряна где-то в лесу. Лицо напряженное, но отнюдь не испуганное. Она скачет слишком быстро. Если конь оступится, споткнется, она погибнет. У меня мелькает предположение, что конь ею не управляем, что он взбесился, и потому она бессильна что-либо сделать. Тогда ей действительно нет спасения. Сейчас конь ступит на

мост, затем он окажется во дворе, встанет на дыбы и... Дорога сворачивается под копытами, конь пожирает оставшиеся туазы, будто жухлые листья, с молниеносным хрустом. Он уже пересекает ров, взлетает на пологую насыпь. Его всадница, почти бесплотная, невесомая, мечется на ветру, как обрывок ткани, как лепесток огня. Она не в силах совладать с этой вспененной животной мощью. Она погибнет! Я невольно делаю шаг вперед. Но на мосту конь внезапно переходит с галопа на рысь. И делает это без малейших усилий со стороны наездницы. Я вижу, как женщина одной рукой натягивает повод, а другой машет кому-то вдали. От леса отделяется еще один всадник. Он отчаянно подгоняет своего скакуна, но женщину ему уже не догнать. Она останавливает взмыленного коня посреди двора и спокойно наблюдает за преследователем. Появляются еще всадники. Мужчины, женщины. Мелькают шляпы, плащи. Среди них я узнаю герцогиню на гнедой андалузской кобыле. А солнца уже нет. Оно закатилось, пока я наблюдал за пылающей всадницей. Волосы ее больше не горят. И конь утратил устрашающую огненную окраску. Он оказывается светло-гнедым. Она подносит руку к волосам и обнаруживает, что голова ее не покрыта. Тогда она растерянно оглядывается, а тот, кто скакал за ней следом, что-то говорит ей. Сумерки быстро сгущаются, и я уже не различаю лиц. Во дворе суетятся слуги, звучат приказы, сорванные голоса, смех. Гостей на этот раз больше, чем обычно. Они все налегке, багаж прибудет позже, на гре-

мящих повозках, а с ними еще лакеи, камердинеры, горничные. У месье Ла Пине, эконома, будет много забот. Но меня это не касается. Я захожу через боковую дверь на кухню и поднимаюсь к себе.

Глава 4

Герцогиню поразили цвет ее платья. Жанет была в красном. Легкий струящийся бархат удивительно глубокого, насыщенного оттенка. Это был не тот крикливый, развязный красный с желтизной, в какой рядятся перезрелые девицы и легкомысленные жены, желающие подразнить мужей. Это был не тот красный с розоватой, тусклой изнанкой, в какой облачаются более почтенные матроны, желая приманить угасающую молодость. И далеко не тот красный с мрачно-ватым грунтом в основе, каким отличаются кардинальские шапки. Это был цвет изумительной, первозданной наполненности, еще не искаженный суетным исканием разума. Цвет той бархатистой глубины, что таится в расцветающей розе, в самой ее сердцевине, еще обманутой светом, еще не растворенной и не разбавленной. Это был цвет восторга и чистой, безгрешной страсти, цвет вызывающий, спорный, насмешливый, режущий глаз, цвет будто краешек восходящего из-за туч светила, цвет крови и жизни, цвет пылающего, нетерпеливого сердца. Платье покроя свободного, щедрого, без искажающей ткани густой вышивки. Лишь прорези на рукавах были перехвачены золотым шнуром с аграфами. Вопреки моде кружевного воротника не было. Казалось, что текучий бархат почти сползает с ее плеч, открывая ключицы и грудь.

Вечер я провожу с томиком Горация. Моя латынь увяла за месяцы пренебрежения, и я с раскаянием припозднившегося школьника берусь за учебник. Любен, изнывая от любопытства, то и дело выходит за дверь – поговорить с каждым, кто рысцой или галопом пробегает мимо. Это неистребимое любопытство зеваки, зрителя, занимающего место на трибунах. Он с одинаковым азартом поспешил бы в Колизей или продирался бы к помосту на Гревской площади. Зрелищ! Зрелищ! Прибывшие господа для него – лицедеи с большой дороги. Как же хочется посмотреть! Драма или фарс. Если повезет, убьют кого-нибудь или свергнут. Занятная будет пьеска. С примесью благородной крови обретет контур эпического повествования. А тот, кто наблюдает, не имея шанса участвовать, через подгляд приобщится к таинству свершений. Тем более, если на сцене актеры самого высшего порядка. Почему вокруг королевской свадьбы всегда столько шума? Толпы людей устремляются на дворцовую площадь, давят, топчут друг друга. Зачем? Совершается тот же обряд, что в тысячи других храмах, даются те же клятвы, возносятся те же молитвы. Но толпа внизу не верит. Люди взбираются на крыши, виснут из окон. Счастье, вознесенное на такую высоту, кажется совершенным.

В мою сторону Любен взирает с нескрываемым удивлени-

ем. Как я могу оставаться таким безучастным! Читаю вирши какого-то латинянина, давным-давно покойника, и мне дела нет до живых. С каким наслаждением Любен отправился бы поглазеть на новоприбывших, потерся бы среди слуг, связался бы в драку. Но ему нельзя оставить меня одного. Самое большее, что он может сделать, так это сидеть снаружи и заговаривать с каждым встречным.

Наконец является долгожданный вестник – горничная Жюльмет, которая приходит постелить мне постель и приводит в поря – док мою одежду. Единственная из женской прислуги, кому дозволено переступить порог моей спальни. Евнух в кружевном переднике. Немолода и удивительно некрасива. Лицо у нее худое, с багровыми пятнами на скулах, с выдающейся нижней челюстью. Ресниц вовсе нет, а вместо бровей – волосяной кустарник с проплешинами. Ее, вероятно, и в молодости трудно было назвать красивой, а уж после двух десятков лет каторги в господском доме... Но сердце у нее доброе. Я испытываю к ней странное чувство жалости и признательности. Она без умолку болтает и громко смеется. О прибывших господах она знает все. Передвигаясь очень быстро, будто скачками, встряхивая простыни, взбивая подушки, она посвящает нас во все подробности и детали. Впереди у нее не хватает одного зуба, и вылетающие слова сопровождаются забавным пришепетыванием. В глазах – тот же восторг зрителя, допущенного в первый ряд. Рассказ ее формально обращен к Любену, но, скорее, предназначается

мне. Это своеобразный способ меня развлечь.

Оказывается, среди гостей есть новенькая – сводная сестра герцогини, пару дней назад прибывшая в Париж. Новый персонаж. Поэтому Жюльмет так взволнована. Все прочие господа уже изучены и промыты до костей, а эта – лакомый кусочек. С начинкой.

У этой дамы на днях расстроилась свадьба. Какая жалость! После гибели супруга она вознамерилась во второй раз выйти замуж за некоего лорда, но тот в назначенный день не явился. Помолвка с ним состоялась в Италии, едва ли не с благословения папы. Однако в Англии, куда отправился будущий супруг, слово святого отца не имеет столь судьбоносной силы, и отец жениха, камергер при дворе короля Карла Стюарта, не дал своего согласия на брак сына с незаконнорожденной дочерью вероотступника. Выяснилось, что молодой человек уже обручен, и нарушать клятву ради сомнительной невестки старый лорд не намерен. Отец пригрозил сыну изгнанием и проклятием, на что сын ответил немедленным бракосочетанием с нареченной. Исполнил родительскую волю. Казалось бы, не бог весть какое несчастье, подобные истории случаются сплошь и рядом, но главная подоплека в том, что об измене возлюбленного наша дама узнала всего в нескольких лье от Парижа, куда рассчитывала въехать с триумфом, подобно римскому Августу. Приданое у нее огромное, больше миллиона ливров, несколько шкатулок с драгоценностями, и купленный ею у госпожи де Гиз

особняк заново отделан и обставлен новой мебелью. А тут такое несчастье! Жюльмет вздыхает и делает это так выразительно, будто соперничает глубиной вдоха с кузнечным мехом, но я, склонившись над книгой, прячу улыбку. Ей ничуть не жаль свою героиню.

Жюльмет заканчивает свой рассказ. Хозяйка, то есть герцогиня, видимо, из сострадания, предложила бедной невесте родственное участие. Вместе с убежищем. Все ж таки не столица, а пригород, любопытных глаз не так много, тихая бухта, чтобы переждать бурю. Сводная сестра, которую Жюльмет представила как самозванка д'Анжу, немедленно согласилась. А что ей еще остается? Не отправляться же прямоком к позорному столбу. В самое пекло, двору на потеху.

– Она, должно быть, в отчаянии? – чтобы поддержать разговор, спрашиваю я.

Жюльмет кружит по комнате, как заботливая пчела, восстанавливая порядок на столе, в буфете и на книжных полках.

В ответ она энергично фыркает.

– Да бог с вами, сударь. Ничуть не бывало. С нее как с гуся вода. Она и по мужу своему недолго убивалась. Говорят, с неделю траур держала, а потом в Рим отправилась, якобы к святому престолу. Только не к святейшему папе, а к новому любовнику. Она же в мать пошла, Генриетту д'Антраг. Слышали небось? Девка, что нашего доброго короля Генриха окрутить хотела. Ходят слухи, что эта негодница даже

письменное обязательство с него взяла, что он на ней женится, если она родит сына. Во куда замахнулась, бесстыдница. А сына-то и нет. Дочки две. Вот одна сегодня к нам пожаловала. Называет себя д'Анжу и не стыдится. Хотя все знают, что так зовут месье. Говорю же вам, сударь, ей все нипочем. И сюда она явилась не прятаться, а воду мутить. Видали бы вы, сколько народу-то тут собралось. Лакеи на конюшне толкуются и лежат вповалку. Девушки ихние, горничные, камеристки, всюду нос суют, месье Ла Пине с ног сбился. Это у вас тут тихо, а там – сущий Вавилон.

В голосе перемещающейся Жюльмет и завистливый восторг, и праведный гнев. Явившаяся на свет вне брака, меченая грехом, эта принцесса своим существованием своим сметает стройную систему догм, на которых их, простых женщин, взрастили. Их учили соблюдать закон, чтить заповеди. Но есть кто-то, кто благоденствует вне закона, кто не страшится осуждения и отвергает свою греховность. Кто даже извлекает выгоду из создавшегося положения. Королевская кровь в жилах – как отпущение грехов, а рождение вне брака – хартия вольностей. Она дочь короля, но не рабыня короны. Для простодушной Жюльмет это повод и восхищаться, и проклинать.

На этот раз с кузнечным мехом соперничает Любен. Ему не терпится оказаться в этом Вавилоне. Жюльмет направляется к двери, и он с нескрываемой завистью смотрит ей вслед. Я захопываю книгу.

– Полно, Любен. Тебе вовсе не обязательно торчать здесь до утра. Я не убегу. Заниматься членовредительством я также не собираюсь.

Он недоверчиво на меня смотрит. Я вкрадчив и соблазнительен, как Асмодей⁴³. К тому же я искренен. Я не замышляю побега. Я хочу всего лишь побыть один. Я устал от ежеминутного досмотра и желаю уединения, краткой духовной интимности.

– Я клянусь, Любен. Вот смотри, – я кладу руку на рисунки своей дочери, как на Святое Евангелие. – Я клянусь своей дочерью. Я не попытаюсь сбежать и не перережу себе горло. Для верности можешь меня запереть. Я останусь внутри. Меня это не тяготит, ты же знаешь. Оставь мне только воды и немного фруктов.

Любен все еще колеблется. Его завораживает моя рука на рисунках девочки. Он знает, что я не лгу. Я не коснусь имени дочери всуе и уж тем более не дам ложную клятву, прикрываясь ее именем. Он не поверил бы, поклянись я королем или даже Богом. Но присутствие Марии в качестве свидетеля его убеждает. Он исполняет то, что я просил. Приносит хрустальный графин с водой и серебряный поднос с фруктами – черным виноградом, краснобокими, будто восковыми, яблоками и желтым лимоном. Я благодарю. Он еще мгновение медлит, затем выходит и запирает за собой дверь. Я один.

⁴³ Асмодей (собственно Ашмедай, то есть искуситель) – злой, сластолюбивый демон, упоминаемый в позднейшей еврейской литературе.

Книга тут же выпадает из рук. Я откидываюсь в кресле и замираю.

Почему люди так боятся одиночества? Одиночество – это блаженство. Это истинная, изначальная свобода, дарованная свыше. Это миг, когда наблюдатель отводит взгляд, а невидимые цепи спадают. Маски больше не нужны. Не для кого играть. Некому нравиться и некого пугать. Узник свободен. Как ветер, как лесной ручей. Они пребывают в своей изначальной божественной форме, они естественны, ибо не знают ни страстей, ни желаний. Они одиноки, но не покинуты. Это мы оплетаем себя паутиной мелких скоротечных интриг, едва лишь на пути возникает схожий с нами смертный. Мы не можем отпустить его невредимым, нам нужна игра. Кто кого, кто первый. Нужно непременно одержать верх, доказать свое верховное право. Это мучительная, бесконечная пытка. Мы сами выбираем ее, стремясь обрести связи и пути. Желаем стать частью целого, приспособить свою нестроенную душу в качестве полезного колеса ко вселенской повозке, не подозревая, что за свое желание мы будем пойманы и прикованы. Одиночество представляется нам безводной пустыней. Там нет колес, нет скрипящих цепей, там бесконечное небо упирается в горизонт, но его простор нас пугает. Там нас лишают привычных запретов, наших игр, что так исчерпывающе называются жизнью.

Я мечтаю оказаться в этой пустыне. Обжечь голые ступни о песок и брести, брести. В тишине, в благоговейном молча-

нии, без взглядов в спину, без окриков, без жестов, одичать и уподобиться в своей невинности зверю, отринуть страх прогрыша и ценность победы. Обрести свободу.

Мое одиночество – иллюзия, но я им наслаждаюсь, пробоую на вкус, как редкое вино, обнаруженное запечатанным в античной амфоре, вдыхаю аромат и пью очень маленькими глотками.

Я никогда не переставал быть пленником. Любен не попадаетеся мне на глаза, но я знаю, что он рядом. Он следит за мной. Я давно уже не пытаюсь бежать, не совершаю попыток самоубийства, но клетка моя по-прежнему заперта. За мной наблюдают. В отличие от узника в одиночке, я не слышу, как тюремщик подходит к двери и открывает глазок. Знай я об этом, я бы мог подготовиться. Но я беззащитен. Моя клетка прозрачна, и каждый мой шаг, каждое движение – подергивание мышц на скуле, набежавшая морщинка, неловкий поворот, смятый манжет, брошенный туфель – становится достоянием чужого взгляда. Я свыкся с этим и почти не замечаю Любена. Это как ноша, которая за долгие годы приросла к спине. Непременное условие бытия. Она уже не трет спину до кровавых пузырей, ибо загривок обратился в мозоль. К ней приноравливаешься, как к хромой ноге. Но с ее утратой вдруг познаешь странную легкость. Можно бежать, скакать, выкидывать колена. Можно валяться на спине, корчить отражению рожи. Можно, обхватив табурет, станцевать минуту. Или, развалившись в кресле, закинуть ноги на стол. Что

я и делаю.

Глава 5

Его праздность – это видимость для непосвященных. Она и сама когда-то в нее верила, слегка досадуя на его странную, вдохновенную неподвижность, когда он часами смотрел на плывущие облака, прислушивался к шелесту листьев, ловил солнечные осколки на поверхности пруда или подолгу вычерчивал на плотной бумаге подсказанный внешним миром механизм. Он постоянно наблюдал и чему-то учился. Вероятно, даже в минуты страданий, когда случался приступ мигрени, он и боль разглядывал со стороны. А в ожидании своей владелицы он, по-видимому, изучал свой страх, придавая ему некий образ, отрицая этому страху уродливые крылья. Он и ее, свою владелицу, тоже изучал. И знает про нее даже больше, чем она сама осмелится признаться. Он знает, что ее терпение на исходе, вернее, что ее одолевает голод, знает, что она уже вычерпала до звенящего доньшика свой бочонок жизненных сил, который, подобно моряку, захватила в столичное плавание, и что ей не терпится сделать глубокий вдох и насытить внутренний эфир его тревогой и страхами, потому что ничем другим он ее одарить не может.

Существует вероятность посещения герцогини. Она отсутствовала довольно долго и с минуты на минуту вспомнит про свою вещь. Не будь в замке гостей, я бы уже давно лежал голый, исполняя свой верноподданнический долг. Задышался бы от усердия. Но она, к счастью, занята. До утра я избавлен от домогательств. А если повезет, то и до следующей ночи.

Я сгребаю со стола рисунки дочери и рассматриваю их один за другим. Вот эта линия у нее получилась ровной. Она держит карандаш все уверенней, он более не блуждает и не дрожит. Ей удалось сохранить угол и нажим. Пора учить ее грамоте. Раздобуду грифельную доску и кусочек мела. Угольным карандашом она уж слишком пачкает руки. Я улыбаюсь, вспоминая, как она, озорничая, приложила ладошку к своей щеке, запечатлев черную пятерню. Совершила это не по детской неосторожности, в радостном неведении, а с хорошо рассчитанным умыслом: посмотреть, как я расценю ее выходку. Похваляю или отругаю. Если отругаю, то черная ладонь на щеке приобретет сладкий запретный привкус и в очень скором времени появится вновь. А если похваляю? Но я избрал третий путь – насмешливое непротивление. Другими словами, подставил собственную щеку. Мария самозабвенно полюбовалась сотворенным действием, быстро остыла

к нему и пять минут спустя позволила умыть перепачканную мордашку. Больше она к этой забаве не возвращалась. Зачем повторять игру, если она так быстро кончилась? Есть тысячи других игр. А к этой она всегда может вернуться. Плод сладкий, но не запретный.

Я все еще рассматриваю рисунки, когда до меня доносится шорох. Как будто провели рукой по стене. А затем тихий щелчок. Боже милостивый, неужели я ошибся в своих расчетах? Даже блестящее общество бессильно отвлечь ее от взыскания долга. Она идет за процентами. Я откладываю рисунки. Ей опять может показаться, что я чрезмерно на них сосредоточен. Как тогда, с деревянными поделками. Что это с ней? Она медлит? Судя по неуверенным шагам в полутемной спальне, она забыла дорогу. Или она вновь пьяна? Спотыкается и путается в собственных юбках. Нет, она, скорее, крадется. Ступает на цыпочках. Надеется застать кого-нибудь? Я мысленно усмехаюсь. Уж не Жюльмет ли? Если на то пошло, то ей бы следовало опасаться Анастази. Она так легкомысленно позволяет придворной даме приближаться ко мне, говорить со мной, даже касаться моей руки, что я не раз ломал себе голову над этим попустительством.

Анастази сегодня не придет. Она должна быть при госпоже и участвовать в развернувшемся спектакле. К тому же было бы рискованно опередить хозяйку. Тогда кто же это?

Шаги приближаются. Я поспешно встаю, откладываю рисунки. Я должен быть перед дверью, ждать, как верный по-

корный подданный. И моя поза должна выражать совершенную почтительность, готовность этого подданного упасть на колени по первому знаку. Иногда она это требует, желая видеть меня коленопреклоненным, подобно трубадуру. Тогда складывается желанная иллюзия. Она знает, что это ложь, но даже ей необходима игра, шарада. Маска для неприглядной правды. Мне предписано следить за ее руками и ждать особого знака. Но знака еще нет, я в напряженном ожидании. Смотрю в пол. Глаз поднимать нельзя. И как войдет – сразу поклон. Поспешный, старательный, чтобы с оттенком нетерпения и робкой преданности. Тогда меня ждет одобрение. Или сразу на колени, не дожидаясь знака, и губами коснуться края ее платья. Да, пожалуй, так и следует поступить. Ее так долго не было. Бог знает, в каком она настроении. Удался ли ее замысел или потерпел фиаско? Каким бы ни был исход, пожинать плоды буду я. Но за эти года я многому научился, дурному и необходимому. Я замутил душу и сердце, ибо желание выжить сводит на нет все потуги добродетели.

Я успеваю принять решение за те оставшиеся ей шаги, что отделяют ее от двери. Когда створка начинает двигаться и шум трущихся меж собой крахмальных юбок нарастает, я опускаюсь на одно колено, подражая изящному раболепию герольдов, и почтительно замираю. Знаю, что выгляжу нелепо, и от презрения к самому себе подергивается уголок рта, но решения не меняю. Все это только часть сделки, путь греха и унижений.

Вот она уже на пороге. Я ее не вижу, потому что смотрю вниз. Занимаю взгляд деревянным узором паркета. Меня предупреждает шелест шелка и тонкий незнакомый аромат. Прежде она не пользовалась этими духами. Но я не удивлен. Что с того? Она могла сменить парфюмера. Прежде она пользовалась услугами некого флорентийца Тальони. Теперь ей мог прийти по вкусу выходец из Неаполя. Ловлю край ее платья и подношу к губам. Она желает, чтобы ей служили именно так, с подавленной страстью, в готовности и послушании.

– Ваше высочество, – произношу я очень тихо, но так, чтобы она слышала.

Касаясь ткани губами, я от усердия закрываю глаза, чтобы выглядеть как можно убедительней. Прячусь во тьму от переизбытка смущения и стыда. Когда же после судорожного вдоха возвращаюсь, меня удивляет цвет. Шелк, зажатый в моей руке, совершенно удивительного цвета – он зеленый! Такой насыщенный и густой, что сравним по яркости с майской зеленью. Герцогиня в зеленом? Я видел ее в сером, в темно-синем, время от времени в белом, но чаще герцогиня рядится в черное. Как-то она обмолвилась, что это траур по ее несостоявшейся коронации. Но зеленый! Герцогиня прежде никогда не носила зеленый. Что это? Она сменила не только парфюмера, но и портниху?

– Я польщена вашим приветствием, – произносит мягкий женский голос. – Но, увы, я принцесса только наполовину.

Голос мне незнаком. Я не сразу осознаю этот факт. В моем сознании что-то замедляется, ломается. Я медленно поднимаю голову и вижу женщину.

Яркие зеленые глаза, выразительное лицо, пламенеющая копна волос.

Я не знаю эту женщину. Я вижу ее впервые.

Тут все снова приходит в движение. Я быстро поднимаюсь и делаю шаг назад.

– К... кто вы?

Она не улыбается, но глаза ее искрятся лукавством. Ей лет двадцать пять, невысокого роста. Держится прямо.

– Простите, я, кажется, ошиблась дверью.

Я делаю судорожный вдох, но не произношу ни слова. Горло внезапно твердеет, будто в него залили свинец. Только губы шевелятся. Без звука я произношу тот же вопрос:

– Кто вы?

У нее на лице тень недоумения.

Мне удастся протолкнуть свинцовый ком, справиться с горлом и выдавить:

– Но как... вы... здесь?..

Она понимает, переводит полуслоги в слова.

– Сожалею, что оказалась здесь неожиданно и без всякого приглашения. Я здесь по воле случая и собственного легкомыслия. Деревянная панель за ковром была неплотно задвинута. И я заметила свет... Да что с вами? Вы смотрите на меня, будто я привидение!

В ее голосе почти обида.

Она делает шаг ко мне, но я подаюсь назад. Будто она и в самом деле призрак, пугающий, несущий беды.

– Что вам здесь нужно? – вырывается у меня.

– Ничего.

Теперь уже она в совершенном недоумении.

– А дверь? Кто показал вам дверь?

– Никто. Я же вам объяснила...

Но я не хочу слышать ее объяснений. Я не хочу знать, кто она. Я не хочу знать, как она сюда попала. Я хочу, чтобы она исчезла.

– Уходите. Уходите немедленно! Голос мой звучит резко и хрипло.

Я не забочусь о вежливости. Мне все равно, что она подумает. Я не хочу знать, кто она. И зачем пришла. Я хочу, чтобы она исчезла. Чтобы все кончилось... Скорей бы все кончилось.

У нее розовеют щеки. Краска ползет, разливается по ее молодому, задорному лицу. И она сразу становится старше и серьезней.

– Как вам будет угодно, – произносит она холодно. И поворачивается к двери. Ее плечи и спину покрывает копна медно-рыжих волос в крупных завитках. Когда она движется, эти волосы чуть шевелятся и ловят отблески свечей, словно жидкое золото.

Я чувствую легкую слабость, как после потрясения или

опасности, которых избежал почти чудом. А это происшествие, эта незнакомка и есть опасность. Чтобы унять дрожь, я делаю глубокий вдох. Глядя в темный проем, откуда она так неожиданно появилась, ожидаю, что щелкнет замок, возвещающая мое избавление. Но замок молчит. Я слышу только шелест шелка и скольжение руки по ткани. Она ищет дверь. В спальне темно, и ей приходится действовать на ощупь. Я чувствую легкий укол. Мне бы следовало помочь ей, отнести свечу. Но двинуться с места я не в силах. Переступить порог спальни означает вновь оказаться в опасности. Какого рода опасности, я не знаю, но уверен, что опасность есть. Все, что в моей нынешней жизни выходит за рамки привычного, опробованного, выстраданного, таит в себе опасность. В случайности я не верю.

Ее шаги не удаляются, а приближаются. Сердце замирает. Что еще? Что ей нужно? Она выходит на свет. В том же сиянии майской зелени. На лице ни улыбки, ни смущения.

– Послушайте, – говорит она. – Прекратите эту шутку и откройте дверь.

Я не понимаю.

– Откройте дверь, – повторяет она. – Ту дверь, в стене. Дверь, через которую я вошла.

И для верности указывает в темноту.

Я по-прежнему не понимаю. Почему она меня об этом просит? Если она пришла сюда, то у нее должен быть ключ.

– Так вы откроете дверь?

– Разве у вас нет ключа?

Вопрос звучит чрезвычайно глупо. Я сам это слышу. А у нее от изумления дергается плечо.

– Будь у меня ключ, я бы не тревожила вас своей назойливостью, сударь, я была бы счастлива этим ключом воспользоваться.

Ее вежливый голос трескается, будто лед, и распадается на правильные треугольники и квадраты. Она вызывающе невозмутима и в то же время ранит умело и больно. Я срываюсь с места и бросаюсь мимо нее в темную спальню. Незнакомый аромат скользит по лицу, как ладонь, а зеленый переливчатый шелк шумит, чуть потревоженный и задетый. В моем порыве нет смысла. Я могу сколько угодно шарить по стене, но дверь я не открою. С моей стороны нет ни скобы, ни петли. Только узкая замочная скважина. Дверь почти незаметна, полностью утоплена в стене, и отыскать ее позволяет лишь тонкий стык между створкой и каменной кладкой. Рычаг находится с другой стороны. Я бессилен ее открыть. Узнику не вручают ключей от его темницы.

Она все еще там, на пороге света и тени. Невозмутимая, без признаков нетерпения и страха. Я отвожу глаза.

– Простите, но я не могу открыть эту дверь. У меня нет ключа.

Незнакомка некоторое время молчит. Затем спрашивает все с той же ледяной вежливостью:

– А другой выход? Здесь есть другой выход?

По телу пробегает дрожь. Есть, но он тоже заперт. Я боюсь взглянуть на нее, я чувствую себя виновным в каком-то неведомом ужасном проступке, который совершил в полном беспамятстве. И сейчас этот проступок откроется.

Удивительно, но она понимает меня без слов.

– Второй выход тоже заперт? – говорит она, и спрашивая, и утверждая одновременно.

Я чуть заметно киваю.

– А окна? Есть еще надежда вышвырнуть меня в окно. Здесь невысоко, и при падении я всего лишь сломаю ногу.

– Там решетки, – шепчу я.

Вновь смотрю в пол, уже не только покорный, но и провинившийся подданный. И вдруг слышу смех. Не тот смех, которым ответила бы оскорбленная, испуганная женщина, а смех тихий, почти ласковый. На ее лице нет и тени той вежливой, ледяной суровости, с которой она взирала на меня минуту назад. Вновь лукавство и золотые искры. У нее, оказывается, веснушки. Целая россыпь!

– Забавно. Получается, мы с вами заперты.

– Получается.

– И надолго?

– Нет, утром вернется мой слуга и отопрет дверь. Я позволил ему уйти на сегодняшнюю ночь, и он унес ключ с собой.

– Странный слуга. Запирает собственного господина. И часто он позволяет себе такие вольности?

– Нет, только когда в замке бывают гости. Мне запрещено

выходить, пока здесь кто-то гостит.

Она улыбается чуть насмешливо.

– Догадываюсь – почему. Сестрица не в меру ревнива, и у нее – ...она несколько смущается, колеблется, и щеки вновь розовеют, – ...прекрасный вкус. Будь я на ее месте, я бы поступила точно так же.

При слове «сестрица» я вздрагиваю. Незнакомка замечает мое движение и тут же исправляет промах.

– Ах, простите, я не представилась. Жанет д'Анжу, княгиня Карачиолли. Сводная сестра хозяйки этого замка.

Она же сказала, что принцесса только наполовину. Незаконнорожденная дочь Генриха Четвертого, та самая, о которой целый вечер повествовала Жюльмет. Я помимо воли гляжу на нее с любопытством. Первое волнение улеглось, и я могу различать детали. Она уже не видится мне сверкающим зеленым призраком в огненно-рыжем шлеме, который искрит и слепит глаза, точно факел. Она обретает плоть. Черты ее лица правильные, тонкие, но красавицей ее назвать было трудно. Ее ресницы и брови с таким же медным оттенком, как и волосы. Нос небольшой, чуть вздернутый, подбородок с ямочкой. Рот решительный, почти упрямый, но в бесконечном противостоянии с улыбкой. Кожа, как у всех рыжих, очень белая, прозрачная, но без холодной, мраморной торжественности, которой отличается и блистает герцогиня. От этой кожи веет теплом, как от свеженадоенного молока. И зеленый цвет ей к лицу. Если бы герцогиня попы-

талась одеться в нечто подобное, ее кожа приобрела бы зеленоватый оттенок, и герцогиня стала бы похожа на мертвеца. А у ее сестры, напротив, этот цвет подчеркивает избыток жизненных соков, как у майского деревца.

Внезапно меня посещает видение. Всадница на рыжем коне! В пылающем лесу, в перекрестье лучей. Скатившийся по дороге комок пламени. Сердце самой природы, рвущееся толчками, размашистым безумным галопом. Это она!

– Так это были вы! Это вас я видел, – вырывается у меня. У нее выгибается бровь.

– Вот как? И где же?

– Вы первая появились из леса. Я был в парке и слышал стук копыт. На вас был алый плащ и не было шляпы. Я подумал... я подумал, что вы...

– Что же вы подумали?

– Что вы можете разбиться. Ваш конь шел галопом, и если бы вы не удержались в седле... или если бы ваш конь встал на дыбы...

Она снова смеется.

– Нет, нет, Алмаз никогда не совершил бы подобной глупости. Мы с ним много лет знаем друг друга, и я могу на него положиться. Он не станет рисковать нашей дружбой ради пустого тщеславия. Но я тронута вашей заботой. Благодарю вас. Однако что же мы будем делать, господин...

Жанет смотрит на меня вопросительно.

– Меня зовут Геро.

Она не выражает ни удивления, ни любопытства. Не спрашивает, есть ли у моего имени дворянское оформление или родительская приставка.

– И что же мы будем делать, господин Геро?

– Ждать. До утра осталось несколько часов.

Ей уже любопытен не только я. Она делает шаг в сторону, окидывает взглядом комнату. Видит подозрную трубу на латунной подставке, глобус Меркатора. И шкаф, доверху забитый книгами. Затем вновь обращает взгляд ко мне, будто пытается отыскать связь между владельцем и окружающими его вещами.

– Больше напоминает обитель ученого мужа.

– Чем обитель кого? – тихо спрашиваю я.

«Фаворита принцессы крови», – договариваю за нее мысленно.

Она смущается и снова переводит взгляд на предметы неодушевленные. На столе связка перьев, несколько книг, свернутые листы бумаги. Один из листов соскользнул на ковер. Я слишком торопливо сгребал рисунки, когда услышал шаги, и не заметил за шумом бьющегося сердца, что один потерял. Он сиротливо белел у резной ножки обитого бархатом табурета, на котором обычно сидела Мария, болтая ножками и выводя каракули. Я намеренно оставляю этот табурет на том же месте, чтобы, бросая на него взгляд, представлять мою девочку. Вот сейчас оглянусь, а она там, грызет перышко или макает палец в чернила. И вспорхнувший лист –

это тоже она, Мария. На нем несколько ее портретов. Я делал поспешные зарисовки, пока она была у меня. В анфас, в профиль, в три четверти. Она грустит, смеется, мечтает. И смотрит с радостным ожиданием чуда, которое свойственно только детям. Как я мог забыть об этом рисунке? Он все это время лежал на полу. Я делаю было шаг, но Жанет меня опережает. Она уже держит листок в руках. И смотрит на рисунок. Долго смотрит. Без улыбки, даже с печалью. Затем поднимает на меня взгляд. Затем вновь смотрит на рисунок. Сходство между мной и дочерью бросается в глаза. Сейчас она спросит. Я внутренне подбираюсь. Но Жанет задает другой вопрос.

– Что мне делать, если она все-таки придет?

Вместо ответа я указываю на дверь в гостиную.

– Укройтесь в гостиной. До утра еще далеко, а в гостиной есть кушетка и несколько кресел. Она смущается.

– Мне бы не хотелось послужить причиной ссоры любовников.

Я вздрагиваю от последнего слова. И на мгновение ощущаю пустоту.

– Она мне не любовница!

Слышу, как глухо, хрипло звучит мой голос. Сглатываю подступившую сухость. Ссоры! Если герцогиня застанет ее здесь, она станет причиной не ссоры, она станет причиной казни. Возможно, даже своей.

– Простите, – бормочу смущенно. – Я потому и предлагаю

вам остаться в гостиной. Там нет света, и герцогиня, ваша сестра, туда не заходит.

В гостиной мне время от времени накрывают обед, да и то, если докатывается слух о визите ее высочества. В остальное время эта пышно обставленная комната пребывает в полном пренебрежении. Я не зажигаю там свеч по вечерам и не прошу Любена растопить камин.

Жанет вскидывает голову, и у нее вновь, по всей видимости, возникает желание облачиться в испепеляющую ледяную вежливость, которая так ей хорошо удается. Но ей мешает рисунок. Потому что она все еще смотрит на него. Мешает взгляд маленькой доверчивой девочки. Не говоря ни слова, она направляется к двери в гостиную. Рисунок она уносит с собой.

Глава 6

Видит Бог, она не хотела. Как нелепо все вышло, как отвратительно. Почему так происходит? Почему все светлое, живое, чудотворное всегда обращается в свою противоположность? День – в ночь, красота – в прах, вино – в уксус, и льется этот уксус на свежие раны. На ней будто проклятье, повелевающее ей обращаться в чудовище. Будто в проклятый час полнолуния в ней пробуждается иная суть, демоническая, когтистая. Ее кожа лопается, шерсть лезет влажными пучками, черты лица искажаются, нежный подбородок и точеные скулы тянутся в волчью пасть, пальцы, белые, с розовыми ноготками, темнеют, покрываются чешуйками. И глаза уже не ясные, с молочным белком, а налитые кровью, с янтарной пылающей сердцевиной. Она все чувствует, понимает, но не в силах это прекратить. Магия зла сильнее.

* * *

Я снова слышу этот звук, снова едва слышный отрывистый щелчок. В моей в жизни было столько бессонных ночей, когда я лежал в тишине и прислушивался, цепenea от малейшего дуновения, скрипа и шороха, что не могу ошибиться. Я выхватываю этот звук из целого хора подступаю-

щих шепотков ветра и пылающего камина. Кто-то осторожно, медленно отводит наружный рычаг двери вниз. На этот раз ошибки быть не может.

Герцогиня уже открывает дверь в кабинет и входит. Я не могу встретить ее тем же торжественным раболепием, которое так тщательно готовил, вид у меня слегка встрепанный. Я не балую ее приветствием с волнительной дрожью, а тут выхожу навстречу в таком замешательстве!

– Что с тобой? Ты взволнован? Румянец на щеках, губы дрожат.

– Я не думал... полагал, что ваше высочество будет слишком занята...

Она усмехается. Проводит рукой по моему бедру.

– Ну конечно, в замке полно гостей, у хозяйки будет полно забот. Бог даст, ей будет не до меня. По крайней мере, сегодня, а если повезет, то и завтра. Так думал?

Я не отвечаю. Спорить нет смысла, она безошибочно угадывает мои мысли. Что ж тут удивительного? За три года ничего не изменилось. Все то же вечное противостояние раба и господина.

– Не отворачивайся, – продолжает она. – Я знаю, что ты меня ненавидишь. Ты удивительно постоянен в своих чувствах. Все еще не можешь простить... Помнишь, лелеешь обиду. А ведь мог бы все изменить. Но – нет! Да ты Бога молил, чтобы я до утра к тебе не являлась. Вот была бы радость. Ждешь моего отъезда как манны небесной, а возвращения –

будто казни египетской. Вот она я, назойливая, ненавистная любовница.

– Я вовсе... я думал о другом.

Она предостерегает меня жестом.

– Полно. Я знаю, о чем ты думал. Ты в своем праве, а я вполне заслуживаю того, чтобы ты мечтал о моей смерти. У тебя есть веские причины. Нет, нет, о таком ты, разумеется, и не помышлял. Как можно? Это же грех! Таким пожеланием ты погубишь свою душу. Я должна всего лишь исчезнуть. Уехать и не вернуться. Быть похищенной или сосланной. Или пасть от кинжала убийцы. Скажи, а ты решился бы подослать ко мне убийц? Боже, боже, что же я такое говорю... Как смею... Мой нежный, богобоязненный, стыдливый мальчик, невинный агнец, он и в мыслях подобного не допустит.

Она откидывается в кресле и томно опускает веки.

– А знаешь, в чем секрет? В чем великая мистериальная тайна? – она делает паузу и впивается в меня взглядом. – В том, что мне безразлично, что ты там себе думаешь! Можешь мечтать о чем угодно и даже вообразить меня мертвой. Мне все равно. Во всяком случае, не мешает.

Она опять понижает голос до шепота.

– Скорее даже наоборот, волнует. Мне нравится, когда ты такой упрямый и смелый. Меня влечет твоя ненависть, как если бы это была самая сильная любовь, возбуждает твоя неприязнь, манит отчаяние. Ты такой желанный в сво-

ей неразрешимой печали. Тех, которые смотрят с обожанием и восторгом, много. Их десятки, даже сотни. Они повсюду, они просты и предсказуемы, падки на красоту, честолюбивы, легко управляемы и порочны. А такой как ты один. Природа изготовила тебя по единственным, волшебным лекалам, которые тут же и разбила. Поэтому таких как ты больше нет. Ты – единственное отступление от правил, украшение самой жизни, и в том твоя особая привлекательность. Поэтому тебе можно все. Я все тебе прощаю. Даже ненависть.

Судя по этим разглагольствованиям, она пьяна. Не настолько, чтобы расползтись до сладких откровений и назойливых нежностей, как это у нее пару раз случилось, но вполне достаточно, чтобы повредить маску высокомерного отчуждения и дать волю тревожным мыслям. В такие минуты она видит себя отвергнутой, нелюбимой, начинает искать себе оправданий, что-то объяснять, но доводы не облегчают ее страданий. Тогда она начинает говорить. Я знаю, что именно ее мучит, и с течением времени все больше. Она никогда себе в этом не признается, ибо это слишком унижительно, но выдает болезнь своей говорливостью. Это голод. Она, как и все, испытывает голод, тот самый, нежелудочный, но как утолить этот голод, она не знает. Ее никто не учил. Она не знает, что единственным средством, единственным бальзамом, каким излечивают недуг, может быть любовь. Ее уста кривит судорога, если она произносит это слово. Любовь! Чья любовь? Моя? Безродного? Бесправного? Помилуй Бог! В от-

вет она только рассмеется. Она никогда в этом не признается. Но от страданий это не спасает, боль остается. И стоит лишь винным парам, болезни или дурному настроению размыть гипсовую маску, как она сразу же начинает страдать. Мое отчуждение становится невыносимым укором, моя холодность обращается в лезвие. Я, как безжалостное зеркало, рисую ей припудренные шрамы.

Но герцогиню раздражает что-то еще. По ту сторону тайного хода случилось нечто, что лишает ее привычного высокомерного спокойствия. Что это? Неудавшийся заговор? Тайная интрига? Мне это неизвестно. Но она в глухой и мрачной ярости. Цвет ее лица изменился. Возможно, она явилась ко мне за своеобразным спасением. Я должен ее утешить. Она слишком долго пребывала среди мертвецов. Ей нужна моя сила. Она устала, и она голодна. Ей нужна пища. Как израненная волчица, она ползет в логово на брюхе. Ей нужно отлежаться и глотнуть свежей крови. А добыча – это я. Ей нужна моя кровь. Я отдал бы ее добровольно, без принуждения, если бы она только попросила; если бы вместо жесткого, указующего перста моей щеки коснулась бы ладонь, а до слуха бы донесся голос вопрошающей души, я с радостью поделился бы с ней всем тем, что сохранил долготерпением и молитвой. Я отдал бы ей часть себя, как отдал бы кусок хлеба голодающему ребенку. Ей стоило только попросить, признать свою слабость. Но она не просит. Она грабит. Как разбойник с большой дороги.

– Ну что же ты? Раздевайся. У меня, к сожалению, не так много времени, чтобы в полной мере насладиться твоим упрямством.

Меня бросает в холодный пот. Я вдруг вспоминаю, что все происходящее здесь подобно сценической пантомиме, у которой нашелся случайный зритель, и мой позор с ее жадной более не сокрыты этими стенами. Герцогиня ничего не знает и не страдает от тяжести присутствия, но я-то знаю. Для меня один-единственный свидетель обращается в многотысячную толпу, я уже выставлен на помост, под безжалостные взгляды. Они изучают и смакуют, они поглощают каждый мой жест. Они наслаждаются моим стыдом. Нет, я не наготы стыжусь, не откровенности действий. Я стыжусь уродства собственного бытия, того искажения, что в нем присутствует. Это как при внешнем благополучии обнаружить шестой палец или хорошо замаскированный горб. Я развязываю шнурки на своем камзоле, но не чувствую рук. Я слышу свист ветра и ликующий шепот. Рассудком я понимаю, что никакой толпы нет, и ветра нет, нет разверстых просторов, и нет скользящих взглядов. Я не могу даже поручиться за любопытство, что движет непрошеной гостьей, но я ничего не могу с собой поделаться. Стащив сорочку, я падаю на колени.

– Я не могу...

Опустив голову как можно ниже, прячу лицо. Я боюсь увидеть. У нее сейчас гнев начнет разливаться сине-багровым пятном от самых глаз.

– Я не могу... пожалуйста, не сегодня...

Что она сделает? Ударит меня? Пнет? Я слышу, как она поднимается с того кресла, в котором я сидел сам, и приближается.

За подбородок вздергивает мое лицо.

– Кто же это над тобой так хорошо потрудился? – насмешливо спрашивает она. – Уж не Жюльмет ли? Господи, Геро, ты теряешь в моих глазах. Как ты мог? Польститься на такое убожество! А, понимаю, ты сделал это из жалости.

Я отрицательно качаю головой, насколько ее рука на моем подбородке позволяет мне это сделать.

– Если не она, то кто? Кто-то же побывал здесь до меня!

Я опять трясую головой.

Она выпячивает губу и оглядывается.

– А, знаю. Знаю, кто над тобой так славно потрудился, и даже знаю, где ее искать.

У меня темнеет в глазах. Господи, что же я наделал. Не смог преодолеть свою застенчивость. Для такого как я застенчивость – непозволительная роскошь. Поглядите-ка на эту застенчивую вещь, на этого жеребца с идеальной выездкой. Я судорожно вдыхаю и уже открываю рот, чтобы вознести мольбу о прощении и возвестить о внезапно вспыхнувшей страсти (где взять эту страсть?), но она идет вовсе не к двери в гостиную. Она идет к моему письменному столу. На нем все еще лежат рисунки Марии. Я, само собой, позабыл о них.

Это давно уже стало законом – прятать от глаз герцогини все, что уличает присутствие в моей жизни дочери. Хозяйка знает, что девочка бывает здесь, знает, что я провожу с ней несколько часов, учу ее рисовать, выводить буквы, однако не желает получать видимых доказательств. Для нее девочка как бы не существует. Так ревнивая любовница окружает настороженным молчанием имя жены. Соперница обращена в миф, но любое упоминание о ней молниеносно облекает этот миф в кожу. Я по мере сил делаю все возможное, дабы избежать подобных воплощений, уничтожаю следы, прячу, обманываю, притворяюсь, но сегодня я пойман с поличным. Мне так не хотелось с ней расставаться! Я перебирал эти рисунки, как драгоценности в сокровищнице, выгадывал мгновения и минуты, а должен был сжечь их собственными руками. А тут еще Жанет! По ее вине я забыл это сделать. Герцогиня уже держит их, и лицо у нее каменное. Я вижу ее профиль, безупречный, тонкий, скальной породы. Она перебирает рисунки, и на каждом задерживает свой взгляд.

– Я приказала тебе раздеться, – не оборачиваясь, произносит она. – Ты уже начал. Продолжай.

Я чувствую отчаяние. Но выбора нет, я довершаю начатое. Она все еще разглядывает рисунки, методично перекладывая их с одного на другой. И снова, не глядя в мою сторону, тускло и равнодушно:

– Ложись.

Я делаю шаг к двери в спальню. Это уже легче, это далеко,

там никто не видит и не слышит.

– Нет. Здесь ложись. На ковер.

Что она задумала? При виде этих рисунков, этих раздражающих доказательств, у нее возник какой-то замысел. Настоять на своем. Причинить боль. Оскорбить. В ее распоряжении целый арсенал. А у меня выбора нет – подчиняюсь. Лежать даже легче, чем торчать нагой статуей посреди комнаты, не так стыдно. Герцогиня как будто наконец вспоминает обо мне. Делает шаг. Я вижу, как колышутся, надвигаясь, ее юбки, многослойные, тугие, гремящие крахмалом. Кончик ее башмака выскакивает, как змеиный язык. Он возникает у самого моего лица, но тут же прячется. Она смотрит на меня сверху вниз. Зауженный, упирающийся в потолок бархатный конус с белокурым закругленным наконечником. А я – выложенная на столе кроличья тушка, еще живая, с ободранной шкуркой. Остается из любопытства воткнуть вилку и посмотреть, что будет. Но она не шевелится, и рисунки все еще у нее в руках.

– Знаешь, – говорит она, – твоя дочь очень красивая девочка. Смышленная. Я видела ее как-то на днях. Можешь удивляться, если хочешь, но это так. Мне было любопытно взглянуть на нее, и я не смогла себе в этом отказать. Все-таки три года прошло. Когда мы встретились, она была совсем младенцем, а теперь вполне оформившийся бойкий звереныш. И на тебя очень похожа. Я вот что подумала. Время идет, она взрослеет, пора бы подумать о ее будущем. Не век

же ей оставаться в доме бабки. Что ее там ждет? Скука, месса, брюзжание старой няньки. У такой красивой девочки, как она, должна быть интересная, яркая жизнь, сплошь состоящая из приключений. Она хоть и мала, но уже и сейчас представляет собой немалую ценность. За нее бы дорого заплатили, охотников много.

У меня тело сжимается, как пружина. Локти, колени подсакивают, сгибаются, жилы сокращаются, тянут, как канаты, судорожно сведенные мышцы, я готов вскочить. Но она очень больно и метко тычет заостренным кончиком своего башмака в мой бок, пониже ребер, там, где печень.

– Лежать, – приказывает она. И наступает мне на кисть руки, той самой, что я сделал попытку опереться.

– Я бы могла посодействовать в поиске достойного покупателя, – продолжает она как ни в чем не бывало. – С титулом, с должностью, в королевской милости, с куртуазным понятием, а то ведь обидно будет, если такая милая девчушка достанется какому-нибудь неотесанному болвану. Эти простолюдины так грубы... Загубят бедняжку.

Я закрываю глаза и стискиваю зубы. Горловой хрящ изнутри так дергается, что едва не прорывает кожу. У меня сухой язык и глотка шершавая, в насечках. А она продолжает говорить, все так же увлеченно и чуть насмешливо.

– Не каждый умеет обращаться с таким нежным цветочком, с бутоном, который еще не раскрыт и не обрел силу. Тут требуется сноровка. Тонкие ткани легко рвутся, кровоточат.

Можно повредить и даже убить. Если движение будет слишком резким, разрыв произойдет глубоко...

– Нет, не надо, пожалуйста... – шепчу я едва слышно. Губы у меня сведены и уже, похоже, потрескались. Но она не слышит меня или не желает слышать.

– Но я позабочусь о том, чтобы ее первый опыт был не столь уж болезненным, и уж тем более не угрожал бы ее жизни. Нет смысла начинать, чтобы сразу же и закончить, сгнать, едва ступив на предназначенную стезю. Богом дарованная красота – товар редкий, и цена его будет расти по мере приобретения навыков и мастерства, а умелый торговец всегда найдет выгодных покупателей. Но это потом. А пока главное ее преимущество – чистота. За детскую чистоту платят дорого. За изначальную, божественную девственность, за ту, что до грехопадения, в первые часы воплощенной вселенной, на седьмой день бытия. Платят за неведение и страх, за слезы и боль. За право быть первым. Стать преобразователем, разрушителем. Влезть на божественную кухню и подправить рецепт. Тебе это тоже нравилось... Помнишь, как лишал девственности свою жену? Сколько ей было? Шестнадцать? Опоздал. Кости уже раздались. Но тебе все равно понравилось. Ты был первым. Ты всех опередил, всех обыграл и первым упился ее страхом. Вы все этого хотите. Все до единого. Быть первым! Ну что ж, твоя дочь станет воплощением чьей-то мечты. Тут уж ничего не поделаешь, она девочка, и участь ее решена. У кого один владелец, у кого два, а

кто-то еженощно идет с молотка. А ты бы что предпочел для своей дочери? Тишину замужества или многообразие борделя? Могу устроить и то, и другое.

У меня шум в ушах, но окончательно я не глухну. Я молю Бога послать мне эту небесную милость, благословенную глухоту, в которой я сгину, как в райском озере. Я буду видеть, как шевелятся и опадают подбородки, как языки вареным куском двигаются между зубов, но я ничего не услышу. В мою ушную раковину уже не вползет этот отвратительный, смысловой червь, именуемый словом, и не отравит меня своим значением. Я буду глух и спокоен.

Она замолкает и совершает какое-то движение. Я открываю глаза и вижу, как она подносит один из рисунков к ближайшей свече. Бумага вспыхивает. Черный ожог расплзается от покоробившегося угла. Сам угол уже распадается на пепельные хлопья. Она держит горящий рисунок прямо над мной, и черные останки сыплются мне на грудь, на живот. Когда у нее в руках остается маленький бумажный треугольник, она разжимает пальцы, и он, переворачиваясь, как мотылек с огненным крылом, летит вниз. В падении мотылек отклоняется от прямой и только чиркает меня по бедру. Ожога я не чувствую. Результат опыта ей кажется неудовлетворительным. Она поджигает второй рисунок. И снова начинает говорить.

– Я тут бессильна что-либо изменить, устройство мира таково, что судьба женщины, высокородной или простолюдин-

ки, – быть купленной и проданной. Дочь в семье – не более чем товар, который родители с младенчества готовят к ярмарке, холят, лелеют, держат в стойле, как породистую кобылку, затем, когда в возраст войдет, выставляют на торги. Покупатели ходят, смотрят, пробуют шелковистость кожи, густоту волос. Но красоты одной мало. Должна быть еще выносливость. Ей много предстоит вынести. Хозяина на себе возить, тащить груз семейных забот и производить на свет жеребят. Ради чего, собственно, ее и берут в дом – плоть утешать и род продолжать.

Второй рисунок тоже догорает и летит вниз. На меня сыплется пепел. Но колебания воздуха вновь уводят догорающий обрывок прочь, и он падает где-то у моего локтя.

– Чем красивей и родовитей кобылка, тем состоятельней покупатель. Красивые, но без благородных кровей, так же находят себе богатых владельцев. Те, правда, не скрепляют купчую крепость церковным благословением, связь именуется грехом, но кобылки соглашаются и на это. Пока она резва и юна, ею пользуются для удовольствия, а затем сдают за бесценок барышнику, который подставляет эту кобылку каждому, кто желает прокатиться. Бывает, что красивую кобылку, по причине бедности и сиротства, сразу отдают в общее пользование, и тогда она попадает в общегородские конюшни, грязные и дешевые, которые в народе именуются борделем. И там некогда шелковистые, норовистые красотки быстро заканчивают свою карьеру, теряют волосы, зу-

бы, покрываются язвами. Их отвозят на телегах в Отель-Дье, где они умирают. Их бросают в общие ямы и засыпают известью. Но бывает и по-другому. В эти общественные конюшни забредает коронованный всадник, и какая-то из ловких кобылок успевает подставить свой круп. Тогда она перебирается в королевские конюшни. Тут главное, не упустить свой шанс, момент королевской похоти. Невостребованные кобылки чахнут в безвестности, уходят в монастырь и там от отчаяния предлагают себя Сыну Божьему. Покупатель на них так и не нашелся. С тоской смотрят они сквозь монастырские решетки на счастливых товарок в разноцветной, сверкающей упряжи, влекущих герцогские и графские экипажи. «Ах как же мы несчастны, – вздыхают кобылки. – Не узнать нам тяжести всадника, не изведать сладости хлыста, не вкусить остроты шенкеля, не разбить о камни ног, не стереть спину о седло. Наша жизнь скучна и безрадостна».

Догорает следующий рисунок. Обрывок летит вниз. На этот раз он падает мне на грудь, и я чувствую жар. Но пошевелиться я не в силах. Она воспроизводит казнь снова и снова. Костер, предсмертные муки, черный пепел и догорающий остов.

– Горчайшее из разочарований – избежать своей участи. Если уж сам Господь установил этот справедливейший миропорядок, примерно наказав Еву и ее дочерей, то как посмеем мы противиться Его воле? Наша кобылка не останется забытой. Мы найдем ей достойного владельца. Он ее объез-

дит и приучит к седлу. Косточки у нее еще хрупкие, детские, но со временем она окрепнет, обретет породистые стати. Да и как может быть иначе, если она наследует их от такого отца. Длинные ноги, крепкие бедра. Черная шелковистая грива. Какая порода!

Она бросает последний обрывок и долго смотрит на меня, засыпанного пеплом.

– Как бы мне и в самом деле не обратиться в конезаводчика! Так я увлеклась, – вздыхает герцогиня.

Она трогает мою щеку кончиком башмака, и моя голова мотается, как у мертвого. Затем перешагивает, брезгливо похвалив юбки, и уходит.

Глава 7

Она вновь жаждала крови. Соблазн покончить с этой мукой был нестерпим. Пожалуй, это желание, что подступило, не сравнить по силе с предшествующим. Она устала! С нее хватит! И пусть та ведьма, смерть, в венке из померанца приходит и шепчет. Она не боится. Больше не боится. Она переживет, перетерпит этот ужас, а за ним – сожаление и раскаяние. Она будет кусать пальцы и рвать на себе волосы, она будет проклинать и молить о прощении, но это пройдет. Все проходит, и все умирает. Ее страдания кончатся, и наступит покой. Сладостный и дремотный. Покой чувственного оцепенения, той прижизненной смерти, когда кровь почти остыла, а сердце едва бьется. Так она жила прежде, посеребренная изморозью, без страданий. У нее был только разум, чистый, отлаженный, отточенный, как клинок, и весь мир лежал перед ней, как шахматная доска, где она уверенно расставляла фигуры. Мир был предсказуем. Да, там не было иных цветов, не было изогнутых линий, мир был однообразен и скучен, но он был управляем. Она могла делать с этим миром все что угодно, как опытный гроссмейстер. Почему же она так легкомысленно разрушила этот мир? Зачем разбила вдребезги свой ледяной чертог? Все из-за безумного соблазна узнать многоцветное радужное свечение, именуемое страстью.

На меня давит плита, огромная, неподвижная. Она опустилась откуда-то сверху и накрыла меня всего. Она расплюсчивает ребра, пережимает горло. Говорят, что такая пытка раздавливанием применяется к преступникам в Англии. На грудь несчастному водружают каменный блок и требуют признаний. Он задыхается, сипит, сдавленное сердце ударяет в самые кости. Со мной это проделали без всякого каменного блока. Никакой плиты у меня на груди нет, но вдохнуть я не в силах. От усилия на глазах выступают слезы. Эта каменная плита не остается неподвижной, а продолжает опускаться. Я уменьшаюсь в размере. Срастаются веки, изглаживаются пальцевые суставы. Я червь, безглазый, безголосый. Дышать пока удастся, но мелко, поверхностно. Воздух, похоже, не проникает глубже трахеи, встречая на своем пути преграду из сведенных, свернувшихся легких, и вытекает обратно. Господи, как же холодно... Я ограблен. С меня сняли все до последней нитки и оставили умирать на дороге. На щеках влажно. Что это? Дождь? Если я и в самом деле брошен на дороге, то это подбирается осенний ливень. Тяжелые капли будут бить мне в лицо, в окаменевшее, бесчувственное тело. Будут размывать пыль и подсохшую кровь. Но дождя нет, над мной потолок. Я вижу перекрещенные балки, а между ними лепной потрескавшийся узор. Дождя тут быть не может.

Это слезы... Они скапливаются в уголках глаз, потом пере­ливаются и текут по виску. Я не могу остановить их, как не могу исправить свое дыхание. Господи, помоги мне. Я сейчас не человек, не мужчина. Я даже не животное. Я кусок живой ткани, без разума и памяти, с инстинктом боли и гонимый страхом. Брошенный на булыжную мостовую беспомощный червь. Он извивается в отчаянной попытке спастись, ищет безопасную щель. А вокруг грохот колес и огромные каб­луки. Червь ничего этого не различает, для него мир – размы­тые пятна. И за каждым таким пятном – смерть. Он будет раздавлен, растерт меж гигантских жерновов, которые даже не скрипнут, приостанавливая ход.

Эти жернова, колеса, каблуки прокатились по моим суста­вам, размолов их в пыль. Самый искусный палач не проделал бы подобной работы. Ему не хватило бы мастерства. Чтобы возобновить их гармоничную сопряженность, требуется не менее богатый опыт. Но ждать помощи неоткуда. Смертные бессильны, Бог безразличен. Я сам давно наловчился. Сде­лав усилие, приподнимаюсь на локте. Эфирная казнь кончи­лась. Мне даже удастся пошевелить пальцем. Червь все еще существует, но в действительности я тот, кем был прежде, творение шестого дня, подобие и образ. Каменной плиты то­же нет. Нет мостовой и гремящих повозок. Она хотела, что­бы я в это поверил. Я и поверил. Мой рассудок раскрылся, как неопытный фехтовальщик, и вот невидимый клинок тор­чит в ране. Напоминает тот кривой обломок зеркала с зуб-

чатými краями. Но слово так просто из раны не извлечешь, оно останется внутри и, погруженное в нее, будет гнить.

Всюду черный пепел. Плод воображения. На самом деле его не так много – несколько летучих хлопьев и чудом уцелевший обрывок, уголок, который только задымился, но не сгорел. Красноречивый символ моего истлевшего сердца. Вот все, что от него осталось – крошечный желтоватый треугольник со следами чернил и пальцев. Я подбираю его и держу на ладони, будто полумертвую бабочку. Неожиданно кто-то касается моего плеча, и я слышу голос:

– У меня есть один. Целый.

Я вздрагиваю. Господи, я и забыл про нее! Она все еще здесь, этот непрошенный свидетель. Жанет д'Анжу стоит за моим плечом со скрученным рисунком в руке. Тем самым, который она унесла с собой. Он невредим, несмотря на то, что смят и свернут. Я смотрю на него с недоверчивым удивлением, будто она не сохранила его, а воссоздала из пепла.

– Это я виновата, – говорит Жанет, опустив глаза. – Если бы не я, вы бы успели их спрятать.

Я разглаживаю смятый листок и смотрю на то, что осталось. Детское личико в угольных пятнах. Жанет все так же стоит за моим плечом. Кажется, что она утратила большую часть своего блеска, потускнела, как звезда, обломавшая свой луч.

– Простите меня, – почти шепчет она.

– За что?

– За все.

– Не извиняйтесь. Она бы нашла другой повод.

Бросаю листок на стол и делаю шаг к высокому бюро из красного дерева. Там у меня припрятана бутылка кларета. Любен ничего не знает об этом или делает вид, что не знает, но я не злоупотребляю его неведением: не храню более одной бутылки и не делаю больше одного глотка, да и то если тоска подпирает горло.

Все так же не глядя в ее сторону, я спрашиваю:

– Хотите вина?

– Хочу.

Доставая бутылку, я вижу Жанет краем глаза. И она точно так же, исподтишка, наблюдает за мной. Мое подозрение обретает плоть. Жанет уже не заполняет комнату своим блеском. Стал матовым драгоценный китайский шелк, а медно-рыжие волосы приобрели бурый оттенок, как давно нечищенная посуда. Похоже, ее так же, как и меня, присыпало пеплом. И еще ей стыдно. Ей нелегко взглянуть на меня, будто я по-прежнему голый. Поэтому она отводит глаза. Оскорблена внезапно открывшейся истиной? У нее порозовели щеки, и кровь все еще прибывает. Я протягиваю ей наполненный бокал. Жанет берет его обеими руками, охватывает пальцами и сразу же делает глоток. Это придает ей решимости взглянуть на меня. Она вдыхает воздух для вопроса, для крика негодования или отвращения, но справляется с собой и глотает его вместе с вином. Вопросов у нее

много, они толкаются, отпихивают друг друга, их ценность и важность взлетают, подобно ценам на зерно в неурожайные годы, и так же стремительно катятся вниз от невозможности сделать выбор. Ей непросто обнаружить интерес и так же непросто совладать с раздирающей ее жаждой. Деятельная природа требует действий. Натиску подвергается ее бокал, которому грозит быть раздавленным в беспокойных пальцах. Из вежливости я все еще ожидаю вопроса. Но она молчит, только кусает губы. Я отступаю на шаг, второй, почти поворачиваюсь к ней спиной. И задать вопрос ей становится легче. Она наконец делает выбор.

– Неужели ничего нельзя сделать?

За этим вопросом все терзающие ее догадки. Она не решилась или постыдилась направить свой интерес прямо к избранной цели. Выбрала окружной путь. Я какое-то время молчу, глотаю вино и пытаюсь распознать вкус. Наконец отвечаю.

– Отчего же? Можно.

Она подается вперед от нетерпения.

– Что?

– Например умереть.

От разочарования Жанет отступает.

– Это, конечно, выход. Но, может быть, поискать другой?

Она ждет ответа, но я отхожу от нее как можно дальше, чтобы пресечь последующие вопросы.

– Я могла бы помочь в поисках, – договаривает она.

Вино действует, от пережитого волнения и усталости меня мутит. Я стою на ногах и уже одет, уже двигаюсь и бросаю осмысленные реплики, но я все равно полураздавленный червь. Через мой хребет перекатился груженный воз. У нее хватает великодушия воздерживаться от вопросов, но его недостаточно, чтобы хранить молчание. Если желает помочь, пусть оставит меня в покое, пусть не вынуждает вести с ней эти бессмысленные разговоры.

– Если вы хотите помочь, то вам лучше вернуться в гостиную и оставаться там до утра. Поверьте, это единственная помощь, которую вы в силах мне оказать и в которой я действительно нуждаюсь.

Но моя неловкая просьба противоречит ее благому намерению и звучит почти грубо. Жанет вскидывает голову и, кажется, намерена рассердиться. Сейчас она исчезнет в темном проеме, и мне больше не придется подавлять дрожь. Я смогу повалиться в кресло и позволить одолевающей меня слабости проявиться в бессильно брошенных руках и согбенной спине. Я даже смогу обхватить голову руками и поскулить, как побитый пес. Но пока она здесь, мне в этой милости отказано.

Дочь Генриетты д'Антраг не трогается с места. Она задумчиво вертит в руках свой бокал.

– Я понимаю, что вы хотите этим сказать. Все происходящее здесь меня не касается. Я оказалась в этой комнате случайно, по причине собственного легкомыслия, и как можно

скорее должна исчезнуть. Вы меня не знаете, к тому же я сводная сестра этой... этой... побывавшей здесь дамы. С чего вы бы стали мне доверять...

Моя следующая фраза звучит как неуклюжая попытка ее утешить.

– Через пару часов вы уйдете отсюда и все забудете.

– А как же она? – неожиданно спрашивает Жанет, указывая на чудом уцелевший рисунок. – Что будет с ней? Она ребенок, ей грозит опасность.

– За нее не беспокойтесь. Пока я в силах исполнять капризы ее высочества, моя дочь не пострадает.

– Но ее капризы могут далеко зайти, слишком далеко, гораздо дальше рисунков. Судя по тому, что я слышала сегодня, моя... эта... особа способна на многое. Что, если в следующий раз она не ограничится одними словами? До меня и прежде доходили некоторые слухи, но я не придавала им особого значения, они казались мне выдумкой, ужасной сплетней. Однако то, чему я стала сегодня свидетелем, служит неопровержимым доказательством. Моя сводная сестра – чудовище.

Я некоторое время смотрю на нее. Она ищет компромисс. Самолюбие не позволяет ей отступить и остаться наблюдателем.

– Чего же вы хотите?

– Помочь, – быстро отвечает она.

– Мне нельзя помочь. – Вздор! Только смерть окончательно-

ный и неразрешимый финал. А вы живы!

Меня раздражают ее слова, голос звучит резко, болезненно-звонко. Мне даже слышится раскатистое удивительно живучее эхо, которое бьет в виски, но заставить ее молчать я не могу. Я хочу, чтобы она ушла, исчезла, хочу лечь на холодный пол и прижаться лбом к мраморному основанию каминной решетки. Но я должен с ней спорить, должен отбивать выпады и мириться с ее назойливым любопытством.

– У вас есть дети? – зачем-то спрашиваю я.

Ее обескураживает перемена темы. Ее рот, и без того упрямый и твердый, будто каменеет.

– У меня был сын. Он умер через несколько месяцев после рождения.

– Если бы вам предстояло сделать выбор между жизнью вашего сына и вашей свободой, вы бы рискнули?

– Нет, разумеется, но... это зависит от обстоятельств.

– Вы только что сами ответили на свой вопрос. Любая моя попытка что-либо изменить в своей жизни грозит моей дочери смертью или... тем, что хуже смерти.

– Но ваше бездействие не менее опасно, – мягко возражает она. – Если вам нет дела до себя самого, то подумайте о ней. Она ребенок. Вам представился случай помочь самому себе, а следовательно, и ей. Не отказывайтесь от него.

– Случай – это вы?

– А почему бы и нет? Почему бы не увидеть в моем присутствии руку судьбы? Пути Господни неисповедимы.

– Вы совершенно правильно заметили несколько минут назад, ваше высочество, что я вас не знаю. Я вижу вас впервые. И вы... вы тоже ничего не знаете обо мне.

– Так это легко исправить. Если я все равно здесь, заперта вместе с вами, избавиться от меня у вас нет никакой возможности, так почему бы нам не попытаться найти выход? Поговорите со мной, поведайте мне то, что, по вашему мнению, заставит меня умолкнуть. Возможно, я не оправдаю ваших надежд и буду продолжать настаивать. Но и тогда не отвергайте меня, не действуйте столь поспешно. Я все-таки дочь Генриха Четвертого и обладаю кое-какими возможностями. Я могу быть полезна, я хочу помочь.

Меня посещает мимолетный соблазн сказать ей «да». Довериться. У нее такие ясные глаза. В них столько света. И взгляд, открытый, без мути, полный сочувствия и решимости. Какое великое искушение! Взять протянутую руку и поверить, что среди тех, кто бросает камни, внезапно оказывается тот, кто протягивает хлеб. Возможно ли это, чтобы в глухой стене внезапно открылась дверь?

Я так долго бился об эту стену, так долго искал выход, что изломал все кости. Попытки мои были бесчисленны. Но больше я не пытаюсь. Даже если стены рухнут, я не двинусь с места. Я не верю. Помнишь, что она сказала? Дочь Генриха Четвертого! У нее порыв великодушия. Она взволнована, смущена, самолюбие требует благородных жестов. Оказавшись на улице, она подает нищему серебряную монету, пе-

реступая порог церкви, она произносит молитву за страждущих, в какой-нибудь монастырской лечебнице она даже стыдится своего цветущего здоровья и благополучия. Подобный порыв время от времени испытывает каждый смертный. Это Господь говорит в нас, ибо мы желаем стать проводниками Его воли, обратиться в орудие Его Промысла. Подростком я не раз дрался с мальчишками, которые бросали камни в старого нищего или дразнили слепого. А она не раз во время охоты щадила подраненного зайца. Я для нее сейчас вот такой же подраненный зверек, ради которого она готова придержать свору. Но стоит ей выйти отсюда, она обо мне забудет. Не заметит, как спущенный сокол растерзает зайчишку. Нет, пусть уходит. Как она смеет искушать меня? Как смеет дарить надежду?

– Я уже говорил вам, мне нельзя помочь. Как нельзя помочь мертвецу.

Говорить трудно, горло саднит, и мысли путаются. Они обращаются в тех самых обезумевших от крови борзых, которые несутся по кругу. Это не похоже на опьянение, хмель я не чувствую. Только затруднение в построении фраз.

– Что с вами? – вдруг спрашивает она. – Вы так поблелили.

И делает ко мне шаг. И руку протягивает, будто желает ко мне прикоснуться. Огромный зеленый камень в ее перстне прорезает полумрак, как молния, и слепит меня. Я отстраняюсь, не отдавая себе отчета. Она в некотором замешатель-

стве. С каким-то недоумением смотрит на собственную руку, будто та неожиданно изменила форму или обзавелась когтями.

– Не бойтесь, мне показалось, что вам сейчас станет дурно. У вас... лицо изменилось. Сядьте, – говорит она с мягким нажимом.

У меня снова возникает желание ей довериться. И подчиниться. Голос у нее повелительный и ласковый одновременно. Такой, вероятно, бывает у сестер милосердия, которые после сражения перевязывают воющих от боли раненых. Снова соблазн. Кончиками пальцев я цепляюсь за край стола. Я уже догадываюсь, откуда это свечение в уголках глаз. Оно возникло несколько минут назад, когда она упоминала о своей полезности.

– Позвольте проверить ваш пульс. Вы очень бледны.

– В этом нет необходимости.

– А мне кажется – есть.

Я еще крепче цепляюсь за стол. Ее слова как будто уже не звуки, а световые пятна. Не рассеиваются, а медленно оседают. Даже ее лицо меняется, делается уже. Только глаза горят все так же решительно. И комната уже не прямоугольник, а ромб, или даже овал. Как же я сразу не догадался! Признаки все те же. Это гемикрания, болезнь гордецов. Та боль, что впервые накрыла меня после третьего побега. Тогда это случилось в первый раз. Я и прежде испытывал головные боли, но это случалось от переутомления, когда слишком дол-

го приходилось засиживаться за столом, в неудобной позе, всматриваться в испещренные знаками страницы, делать это часами, при свете дешевых сальных свечей. Это был протест изнемогающего тела. Глаза отказывались видеть, буквы сливались, боль строгим напоминанием била в виски. Но справиться с ней мне труда не представляло. Недолгий отдых, короткая прогулка, и разум уже был чист, а взгляд ясен. Молодость брала свое. Теперь это другое. Это не усталость, это отчаяние. Это поселившаяся во мне безысходность. Беспомощность, что кричит во весь голос. Я не позволяю им взять над собой верх, но они нашли способ мстить. Приступы удушьяющей, слепящей боли. Ее еще нет, она только надвигается. Я вижу далекие всполохи, как всполохи далекой бури, но я знаю, что она придет. Свет свечей меркнет. На этот раз это еще хуже, чем прежде. По крайней мере, мое зрение оставалось ясным. А тут я слепну... Но я все еще слышу голос – ее голос. Его не укрывает пелена, меняется только тональность.

– И все же я настаиваю. Дайте мне руку.

Жанет стоит очень близко. Я слышу запах ее духов. Но вместо лица – уже бесформенное пятно. Мне трудно отслеживать ее действия и одновременно с этим выстраивать оборонительный рубеж в собственной голове. Я протягиваю руку. И тут же чувствую ее пальцы. Прохладные, уверенные. Она бережно откидывает кружевной манжет и на миг накрывает ладонью мое запястье. Она непременно увидит шрамы, нащупает пальцами, когда будет искать пульс. Они жесткие,

будто швы на ткани. Жанет некоторое время молчит, потом поднимает на меня глаза. Я еще различаю эти зеленые озера с золотистыми берегами.

– Частит, – говорит она очень серьезно.

– Что с того? Я привык.

– Как же вы живете?

– Разве живу?

Вот прибавилось какое-то жужжание. Глухое, издалека. Где-то угрюмой и грозной тучей перемещается стая шершней. Они надвигаются, слаженно и неумолимо, как римская «черепаша». Вот гул становится весомей и ниже. Сгущается, набирает силу. Расползается, подминает звуки и краски, как вышедшая из берегов река. Сейчас уровень поднимется, опрокинет дамбу...

Она еще что-то говорит, губы ее двигаются, но я не различаю слов. Я беспомощно ищу спасения, несчастный путник на крошечном островке посреди океана. Суша под моими ногами вотвот исчезнет. Я оглядываюсь, но не вижу ничего, кроме грозного могущества воды. Вода эта ворвется в мою голову и будет рвать ее изнутри, как разорвала бы легкие, будь я подлинно утопающим. Голоса больше нет. Она молчит и смотрит на меня. Я вижу только овал лица и темные углубления глаз. Или она исчерпала запас слов, или я так изменился. Даже подается вперед. И вот тут в мой крошечный островок ударяет молния... Мгновенная слепота, лиловый свет и боль. Меня мутит.

– Что?! Что с вами?!

Я валюсь, как подкошенный, потому что нет уже ни верха, ни низа. Только бешено вращающийся вихрь в голове и какие-то острые, режущие изнутри обломки. Они действуют как отточенные клинки, которые один за другими нанизали на огромное колесо. Жанет успевает сделать последний шаг и удерживает меня от падения, позволяет как бы сползти вниз, избежав удара затылком. Я цепляюсь за нее инстинктивно, как утопающий, и тяну за собой, она теряет равновесие, под мою голову успевает подставить сначала руки, а потом колени.

– Что?.. Что? – снова спрашивает она.

– Больно... Голова... Свет...

Она трогает мой лоб, виски, как будто таким образом надеется обнаружить причину. Затем находит под подбородком пульс. Некоторое время ее рука остается там, затем возвращается к моим глазам и накрывает их, будто повязкой.

– Мигрень, – говорит она, не спрашивая, а утверждая. – Лежите спокойно. Вам нельзя двигаться.

Глава 8

Ей прежде нетрудно было выкрасть, одним господским взглядом, его тайные думы. Они были просты, без иносказаний. Он позволял себе мечтать о возможном будущем. В те редкие минуты, когда она, застав его в парке, под резной тенью платана, или в кабинете, созерцающего небо в свинцовых облаках, влекущих свое отвисшее брюхо по крышам, видела, как мечтательно, по-детски, он задумчив; как отрешен от печальной действительности, от настоящего и блуждает где-то далеко, в будущем, за горизонтом времени. Эта нежная мечтательность не могла быть навеяна прошлым. Ибо его прошлое было заражено горем. Прошлое разъела болезнь. А больной не вспоминает о терзающем его недуге с мерцающей улыбкой ребенка. Больной мечтает о выздоровлении. Он мечтает о том, как покинет свое ложе страданий, как встанет на ноги, как сделает первый шаг, как тело его обретет былую легкость, как прояснится голова, как утихнет боль. Он мечтает, как жизнь вновь обратит к нему лик чувственной радости, как поразит его здоровым голодом и молодым аппетитом. Эти мечты освещают бредовые ночи больного, он заполняет ими часы тоскливого ожидания, вечера скорби и рассветы печали. Эти мечты, эти грезы ведут его, как проводники, по кругам хвори к выздоровлению. И пока страждущий мечтает, пока грезит,

пока видит эти сладкие сны, он будет жить. Но стоит ему разучиться мечтать, разучиться верить, как хворь поглощает его, пожирает, как стигийская пучина, где удушливый мрак болот уготован ему, как возмездие за леность души.

* * *

Это я знаю. Я помню, как от малейшей попытки пошевелиться, приподнять веки молния безошибочно била в скулы, в висок и в самые подглазья. И я не шевелюсь, не пытаюсь говорить. Чувствую только ее руки и ее пальцы на моих веках. Они у нее мягкие и прохладные. Мадлен так же накрывала ладонями мои глаза, когда я уставал. Я подгружался в короткую, живую темноту и там смывал свою ноющую усталость. Мои утомленные глаза купались в ее невидимой ласке и будто возрождались. У Мадлен были узкие натруженные ладони, исколотые худенькие пальцы. У Жанет самозванки руки как бархат, холеные и беззаботные. Но в них та же исцеляющая ласка. Мне даже на миг кажется, что это Мадлен, пришла, когда я ее позвал... Воспользовалась руками незнакомой женщины, которую сделала своим посланцем, и теперь через ее руки, пусть чужие и равнодушные, посылает свою любовь.

– Тише, тише, – повторяет Жанет. – Немного покоя, и все пройдет. Боль утихнет.

Пальцы ее второй руки вкрадчиво перемещаются от мо-

его виска к затылку, стремясь занять мою кожу осязанием. Это как отвлекающий маневр для беснующейся внутри боли. Она подманивает зверя, стремясь увести его за собой. Поглаживает, перебирает волосы, описывает круги, иногда задерживается в только ей ведомом сосредоточении страдания и своим касанием, мягким нажатием успокаивает и усыпляет. Боль по-прежнему раздирающая, давящая изнутри, но с помощью ее рук я как-то умудряюсь с ней ладить. Тот путник, которого смыло волной, находит хрупкую, неведомую опору и повисает на ней. Ищет спасения в неподвижности. Боль не отступает, и натиск ее все так же силен, но я в силах обороняться. Будто за моей спиной долгожданный резерв. Всего лишь сила ее присутствия, тепло руки. Оказаться рядом со мной над ликующей бездной она не может, но все же часть этой ярости отводит на себя. Вероятно, она делает это так же, как делаю я, когда беру на руки плачущую, страдающую от колик Марию. Безмолвное, глубинное соучастие.

Длится это час или вечность – я не знаю. В страданиях время замедляется и почти замирает. Из быстрого гонца оно обращается в дряхлого, немощного калеку. Костыли его скрипят и готовы надломиться, он с трудом преодолевает минуты, а часы тянутся до горизонта, обращаясь в неподвижное марево. Горе тем путникам, что следуют за ним. Он готовит их к вечности. Обитель безвременья, откуда изгнана даже смерть. Но я слышу звуки. Сквозь жужжание, грохот и вой. Кажется, шаги. Любен? Меня ужасает предчувствие,

что Жанет придется встать, а мне – пошевелиться. Она увернет руки с моей пылающей головы, а я вынужден буду оторвать эту голову от пола, раскачать, разогнать раскаленный чугунный шар, который кое-как утвердился в неподвижности. Стоит мне двинуться, как этот шар подскочит и ударит изнутри в глаза и виски.

Кто-то идет. Голос. Но это не Любен. Это Анастаси!

– Святая Дева! А вы что здесь делаете? Как вы сюда попали?!

Она не говорит. Она почти кричит. Ржавый, тупой клинок, который Анастаси загоняет мне в уши. Но Жанет не шевелится. Она отвечает, но я скорее угадываю, чем слышу.

– Тише, черт... Говорите тише.

Анастаси, к счастью, больше не кричит. Для нее происходящее не новость, она уже видела, как я корчусь от боли. Я слышу шум ее платья, ощущаю движение воздуха. Как же сильно она надушена! Никогда не замечал за ней этого пристрастия к парфюмерным излишкам.

– Что с ним?

Анастаси говорит злым шепотом. Я чувствую ее руку на моем запястье.

– Мигрень. Приступ внезапный и сильный.

– Опять...

– Мороженое, – вдруг говорит Жанет. – Принесите мороженое.

– Зачем?

– Принесите! – яростно шепчет Жанет. – Быстрее.

Удивительно, но придворная дама не возражает. Опять шумят ее юбки. Скорей всего, она пришла через потайной ход, от которого у нее есть ключ. Заметила в толпе слуг Любена и догадалась, что я остался один. Герцогиня тоже занята с гостями. Анастаси могла разглядеть недовольство на лице ее высочества или та посетовала на мою строптивость. Вот придворная дама и вознамерилась взглянуть на последствия. Но мороженое?!

– Зачем мороженое?.. – спрашиваю я, хотя усилие горловых мышц тут же отзывается болезненным эхом.

– Молчите, – предостерегает Жанет. Но все же объясняет. – Мороженое поможет. Сладкое и холодное. Надо прижать его языком к нёбу и держать, пока не растает. Оно охлаждает изнутри ту воспаленную часть мозга, которая служит источником боли. Это, разумеется, не лекарство. Только помощь. Как лед при ожоге.

– Никогда не слышал, – шевелю я губами.

– Некий Теофраст фон Гогенгейм⁴⁴ прописал это средство своему другу, издателю из Базеля. Над ним, конечно, поте-

⁴⁴ Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (лат. Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim; 1493 год, город Эг, кантон Швиц – 24 сентября 1541 года, Зальцбург) – знаменитый швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины. Способствовал внедрению химических препаратов в медицину. Считается одним из основателей современной науки.

шались, обвиняя в шарлатанстве, но средство сработало. А мой личный врач большой знаток в области шарлатанства.

Я слышу, как возвращается Анастаси, так же шумно, вонзая каблуки в пол, но, переступив порог, смягчает шаг. Она снова рядом, и я снова слышу запах ее духов. Тонко позвякивает серебряная ложка.

– Дайте сюда, – приказывает Жанет. Это она обращается к Анастаси, а потом – ко мне. Одна ее рука по-прежнему у меня на глазах, а второй она, вероятно, держит ложку. – Не глотайте сразу. Держите, пока не растает.

Я послушно исполняю все, что она велит. Почти не чувствую ни вкуса, ни холода. Сверлящая боль, кажется, поселилась в самих зубах, в каждом по отдельности, ворочается там тонким сверлом. Тает первый кусок, за ним – второй. А после третьего – о чудо! – я узнаю вкус. Это миндальный замороженный шербет с ванилью. После пятого куска я мягко повожу головой, очень осторожно, будто она редкий, тонкостенный орех, и открываю глаза. Пелена окончательно не спала, но я вижу. Жанет, распознав мое движение, убирает руку. Я моргаю, морщась от ломоты в затекшей шее. Молний, ударяющих в висок, нет. Боль сдала позиции, но окончательно не отступила. Напоминает лампу под покрывалом. Ждет, когда препятствие будет устранено. Но я приподнимаюсь на локте и оглядываюсь. Моя незваная гостья сидит на полу рядом со мной в довольно неудобной позе, полусогнув колени. Это та поза, которую она приняла, смягчая мое па-

дение. Сменить ее она не успела. Все это время, поддерживая мою голову, ей приходилось держать руки на весу и напирать на спину. Лицо у Жанет хмурое и встревоженное. Межбровей складка.

– Лучше? – спрашивает она.

Я отвечаю медленным кивком и хочу подняться, но она предостерегающе хватается за плечо.

– Не спешите. Шербет – не лекарство, это помощь, временное облегчение.

Анастази тоже рядом, с серебряной вазочкой в руках. И такая же хмурая и настороженная. К тому же она растеряна. Бросает изумленные взгляды в сторону Жанет. Злитесь и мучительно ищете выход. А незваная гостья не выказывает и признака смущения.

– Подождите, – говорит она. – Мы вам поможем.

В это «мы» она без колебаний включила придворную даму своей сестры. И Анастази подчиняется, безропотно, с застывшим лицом. Помогая мне подняться, они действуют на удивление слаженно. Будто знакомы давным-давно и даже дружны. Они поддерживают меня и не дают упасть. У меня кружится голова, я двигаюсь, как под водой, преодолевая собственную слабость. Они помогают мне добраться до кровати и примостить на подушку мою бедную голову с чугунным ядром внутри. Анастази стягивает с меня башмаки. Жанет укрывает одеялом.

– Ему нужен врач, – говорит она. – И полный покой.

Анастази в ответ только презрительно хмыкает.

Они еще о чем-то говорят, но я не слышу. Говорят они шепотом, но зло и отрывисто, как будто бранятся. Анастази выговаривает ей за легкомыслие, Жанет оправдывается. Их шепот переходит в шипение и свист. Они спорят. Я разбираю некоторые слова, но не прислушиваюсь.

– Уходите, уходите... Вы не понимаете!

Лежать удобно, но не оставляет сожаление. Я теперь один, лицом к лицу со своим грозным противником. Пройдет некоторое время, и он вновь начнет крушить мои ветхие латы железной палицей. Но бодрящего возгласа с трибун я уже не услышу. Анастази теснит Жанет к двери и почти выталкивает ее наружу, в тесный потайной коридор. Я пытаюсь приподняться, поблагодарить ее хотя бы взглядом. Она тоже встает на цыпочки, выглядывает из-за плеча Анастази. Блестят ее глаза, все такие же тревожные и пронзительные. Обеспокоенное лицо с острым подбородком. Потом ее заклоняет Анастази, и дверь захлопывается. Наступает тишина. Я еще слышу удаляющиеся шаги за дверью. Потом они стихают. Пусто.

Глава 9

Накануне, перед самым рассветом, герцогиня осмелилась переступить тот тайный порожек, который внезапно приобрел значимость огненного рубежа. У изголовья, ссутулившись, сидел слуга. Как бесшумно она не ступала, огромный парень все же поднял голову. Он сделал было попытку подняться, когда узнал ее, но герцогиня резким движением запретила. Этот деревенщина мог опрокинуть табурет, на котором сидел. В комнате почти непроглядный мрак. Портьеры плотно задернуты, чтобы и луна своим серебряным шепотком не нарушила бы спасительную тишину, которую, будто толстую повязку, наложили поверх воспаленного разума. Геро дышал коротко, отрывисто. Его насильственный сон тоже был вроде повязки или, скорее, наложенных на безумца пут. В действительности никакого сна не было. Была тяжелая, душиная пелена, в которую он был закутан, под которой был погребен, как взметнувшийся огонь под чугунной крышкой. Внешне эта пелена выглядит огнестойкой, она подавляет бушующий огонь, но против самого огня эта пелена бессильна, ибо крышка над очагом из олова. Пелена прогорит и обмякнет, а пламя вновь вырвется наружу. Пламя боли. Пока эта крышка цела, боль исходит невидимым чадом страданий. Этот чад сгущается, поднимается к потолку, образует замысловатые фигуры. Затем

это темное полотнище провисает лохмотьями, и лохмотья эти множатся, выпуская бесформенные ростки, оплетая всю комнату, как неистребимый плющ.

* * *

Вбегают напуганный, взъерошенный Любен, вероятно, с устрашающим выговором от Анастаси. За ним, ступая медленно, как цапля, в привычном раздражении, Оливье. Он окидывает меня взглядом, полным неизбывной скуки. Я неугомонный, неистощимый источник его хлопот, неудачное творение, которое он постоянно вынужден подправлять. Как же это утомительно! Он даже не затрудняет себя исследованием моего пульса, его частоты и наполнения. Закатывает мой рукав и ланцетом вскрывает вену. Единственное средство облегчить мои страдания – это изгнать из моего тела как можно больше черной желчи. Стекающая в медный таз кровь действительно почти черная и очень густая. Возможно, он прав, во всем виновата черная желчь. Это она причина меланхолии. Во мне ее так много, что я не способен радоваться и принимать дары благосклонной ко мне фортуны. В моем теле нарушен баланс жизненных соков: моя кровь слишком густа, моя желчь изменила цвет, а моя флегма, покинув отведенное ей природой местоположение, заместила собой все прочие жидкости. Тут уж ничего не поделаешь, таково мое устройство. Вот только почему бедный врач вынуж-

ден исправлять это несовершенство?

Опустошив мои вены до головокружения и звона в ушах, Оливье все с тем же скучающим и раздраженным видом разводит для меня маковую настойку. К охватившей меня слабости это добавит тяжелый, принудительный сон. Я проваляюсь в небытие и перестану чувствовать боль. Вынудив меня проглотить лекарство, Оливье величественно удаляется. Не мне упрекать его за жестокосердие. Я и в самом деле доставляю ему столько хлопот. По милости моего упрямства и моей вспыльчивости он ежечасно слышит угрозы. Мои раны и даже моя болезнь – это плоды непростительного легкомыслия. Я сам, по собственной воле, из глупого каприза, навлекаю на себя все эти напасти, а он, рискуя благополучием и даже жизнью, вынужден меня врачевать. Вполне уважительная причина для неприязни.

Любен ко мне более снисходителен. Хлопочет, не затрудняя себя оценкой моих действий: опускает портьеры, укрывает мне ноги, поправляет подушку. Робко осведомляется, не подать ли мне завтрак. Но я качаю головой. Меня снова мутит. Если приступ повторится, то к утру начнутся позывы к рвоте. На пустой желудок это не так мучительно. Вскоре настойка действует, и я засыпаю. Сон – как душная вязкая тряпина, на поверхности которой блуждают синеватые огоньки. Это меня поджидает обманутая небытием болезнь. Она только начала свою трапезу. Голод ее не утолен, аппетит разыгрался как после острой закуски, а я, в самый разгар

пиршества, ее отвлекаю.

Действие опия кончается, и я сразу получаю удар. Огненный, скрученный в спираль жгут. Он ворочается у виска, извивается, задевает глаз. Я стараюсь не двигаться и дышать как можно реже. Утешаю себя тем, что это скоро пройдет. *Omnia transit*⁴⁵. Дольше трех ночей это не длится. Надо переждать, перетерпеть и не пугать Любена своим стоном и бледностью. Если он увидит, как я страдаю, то кинется к Оливье. А тот снова пустит мне кровь и оглушит опиумом. Мои вены на руках в сплошных рубцах и насечках; когда Оливье орудует ланцетом, я слышу, как скрипит затвердевшая, воспаленная плоть. Я должен сжалиться над моими руками и поберечь свои жилы.

День проходит. Любен ходит на цыпочках. Портъеры опущены, но я все же слышу лай собак и звук охотничьего рога. Гости отправляются на охоту. А вечером снова зазвучат скрипки. Где-то там, в нарядной, беззаботной толпе, моя незваная гостья. Седлает своего рыжего жеребца, дитя марокканской пустыни, вскакивает в седло и мчится, мчится... А вечером, облачившись в зеленый шелк, танцует и смеется. Она ничего не помнит.

Вот и вторая ночь. Пытаюсь обойтись без кровопускания и макового настоя. Запертый в собственном теле, наблюдаю, изучаю повадки хищника. Боль, возможно, как и все прочие наши хвори, – всего лишь изголодавшийся пришелец. Это

⁴⁵ Все проходит.

зверь, который охотится во мне, подобно тому, как в лесу охотится волк. Он выслеживает добычу. Зверь движется, извивается, сворачивается в кольцо, совершает прыжок, крадется, скребет лапами. Я занят тем, что угадываю его облик, но это существо бесконечно меняет формы. Ни один из предполагаемых образов ему не нужен. Он желает обладать всеми сразу. Предвидеть следующее превращение я не в силах. Узнаю его облик за мгновение, успеваю сделать набросок, чтобы отойти в сторону и наблюдать. Дыхание короткое, поверхностное. Я затагиваю выдох, чтобы усилить сосредоточение и обозначить паузу. Сожрёт ли он меня? Куда он направится дальше? Моя голова уже обглодана, выжжена изнутри. Клык, ядовитый и мокрый, скребет самую кость. К утру я почти в забытьи. Это не сон – это спасительный обморок. Я скрываюсь от зверя.

Внезапно я слышу голоса и шаги. В спальне вновь Анастаси, но не одна. За ней следует Оливье и еще кто-то, мне неизвестный.

– Вот, сеньор Липпо, это тот самый больной, о котором я вам говорила.

Я перевожу взгляд с одного на другого. Вероятно, незнакомца зовут Липпо. Кто он? Еще один незванный гость. Визиты их участились. Гость очень худ и невероятно высок. Волосы всклокочены, кожа смуглая. На вид не старше сорока. Одет пестро, невпопад, как будто собирал предметы своего туалета по друзьям и соседям. На плече – холщовая сумка.

Сразу и не поймешь, кто он. Лицедей? Или шарлатан? Один из тех кто, по прибытии в город, приглашает всех желающих избавиться от зубов, морщин и бородавок? Я изумлен, Оливье не скрывает ярости и презрения.

Анастази, едва справляясь с голосом, объясняет:

– Мадам д’Анжу почувствовала себя дурно, внезапная головная боль. Так как ее светлость не доверяет никому, кроме своего личного эскулапа, то пришлось отправить нарочного в Париж и просить сеньора Липпо срочно прибыть в Конфлан. Вот он и прибыл.

Липпо... Липпо... Знакомое имя. Где я его слышал?

– После визита к ее высочеству, страдания которой, к счастью, были не столь уж велики, я воспользовалась случаем и обратилась к ней с просьбой позволить сеньору Липпо принять участие в маленьком консилиуме. Если кроме одного врача есть еще и второй, то почему бы им не устроить маленький совет?

Оливье не то фыркает, не то покашливает. В сторону пестро одетого коллеги с холщовой сумкой через плечо он даже не смотрит. Пришелец переступает с одной длинной ноги на другую и потирает затылок.

– Для начала я бы хотел осмотреть больного, – неожиданно музыкально произносит сеньор Липпо.

Он говорит с чуть заметным южным акцентом, растягивая и округляя звуки. Удивительный голос в таком угловатом теле.

– Да, разумеется, – соглашается Анастази. – Приступайте немедленно.

– Но я бы предпочел остаться с молодым человеком наедине, – добавляет гость с легким поклоном. – Возможно, мне придется задать несколько ммм... щекотливых вопросов, а молодой человек в присутствии дамы, такой прекрасной сеньоры, будет несколько стеснен в ответах.

Оливье выражает свое презрение кудахтаньем, но Анастази не возражает.

– Это ваше право и ваша обязанность, сеньор Липпо. Оставайтесь и действуйте с благословения этого... вашего... как его?

– Асклепия, – с улыбкой подсказывает он.

– Именно.

– И правнука его Гиппократа.

– Я бы на вашем месте больше уповал на Меркурия, – скрипит Оливье.

Анастази толкает его к двери и сама семенит следом. Я слышу, как они пересекают мой кабинет, гостиную и переговариваются с Любенем. Гость тем временем придвигает табурет к моему изголовью.

– Ну-с, молодой человек, говорят, у вас мигрень...

Он наклоняется надо мной и разглядывает. Глаза у него круглые, совиные, да и сам он похож на большую, голенастую птицу, утратившую в драке или в непогоду часть своих перьев. Он вытягивает жилистую шею и забавно вертит

головой.

– Дайте-ка вашу руку. Нет, лучше две.

Я протягиваю руки. Он бережно закатывает мои рукава. Я разочарованно вздыхаю. Будет выбирать, какую вену лучше вскрыть. И стоило его приглашать... Оливье отлично с этим справляется. Но Липпо не спешит вооружиться ланцетом. Он держит мои руки в своих и внимательно их рассматривает. Даже просит разрешения приподнять портьеры, чтобы осветить комнату. Осмотр он начинает с моих ногтей. Изучает каждый поочередно. Поворачивает мои руки так и этак, будто ценитель драгоценных камней в ювелирной лавке или знаток редких тканей, стремясь уловить блеск шелка. Затем так же внимательно изучает ладони, запястья и добирается до сгиба локтей, где находит свежий след от разреза на одной руке и несколько затянувшихся отметин – на другой.

– *Figlio di putana!*⁴⁶

Я не совсем уверен в переводе, но догадываюсь, что этот нелестный отзыв предназначается Оливье. Далее осмотр сопровождается хмыканьем и перемещением кустистых бровей от середины лба едва ли не к подбородку. Кроме следов ланцета на моих руках множество других следов, которые способны породить какие угодно предположения. Хотя бы те два параллельных шрама на левой руке. И хорошо заметный след на правой ладони. Это могло навести на мысль, что я хватался голый рукой за лезвие, а рубцы на запястьях – что

⁴⁶ Сукин сын! (итал.).

я беглый каторжник. Вот он уже и подумал!

– Che cazzo?!⁴⁷

Это он еще моего плеча не видел. Но вопросов Липпо не задает. Только качает головой. Затем сразу на обеих руках ищет пульс, что удается ему не сразу по причине моего неумышленного малокровия. После обильного кровопускания мои жилы полупустые. Ему приходится долго прислушиваться. Он даже закрывает глаза и сам почти перестает дышать. Я чувствую, как он поочередно меняет силу нажима на моих руках, то слева, то справа. Как на музыкальном инструменте играет, и каждая из вен подает ему свой голос. Он прислушивается к самому течению моей жизни, ко всему, что во мне происходит: к дыханию, к наполнению желудочков, к сокращению мышц. Как будто многоопытный музыкант ищет фальшивую ноту. Это своеобразный язык, на котором тело может поведать ему о своих бедах. У Липпо шевелятся губы и двигаются брови. Похоже на то, что он не просто слышит, но и отвечает на эти жалобы. Наконец он отпускает мои руки, промаргивается и довольно долго на меня смотрит. Вдруг вскакивает и одним взмахом скидывает все с маленького столика у моего изголовья. Вытаскивает его на свет и начинает выгружать на столешницу содержимое холщового мешка. Действия он сопровождает злым, отрывистым шепотом. Я снова слышу «cazzo», «bastardo»⁴⁸,

⁴⁷ Что за хрень? (итал.).

⁴⁸ Ублюдок (итал.).

«canaglia»⁴⁹, которые он нанизывает гроздьями на короткие фразы. Я не совсем понимаю, что служит причиной его гнева, но спросить не решаюсь. Возможно, так он выражает профессиональное презрение к конкуренту. У врачей это принято. Любой, кто не разделяет их мнения, становится ренегатом и мерзавцем. У меня даже мелькает мысль вступить за беднягу Оливье. Он не так уж плох, а за те три года, что ему приходится иметь дело со мной, он давно уже исчерпал все средства, способные вернуть меня к жизни.

– Юноша, когда вы ели в последний раз?

– Не помню, кажется, третьего дня...

– А пили? – Пару глотков сегодня. Больше не смог... У меня...

Но Липпо в моих объяснениях не нуждается. Он делает предостерегающий жест.

– Не оправдывайтесь, юноша. Если вы проглотите лишний кусок, у вас откроется рвота. Это ясно.

Он смешивает что-то из двух склянок и добавляет в раствор желтоватый порошок. Серебряной ложечкой доводит полученное лекарство до чуть пенистой однородной массы и дает мне выпить. Пахнет пряностями и на вкус остро-сладкое.

– Это настоянные в меду лимонные корки с имбирем, – объясняет он с улыбкой. – Противорвотное. А теперь подумаем, что делать с вашей головой.

⁴⁹ Каналья (итал.).

– Отрубить, – тихо советую я.

– Это мы всегда успеем. Начнем с чего-нибудь попроще.

Вот хотя бы с этого.

Из разложенных перед ним предметов Липпо извлекает плоский, продолговатый футляр. Я подозреваю в нем наличие ланцета или другого особой формы ножа, но там оказываются длинные золотые иглы. Они похожи на крошечные шпаги с двуручной гардой, но без эфеса.

– Полагаю, *figlio mio*⁵⁰, вам еще не доводилось видеть подобных приспособлений, и вы уже задаетесь вопросом, не намерен ли я их как-нибудь применить. Так вот... Намерен!

– Будете загонять мне под ногти?

– Только если вы сами меня об этом попросите, – отвечает он. – Для обращения еретиков они пригодны точно так же, как пригоден для разбоя кухонный нож, но назначение у них другое.

Он опять берет меня за руки и разминает мои ладони, пока я не начинаю чувствовать тепло. Затем смачивает с тыльной стороны между большим и указательным пальцами прозрачной жидкостью из длинной бутылки темного стекла.

– А теперь не пугайтесь, – говорит он, берясь за одно из крошечных орудий. – Я все объясню позже.

Я не пугаюсь. Напротив, мне любопытно. К тому же я и мысли не допускаю, что этот нескладный, длиннорукий итальянец может причинить мне боль. Впрочем, какая боль мо-

⁵⁰ Сын мой (итал.).

жет сравниться с той, какую я уже чувствую. Он щелчком вкручивает иглу в тыльную мякоть под указательным пальцем. А на другой руке – вторую. Выглядит устрашающе, но я чувствую только легкий укол.

– Не больно, – говорю я.

– Хм, смею предположить, что в заблуждениях вы не рас-
каетесь.

– Нет.

– Тогда придется проделать то же самое с вашими ногами.

Он откидывает одеяло в сторону и точно так же, как прежде разминал кисти моих рук, растирает мои застывшие ступни. Так энергично давит пальцами, что я вздрагиваю. Он перебирает мои сочленения так умело, будто следует атласу Галена или справочнику Везалия. Кожу он так же смачивает жидкостью из бутылки и повторяет манипуляцию с иглами.

– Более не буду пугать вас, юноша. Никаких других приспособлений из арсенала Сант’Анжело⁵¹. Всего лишь согревающий бальзам.

Он опять что-то достает, переливает, смешивает. На кончике золотого шпателя я вижу полупрозрачную мазь. Резко пахнет камфарой и гвоздикой. Примешиваются другие терпкие ароматы, но они мне незнакомы. Он поддевает немного пахучей мази длинным пальцем и коротко, энергично давит

⁵¹ Замок Святого Ангела (итал. Castel Sant'Angelo, лат. Castellum Sancti Angeli) – также известный как Мавзолей Адриана (лат. Mausoleum Hadriani), иногда называемый Печальный Замок, резиденция римских пап, а также тюрьма.

мне между бровей, где-то за ушами и над верхней губой. Я чувствую проникающее тепло, как будто на коже вспыхивают крошечные угольки. Тепло растекается, охватывает всю голову, опускается по телу вниз от затылка, вдоль позвоночника, распадаясь на узкие и широкие полосы. Это тепло баюкает и утешает. Веки у меня тяжелые. Но это не свинцовая тяжесть боли, а благодатная сонная муть. Даже зверь в моей голове укорачивает прыжок. Он движется все ленивей, все размеренней, круг, который он вычерчивает, постепенно уменьшается и обращается в точку. Зверь, свернувшись, засыпает.

– Ну вот и все, юноша, – говорит Липпо, избавляя меня от иголок. – Теперь можете поспать. Вы, по всей видимости, не только два дня не ели, но и не спали.

Он сбрасывает все разложенные на столике склянки и мешочки обратно в свою безразмерную холщовую сумку.

– По-хорошему нам бы следовало встретиться еще раз. Но тут уж не нам решать.

– Где вы этому научились?

Он оборачивается ко мне почти с изумлением.

– А вы любознательны, *figlio mio*⁵².

– Как все узники.

– Ну-ну, юноша, не преувеличивайте. Ваш недуг не настолько значителен, чтобы соперничать с месье дю Трам-

⁵² Сынок (итал.).

бле⁵³. Это легкое недомогание, с которым вы легко справитесь. Но сейчас вам лучше не утомлять себя разговором и не слушать мои выдумки. Отдохните, а затем погуляйте. Вы молоды, но у вас...

– Да, я знаю, у меня кожа тонкая.

Я не пытаюсь его разубедить. Он ничего не знает обо мне, и это к лучшему. Он здесь только потому, что... Липпо уже заканчивает сборы, когда мне в голову приходит странная мысль.

– Вы ведь врач княгини Караччиолли и прибыли по ее приказу...

– Да, так оно и есть. *Santa Maria e tutti santi!*⁵⁴ Вытащили из постели посреди ночи! В седло, галопом. Весь зад себе отбил!

– Так она больна? Что с ней? Анастаси сказала, внезапная головная боль.

Липпо морщится, будто откусил что-то кислое.

– У нее? Головная боль? *Uncorno!*⁵⁵

Он снова водружает сумку на стол и склоняется к самому моему уху. Предварительно оглядывается по сторонам.

– Нет у нее никакой головной боли. И не было.

Заговорщицки подмигивает и на прощанье хлопает меня по руке.

⁵³ Комендант Бастилии.

⁵⁴ Пресвятая Дева и все праведники! (итал.).

⁵⁵ Как бы не так! (итал.).

Глава 10

Его кожа останется гладкой, нетронутой. На ней все так же зазывно будут плясать тени, то скрывая, то подчеркивая совершенство линий. Он по-прежнему желанен, цвета золотистого плода, с черным шелком спутанных волос, в переплетении натянутых жил и связок. Но где-то в глубине его разума, за туманом зрачков, происходит черная работа, где-то иглы вонзаются, извлекаются, смачиваются кровью и вновь погружаются в эфирную плоть, где-то проступает несмываемый, неизлечимый рисунок.

* * *

Его давно нет, а голос все звучит. «Нет у нее никакой головной боли». Как же это? Зачем же тогда она посылала за ним? Прихоть? Каприз? Не пожелала воспользоваться услугами Оливье? Так бывает. Знатные дамы не доверяют чужим врачам. Их удерживает природная стыдливость. Врач, как и духовник – хранитель тайн. Он свидетель и участник самых важных событий – рождения и смерти. Ему поверяют стыд. Врач видит своего пациенты разоблаченным, без покровов, в первородном грехе. Женщине допустить это трудно. Жанет д'Анжу, безрассудная и отчаянная, может оказаться стыдливей монастырской затворницы, для которой нет испытания

мучительней, чем доверить свою тайну мужчине. Она почувствовала себя дурно и послала за своим врачом. Это естественно. Но почему Анастаси говорила так странно? Голос у нее прерывался. И фразы звучали как заученные. Она притворялась, но готова была шумно выдохнуть и признаться. Что она скрывает?

«Нет у нее никакой головной боли. И не было».

Но если не было, то зачем? Зачем Жанет посылала за своим лекарем? Не затеяла же она все это ради меня?! Я качаю головой в ответ на собственные мысли. Какая самонадеянность! Чтобы знатная гостья пустилась ради меня в такие рискованные хлопоты! Инсценировать собственную болезнь, отрядить гонцов, убедить Анастаси... Нет, это невозможно. Ради чего? Это было бы объяснимо, будь я тайным наследником престола или обладателем сокровищ. Но я – всего лишь чужой любовник. Тогда зачем? Заслужить благодарность сестры? Это не так уже невероятно, как может показаться. Жанет вернулась во Францию после многолетнего отсутствия, она здесь чужая. Поддержка сестры, Клотильды Ангулемской, означала бы лояльность королевы-матери и партии принцев. Оказав небольшую услугу, вылечив меня, Жанет получила бы право на дружеский прием, ее признали бы равной. Я не могу объяснить ее неожиданную любезность по-другому. Нет у меня аргументов в пользу другой версии... Если только... Но это и вовсе невероятно! Она меня... пожалела? Меня, безродного, жалкого узника, пожале-

ла знатная дама. Пожалела женщина, которую с герцогиней связывают кровные узы, дочь того же венценосного отца, почти двойник, копия. Поверить в это все равно что поверить в чудо. А я давно не верю в чудеса. Так же как не верю в Бога. И вот мне снова предлагают поверить в воскресение Лазаря, подойти к пещере и отвалить камень. Забавно. Что же это получается? Жанет д'Анжу, разыгрывая спектакль, спасает меня от мигрени? Она или сошла с ума, или... или... Не знаю, что «или».

Если она притворялась, то мастерски! Я помню ее нежные, теплые пальцы, ее встревоженный взгляд; помню, как она склонялась надо мной, как шептала слова утешения... И мне становилось легче, честное слово! Я мог оказывать сопротивление, мог дышать. Я слышал стук ее сердца, прямо над головой, как слышит сердце матери нерожденный младенец. Я не мог ошибиться, и она не могла сыграть так искусно. Да и зачем ей было играть? Ни просьбы, ни угрозы, ни выгоды. Она могла отступить, брезгливо подобрав юбки, и дожидаться рассвета в стороне. Но она предпочла разделить это со мной, спустилась по той же лестнице и удерживала на самом краю. Но зачем? Я не понимаю... не понимаю. Если нет заговора, нет первоначального плана, то... Ах, что же я голову ломаю! Да просто все – она позабавилась. Оказалась в доме успешной, самоуверенной родственницы и обнаружила красивую игрушку. Чем не начало сюжета? Да и средство обмануть ревнивую сестрицу нашлось – моя очень

кстати пришедшаяся болезнь. Осталось подослать переодетого доктора. Или даже обрядиться в этот костюм самой. Чем не сюжет для уличного театра? Герцогиня Ангулемская в роли рогатого мужа, надутого, важного доктора права, Анастаси – Смеральдина. Липпо, разумеется, – Бригелла. Любен – Труффальдино, а я... Кто же тогда я? Тут выходит небольшая путаница. Согласно законам жанра у профессора права есть юная супруга, Лючинда или Джульетта, которую он отчаянно ревнует. У супруги тайный воздыхатель. Всеми правдами и неправдами он пытается проникнуть в дом, где ревнивый муж прячет свое сокровище. В ход идет подкуп, переодевание, сонное зелье и, в конце концов... В конце концов ревнивый тиран обманут, и влюбленные соединяются. Но в нашей пьесе все поставлено с ног на голову, я выступаю в качестве приза, а сеньор Панталоне – в женском облике. Воображаю герцогиню в судейской мантии, в черной скуфейке и помимо воли начинаю смеяться. И хохочу все громче. Она позабавилась, но как изящно, как ловко. Псевдоученый доктор права, надутый и важный. Рогоносец. На звук моего смеха появляется Любен и тарашится на меня с испугом. Как же он соответствует своей роли! Сеньор Труффальдино. От смеха не могу вымолвить ни слова. Любен бросается ко мне.

– Сударь, вам плохо? – С чего ты... взял? Наоборот! Нет, нет, я не спятил. И рассудок мой в полном порядке. Я всего лишь вспомнил одну пьесу, итальянскую... Ее как-то давали на ярмарке в Сен-Жермен. Живо так представилось. На

тебя взглянул и подумал... Одним словом, напомнил ты мне одного малого.

Любен только растерянно взирает. Наконец, отсмеявшись и отдышавшись, я делаю ему знак приблизиться.

– А что там у мэтра Ле Пине к обеду? Сгораю от любопытства.

Глава 11

Эта мраморная беседка, возведенная некогда флорентийским зодчим, прибывшим ко двору короля Франциска, погибла, скорее, по неосторожности, чем по злому умыслу. Конфлан, некогда построенный Гизами, принадлежал герцогу Майенскому, который вступил в сражение с королевским войском. Рассказывали, что в той беседке, предназначенной для влюбленных, держали бочки с порохом. Кто-то поджег фитиль. Резиденция мятежного герцога ущерба не понесла, а вот беседка, приют поэтов и любовников, погибла. От нее осталась одна-единственная колонна в дорическом стиле, примыкающие к этой колонне три ступени и небольшая часть отшлифованной мраморной площадки с обломком скамьи. Ни один из последующих владельцев замка не позаботился снести эти руины окончательно. Точно так же ни один не предпринял обратного действия, не отстроил беседку заново. Так и торчала эта единственная колонна, будто укоризненно возведенный перст. Поврежденные взрывом обломки затягивал дикий виноград, как новорожденная кожа застывает рану. У подножия колонны разрослась жимолость, розовел своими невзрачными цветами, а затем поблескивал оранжевыми плодами дикий шиповник. Клотильда, подобно своим предшественникам, так же не обращала внимания на эти развалины. Первый, кого

привлекли мраморные останки, был Геро. В теплое время года он часто устраивался там с книгой, скрываясь в тени колонны от избыточных ласк полуденного солнца, или находил там защиту от порывов ветра. Возможно, в этих развалинах, по-своему величественных, он находил сходство со своей жизнью. Нечто такое же невосполнимо утраченное, иссеченное, разбитое, под стыдливо цветущей мантией, и неуловимо прекрасное.

* * *

Я надеюсь, что Липпо навестит меня еще раз, но его нет. Вместо визита он передает мне через Любена какие-то по-рошки, которые я должен принимать на ночь, и записку. В ней он рекомендует мне совершать часовые прогулки на рассвете. Почему на рассвете? Почему не перед сном? Вновь таинственная восточная мудрость? Впрочем, при сложившихся обстоятельствах это лучшее время. Замок полон гостей, и мое появление в парке вряд ли останется незамеченным. К тому же Любен не выпустит меня днем. У него приказ. Ее высочество не желает, чтобы я привлекал к себе внимание и служил темой для разговоров. Предпочитает держать нашу связь в тайне. После нашей поездки в Лувр она уже не мечтает о триумфе зависти. Скорее наоборот, пытается упрятать меня как можно дальше. Будто я не победа, а главная из ее ошибок, свидетельство поражения. Один мой взгляд – непо-

правимый урон для репутации непобедимой Цирцеи. Одним словом, мне не следует кому бы то ни было попадаться на глаза. Начало дня, первые сумрачные часы – самые подходящие для пленника. Весь замок спит. Гости, после ужина и танцев, долго не покидают своих спален. Их примеру следуют утомленные слуги. Только кухарка на цыпочках спускается вниз, чтобы развести огонь. С ней заспанный, взъерошенный поваренок. Воду и съестные припасы доставили накануне вечером, чтобы на рассвете не тревожить благородных постояльцев стуком колес. Я сам, без совета Липпо, предпочел бы это время, не решился бы стать действующим персонажем пьесы. Нет нужды ужесточать надзор и прятать меня в тень, я сам – ее порождение.

Почерк у Липпо корявый, прыгающий, будто птичий. Так и вижу его огромную длиннопалую пятерню с утонувшим в ней пером. Он держит его всей горстью, вывернув ладонь набок. В слове «прогулка» у него две ошибки. «Прэгулга». Меня это забавляет, как неуклюже подрисованная рожица или тайный дружеский привет, скрытый в чопорном рецепте. Что ж, прэгулга так прэгулга. Советом пренебрегать не стоит. Я не покидал комнаты с момента появления гостей. А мне, как узнику, положены прогулки. Вот я и воспользуюсь правом. Любена я не предупредил накануне, и он самозабвенно храпит поперек двери в гостиную. Я переступаю через него и крадусь к черной лестнице. По ней я спущусь на кухню, где кухарка уже согрела воду. Там умоюсь и съем

кусочек запеченного яблока с ореховой крошкой. Их вчера подавали на десерт. Любен сетовал, что почти ни одного не осталось, но старая Эсфирь всегда прятала для меня лакомства в буфете. Не уверен, что она позаботилась обо мне и на этот раз, но поманить себя среди дремы и влажной осенней прохлады очень действенный метод. Я и прежде так делал, в бытность свою студентом. Выдумывал на рассвете, когда день подкатывался мукой, какой-нибудь приятный, легко достижимый приз, вывешивал его, как морковку, и бежал за ним, невзирая на холод и замерзшую в тазу воду. Чаще всего это была свежеиспеченная хрустящая вафля или слоеная трубочка, свежий аромат которой доносился из ближайшей лавки. Я выскальзывал из-под одеяла, взламывал ледок и, невзирая на дрожь, укрощал влажным полотенцем разнежившуюся плоть. зуб на зуб не попадал, но я дразнил себя сладобным видением и чувствовал на языке почти липкую ванильную сладость. Если в кармане находилась мелочь, видение обретало вкус, форму и тяжесть в желудке. Я чувствовал себя вознагражденным и отправлялся дальше, по часовому кругу, почти счастливым. Если же мелочи не находилось, я перемещал видение в следующее утро и там уж клятвенно обещал себе награду. Здесь на роль утешительного приза, приманки для будущего, мало что годилось. Пресная вафля более не имела той ценности, которую ей приписывал невыспавшийся студент, мне необходим был другой приз, сладость, которой я уравновесил бы предстоящий день. Утро,

если его подсластить, уже не пугает. И день за ним прокатится незаметно. Я не думаю о том, что будет дальше, не воображаю длинный вечер в ожидании герцогини, я вижу только укрытый под серебряной крышкой запеченный, в медовом сиропе, плод. Я найду его в потайном месте и угощу тоскующий рот. Запеченных яблок не нахожу, но на полке в буфете, там, где условлено, сливовый пирог, фруктовое желе и тягучий засахаренный дягиль, доставленный из монастырей Пуату. И вода уже согрелась.

Осеннее утро негостеприимный хозяин. Хмурится в ответ на приветствие, клубится промозглым туманом. Листья за ночь отяжелели и уже не блестят – умирают. Я тревожу их башмаками, переворачиваю, приминаю, но они поддаются без хруста, как отсыревший ворс ковра. Часть их еще крепится на ветвях, но уже поникла и готова сдаться. Цвет – позолота со ржавчиной. Я обхожу пруд, темный, с теми же бурыми листовыми трупиками на поверхности, и отправляюсь мимо цветника в буковую аллею. Она почти не просматривается из замка. Даже сейчас, когда листья уже опали, ветви деревьев переплетены так густо, что разглядеть что-либо из окон почти невозможно. Скоро станет светлее и кто-нибудь подойдет к окну. Но различим лишь силуэт. Слева от меня вроде каменного цоколя с колонной. Это остатки павильона, который был разрушен испанскими наемниками герцога де Гиза в 1585 году. Ее высочество, получив Конфлан в качестве приданого, почему-то не позаботилась о восста-

новлении этого грекоподобного сооружения, и на его месте осталась только одинокая обезглавленная колонна. Ее почти до вершины оплел дикий виноград, и она казалась пойманной в некие волшебные сети. С наступлением осени эта сеть превращалась в дырявую пурпурную мантию на плечах мраморного исполина. Я часто приходил сюда и воображал себя блуждающим в развалинах Парфенона. Мне даже виделась в мраморных разводах таинственные, нечитаемые знаки, ибо по легенде, совершенно безосновательной, этот продолговатый кусок мрамора был и в самом деле привезен из Афин. Я не находил доказательств этой легенде, но воображал ее документально изученной, а следовательно, подтвержденной. Взявшись за жизнеописание Ликурга или Фемистокла, я призывал молчаливую колонну в свидетели. Вот и сейчас я по привычке иду к ней. Побродить, подумать. Вспомнить и даже произнести вполголоса несколько строк. Мне этот жалкий обломок представлял то разрушенной Троей – «...и у стен Илиона / Племя героев погибло – свершилася Зевсова воля», то стенающим Карфагеном – «Carthago delenda est»⁵⁶, то разграбленной, лишенной струн Эоловой арфой. Жалкое доказательство минувшей славы.

– Доброе утро.

Я едва не подскакиваю от неожиданности. Оборачиваюсь. Передо мной – женщина, на первый взгляд незнакомая. Плащ подбит лисьим мехом. На руках тонкие лайковые пер-

⁵⁶ «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

чатки. Под капюшоном рыжий задорный локон. Жанет! Княгиня Караччиолли, самозванная принцесса д'Анжу. Смиренно сложив руки, улыбается. Глаза таинственно блестят. Я не слышал ее шагов. Она ступила ко мне прямо из тумана, из-под белесой завесы, не потревожив башмаком лиственный саван. Будто веса в ней не больше, чем в облаке. А может быть, она только что сотворила свое тело из подвернувшихся ей лоскутков, прохладных капель и сумрачных теней?

– Как... вы?... Почему? Что вы здесь делаете?

– Я кое-что забыла... В нашу первую и последнюю встречу, у меня не хватило времени.

– Но как вы?..

И тут меня осеняет. Липпо! Ну конечно же, интрига продолжается. Его совет прогуляться на рассвете все равно что вызвать меня на свидание. Он дал мне эту рекомендацию с ведома Жанет или даже по ее просьбе. Какая пьеса! А я и не догадывался.

– Вы знали, что я приду, – срывается с моих губ. – Рано утром. Понятно, это Липпо. Но откуда вы узнали, что именно сюда?

– Ваш парень подсказал, этот... как его... Любен.

– Любен?! Не может быть! Но...

– Как мне это удалось? Это несложно.

Она извлекает из расшитого кошелька, который красуется у нее на поясе, золотую монету и подбрасывает ее в воздух. Ловит и раскрывает ладонь. Монета блестит унылым монар-

шим профилем. Ее коронованный брат сучающе пятит губы.

– Очень весомый аргумент, – поясняет Жанет. – Особенно, если не один.

– Любен обязан донести...

– Не донесет. Он силен, как Полифем, но, к счастью, не настолько глуп. Он будет молчать.

Я смотрю на нее с изумлением. Ни тени смущения или страха. Глаза сияют. От утренней прохлады щеки у нее покраснелись, губы чуть полуоткрыты.

– Но... зачем? – вырывается у меня.

Вопрос, который любая женщина оставила бы без ответа, оплела бы ложью, скрыла бы напускной стыдливостью, только бы избежать признания, но только не Жанет. Она продолжает улыбаться, не опускает глаз и спокойно отвечает:

– Чтобы увидеть вас.

– Зачем?

Ничего глупее не придумаешь, но я в таком замешательстве, в таком безукоризненном отпадении от искусства извлечения и составления слов, что произнести и придумать что-либо не в силах.

– Я влюбилась.

Я хотел бы сослаться на туман, на его искажающие, растворяющие свойства, на то, что смысл остался мне неясен, и отместить, отогнать услышанное, как сорвавшийся, закруживший на ветру лист. Я хотел бы ослышаться и стать жертвой

обмана. Но она произнесла это без малейшего фонетического огреха, с безупречной дикцией и чистотой, сыграла изумительный аккорд. Но я все-таки переспрашиваю, ибо в ее присутствии непроизвольно глохну.

– Что, простите?

И она терпеливо и даже радостно повторяет.

– Я влюбилась.

В ее глазах золотые мерцающие крупинки. Они плавают, вращаются, соединяются в звезды, я смотрю на нее как зачарованный, будто околдован и обездвижен заклинанием, очень простым, но безумно действенным. Она чуть склоняет голову и смотрит на меня так, что взгляд из-под вскинутых, взведенных ресниц особенно резок. И та же ласковая блуждающая улыбка, что и прежде, зовущая, нежная... Уголок рта чуть подрагивает, не то от нетерпения, не то от тревоги. Влажно поблескивают зубы. Молочно-белый подбородок, от него в тень, вглубь, под завязку плаща уходит линия ее горла, от которого начинается полоска кожи к ее груди, туго схваченной бархатом лифа. Я только угадываю вырез ее платья, но кожа ее матово и призывно светится, как будто там, внутри, находит свой приют изгнанное с небес солнце. Ее темный тяжелый плащ подобен облачному шатру над головой, он непроницаемо тесен и хранит за собой светящийся жар. Он пробивается в ее глазах, в ее улыбке, в прядях, что выбились и горят у нее на лбу. Она соперничает со светилом, что таится за горизонтом и дарует свой свет лишь благода-

ря капризу. Солнце разорвет облачную завесу, а она сделает шаг и распахнет плащ. И она делает шаг. Я отступаю, но позади меня поросший диким виноградом каменный цоколь. Бежать мне некуда.

Жанет приподнимается на цыпочки и шепчет мне в ухо.

– Три дня мечтала об этом.

Она целует меня. Сначала одним касанием, будто перышком по губам проводит. Потом возвращается и затягивает вдох. Будто вино пробует. Крошечный глоток, чуть подольше, и еще протяжней. Отстраняется, делает паузу, полужамурив глаза, проводит языком по губам.

– Дягиль, пастила или варенье.

Затем еще глоток, уже решительней, нежнее и жарче. Я сам как перебродивший дурман. Голова идет кругом. Ее гладкая прохладная щека прижимается к моей. Упругая и свежая, будто сорванное налитое яблоко. От нее пахнет цветами. Она трется щекой и снова целует. Расчетливо, умело и очень ласково. У меня колени дрожат. Меня захлестывают ее тепло и нежность. Я чувствую ее тело, такое женственное, полное силы. Это та самая, божественная сила, что своим проявлением сводит с ума любого мужчину. Это сама ипостась природы, богиня, дарующая весну. Та самая сила, что увлекает и пьянит. Неразгаданная, таинственная женственность, вечный враг и союзник. Я улавливал присутствие этой силы в Мадлен. Но там она была будто разбавленное молодое вино, почти без вкуса. Мадлен была так неопытна, она

еще не созрела и только слепо, неумело время от времени давала приют этой силе. Она не умела с ней обращаться, избегала и даже боялась. Возможно, в будущем, она бы освоилась и смирилась бы с ее присутствием, обретя ласковую властность и гармонию, но смерть забрала ее слишком рано. Герцогиня и вовсе лишена этой силы. Безупречно сложенная внешне, созданная, казалось бы, как живой сосуд для волшебного нектара, она не обнаруживает в себе ни малейшего признака. Ее мраморное тело – только футляр. Она умела будить мою чувственность, темную и звериную ее ипостась, но никогда не одаривала ее восторгом. Она изымала мою жизнь, грабила и ничего не давала взамен. А Жанет переполнена силой. Ее сила брызжет, разливается, обжигает. Я чувствую благодатный, сладостный жар. Это зов, восторг и желание. Я почти безумен. Пьян и счастлив. Как же я хочу ее обнять... Прижать ее к себе, до боли, до хруста. Чтобы чувствовать, желать... Узнать, как она подчинится, как податливо изогнется... Вдохнуть запах ее волос. Они жесткие, упрямые, будут щекотать ноздри, виться лозой вокруг шеи, связывать пальцы... Какая мука... Я не могу, мне нельзя... Если я прикоснусь к ней, мне уже не остановиться. Я кинусь ей навстречу и совершу безумство. Погублю себя. И ее. И свою дочь. Мне нельзя. Обеими руками я цепляюсь за камни у себя за спиной. В мышцах ноющая боль. Неужели она не понимает? В горле у меня пересохло. Я задыхаюсь. А она гладит мое лицо руками, перебирает волосы. И снова целует.

– You kissed by the book⁵⁷.

Веки, ресницы, уголки губ, ямочку под нижней губой... Блаженство переплетается с отчаянием. Она опускает руку и ноготками царапает мою одежду. Она едва касается, но для меня эти прикосновения, будто картечный залп, с разрывом кожи и кровотечением.

– Нет... Нет... Не надо, умоляю... Пощадите меня. Пощадите...

Я сам не узнаю собственного голоса, он хриплый и тусклый. Не могу вдохнуть, захлебываюсь и задыхаюсь. Отвергнуть ее сейчас, оторвать от себя ее руки все равно что отказаться в раскаленной пустыне от глотка сладкой родниковой воды.

Жанет слышит меня. Ее вздох прокатывается по моей щеке, и она отступает. Глаза ее печальны, но все так же ласковы. Она понимает. Она читает все на моем лице и только грустно качает головой. Прозрачная горечь, будто аромат иссохшей полыни. Мне стыдно и неловко. Она отступает еще на шаг и набрасывает на голову свалившийся капюшон. От этого движения плащ ее распахивается, и я вижу ее затянутый в темно-бардовый бархат стан и высокую грудь. Над корсажем вновь матовый блеск. Такой теплый... Уткнуться бы лицом. Я издаю стон и почти прыгаю в сторону. Чтобы вырваться из западни и бежать. Петляю между деревьев, как за-

⁵⁷ Мой друг, где целоваться вы учились? Шекспир. «Ромео и Джульетта» (англ.).

яц. Кидаюсь то влево, то вправо. Перед глазами круги, сердце колотится. Спотыкаюсь о корягу и валюсь на кучу влажных, скользких листьев. Сбиваю колени. И обдираю ладонь. Пугливо, в отчаянии, замираю. Боже милостивый, Боже милосердный, сжался на рабом Твоим... Как же он слаб, раб Твой... Как же грешен...

Глава 12

Она затруднилась бы назвать причину своего интереса к Жанет. Но сводная сестра ее по-прежнему раздражающе волновала. Как ей удалось сохранить свою душу в неприкосновенности? Почему эта душа не мумифицировалась, не отмерла, как души всех прочих? Что за эликсир придумала и выпила Жанет? Клотильда вновь и вновь, помимо воли, задавала себе эти вопросы. Жанет обратилась в предмет ее изысканий, и, чтобы подобраться к ней ближе, герцогиня и задумала эту увеселительную поездку в загородный замок. Доверить подобный смехотворный предлог постороннему уху было бы, по меньшей мере, неосмотрительно. Легко вообразить, с каким пугливым изумлением на нее взглянула бы герцогиня де Шеврез, эта жрица придворной интриги и житейского здравомыслия. Хороша была бы она, принцесса крови, в глазах светских дам, она, этот столп рассудка и хладнокровия, изрекая подобные тезисы: я желаю приблизить к себе сводную сестру, чтобы изучить ее метафизические способности, раскрыть секрет ее живого присутствия. После подобных откровений по Парижу непременно поползли бы слухи, что герцогиня Ангулемская тронулась рассудком. Или попала под влияние безумца-священника, желающего обратить ее к покаянию. Она не настолько глупа, чтобы открывать мотивы своих действий. Она

могла бы поговорить об этом с Анастаси. Та не сочла бы ее безумной. Был еще Геро, который понял бы ее с полуслова.

* * *

Камзол безнадежно испорчен, и ладонь саднит. Любен отводит глаза. «За сколько ты продал меня, иуда?» Но вслух прошу только воды. Помочь себе не позволяю, сам промываю ссадины на руках и осматриваю разбитое колено. Вот и знаки расположения, которые я получил, как неожиданные дары при первом свидании.

История повторяется, сюжет, ставший основой трагедии, с невинными жертвами и пролитой кровью, теперь адаптирован к фарсу. Нет сомнений – она забавляется. Изгоняет скуку тем же способом, каким когда-то действовала ее сестра. И ничего удивительного. Они одной крови и схожи в своих забавах. Я приглянулся одной, так почему бы и другой не одарить меня расположением? Жанет при всей своей жаркой искренности все же напоминает сестру. Возможно, тот же поворот головы, или небрежная властность, с которой она держится, или та же мерцающая равнодушная улыбка, линия плеча, полусогнутый локоть. Она из числа избранных, с кровью помазанника Божьего в жилах. С правом избирать. Только пользуется она этим правом более утонченно. Жанет усложняет игру, обращая ее в блестящий розыгрыш. Ее сестра, герцогиня Ангулемская, действует с угрюмой прямо-

линейностью, не затрудняя себя полутенями. Ей не приходится в голову совершить обходной маневр или пойти на переговоры. Подобно Иисусу Навину, верному заветам Моисеевым, она предает мечу «все дышащее», разрушает и поработывает. Но Жанет сродни Одиссею – строит деревянного коня, но начиняет его не воинами, а игрушками и сладостями. Ей не нужен залитый кровью жертвенник, ей по вкусу засахаренный дягиль. Она не принуждает – она влечет. Зачем тратить на оружие, если в ее руках верное, проверенное средство? Расчет ее верен. Я одинок, болен, несчастен, мои бастионы готовы пасть от первого же слова участия. Она приласкала меня, как бездомного пса, и я уже готов целовать эту великодушную руку. Как просто... Ни противостояния, ни усилий. Выкажи она высокомерие, я бы нашел в себе силы обороняться. Но она не лжет, она действительно меня жалеет. Пусть на минуту, но без фальши. Конечно, есть еще и азарт, и любопытство. Я – собственность ее сестры, ее тайна, а какая женщина устроит перед соблазном разгадать тайну? К тому же Жанет только что покинул возлюбленный, и она должна чувствовать себя уязвленной, жаждать реванша. Ей необходимо одержать победу, обратить другую, удачливую, в прах под ногами. Тут как нельзя кстати подворачивается добыча, чужая собственность. А ее сестра, герцогиня Ангулемская, противник более чем достойный, победа над ней излечит страдающее самолюбие рыжеволосой княгини.

Нет, нет, я преувеличиваю. Никакого хитроумного плана

нет, это порыв, приключение, которым она искренне наслаждается. Возможно, она даже испытывает некоторую толику чувств, о которых говорит. Любопытство и жалость. Она назвала это влюбленностью. Боже милостивый, у меня сердце заходится, когда я вспоминаю, как она это сказала. Она не опустила глаз, не смутилась. Произнесла без жеманства и трепета. «Я влюбилась». Через несколько дней это пройдет, она забудет меня, но сейчас... сейчас она не играет. Я слышу ее. И чувствую поцелуй. Меня бросает из холода в жар, терзает беспокойство. Что же она наделала! Я, подобно Софоклу, мнил себя почти свободным «от яростного и лютого повелителя». Близость с герцогиней – это обязанность, которая не имеет ничего общего с божественным вмешательством Эрота. Это безрадостная, глухая прерогатива тела, которой я пользуюсь в отчаянии, не зная трепета и восторга. А Жанет вновь вынудила меня чувствовать. В тугую плоть замешался солнечный свет. Я жив, я есть, я дышу. Я помню, что такое страсть, томление и надежда. Сердце разгоняет по жилам этот нектар, я чувствую боль и одновременно желание. Готов метаться от стены к стене, слагать оды, проклинать судьбу и петь ей хвалебные гимны. Именно так, как готов был делать это в те далекие жаркие ночи влюбленности. Я помню и чувствую вновь. Но зачем? Зачем? Что делать с этим воспоминанием?

Гости остаются в замке еще неделю. Я не покидаю своих комнат и не пытаюсь даже подняться по узкой лестнице в

башню, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух. Не подхожу к окнам и не касаюсь тяжелых гардин. Они опущены, будто приступ у меня все еще продолжается. Я прячусь от света. Любен беспрекословно повинуется, исполняя самые бессмысленные мои приказы. Все еще отводит глаза. Я не обвиняю его и не задаю вопросов. Но он чувствует мое скрытое беспокойство, сознает, что стал невольной тому причиной, и не скрывает своих попыток заслужить мое прощение. Я его не виню и не требую раскаяния, но сам его вид, унылый нос, насупленные брови напоминают мне об утрате. Если бы не его маленькое предательство, я бы не терзался сейчас этой болью, пребывал бы, скованный, в пещере и безмятежно любовался тенями. Не видел бы солнца, не опалил бы сердца и глаз. А теперь мне предстоит вновь ослепнуть. Скорей бы...

Я знаю, что она где-то там, среди гостей, блистает, улыбается. Она даже спускается в парк. И гуляет там по утрам. Я могу увидеть ее. Это нетрудно. Если подняться на галерею или одолеть петли винтовой лестницы. Я даже воображаю, как делаю это. Выбираюсь на рассвете с той же неуклюжей предосторожностью, с какой уже совершил роковую ошибку, иду по лестнице вверх, а затем через узкую декоративную бойницу смотрю на нее, неясную, далекую во влажном утреннем тумане, вижу, как ее тонкий силуэт скользит между деревьев. Шагов я не слышу, но мне так легко и так соблазнительно представить ее узкий башмачок, приминающий жухлую траву. Ночью шел дождь, листья вымокли и отя-

желели. Холодные капли срываются, будто слезы с ресниц, скатываются по ее бархатному плащу. Остаются влажные, чуть заметные бороздки. Если она откинула капюшон, то капли скатываются по волосам, распадаются на тонкие золотистые ручейки. Под самые крупные капли она подставляет ладонь. Мягкая душистая лайка отвергает влагу, и крошечный обрывок ночного ливня будет блуждать меж ее пальцев. Она придет туда же, где застала меня, к обломку на цоколе, и будет бродить вокруг. Оглядываться, трогать мраморную шербающую поверхность. Дикий виноград будет цепляться за стену, подобно паутине, с запутавшимися багровыми крыльями. Она сорвет твердую синеватую ягоду и с усилием раздавит. А колонна будет возвышаться над ней, как безмолвный, обезглавленный великан. Потом она уйдет. Или не придет вовсе. Я все придумал. Ее там нет и не было никогда. После моего позорного бегства вряд ли она обо мне вспомнит. Забава кончилась. Чтобы убедиться, мне следует подняться на угловую башню. Ее там нет. Нет! Но я не хочу и противоположных доказательств. Знать, что она там и ждет, будет еще хуже. Лучше так. Оставаться в неведении и тешить себя мечтами. Скоро это кончится, она уедет и никогда не вернется.

День отъезда приближается. Вестником вновь становится Жюльмет. Любен тоже все знает, но я с ним не говорю. Как всегда ловко переставляя вещи, Жюльмет повествует об окончании загородных каникул. Погреб опустошен, окорока

съедены. Пришлые лакеи и горничные укладывают вещи. Я изнываю от желания задать ей свой заветный вопрос, но, к счастью, сдерживаюсь. В мое emploi⁵⁸ мрачного отшельника любопытство не входит. Я должен скорее выразить холодное отвращение к происходящему и заткнуть уши.

Все эти дни я усиленно вытачиваю для Марии рождественские фигурки, младенца Христа в колыбели, склонившуюся над ним Богоматерь, бородатого Иосифа, спящего ягненка; намереваюсь поселить их в Вифлеемском ящике. За прошедшие два года в тюрьме я научился довольно сносно управляться со стамеской. Мои деревянные зверушки стали копиями своих живых собратьев, а давняя затея – маленький театрик с танцующим Полишенелем и разноцветным Арлекином – давно украшал комнату моей дочери на улице Сен-Дени. Я достиг той степени мастерства, когда одухотворенный ремесленник познает радость творчества. И все же я почти принуждаю себя сидеть за верстаком. Ибо занятые руки вовсе не умеряют сердечной боли, я думаю о другом и смотрю в другую сторону. Там, задвинутый в угол, стоит громоздкий продолговатый футляр, обитый бархатом, с серебряными застежками. Жюльмет каждый раз прилежно смахивает с него пыль, но я только настороженно поглядываю и не открываю его.

Герцогине не нравилась моя возня с деревом, которую она именovala простонародной, и за прошедшие годы она не раз

⁵⁸ Назначенная роль (прим. авт.).

пыталась лишить меня этого недостойного занятия, но я не сдавался, напоминая об осколке зеркала. И она, так же памятуя о нем, уступала. Как своеобразный противовес неблагородной забаве она подарила мне скрипку...

Глава 13

Он стоял у окна и держал на руках... ребенка. Новорожденного. Такого крошечного, что влажный детский затылок терялся в его ладони. Она моргнула. Затянула спасительную паузу. А едва меж ресниц вновь потек свет, выдохнула. Она и дыханием своим выпала из текущего бытия, будто лишилась чувств. Не ребенок. Это скрипка. Он держал в руках скрипку. Стоял к окну вполоборота, свет падал косо, побитой теньями разнородной полосой, откуда-то из верхнего угла оконной ниши, будто небеса косили единственным желто-пыльным глазом. В полосе света – его профиль. Безупречный, тонкий. Он чуть склонил голову и разглядывал давно забытый инструмент. Скрипка, внезапно извлеченная, как младенец из темной, безопасной утробы, все в красноватых пятнах, тоже в первый миг слепая, оглушенная.

* * *

Герцогиня Ангулемская купила инструмент у мастера Амати из Кремоны, за три тысячи флоринов, о чем с нескрываемой гордостью мне сообщила, а чтобы я не сослался на свое музыкальное невежество, нашла мне учителя, итальянца. Старик оказался рассеянным и невесомым, как подсу-

шенный сверчок. Остатки седых волос на затылке напоминали тополиный пух, налипший и скомканный, некогда темные, живые глаза выцвели и стали почти прозрачными. Когда-то давно в свите племянницы герцога Тосканского он покинул родину, нашел деньги и признание при дворе французского короля, а затем был забыт. На меня он смотрел с угрюмой обреченностью. Я также не оказал ему восторженного приема. Я ничего не понимал в музыке, не различал ноты и не видел разницы между дизезом и бемолем. Я пытался было протестовать. Тогда герцогиня пригрозила лишить меня простонародных забав и ближайшего свидания с дочерью, но это была, скорее, формальная причина, повлекшая за собой согласие. Я бы нашел способ настоять на своем. Но мне понравилась скрипка. И учитель, который взял ее в руки. Старик коснулся струн смычком, и крутобедрая дама из Кремоны запела. Низкая гортанная песня взлетела к потолку, отразилась от потемневшей балки и рассыпалась перекрещенной, многорукой радугой. Потом голос затаился, стал стелиться как дым, зашелестел, истончился до волоска и вновь зазвучал пронзительно и дерзко. Я слушал как зачарованный. Смотрел на ловкие, порхающие пальцы.

Внезапно звук оборвался. Учитель отложил смычок и протянул скрипку мне. Я еще не касался ее. Доставленная из Кремоны в громоздком ящике, напоминающем детский гробик, она так и дремала, не разбуженная, на столе в гостиной. Я обходил ее стороной, ибо она была посланницей мо-

ей хозяйки, и вселилась сюда без моего желания. Она была непрошеной гостьей. И мне не было до нее никакого дела. Но учитель разбудил ее, позволил ей петь, а потом дал мне ее в руки, как новорожденное дитя. Инструмент был легким, почти невесомым, талия тонкая, как у затянутой в корсет гризетки, а эфы подобны изогнутым бровям. Я смотрел на нее с восхищением. Она казалась очень хрупкой, деки тоньше бумаги. Но сеньор Корелли меня успокоил. При всей своей деликатности инструмент был на удивление вынослив. Я очень скоро убедился в этом, когда по неумелости неуклюже хватался за гриф, с силой возил по струнам смычком или со злостью ударял до деки. Она все стерпела и не утратила своего ангельского голоса. Однако первые извлеченные мною звуки были ужасны, казалось, это скрипит, проворачиваясь, колодезный ворот. Другая моя попытка напоминала жалобу обиженной кошки. Малоутешительны были и последующие уроки. Сеньор Корелли в который раз втолковывал мне разницу между стакатто и тремоло, а я сдирал подушечки пальцев на левой руке. Кожа потрескалась и воспалилась. Своим пиликаньем я изгнал Любена, а Жюльмет довел до нервических судорог. Анастаси затыкала уши, а герцогиня выразила сомнение по поводу своей изобретательности. Но по прошествии времени я уже не внушал прежний тоскливый ужас, ибо звуки обрели чистоту и стали пропускать свет, как свежевывмытые стекла.

Сеньор Корелли обучил меня нотной грамоте, и самым

первым произведением, которое мне удалось разобрать от начала до конца, стала скрипичная соната его собственно-го сочинения. Полагаю, он представлял себе ее исполнение несколько по-иному, в присутствии коронованных особ, под восхищенным взглядом королевы-матери, но вынужден был довольствоваться тем, что предложил я. Жалкое подражание образцу. Тем не менее, я был горд и доволен. То, что извлекаемые мной звуки сложились в мелодию, уже представлялось мне чудом, а то, что я удержал темп и лишь раз взял на полтона выше, возносило мое самолюбие на недостижимую высоту. Я был почти так же счастлив, как в свою первую поездку верхом по парку. Я снова чувствовал себя свободным, будто в затхлом подземелье вдохнул чистого воздуха. Оказывается, свобода – это не только отсутствие стен и решеток, свобода – это еще вознесение духа и плодоносящая радость. Душа наслаждается безграничным простором неба, даже если плоть остается в узилище. Так бывает, я сам в этом убедился. Коснувшись струн, обретаешь нечто непререкаемое, вечное, то, что невозможно отнять.

А неделю спустя после моего триумфа сеньор Корелли умер. Он не явился к назначенному сроку, и я не имел от него известий несколько дней. Потом Анастаси сказала мне, что он был найден уже закованным в своей крохотной квартирке в квартале от Королевской площади. Он тихо умер во сне. От другого учителя я наотрез отказался. С тех пор я более не касался скрипки. Она пребывала покинутая

в своем убежище, будто смерть музыканта унесла с собой ее душу. Темница замкнулась.

Вновь дуновение. Камень где-то наверху дрогнул и сдвинулся. Его растопила влажная утренняя прохлада, он раскрошился, и воздух стал просачиваться, раздражив мои легкие и воображение. Инструмент был под рукой, огромное долото, которым я бы с легкостью проломил стену. Но меня сдерживает страх. Если я возьму в руки скрипку, то выдам себя. Позволю своей душе говорить. Но мне нельзя, я должен молчать. Когда-нибудь потом, без свидетелей, я совершу это паломничество. А пока молчать, молчать. Не поднимать глаз. Занозить руку и не подходить к окну.

Грохот колес и цокот копыт возвещают об окончании осады. Они уезжают. Все. Еще полчаса, и они скроются среди побуревших, мокнущих деревьев. Вот уже и голоса затихли, экипажи один за другим выкатываются со двора. Я вдруг понимаю, что вот-вот станет тихо и там, по другую сторону моей темницы, никого не будет. И на рассвете мне уже не придется терзаться неведением. На глазах изумленного Любена я швыряю стамеску, за ней – загубленную деревянную деталь и прыгаю к двери. Кидаюсь к угловой лестнице в башню. Цепляюсь то каблуком, то носком башмака за узкие каменные ступени, норовя утратить равновесие и скатиться вниз, бегу вверх. Дважды нога соскальзывает, и я хватаюсь за стену. Но окно уже близко, та самая бойница. Будь я защитником замка, эта бойница сослужила бы мне плохую служ-

бу своим неудачным, угловым, расположением, но для меня, пленника, она – верный союзник. Отсюда мне видна дорога, а я невидим. Я вижу вереницу экипажей, гарцующих всадников, повозки с поклажей. Эта длинная цепь из людей и колес медленно втягивается в лес, теряя очертания и растворяясь. Двор уже пуст, а мост через обмелевший ров гудит под копытами последних всадников. Это мужчина и женщина. Он пускает коня в галоп, но женщина едет шагом. Я узнаю рыжего коня и яркий подбитый лисьим мехом плащ. На этот раз она в шляпе с огромным белым плюмажем, который водопадом скатывается ей на спину. Волос ее не видно. Конь нетерпеливо подтанцовывает, перебирая ногами, порывается догнать ржущих собратьев. Но всадница удерживает его. Посреди моста она останавливается. Я сразу отступаю назад. Пустая предосторожность – она не может меня видеть, бойница слишком узкая. Она оглядывается и смотрит, обшаривает взглядом окна. Конь ее делает поворот и нетерпеливо взбрыкивает. Она снова удерживает его и снова смотрит. Я вижу, как она сосредоточена и как дрожит ее рука с натянутым поводом. Она вопрошает окна, как могилы, пытается их вскрыть и расколдовать. Но поиски ее тщетны, ответа нет. Рука ее слабеет и падает на рыжую холку. Коня тут же слегка заносит вбок, он двигается по кривой к мраморному парапету, но она уже вновь натягивает повод. Будто пробуждаясь, Жанет встряхивает головой. Назад она уже не смотрит. Перед ней дорога и прекрасная, зовущая неизвестность. Ка-

валькада уже далеко и грохот колес почти не слышен. Ладонью она хлопает коня по шее, и тот срывается с места. Я снова слышу этот мерный, пружинистый звук, тот самый, который несколько дней назад разорвал тишину. Он завершает сыгранную пьесу. Стук копыт становится все глуше. Я еще могу различить огненное пятно за деревьями, но очень скоро оно теряет свой цвет и обращается в скользящую тень. Вот и все.

Я чувствую слабость и стою, прислонившись к стене. Кончилось. Я избавлен от соблазна и напрасных, губительных мечтаний. Она не вернется. Никогда.

Глава 14

Она взяла его за руку и еще ближе подвела к окну. Чтобы полюбоваться. Что же с ним случилось? Он не бывает таким даже после свиданий с дочерью. Эти свидания его, скорее, истощают и наполняют тревогой. Он, подобно мифическому пеликану, что кормит своих птенцов собственной плотью, отдает за эти свидания часы своей молодости, растрчивает корпускулы жизни, нанося видимые рань, все эти тонкие, пока едва заметные складочки меж бровей и в уголках глаз. Но случилось обратное. Ему ничего не понадобилось отдавать. Он не расплачивался, напротив, получил в дар. Таинственный подарок от безымянного благодетеля. Кто-то жестом или заклинанием смахнул с этого юного лица землистую, продавленную синевой бледность, смел ее, как паутину с узорной поверхности, нацедил волшебного нектара и поднес к губам, обновил кровь, пустив ее, как талую горную воду в подмерзшие листья. Что же это? Анастаси была права? Этот шарлатан в пестром одеянии – гений?

* * *

К неволе, отчаянию и мигрени еще и это. Тоска. День сменяется ночью, а я все не могу избавиться от видений. Рыжеволосая всадница на пустой дороге. Оглядывается и смот-

рит.

Я был мертв, а теперь жив. Был слеп – и вижу солнце. Это она заставила меня прозреть. Я так долго прятался, так долго скрывался от света. Стал подобен тем призрачным существам, что тлеют и дымятся от самой небрежной авроровой ласки. Я привык и утратил надежду. А что же она? Вынудила меня вернуться. Приговоренного вывели из подземелья, расслабленному даровали движение. «Встань, возьми постель свою и иди...»⁵⁹ И я иду. Кожа саднит и покрывается волдырями. Ноги ступают по острым лезвиям. За что? Я так долго трудился над этой спасительной стеной бесчувствия. Я обрек свою душу на изгнание, я запер воспоминания в самые дальние уголки сознания, я истребил и разбавил все краски, я твердил, что у меня ничего нет. Нет будущего. Нет настоящего. Остался лишь счет, который необходимо закрыть. Достаточно сохранять некоторую часть рассудка, чтобы сделать это. Нести как потайной фонарь, чтобы освещал путь. Прозрачное белое пламя в закопченной колбе – долг и любовь к дочери. Более никаких дозволенных фейерверков. Свечи, факелы, жаровни – все залиты водой. Зачем же она вновь разводит огонь? Зачем украшает звездной гирляндой свод? Я могу двигаться на ощупь, мне не нужен свет. Это мое подземелье, я сам его вырыл. Я только обожгусь... Уже обжегся. И ожог меня мучит. Он невидим, но я чувствую вспухшее, пульсирующее пятно. Я чувствовал то же самое, когда в

⁵⁹ Св. Евангелие от Матфея 9:6.

плечо мне впилося железо. Тот же раскаленный поцелуй. Но на этот раз это сама жизнь коснулась меня, сама жизнь обожгла пылающим солнечным осколком. Одна отметина есть, теперь будет другая. Герцогиня еще не знает, что у нее есть соперница. Такая же ревнивая и могущественная, как и она сама. Не бледный призрак умершей жены, а сама праmaterь Ева в первозданной нежности. Та самая изначальная женщина, что ступила под сень райского сада.

Я снова хочу жить. Я терзаем мечтами, и мне тесно, душно в этой клетке. Я беру с полки сочинение венецианца Марко Поло и торопливо листаю. Еще не уверен, что именно пытаюсь найти. Ах, вот карта! Из Генуи к далекой Колхиде, подобно аргонавтам, в Понт Эвксинский. А затем дальше, по Великому шелковому пути, ко двору Великого Могола. Вот что мне нужно – простор, действие, опасность. Ощущение себя живым. Возвращаюсь к логосам Геродота. За историей Дельф, Персии и Лакедемона скрывается неумная жажда странствий, мука познания. Он желал знать и видеть. Я читал прежде записки Гильома де Рубрука⁶⁰ и фантастическое путешествие Джона Мандевиля⁶¹. Но меня не трогали их уди-

⁶⁰ 1 Гильом де Рубрук (Guillaume de Rubrouck, букв. «Гильом из Рубрука»; ок. 1220 – ок. 1293) – фламандский монах-францисканец, путешественник. В 1253–1255 годах по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие к монголам, которых он называет моалами. Автор книги «Путешествие в восточные страны».

⁶¹ Джон Мандевиль (англ. John Mandeville, фр. Jehan de Mandeville) – имя покровителя в знаменитой книге путешествий XIV века «Приключения сэра

вительные истории, я не знал этого зуда и нетерпения. Я не верил в разумных киноцефалов и не восхищался девицей с острова Ланго. Это были сведения, которые воспринимались мной как некая отвлеченная игра воображения. Теперь я испытываю зависть и жгучее сожаление. Мир так огромен, так прекрасен, а я ничего о нем не знаю. Я заперт в этой башне и обречен на невежество. Я не познаю сладости ошибок и поиска. Я не увижу далеких стран. Вот он, смертный грех. Выхолостить, истончить свой разум, дабы стал он прикладным инструментом плоти. Но разум дан нам для созерцания и восхищения тем, что сотворил Господь во славе Своей. Мы пришли сюда, дабы познавать. Тайна движения звезд, магия цифр, геометрическая гармония.

Вот что сотворила Жанет, самозванная принцесса д'Анжу. Она угостила меня волшебным яблоком. Сорвала плод с дерева познания и заставила надкусить. Я распробовал сок, и он проник в мою кровь. Я проснулся. Она разрушила мой покой точно так же, как это сделала Ева, поддавшись на уговоры змея. Рай с его непререкаемым сводом правил стал мне тесен, и я готов нарушить божественную заповедь. Да, да, это все от нее, рыжеволосой незнакомки, – и мечта, и страсть, и желание. Я мечтаю не только о далеких странах и великих свершениях, ко мне приходят призраки женщин.

Джона Мандевиля». Книга была написана между 1357 и 1371 годами. Автор книги сообщает о себе, что он по происхождению рыцарь, родился и вырос в городе Сент-Олбанс в Англии.

Очень далеких, загадочных. Я вижу их улыбки, их полуобнаженные руки, их плечи. У некоторых кожа бледная и прохладная, у других она золотистая и теплая, одни прячут темные глаза за расшитым покрывалом, а другие бестрепетно, дерзко сбрасывают одежду. Двигаются медленно, покачивают бедрами... Стыдливые нимфы, разыгравшиеся вакханки. Они манят в свой звенящий завораживающий круг, улыбаются, танцуют. Я чувствую себя Парисом в окружении богинь, с золотым яблоком на перекрестке. Или Одиссеем, захмелевшим от напитка Цирцеи. Я вижу их лица, такие разные, обиженные, с надутыми губками, с приподнятыми бровями, мечтательные, сосредоточенные, хмурые, томные. А затем они сливаются в одно, лукавое, с острым подбородком, с ямочками и веснушками. Зеленые глаза с танцующими огоньками. Скользящая, мерцающая улыбка, дрожащая, будто капля росы, готовая сорваться в хохот. Ее обладательница будет смеяться, закинув голову, а я – вновь теряться в догадках.

О нет, это не влюбленность, не плотская мука. Это гораздо хуже. Это ожидание чуда. Явившаяся на следующий день герцогиня не преминула воспользоваться переменой.

– Смотри-ка, этот итальянец хорошо тебя подлатал. Глаза горят, на щеках румянец.

И мое тело, уже зараженное, в лихорадке, сразу же откликнулось на призыв. Герцогиня обошлась со мной, как безжалостный сборщик налогов, обнаружив у вечных долж-

ников внезапную прибыль – обобрала меня до нитки. Но мне все же удалось припрятать монету.

Я все еще мечтаю, все еще дразню себя видениями дальних стран, касаюсь струн и смычком вывожу сыгранную когда-то мелодию. Вот только терзает вина. Я осознал ее не сразу, она была бесцветна, как умирающая звезда на рассвете, но по прошествии нескольких дней расцвела и повисла, как Венера, над горизонтом. Я снова предал Мадлен. В моих мыслях поселилась другая женщина, а бедная жена моя обратилась в безрадостную тень. Я больше не взывал к ней, не искал ее помощи. Я думал о другой, и в этой другой я находил ласку и утешение. Я преступник. И поделом наказан забвением и пренебрежением. Мое новое солнце более не сместит небесную сферу.

Осень кончилась. По ночам идет снег, ветер завывает в трубах, а у меня с наступлением холодов вновь возобновились боли. Приступы следуют один за другим, но они не такие сильные, чтобы бояться света и прятаться, поэтому свое недомогание мне удастся скрывать. Не хочу, чтобы Оливье резал мне вены. И жалости не хочу. Причина тут, скорее, не холод. Я истосковался. И ласки герцогини – настоящая пытка. К счастью, она скучает и намерена отбыть в Париж, оставив меня на попечение Любена и месье Ле Пине, мажордома. Анастази и Оливье она также берет с собой. Обещает вернуться к Рождеству и тогда же позволит мне свидание с Марией. С меня она берет клятву меньше поститься и не

терзаться угрызениями совести. Я сказал ей как-то, что мне кусок в горло не лезет, если вижу бредущих вдоль дороги нищих или голодных крестьянских детей, цепляющихся за материнские юбки. С тех пор она не упускает случая, чтобы не отпустить пару шпилек по поводу моей щепетильности.

– Тебе не в чем себя винить, – повторяет она с усмешкой. – Ты тяжело трудишься, чтобы получить в награду все эти лакомства. Вот, к примеру, сегодняшняя ночь. Как не пожаловать тебя за труды жареным каплуном или фазаном? Тебе нужно восстановить силы.

И щиплет меня за подбородок.

Перед отъездом она приказывает мне больше гулять и не отказывать себе в гастрономических шалостях. Замок и прислуга в моем полном распоряжении. Забавно. Узник становится комендантом собственного острога.

Я убеждаюсь, что причина не в холоде. Экипаж герцогини скрывается за поворотом, и через пару часов головные боли стихают. Я блаженно вытягиваюсь поверх покрывала. Господи, несколько дней без притворства и насилия. Побывать самим собой, позволить себе гримасу недовольства и даже пренебречь свежей сорочкой.

Невыносимо день и ночь угождать. Играть по чужим правилам, деланно улыбаться. Быть затянутым в железный корсет чужой воли и не сметь даже пошевелиться. Изнутри этот корсет оснащен длинными шипами, и малейшая неловкость тут же отзывается болью. Всегда прислушиваться, ловить

взгляд, склонять голову и вовремя проявлять нетерпение и страстность. Тяжкая ноша. Мое отчаяние бывает столь велико, что я опасаясь собственного безрассудства. Могу позабыть о страхе и даже о дочери. Шея ее высочества по-прежнему так соблазнительна. Я иногда касаюсь ее по собственному почину, без понуканий, нежно охватываю пальцами и поглаживаю горло. Будто примериваюсь. И делаю это тем чаще, чем тоньше становится преграда благоразумия, отделяющая преступника от жертвы. Я даже нахожу в этом странное удовольствие, будто мое отчаяние, изнемогшее под тиранической властью, изменив качества, обращается в нектар. Я строю планы мести и наслаждаюсь. Это утешение, которое дарует природа в миг самой невыносимой муки. Я обращаю свое притворство в тайное оружие. Моя покорность – это ловушка. Пусть только мой палач ступит в нее, я раскрою ему свои объятия и задущу. У ее высочества такая хрупкая шея. Я прижимаюсь к ней губами под самым подбородком и слышу биение сердца. Тонкая прерывистая ниточка. Скоро, скоро я порву эту нить. Эти мысли сродни разбавленному *conium maculatum*⁶², который в малых дозах утоляет боль, а в больших – изгоняет жизнь. Я принимаю болеутоляющее, день ото дня повышая дозу, но отравления не наступает. Ее высочество угадывает миг обращения, как опытный экзорцист угадывает болезнь одержимости, и сразу сбегает. Ее отлучки в Париж неизменно совпадают с надвигающимся

⁶² Болиголов пятнистый.

«полнолунием», когда я уже не смогу сдерживать зверя, и за выпавшие мне две недели я восстанавливаю истончившиеся прутья. Мое отчаяние вновь в надежном узилище. Мне даже удастся успокоить его верховой ездой и музыкой, опоить вином и погрузить в спасительную спячку. Пусть зализывает раны.

Глава 15

Клотильда была в ярости, когда узнала, что это маленькое чудо стало достоянием стороннего глаза. Она чувствовала себя так, будто в ее будуар, туда, где она хранила самые дорогие для нее интимные вещи, забрался вор и шарил по этим вещам грязными руками, примеряя их и даже обнюхивая. Если бы это был вор, она бы приказала его вздернуть. Она испытывала необоримое желание поступить именно так, невзирая на благородное происхождение любопытной самки. Как сладостно было бы покарать чужака, осквернившего священную рощу, где на свободе, никем неузнанное, резвится божество! Но времена языческой вседозволенности канули в Лету. Теперь приходилось изворачиваться и находить средства более утонченные, чтобы наказать виновного. Клотильда обуздали свой гнев. Ее месть будет изящной, неожиданной и недоказуемой. Как брошенный за воротник кусок льда. Обожжет и... растает.

* * *

Ночью идет снег. Он не прекращается с рассветом, и когда я спускаюсь в парк, небо все еще сыплет на землю мокрую сверкающую шелуху. Как видно, кто-то наверху, утомившись кровавой неприглядностью мира, пытается при-

крыть его наготу. Когда чуть подморозит, земля и деревья будут щеголять мантией из алмазной пыли. Мир преобразился. Я наслаждаюсь непривычной тишиной и красотой белого древесного кружева. Ловлю огромную, как шмель, снежинку тыльной стороной руки и разглядываю ее. На бархате перчатки она сияет, как плод ювелирной страсти, нагромождение ледяных иголок. Но беспорядок обманчив – эти иглы уложены в строгой последовательности, создавая узор сложный и редкий. Это Шартрский собор в миниатюре с его воздушными нефами. Весь гений человеческий в замороженной капле. Снежинка уже погибает. Рушатся стройные колонны, оседает крыша. Вот ее уже нет. Только капля воды, которую я стряхиваю в снег.

Тишина все же не всемогуща. Со стороны Венсеннского замка доносится собачий лай, ржание и завывание рога. Это голоса охоты. Вероятно, его величество неподалеку. Я знаю, король часто охотится в Венсенском лесу. Больше никому. Здешние леса принадлежат либо принцам, либо короне. Это королевская свора. И королевский рог. Но благоговейный трепет мне неведом. Я видел Людовика слишком близко. Скучающий монарх вторгается и разрушает мою тишину. Потехи ради он преследует ни в чем не повинного зверя, травит его собаками. Не потому, что голоден, как поступает лисица или волк, а потому, что ему нечем заполнить время. Снова звук рога, собачий лай, и где-то там, в этом торжествующем гвалте, слабый предсмертный стон жертвы. Пятна

крови на снегу.

Шум травли стихает. Зверь, видимо, бросается куда-то в сторону и уводит за собой свору. Но стук копыт не следует за ним. Я слышу его все отчетливей. Он не отдаляется, а приближается. Кто-то скачет галопом. Один из охотников. Отстал от свиты? Или послан с поручением? Так и есть, направляется сюда. Будь всадников несколько, я бы предположил, что это возвращается герцогиня. Но всадник один. Под ногами у коня снежная слякоть, и потому удар копыт не так точен и звонок. Это скорее насмешливое чавканье и хлюпанье, каким дорога дразнит скакуна. Всаднику тоже это не по нраву, и он переходит на рысь. Я жду его появления с беспокойством. Так уже было однажды... Та же настороженная тишина. То же сгустившееся, стекающее время.

Вот всадник появляется. За вуалью из кружащихся хлопьев возникает силуэт. Исчезает за деревьями. Появляется снова. Я различаю масть. Конь – рыжий... И плащ, подбитый лисьим мехом. Мне сразу не хватает воздуха, сердце пропускает удар. Да, это она.

Из-под белого занавеса на парковой дорожке появляется Жанет. Конь ее уже идет шагом. Бока его вздымаются, шея потемнела от пота. Сомнений нет, она направляется ко мне. Не колеблясь и не оглядываясь. У меня первый порыв – броситься бежать, сделать вид, что я ее не узнал, попытаться уклониться от встречи. Но разве я могу шевельнуться? Я вижу, как истончается снежная завеса, как проступают, заост-

ряются ее черты. Шагах в десяти она останавливается. Возможно, мне следует подойти и помочь ей. Но как это сделать? Мои ноги, подобно древесным корням, ушли в землю и перепутались с другими корнями. Только голова еще на поверхности, поэтому могу дышать. Жанет сама соскальзывает на землю, перекидывает повод через голову лошади и наматывает его на запястье. В мою сторону она только выжидающе смотрит. Что, если она сейчас подойдет ко мне или сделает знак приблизиться? Тогда на рассвете я был один, а сейчас за мной наблюдают, Любен и еще один лакей. Они следуют в некотором отдалении. У них приказ не оставлять меня одного. Они здесь. Я слышу, как где-то слева от меня встряхивает ветвями потревоженный куст. Жанет тоже слышит, и на губах у нее появляется понимающая улыбка. Переводит взгляд на меня и чуть заметно кивает. Небрежно хлопывает скакуна по влажной шее. Тот скребет копытом и прихватывает зубами капюшон ее плаща. Ко мне она не подходит, только смотрит. Я, само собой, также не пытаюсь приблизиться. Я бы с радостью... Преодолею бы эти десять шагов одним прыжком и, как пес, сунул бы голову под хозяйскую руку. Но мне и шага не сделать. Передо мной стена. Ужас, вина, стыд, отчаяние. Все это уложено правильными рядами и залито раствором. На каждом из кирпичей предостерегающая надпись. Смерть и предательство. Я убью свою дочь и предаю всех, кого любил. Мне остается только смотреть. Ловить через решетку далекий рассветный отблеск. На

большее у меня нет права.

Жанет не ограничивается молчаливым присутствием, она продолжает играть – сбрасывает капюшон. Теперь по ее плечам, извиваясь, искрясь, текут языки пламени. Снежинки путаются в них и сгорают. Щеки у незваной гостьи покраснелись, в глазах те же золотистые искры. Веснушек почти не видно. В уголках губ прячется, подрагивает от нетерпения улыбка. Мое замешательство гостье в удовольствие, и она откровенно любит меня. Я тоже чувствую жар на щеках и знаю, что красен, как школяр. Отвожу взгляд, но замечаю кончик ее башмака, дразняще полускрытого полой плаща. Пускаюсь в бегство, но сразу натываюсь на ее руки. Она в перчатках, и на кисти рук наплывают широкие подбитые мехом рукава, но тут она скидывает одну из них, отводя в сторону лошадиную морду, и рукав, сползая, открывает за раструбом перчатки полоску кожи. Я вздрагиваю. Почти с укором смотрю ей в лицо. Она знает, что мучит меня. Знает и забавляется.

Однако Жанет не улыбнулась. Пауза слишком длинная. Это становится не менее подозрительным, чем восторг или объятие. Убедившись в моей беспомощности, она сама делает шаг. Небрежно и расчетливо. Самоуверенная великосветская дама в неловкой ситуации. И готова с блеском ее разрешить.

– Я принцесса д'Анжу. Вас я не знаю, но вы, вероятно, видели меня, когда я гостила здесь несколько недель назад.

Доложите моей сестре, что я сопровождала его величество во время охоты, но отстала от свиты. По этой причине вынуждена злоупотребить ее гостеприимством.

Она играет этот спектакль не для меня и потому не особо старается. Фальшивка для легковых.

Она подходит еще ближе. Любен и второй лакей уже за моей спиной.

– Ах, мне бы только согреться. Бокал теплого вина. Вот и все, что мне нужно. Моя сестра сжалится над несчастной путницей.

– Ее высочества нет дома, – тихо говорю я.

Жанет для начала играет в недоверие, затем в досаду.

– В самом деле? Ах как же это неловко! Явиться без приглашения, в отсутствие хозяев. Что может быть хуже? Но у меня нет выбора. Мой конь нуждается в отдыхе, а я... я сбилась с дороги. Будьте так любезны, пошлите кого-нибудь в Венсенн за моей свитой.

И тут же забывает о зрителях. Ломает руки и заводит глаза.

– Ах, его величество будет так разочарован! Для меня было великой милостью, знаком особого расположения участвовать в этой охоте. Увы, увы, я не оправдала его надежд... Эта моя неуклюжесть, неумение держаться в седле...

Я едва сдерживаю улыбку. Ей бы следовало повременить и выступить перед более многочисленной публикой. Чтобы всех впоследствии призвать в свидетели. Да, мадам д'Анжу

заблудилась, да, она попала сюда случайно. Жанет следует поберечь свой пыл для мажордома. Оба моих сопровождающих верят каждому ее слову. Даже Любен, который прежде был вовлечен в заговор, не позволяет себе сомнений. Я обращаюсь к обоим молодцам.

– Позаботьтесь о лошади ее светлости, а вы, Любен, предупредите месье Ле Пине.

Оба бросаются исполнять приказ. Любен бежит к замку, а второму Жанет вручает поводья своего рыжего бербера. Затем, без великосветского пафоса, с благожелательной усмешкой обращается ко мне.

– А что же вы, милостивый государь? Разве не предложите даме руку?

Пока мы идем по парку, нас никто не слышит. Внешне мы не совершаем ничего предосудительного. Знатная дама опирается на руку услужливого кавалера. Вполголоса они обмениваются ничего не значащими любезностями.

– Вы... заблудились, – начинаю я. Не то вопрос, не то утверждение.

– Вы же слышали, – беспечно отвечает она. – Я следовала за королем. Отстала, сбилась с пути. Оказалась здесь совершенно случайно.

– Вы расскажите это месье Ле Пине! И вашей сестре, когда она вас об этом спросит!

– Вы не верите? – тянет Жанет с кокетливым разочарованием.

– Ни единому слову.

– Как это невежливо! Подвергать сомнению слова благородной дамы. Я могу рассердиться.

И она подпускает в голос детской обиды.

– Пусть так. Только садитесь поскорее на своего рыжего бербера и уезжайте отсюда. Блуждать одной в лесу не менее рискованно, чем являться сюда и выдавать себя за жертву.

– Грубиян, – почти ласково говорит Жанет. – Какой же вы грубиян! И как же вы взволнованы. Вы тревожитесь за меня? Оставьте, разве я похожа на женщину, которая может заблудиться?

– Вы подвергаете себя опасности! Ваша сестра...

– Я знаю, – она уже серьезна. – И не пугайте меня моей сестрой. Я приняла это решение не сегодня. Поверьте, сударь, я все хорошенько обдумала, и времени у меня было достаточно, почти полсотни дней и ночей. Смею вас заверить, тут нет и тени случайности. Это мое твердое намерение и рассчитанный план. Я знала, что моей сестры не будет дома, и явилась сюда, чтобы увидеть вас. Как еще я могла это сделать? Только отбившись от королевской свиты. А прежде убедив господина главного ловчего устроить охоту именно здесь, в Венсенне, а не в лесах Фонтенбло. Затем, немного поплутав для видимости, мне оставалось только оказаться здесь в качестве незваной гостьи.

У меня от ее слов кружится голова. Как же это? Получается, что все эти шесть недель, целую вечность, она помни-

ла обо мне? Обо мне, безродном. Об узнике, который был так отвратительно жалок. Как же назвать то, что я чувствую? Эту легкость и трепет. Счастье? Но я тут же себя одергиваю. Остановись. Счастье это или нет, опасности это не уменьшает. Она утверждает, что приняла решение сознательно. И все же... Все же ей не достает осведомленности. Она ничего не знает о своей сестре и даже не предполагает того, на что та способна. Герцогиня Ангулемская не потерпит посягательств на свою собственность. До парадного крыльца нам остается совсем немного. На пороге уже стоит чуть растерянный, в парадном камзоле, мажордом. Заранее изогнул спину в поклоне. Жанет церемонно опирается на мою руку. Мы держимся на подобающем расстоянии друг от друга. Вельможная дама и ее почтительный кавалер. Наши руки едва соприкасаются. Но Жанет сгибает мизинец и чуть царапает мне запястье. Требуется ответа. Что ей сказать? Что ответить? Все те же малодушные мольбы о пощаде.

– Я не могу... – отвечаю одними губами. – Поймите, я не волен решать... Мне нельзя. Если бы только моя жизнь...

– Это из-за дочери?

– Да.

До крыльца остается двадцать шагов. Уже пятнадцать.

– Это единственная причина? – вдруг спрашивает она.

Меня бросает в жар. Утвердительный ответ равносителен признанию. А если сказать «нет»? Она поверит? Исчезнет навсегда? Как же быть? Одно мое слово, и она погибнет.

Десять шагов. Пять. Чуть слышный выдох.

– Да. Единственная.

Жанет поднимается по ступеням, а я остаюсь. Там, наверху, уже выстроились горничные и лакеи – почетная стража. Сейчас знатная гостья окажется в живом кольце. Месье Ле Пине с поклоном предлагает ей руку. Лицо княгини уже застыло в повелительном страдании. Знатная скиталица, она сбилась с пути и нуждается в помощи. Она едва стоит на ногах, слабая, тонкая, она вся дрожит, а бледность недвусмысленно угрожает обмороком. Последние несколько шагов она совершает так тяжело, как будто вес ее тела внезапно удвоился. Спотыкается и виснет на руке встревоженного мажордома. Я верю, как очарованный зритель, в эту изящную хрупкость, и готов броситься вверх за ней, чтобы не дать ей упасть, но перед самой дверью Жанет быстро оглядывается. Лакеи в полупоклоне, горничные, потупившись, в реверансе. И она бросает взгляд поверх склоненных перед нею голов. Будто петарда взрывается. Яркая зеленая звездочка вспыхивает и катится ко мне. За ней быстрая, озорная полуулыбка. Я вновь чувствую жар – это ее неосязаемое послание достигло цели. А в следующий миг она уже вновь бледна и печальна. Притворщица. Как же ей верить?

Я еще с четверть часа брожу в парке. Возвращаюсь по тропинке из наших следов. Вот ее маленькие башмачки с острыми каблучками. Ступала она ровно, без дрожи, а минутой спустя, на лестнице, шаркала и спотыкалась. Мгновенная,

воровская смена масок. Бывает ли она настоящей? Нет, она не лжет. Ей нравится охота. Не королевская, послужившая лишь предлогом, а та, ее собственная, без ловчих и обезумевшей своры. Она не гонит зверя. Она играет с ним.

Я стараюсь не прислушиваться и не смотреть на часы. Не желаю знать, здесь ли она, в досягаемости взгляда, или ее уже нет. Вернувшись к себе, я слышал лошадиное ржание, грохот копыт на мосту и незнакомые голоса. Вероятно, прибыла ее свита. Я намеренно покидаю свои комнаты и спускаюсь на один лестничный пролет, в библиотеку. Эта сумрачная, нетопленная комната с высокими потолками, без позолоты и росписи, выходит узкими окнами на противоположную сторону, на черную гладь пруда. Тут редко кто бывает. По недосмотру архитектора или по небрежности печника в этой огромной комнате тепло не задерживается, уходит в щели, и даже в летнее время в ней царит угрюмая прохлада. Здесь очень тихо. Через запотевшее окно я смотрю на воду. Наилучшим выходом было бы связать в узел все надежды, недозволенные мысли, воспоминания, ее последний озорной взгляд, даже стряхнуть с руки ее невесомое прикосновение и требовательно скребущий мизинец, положить в узел камень и похоронить эти бессмысленные улики в черной воде. Только сделать это мне не удастся. Как взрастить водоросли и взбаламутить ил в собственной голове? Каяться и молить Мадлен о прощении. Вот спасение.

Я скрываюсь в холодной келье до темноты. Изгоняю со-

блазн одиночеством и молчанием. Терпеливо мерзну, пока меня не находит Любен и не выгоняет из убежища с укоризненным ворчанием. Что-то по поводу лишних отметин на его спине.

Все та же болезнь. То же мечтательное беспокойство. Снова брожение в крови. Всплеск отчаяния, а за ним необъяснимый, неоправданный восторг. Воспоминаний прибавилось. Снежинки в ее волосах, пылающие щеки, полоска кожи между рукавом и перчаткой. И еще взгляд-обещание. Чего она добивается? Я в ужасе от ее дерзкой предприимчивости и в восторге от безрассудства. Я стыжусь этого восторга, и в то же время я горд. Чувствую себя едва ли не победителем. По-другому и не скажешь. Я одержал над ней победу. Я завоевал ее. Не будь всех преград, слуг, надзирателей, шпионов, она бы последовала за мной...

Она желает меня. Эта мысль сводит с ума. Прежде я мог излечить себя, сославшись на ее пренебрежение и холодность, обратить ее признание в прихоть и развеять мечты, как пепел; мог себя образумить, охладить пылающий лоб ее горделивым высокомерием; мог вернуться в блаженное бесчувствие, но лекарство более не имеет силы. У меня более нет доказательств ее высокородной забывчивости. Она помнила обо мне. И вынашивала план нашей будущей встречи. Она оказалась здесь не случайно. Следовала за королем и намеренно отстала от свиты. Одна ехала через лес. Ее конь мог споткнуться, провалиться в лисью нору, захромать. На

незнакомой тропе она могла не заметить низко растущей ветки, скатилась бы в сугроб, а ее конь, испуганный, мчался бы дальше. Она могла лишиться чувств, замерзнуть, стать жертвой разбойников... Помимо воли я воображаю эти картины одну за другой. Как она могла так рисковать? И ради кого? Страшно ответить. Сердце замирает. Она рисковала ради меня! Как это совместить, состыковать с существующим, благословенным порядком? Это безумие! Я не в силах постичь и осознать. Я хочу уверить себя, что это сон, бред. Ущипнуть себя и проснуться. Это... это непостижимое отрицание, разлад и смещение небесной сферы. Я не должен верить. Мне нельзя. Потому что если я поверю... если позволю себе. Это затяжная лихорадка, сожаление и тоска. Это вспыхнувшее с новой силой отчаяние. Это удушье сердца, погребенного заживо. Это осознание пустоты. И все это в тайне, в подспудной муке. Без права исповеди или стога.

Глава 16

Жанет оказала ей услугу. Она как будто возродила прошлое, вернула ей свежесть чувств. Или предоставила в распоряжение свое более молодое, жадное тело. Клотильда уже не наблюдала со стороны, она переместилась в это самое тело, в тело сводной сестры, в ее глаза, под ее кожу. Она хочет все пережить заново, вновь почувствовать ту жаркую волну, упругий порыв, ударивший в ее застывшее лицо в библиотеке епископского дома. Она видит его впервые, изучает, любит. Он уже не сидит за огромным столом, он стоит слегка растерянный в обледенелом, почерневшем парке под рваным снежным саваном. Этот парк ободран до древесных костей. Но с неба сыплется снежная пудра, посланная лицемерными небесами, чтобы скрыть шрамы и трупные пятна. Он, такой юный, смущенный, удивительно прекрасный, бродит среди бездыханных стволов, и снег застревает в его темных волосах сверкающей алмазной крошкой. Он время от времени обращает лицо к небу, и тогда снежинки виснут на ресницах, забиваются в уголки глаз, тают и текут, как подмерзшие слезы. Он – единственной сознающий утрату, хранитель скорби по некогда бушевавшим краскам, по плодам и листьям, по цветущему саду. Этот юноша, одинокое живое существо, как свидетельство будущего возрождения, как источник бессмертия, не

мог не привлечь внимания, и каждый, кто окажется поблизости, будет неотрывно смотреть на него. Вот и она смотрела, видела запутавшиеся в волосах снежные хлопья, видела скорбно понижиющую голову, руку, затянутую в перчатку, и рыхлую горстку снега в ладони, заметила под плащом стройную ладную фигуру. Она ничего не упустила. Малейшая его неосторожность давала пищу воображению. И она не могла отказать себе в удовольствии приблизиться и заговорить. У этого странного красивого существа должен быть чудесный голос. Заговорила, и он ей ответил. Они обменялись несколькими фразами. Смысл их не важен. Ей не нужен смысл. Ей нужен голос, движение губ. Каково это? Услышать этот голос впервые. Изумиться, почувствовать трепет. Даже увидеть себя со стороны обласканной, вознагражденной.

* * *

Герцогиня возвращается через несколько дней. Я так устал, что в ответ на это известие только пожимаю плечами. Все эти последние ночи я провел в раздумьях, ничего не придумал и махнул рукой. Будь что будет. Герцогине, разумеется, известно о визите Жанет. Она так же знает и о нашей встрече. Заговорит ли она со мной? Или сразу пошлет на дыбу? Безжалостная, безрассудная принцесса Жанет, вы отчаянны и капризны, вам дела нет до того, кто в этот миг

пожинает плоды ваших деяний.

Я каждую минуту ожидаю, что герцогиня придет за мной. Но она, как всегда, выжидает. Совершивший рекогносцировку Любен не принес никаких известий. Ее высочество беседует с Ле Пине, затем принимает ванну. Отдает несколько малозначащих распоряжений и пару часов проводит в спальне. Обо мне она не упоминает. После обеда диктует несколько писем, читает прошения и подписывает бумаги. Рядом с ней придворные дамы и секретарь. Приближается ужин, а мне так и не подали знака. Что это? Немилость? Или рассчитанный ход? Привычная тактика. Она прибегает к ней, когда желает вывести меня из равновесия, ослабить волю. Поварской прием. Мясо под тяжелой крышкой оставляют томиться на огне, чтобы придать ему особенную мягкость. Огонь недостаточно силен, чтобы обуглить плоть, но достаточно жарок, чтобы размягчить ткани. Блюдо готовит себя само, а повару остается только добавить соус. И вот жестковатая дичь тает во рту.

Она подводит меня к чему-то. Задумала сцену и расставляет фигуры. Скоро я буду приглашен занять свое место.

Это происходит около одиннадцати. Я уже, по замыслу кулинара, в стадии легкого копчения. Запечен и подрумянен. За мной приходит паж, худосочный подросток лет тринадцати. Вид у него не то удрученный, не то озадаченный. На скуле пятнышко. Похоже, ссадина. За мной обычно не присылают пажей. Приходит Анастази, или герцогиня сама жалует. Все

та же тактика неопределенности. Анастаси запрещено ко мне приближаться, ибо она немедленно выболтает секрет, а ее высочеству требуется моя неосведомленность. Так действие будет ярче. Она желает ошеломить. Но чем?

Герцогиня ждет меня в жарко натопленном будуаре. Полулежит в большом, мягком кресле, водрузив ноги на бархатную скамеечку. Она уже избавилась от драгоценностей, шитья и корсета и в своем домашнем свободном одеянии выглядит вполне безобидно. Белокурые волосы, заботливо расчесанные камеристкой, стекают по плечам. Голова закинута, как в полусне. Веки опущены. Я даже останавливаюсь в нерешительности. Лицо ее так обманчиво и безмятежно спокойно. Нежные, безупречные черты, фарфоровой белизны кожа. Ресницы чуть подрагивают. Кто бы мог подумать? Я, молодой сильный мужчина, стою в нескольких шагах от этой хрупкой дремлющей женщины и замираю от страха. Эта ее дремота – тоже часть плана. Она знает, что я здесь. Видит меня сквозь ресницы, слышит, как под моей ногой чуть поскрипывает паркет, но знака не подает. Оставляет еще какое-то время переминаясь с ноги на ногу. Мне приходит в голову дерзкая мысль. Хозяйка спит, а я поспешу удалиться, чтобы, не приведи Господь, не потревожить. Она утомилась с дороги, вот и заснула. Долг преданного слуги – беречь покой госпожи. И я в самом деле поворачиваюсь.

– Вернись, – говорит она.

Глаза широко открыты, но на лице все та же безмятеж-

ность. Она выпрастывает руку из рукава и делает знак. Ближе. Еще ближе. Это уже привычный ритуал. Я подхожу и опускаюсь на колени у ее ног. Она одобрительно кивает, затем вытягивает указательный палец в направлении скамеечки. Известная пантомима. Я откидываю тонкое покрывало на меху, которым она укрыта, и стягиваю с нее туфли. Чулок на ней нет, в моем распоряжении белые прохладные ступни, которые не согревают даже лебяжьи стельки. Эта ее телесная особенность всегда немало мне досаждала. Пытаясь согреться, она прижималась ко мне ночами, а ее пальцы, будто кусочки льда, стыли на моих икрах. Затем я стал менее чувствителен, к тому же герцогиня взяла за правило согревать свои ступни моими ласками.

В самый первый раз, с неопытностью в лицедействе, мне это давалось с трудом, но со временем приноровился. Я всего лишь слуга, который исполняет свои обязанности. Сердце и душа пребывают в бездействии. Это работа, за нее я получаю жалованье. Как получает жалованье та молоденькая камеристка, расчесавшая и уложившая ей волосы. Вон как они шелковисто светятся. Тут дело не в привязанности, тут дело в мастерстве. Почтение, страх, корысть, но не любовь. Я тоже наловчился. Не вспоминаю и не называю имен, не знаю, чьи это ступни и пятки. Это чье-то тело, живое, безымянное, точка приложения сил, а я раб при термах Диоклетиана. Мои пальцы гибкие, ловкие и сильные, как у заядлого ремесленника. Я даже горжусь точностью движений, привнося толи-

ку новшеств. Кровь приливает, и кожа розовеет. Герцогиня благодарно вздыхает.

– Я согласна принести покаяние, если ангел в раю будет ежедневно совершать со мной ту же процедуру. Впрочем, вряд ли у него будут такие нежные руки.

Она опирается на локоть и смотрит на меня с улыбкой. Улыбка странная, с тенью. Она прикрывается ею, как веером или вуалью. Я провожу рукой чуть выше, по голени. Обычно это поощряется. Как опытный и страстный любовник, желая доставить удовольствие даме, я должен начинать и заканчивать любовный церемониал самостоятельно, без напоминаний, движимый одним лишь желанием, но герцогиня так и не добилась от меня безупречной последовательности. Я постоянно сбиваюсь и нуждаюсь в намеках. Все еще не осмеливаюсь переступить границу ее колена. Приказаний не было. И давать их она не торопится. Наблюдает за мной из-под полуопущенных ресниц.

– И как ты ее находишь?

Так как я в этот момент, подставив ладонь под ее пятку, другой рукой разминаю пальцы, то первая мысль о ее ноге. Ее высочество требует комплиментов. Молчать нельзя, обязан сопроводить свои действия россыпью приятных округлых фраз. Как видно, ее утомила моя угрюмая возня. Но я в нерешительности. Прежде от меня ничего подобного не требовалось. Я неловок в речах, и даже герцогиня отказалась от мысли привить мне это искусство. Но ответ нужен, и я отве-

чаю:

– Сложение вашего высочества безупречно. А ваша кожа...

– Я не про ногу! – насмешничает она. – Я про свою сестрицу Жанет. Ту, которая побывала здесь во время охоты. Ты ее видел. Потому и спрашиваю. Как ты ее находишь?

Вот оно, начинается. У меня мгновенно пересыхает в горле. Мысли скачут, как зайцы. Что сказать? Что ответить? Как защитить Марию? Как оградить Жанет? Это все из-за меня, я виноват.

А она торопит.

– Она была здесь, я знаю. Кроме тебя ее видели месье Ле Пине, старшая горничная Органс да и прочая челядь. Твой верный Санчо Панса, Любен, само собой, прикидывается слепым. Совершенно напрасно, кстати, никто его ни в чем не обвиняет. Жанет явилась неожиданно, без приглашения, якобы отстала от свиты. Заблудилась. Могла бы и поостроумней изобрести причину. Кто ж поверит в эту байку? Она отстала от свиты! Совершенный вздор. Весь двор знает, что ее арабскому жеребцу во всей Франции нет равных. Даже андалузская кобыла, которую подарил нашему брату Филипп Испанский, за ним не угонится. А она, вообразите только, отстала! И заблудилась. Ах какая скука, никакой изобретательности. Я бы на ее месте наняла бы шайку разбойников и разыграла похищение, а затем побег. Да так, чтобы все поверили, ужасались и воздевали руки. А она... так скучно.

У меня руки холодеют и перестают слушаться.

– Такая незатейливая ложь, – невозмутимо продолжает герцогиня. – С пути она, конечно же, не сбивалась. И в охоте приняла участие не ради удовольствия затравить зверя. Я не удивлюсь, что она и саму охоту затеяла. Вернее, сподвигла короля ее затеять. Его величество, как это всем давно известно, раб своих привычек и охотится чаще всего в лесах Фонтенбло или в Версале. Там у него охотничий домик. Сопровождают его де Сувре и де Барада, два или три егеря, не больше. Дам на охоте брат не терпит. А тут такое противоречие, прямо-таки низвержение основ. Большая свита, Венсеннский лес и, главное, – дамы. Король сделал исключения, и одно из них – это Жанет. Как ей это удалось, одному Богу известно. Или дьяволу. Но приглашение она получила. Должна бы торжествовать, следовать за королем по пятам, быть с ним рядом, ловить августейший взгляд. А она отстает! Теряется и попадает сюда, в замок своей сестры. Хорошо, я согласна предположить, что она действительно заблудилась. Но почему она напрямиком не отправилась к парадному входу? Почему, будучи усталой и продрогшей, не потребовала немедленной помощи? Зачем она свернула с главной аллеи в парк? И, как утверждают очевидцы, рыскала по нему не менее получаса? Чего она искала? Или, может быть, кого?

У меня звенит в ушах и грудь – как колокол.

– Кого же? – спрашиваю машинально сухими губами.

Герцогиня вновь усмехается и наклоняется ко мне.

– Тебя она искала, мой мальчик. Тебя. Она знала, что меня не будет дома и что она сможет застать тебя одного, потому и явилась. Будь я дома, ей бы сразу пришлось иметь дело со мной. Замок был бы полон моими людьми, и ее приближение не осталось бы незамеченным. Но Конфлан в это время года почти пуст, несколько лакеев, горничных да кухарка. И ты, разумеется.

– Но... зачем? Зачем ей я? – спрашиваю севшим, неузнаваемым голосом.

Она откидывается назад и отводит со лба пряди.

– Любопытство, мой мальчик. Все это любопытство. Вечная, неутолимая страсть. Людей всегда интересовали чужие секреты. Это голод, напоминающий телесный. Набить желудок мясом, а разум заполнить чужими тайнами. Подглядеть, подслушать, подкупить. Отцы церкви уравнивали любопытство с похотью. Во имя любопытства Ева сорвала яблоко. «*Doctrina spiritus non curiositatem acuit, sed caritatem accendit*»⁶³. Это слова незабвенного Бернара Клервосского, который предупреждал грешников о, казалось бы, безобидной страсти, ведущей к губельному послушанию. Могу припомнить и слова блаженного Августина. Как там у него... «*Curiosum genus hominum ad cognoscendum...*»⁶⁴ Ах, не помню. То же самое мы найдем у святого Иеронима или Григория. Но люди, увы, не слышат предостережений праведни-

⁶³ Цель духовного учения воспламенять любовь, а не изощрять любопытство.

⁶⁴ Любопытный ум к знаниям...

ков. Они бессильны перед соблазном и готовы ради удовлетворения «похоти очей» погрузиться в геенну огненную. Такова наша природа. Аристотель, однако, истолковывал любопытство как начало философствования и называл его изначальным позывом к поиску истины. *Argana mundi!*⁶⁵ Человек познает тайны мира. Без этой жажды он оставался бы невежественным.

Так как же нам быть? Обвинить Жанет в греховной прихоти или похвалить за живость ума? Она желает овладеть тайной. Что же здесь предосудительного? Не она первая. При дворе давно ходят слухи, что у меня есть тайный любовник, что этот любовник изумительно хорош собой и что я, терзаемая вполне понятной ревностью, прячу этого любовника от чужих глаз. За этой тайной не раз начиналась охота. Мне задавали вопросы, расставляли ловушки. Герцогиня де Шеврез была очень настойчива. Бывая здесь, в этом замке, она не раз давала мне понять, что желала бы лицезреть тщательно оберегаемый предмет. Скажу больше, она пыталась подкупить Анастаси! Посулила ей что-то около тысячи ливров. И еще, кажется, кому-то из горничных. Горничная призналась мадам Жуайез, а та уже доложила мне. С Анастаси у предприимчивой герцогини тоже ничего не вышло. Откуда ей было знать, что наша дорогая Анастаси не менее ревнива, чем я. (Герцогиня многозначительно улыбается.) А на ревность женщины всегда можно положиться. Она не подпустит

⁶⁵ Мир тайн!

соперницу и на пушечный выстрел, даже взглянуть не позволит. Будто евнух в гареме. Ах, мне это только что пришло в голову! Анастаси – евнух! (Герцогиня хохочет.) Но де Шервез до сих пор не оставляет попыток разгадать мою тайну. Ей не дает покоя мысль, что на свете есть мужчина, который волшебным образом избежал ее постели. Шлюха! (Герцогиня хмурится.) Именно она распускает слухи, а с ней ее не менее распутная подружка госпожа де Верне. Теперь к этой компании страждущих присоединилась и Жанет. Они распалили в ней любопытство, разожгли его всеми возможными способами, этими недомолвками, слухами. К тому же здесь был ее лекарь. Уж он-то снабдил ее самыми достоверными анатомическими подробностями. Как тут устоять? Земля обратилась в горящие угли под ногами. У Жанет разыгралось воображение. Это подобно крошкам в постели – лишает сна. А тут еще кровь нашего батюшки. Говорят, что Жанет имеет с ним немалое сходство. Некоторые даже смеют утверждать, что она единственная, кто этим сходством обладает. А батюшка никогда не отличался благоразумием, если дело касалось новой интрижки, готов был затеять войну ради первой же уступчивой красотки. Вот Жанет и пожинает плоды королевских пороков. Она пользуется немалым успехом при дворе, ее расположения добиваются самые знатные кавалеры, но ей, по-видимому, этого мало. Я вижу это, ей скучно. В этом у нее немалое сходство со мной. Ей не нужна легкая победа, ей нужна схватка, нужна интрига, приключение,

даже опасность. Вот она и выбрала себе цель. Отправилась на поиски заколдованного принца. Запутала след, обманула стражей, а злобную фею Моргану выманила из дома.

Герцогиня снова смеется, верхняя губа вздернута по-собачьи. Но взгляд холодный.

– Что ж, ей сопутствовала удача. Фортуна, как известно, выказывает свое расположение вот таким безрассудным. *Fortes fortuna adjuvat*⁶⁶. Застала тебя в парке, говорила с тобой и даже опиралась на твою руку. Довольно бесцеремонно, ты не находишь? Ах, ты побледнел!

Она быстро наклоняется ко мне, будто на моем лице должен проступить некий уличающий знак, а ей необходимо его застать.

– Что с тобой? Я же ни в чем тебя не обвиняю! Ты ни в чем не виноват. Ведь не виноват?

Я молчу, потому что от ужаса у меня свело челюсть.

– Полно, ты не в ответе за чужое легкомыслие. Это все она, а выходки – от дурного воспитания. Жанет – незаконнорожденная, воспитывалась в доме ее матери, Генриетты д'Антраг, особы крайне безнравственной, и нет ничего удивительного, что манеры этой так называемой принцессы оставляют желать лучшего. Шумная, вертлявая. Эти ее рыжие космы и веснушки, которые она даже не пытается свести. Брр... Но и ее мне также не в чем винить. Напротив, я благодарна ей за услугу. Да, да, она оказала мне услугу. Хо-

⁶⁶ Фортуна содействует храбрым.

чешь знать, какую?

Я робко поднимаю глаза. Герцогиня понижает голос до шепота и для пушей убедительности вытягивает губы, будто для поцелуя.

– Она напомнила мне, каким сокровищем я обладаю. А я, признаться, стала об этом забывать. Вернее, успокоилась. Ты всегда рядом, исполнительен, послушен, более полутора лет не доставляешь мне никаких хлопот, не бежишь, не противишься, не выказываешь недовольства. Даже твоя неприязнь стала привычной, как цвет волос или родимое пятно. Я утратила чувство опасности, и мое самолюбие почивает на лаврах. Как определить цену сокровища, если нет того, кто на него посягает? Какой от него прок? Оно на то и сокровище, чтобы вызывать желание им завладеть. Что такое золото само по себе? Да ничего! Всего лишь тяжелый желтый металл, из которого чеканят деньги. Деньги сами по себе тоже ничего не значат. Их ценность зиждется на взаимной договоренности людей. Они договорились считать их ценными. А если люди утратят интерес к золоту? Что будет, если однажды утром они проснутся и договорятся считать ценным что-либо другое? Или просто забудут, что это такое? Золото останется все тем же металлом. И будет валяться на дороге, подобно ржавой подкове. То же самое может произойти с сапфиром или рубином, если отдать их в руки дикарей. Для них эти камни будут всего лишь забавной игрушкой. Я слышала, что люди Кортеса выменивали настоящие сокровища в об-

мен на сущие пустяки, на зеркальце или мешочек пороха. В глазах непосвященных статуи Парфенона – всего лишь груда развалин. Воины Аттилы крушили бесценные мраморные изваяния, за которые римские императоры платили миллионы систерций. Неграмотные рыбаки топили печи свитками из Александрийской библиотеки. Человеку не дано узнать истинную цену предмета, пока ему об этом не скажут. Или не напомнят. Алчность – вот что повышает ставки. Люди такие же предметы торговли, как статуи или картины. Чем больше покупателей, тем выше цена. Как женщины, так и мужчины, выбирают себе тех, кто пользуется наибольшим спросом. Ими пытаются завладеть точно так же, как честолюбец пытается завладеть местом в Королевском совете. Подобная победа льстит самолюбию. А что проку ухаживать за малоизвестной простушкой? Или тратить силы на соблазнение того, кто сам готов уступить? Престиж и зависть – вот тот уголь, который подкидывает человек в топку своих деяний. А не будь в наших сердцах этих двух составляющих, то ради чего стоило бы жить? Ради чего прилагать усилия? Ради чего страдать?

Герцогиня откидывается на высокую спинку и выжидающе на меня смотрит. Она будто оратор на трибуне, только что окончивший свою речь. А мне, как прилежному слушателю, следует дать ответ.

– Я понял. На меня взглянула другая женщина, и моя ценность в ваших глазах немедленно удвоилась.

– Утроилась, мой мальчик, утроилась, – она вновь смеется. – Я как будто взглянула на тебя ее глазами. Позаимствовала ее чувства, их незамутненную перевозданность, их горение, и взглянула на тебя, как в первый раз, как тогда, помнишь, в библиотеке епископа, когда ты, такой юный и усталый, сидел за столом. От бессонницы у тебя чуть покраснели веки. Под глазами тени, волосы растрепались. Но ты был так очарователен, так застенчив. Я вновь увидела твои длинные мальчишеские ресницы и твои губы... Я вообразила, как ее любопытствующий взгляд скользит от виска по твоей скуле к подбородку, и захотела немедленно сделать это, прикоснуться к тебе. Я так же ее ушами слушала твой голос и украдкой оглядывала твое ладное юношеское тело. От меня не ускользнуло, как изящно ты сложен и как, должно быть, ты хорош... без одежды. У Жанет наметанный взгляд, и она своего не упустит. Она умеет оценить мужчину, а вместе с ней и я. Поэтому сейчас я вождедею тебя вместо нее. А так как ее вождеделение, дочери нашего отца, можно рассчитывать по двойному курсу, то вместе с моим оно возводит твою ценность от первоначальной трижды вверх.

Глава 17

Он где-то раздобыл трех марионеток и часами, с удивительным упорством, совершенствовал свой навык управляться с ними, с куклами на нитках. Он учился с тем же самозабвением, с тем же порывом, как когда-то учился играть на скрипке. И вновь его прилежание и увлеченность рождали в ней двоякое чувство. То, что он, невзирая ни на что, преодолев тоску и отчаяние, продолжает учиться, познавая это новое, эта его неуспокоенность, в которой проглядывает безусловная любовь к жизни и жажда самосовершенствования, вызывала у нее восхищение. Она уже не подавляла это чувство. Напротив, это чувство являлось свидетельством того, что ее странный избранник, не обладая ни именем, ни достойным происхождением, ни славой, ни богатством, все же намного превосходит тех, кто своим фактом рождения одарен сверх меры. Что он истинный победитель, одержавший победу не над кучкой затравленных гугенотов или изголодавшихся испанцев, залив кровью детей и женщин мостовые города, а над врагом, гораздо более могущественным, неуловимым, он одержал победу над самим дьяволом. Он одолел ту часть самого себя, что была некогда поражена сатанинским ядом. Ему было так просто поддаться на эти дьявольские уговоры, медоточивые, утешительные, чтобы избежать всех ран и увечий. А

он с легкостью их отверг и теперь беззаботно улыбается, почти по-детски, распутывая нити своенравных кукол. А второе чувство, изначальное, было уже ей знакомо и даже привычно – зависть. Ей даже не пришлось спрашивать себя – почему. Опять кто-то другой, не она. И даже не кто-то, а что-то.

* * *

Моя ценность подтверждается крупным вознаграждением: Мария остается со мной на Рождество. Девочка проводит со мной около суток, пока ее высочество отбывает родственную повинность при дворе. Это ее первая поездка в Париж после визита Жанет, и я поневоле вновь ожидаю незваную гостью. Даже Мария не отвлекает меня от крамольных мыслей. Когда мы спускаемся в парк и бродим по тропинкам в поисках остролиста, я то и дело прислушиваюсь. Все еще ожидаю размеренного барабанного боя, с каким самозваная принцесса д'Анжу уже дважды вторгалась в мою жизнь. Как благородный и самонадеянный военачальник, она оповестила о своем приближении победоносным маршем. Ее плащ алого бархата, подбитый лисьим мехом, развевался подобно знамени. Она не скрывалась и как будто бросала вызов. Весело и опасно. Как же ей, наверное, нравилась эта игра. Игра, и больше ничего. Мой рассудок, осмелев, беспрестанно твердит мне об этом. Но я все равно оглядываюсь, надеясь

уловить скользящую тень. Что она выдумает на этот раз?

Накануне дня святого Николая в замок забрел бродячий цирк и попросился на ночлег. Из старой размалеванной повозки посыпались фокусники, акробаты, вылез даже ручной медведь, но месье Ле Пине не позволил им долго задерживаться. Я со странной безумной надеждой вглядывался в этих людей, искал тайный знак или посланца. Возможно, она поручила кому-то из них передать мне записку? Или безделушку? Или слово? Я упорно маячил у них на глазах, пытаюсь уловить блеск узнавания, но удостоился лишь любопытства и призывных жестов канатной плясуньи в коротком платье с блестками. Ле Пине распорядился дать им боценок дешевого вина и круг нормандского сыра. После чего циркачей выпроводили за ворота. Герцогиня пообещала мне встречу с Марией, и я строго-настрого запретил себе отвлекаться на мечты. Герцогиня оказала мне неслыханную милость, на которую я даже не смел рассчитывать. Моя дочь останется со мной в сочельник, и мы вместе встретим рассвет самого светлого дня, рассвет, дарованный Спасителем.

В гостиной Марию ждал настоящий Вифлеемский вертеп. Не маленький ящик с фигурками, который таскают по улицам бродячие кукольники, а настоящий театр, действие со всеми основными и малозначительными персонажами. В отличие от святого Франциска, я не мог оживить своих маленьких актеров, но попытался научить их двигаться. Прибывшие издалека волхвы, Валтасар, Мельхиор и Гаспар, бы-

ли сотворены мною из трех купленных в лавке марионеток. Жюльмет выпросила у кастелянши несколько обрезков серебряной парчи и сама перехватила их ниткой, чтобы придать сходство с восточным платьем. Колпаки с золотыми звездами вышли из шелковистой флорентийской бумаги с герцогским гербом. Подвешенные на крестовину мудрецы бойко сгибали колени, вздергивали руки и отвешивали поклоны. Остальные участники, святое семейство, пастухи, дети, ягнята и прочие мелкие обитатели хлева были не столь подвижны. Я пытался самостоятельно сделать марионетку, но из-за малого опыта они получались тяжелыми и неуклюжими. Поэтому я ограничился руками праведного Иосифа и головой Девы Марии. При каждом удобном случае бородастый муж воздевал руки к небу, будто беспрестанно удивляясь, а Богоматерь клонила к младенцу. Сам божественный ребенок безмятежно дремал в яслях, высланных настоящим сеном. Компанию ему составлял ягненок, чуть поодаль, прикрыв морду пушистым хвостом, лежала собака. А за спиной девы Марии, выгнув спину, стояла кошка. Двое пастухов жались у входа в хлев. Они не особо мне удались, поэтому я задвинул их в угол, нахлобучив им на головы детские шерстяные колпаки. Присутствовали тут и дети. Две девочки и два мальчика. Старшая девочка держала за руку самого младшего. На ее платье тоже расщедрилась кастелянша, мадам Жуайез. Одно из шелковых платьев герцогини пришло в негодность по вине неосторожной прачки – рукав был

разорван от плеча до манжета, и уцелевшая часть его была предоставлена в полное распоряжение Жюльмет. Она сшила кукольный наряд и украсила его споротым хозяйским кружевом. Она потратила на это уйму времени, несмотря на то, что в качестве вознаграждения я мог предложить ей только свою признательность. Жюльмет также вызвалась поговорить с кухаркой, суровой, горластой женщиной, которую герцогиня переманила у своего сводного брата Вандома. Та обещала приготовить большой королевский пирог с миндалем и запрятать в него огромный боб.

Моей особой гордостью было устройство самовозгорающихся светильников, которые я расставил вокруг всей кукольной группы. Я соединил подсвечники льняной нитью, которую предусмотрительно пропитал маслом. Эта нить была подобна узкому мостику, по которому огонь перебегал от одного свечного фитиля к следующему, оставляя за собой полукруг из огненных лепестков. Мне не один час пришлось повозиться, чтобы выбрать подходящую длину нити, при которой она не сгорала бы слишком быстро или, наоборот, замедленным тлением не грозила бы пожаром. Зрелище в результате получилось завораживающим. За тонкой пергаментной ширмой, которую я установил вокруг импровизированной сцены, один за другим вспыхивали крошечные факелы, наполняя евангельский сюжет золотистым светом. Лица проступали постепенно, сначала озабоченный хмурый Иосиф, затем приплясывающие от нетерпения дети, полные

благоговения узкие темные лица мудрецов и наконец, когда загоралась последняя свеча, звезда Вифлеема озаряла счастливую мать. Прозрачные тени танцевали на кукольных лицах, придавая им почти чувственную подвижность, а ягоды остролиста в неувядающей листве горели, будто сорвавшиеся со лба праведника капли крови.

Теперь оставалось только ждать. Как всегда, герцогиня постаралась сделать так, чтобы я до последней минуты не был уверен, состоится наша встреча или нет. Все может быть напрасно. Я лишен предвкушения праздника. Убеждаю себя, мастерю, а сомнение гложет и мучит.

Но тревожусь я напрасно. Когда отец Бенедикт, монах из аббатства Руаомон, отслужил утреннюю мессу в часовне, слышится грохот колес. Вошедший Любен объявляет, что Мария со своей нянькой прибыла.

У моей девочки лицо почти суровое. Она не срывается с места и не бежит мне навстречу, а делает осторожный шаг. Это не признак обиды или отчуждения. Она всего лишь подыгрывает мне. Я только что сам закутался в плащ безучастия. На нас смотрят, нас изучают. А мы учимся притворяться. Сначала я научил свою дочь скрывать боль, теперь я учу ее скрывать радость.

Несколько месяцев назад, в одну из наших предшествующих встреч, герцогиня вернулась раньше времени и стала свидетельницей нашей дурашливой безмятежности. Мы слишком шумно радовались и даже затеяли беготню вокруг

пустых бочек, выгруженных посреди двора. Ее высочество сочла это за непозволительное превышение отпущенной на мою долю радости, и меня в очередной раз наказали недельным пребыванием в oubliette⁶⁷. А затем последовала долгая мучительная неопределенность, в которой так ловко перемещается и действует герцогиня, когда мне остается только гадать, увижу ли я свою дочь в отпущенное мне земное время, или мне придется довольствоваться воображением. Она вернула мне надежду только после долгого методичного глумления, когда, исчерпав весь свой инквизиторский пыл, обратила меня в бесчувственный обрубок. Встревоженная моей неподатливостью, она наконец отступила, а я усвоил плохо выученный урок.

Тиран изнуряем ревностью, он не прощает тех, кто, презрев страх, отвращается от него в мыслях своих. Страх, любовь, даже ненависть – все должно принадлежать деспоту. А я позволил себе отвлечься, перевел взгляд на другой предмет. Однажды я уже совершил ошибку, но быстро забыл о ней и совершил вновь. Если неосторожность последует и в третий раз, последствий не избежать. Непоправимых последствий. Нам с Марией следует быть осмотрительными, иначе мы потеряем последнее, что у нас осталось. Поэтому, когда мне все же позволили ее увидеть, я точно так же, как когда-то при прощании, многозначительно приложил палец к губам и покачал головой. И девочка пяти лет, едва осознающая себя,

⁶⁷ Каменный мешок.

немедленно разгадала посланный ей знак. Она прочитала на моем лице предостережение, постигла его разумом крошечной птички и разгадала опасность. Скрыться, затаиться от хищных, ревнивых глаз. Нельзя дразнить изголодавшегося зверя. Мария застыла и только моргала, ожидая, когда я сам подойду к ней.

– Это такая игра, – прошептал я ей, прежде чем увести.

Она кивнула. Несчастливые дети быстро взрослеют и быстро учатся.

Во второй раз напоминать не пришлось. Мария выбралась из экипажа и чинно, даже не глядя по сторонам, ожидала, когда я, так же чинно и нарочито медленно, с видом почти скупающим, сдерживая рвущееся сердце, спущусь по ступенькам и возьму девочку из рук ожидающей няньки. Только закрыв дверь за Любенom и для верности прислушавшись, я протягиваю к ней руки. Мария, удостоверившись в правильном понимании моего жеста, позволяет себе пошевелиться. Она подпрыгивает, как мячик, и ее маленькие ручки обвивают мою шею, сомкнувшись, как замочки. Но и в безопасности моих апартаментов, с верным стражем на подступах, мы все еще сохраняем настороженное молчание. Мария прижимается ко мне, как потерянный и найденный детеныш, а я удивляюсь этому беспомощному теплу на своей груди. Сначала я безмолвно хожу по комнате и только слушаю крохотное сер дечко. Возможно, я слишком сильно сжимаю ее, потому что Мария с осторожностью, затем решительно пыта-

ется высвободиться. Она ворочается и тихонечко подхихкивает. Тогда я ее чуть подбрасываю, шуршащую кружевом, невесомую, и она наконец смеется. Теперь можно. Соглядатаев нет.

Я не тороплюсь представить ей составленный мною сюжет. Ей еще нужно перешагнуть пропасть двухмесячной разлуки. Мария начинает со своего обычного ритуала демонстрации своей телесной ловкости, как делала это, когда научилась ходить. Ей как будто необходимо пройти весь путь заново, совершить прежние подвиги, снова окунуться в минуты безмятежных шалостей. В доме суровой бабки она почти лишена радости движения, правила благопристойности обратились в клетку, а со мной она резвится, как щенок.

– Папа, смотли-ка! Смотли!

Она уже сносно выговаривает «р», но из особого удовольствия пренебрегает этим звуком. Возможно, в качестве рождественского подарка ей предписано зачитать мне несколько строк из катехизиса или продекламировать один из нравоучительных псалмов. Но она предпочитает совершить кувырок. И с моей помощью походить на руках. Когда первые восторги стихают и она, запыхавшись, вновь забирается ко мне на руки, я представляю ей своих заждавшихся актеров. В комнате царит полумрак, ибо за окном только слабое свечение заиндевшего солнца, и девочка не сразу различает фигурное скопление. Но затем я совершаю то, о чем мечтал все предшествующие дни: подношу свечу к первому укры-

тому за ширмой светильнику. Он, потрескивая, вспыхивает. Разливается первое золотое пятно, и Мария приглушенно ахает. Перед ней бородастый Иосиф, он чуть ниже ее собственного роста, в белоснежной хламиде, строгий и торжественный. Тут вспыхивает второй фонарь. И появляются дети. Мария подпрыгивает и едва не машет им рукой, призывая знакомиться. Вспыхивает третий, и она видит дремлющего пса, испуганного ягненка, ожидающих пастухов. В полукруге света возникают мудрецы. В отличие от других персонажей, они – марионетки, и по этой причине выглядят довольно нелепо. Мне пришлось подвесить их к перекладине от ширмы, поэтому выглядят они отнюдь неподобающе моменту, понурыми и безучастными. Но стоит мне взяться за вагу и тронуть полукруглое коромысло, как одна из кукол оживает, поднимает голову и обводит сцену почти удивленным взглядом. Глаза у мудреца неестественно большие, с блестящими зрачками, куда вставлены кусочки черного агата. Он поворачивает голову туда-сюда, двигает руками, осторожно переступает.

Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем я научился сносно управляться с марионеткой. Я не имел представления, как взяться за вагу с подвижным коромыслом, и кукла то нелепо задирала ноги, то вздергивала руки, то беспомощно зависала. Теряя терпение, я дергал за все нити сразу, и несчастный человечек выделял нечто схожее с пляской святого Витта. Окончательно разочаровавшись, я швырнул

куклу в угол. Долго клял себя за самонадеянность. Как ловко орудовал этим крестообразным устройством бродячий кукольник! Его марионетки танцевали и жонглировали разноцветными шарами. Кукольник перебирал нити, как струны, а вага в его руке была подобна смычку. Эта легкость показала мне вполне достижимой. Несколько согласованных движений, и кукла будет двигаться, как живая. Какое заблуждение!

Я упросил Любена раздобыть мне в лавке, торгующей игрушками, трех марионеток, оснащенных не менее чем двенадцатью нитями. Я собирался поразить Марию зрелищем величественно шествующих мудрецов. Но заставить куклу сделать хотя бы шаг оказалось мне не под силу. То, что издали выглядело как небрежно сколоченная крестовина, вблизи оказалось сложным и хрупким сооружением. Оно состояло из подвижных полукруглых деталей, которые вращались и двигались в противоположные стороны. А еще длинные, скользкие нити, норовившие запутаться и завязаться в узел. В одну из первых моих попыток управиться с куклой именно так и произошло. Я ничего не знал о правилах обращения с этим деревянным народцем, и вместо того чтобы подвесить марионетку на крюк, с раздражением бросил ее в угол. Повел себя как разобиженный ребенок, который утомлен и раздрадован игрушкой. Позже я устыдился младенческого порыва, напомнив себе, что каждое дело предполагает прежде всего смирение, и взялся за куклу снова. Но не тут-то было.

Нити, идущие от пяток, локтевых сгибов и коленей, перепутались намертво. Я взирал на образовавшийся узел и готов был уже последовать примеру Александра Великого, который решил похожее затруднение с помощью меча. Но, к счастью, в комнату заглянула Жюльмет, чтобы позвать меня к ужину, и обнаружила мою растерянность. Она взялась освободить куклу и сделала это с ловкостью лионской кружевницы, которой не в новинку укрощать спутавшиеся нити. Ко второй попытке я приступил с меньшей самоуверенностью. Не следует требовать от себя и от куклы невозможного. Мы не рождаемся с врожденными навыками и умением. Даже наследник степных варваров, прежде чем уподобиться кентавру, учится держаться в седле. Вот и мне не следует спешить. Так же как в игре на скрипке, я начну с первой ноты. Брать ее снова и снова, пока звук не станет прозрачным. Затем присоединить к ней вторую, взять аккорд... Итак, буду учить своих мудрецов топтаться на месте.

Взявшись левой рукой за вагу, я отделил только две нити, те, что крепились к коленям и подвижному коромыслу. Остальными я пока пренебрег. И сосредоточившись только на этих двух, я убедил свою куклу сгибать и разгибать колени. Она бодро шагала на месте. Правда, руки и голова мудреца безвольно болтались, что придавало будущему царю вид сомнамбулы, однако ногами он уже выделял танцевальные па. От чрезмерного сосредоточения и упрямства моя спина повлажнела, а левая рука заныла от непривычного и неудоб-

ного положения. И все же я был чрезвычайно доволен. Я прогулял своего царя от одного угла мастерской до другого и сподвиг его отвесить поклон. Мария будет очарована этим приветствием.

В последующие дни я научился управлять кукольными руками и головой. В отдельности это удавалось неплохо, но едва я попытался соединить согнутые для марша колени со взмахами рук, как случился приступ виттовой пляски. Но я уже не чувствовал раздражения и досады: я знал, как мне лечить больного. Разделить движение на десяток мелких и совершать их в строгой последовательности. Подъем колена, а с ним – сгиб локтя. Поворот головы, кивок, затем проделать то же самое с другой ногой. Шаг, с ним взмах руки. Медленно, сосредоточенно, перемещая в кончики пальцев собственный разум. Затем поворот и неторопливая прогулка к исходной точке. Самое трудное – удержать внимание и не отвлечься, не попасть под копыта гарцующих мыслей. А их всегда так много, тревожных, жалящих. Они требуют смысла, требуют доказательств. Зачем? Для чего? Какой в этом прок? Такой соблазн бросить всю эту затею. Но я не бросил. Жонглировать разноцветными шариками я своих мудрецов не научил, но шествовали они степенно и с достоинством, как и подобает особам царской крови.

Вот и настало время им появиться. Все огни, окружающие сцену, зажглись. Мария заворуженно любителю младенцем. Я тихонько ставлю на ноги первого из волхвов. Вероятно,

Валтасара.

– Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на Востоке.

Мария подпрыгивает и хлопает в ладоши.

– Ой, живая! Живая кукла! Кукла ходит!

Серебряная парча переливается, окружая волшебника магическим сиянием. Мой Валтасар величественно приближается к божественному младенцу. Но их же трое! Где Гаспар и Мельхиор? Заблудились в пустыне? Но мне на помощь приходит Мария. Ей так не терпится! Она едва не приплясывает.

– Папа, дай, дай! Я тоже хочу!

Я вручаю ей вагу и показываю, в каком положении удерживать коромысло, чтобы кукла не повисла безвольно и безжизненно. Теперь мне удастся вывести на сцену второго, Мельхиора.

– Мы пришли поклониться тебе, царь Иудейский.

– И принесли тебе много всяких иглушек, – подхватывает девочка. – И конфет.

– Нет, конфет у них не было. Они принесли ему золото, ладан и смирну.

Мария несколько обескуражена непонятными словами.

– Что такое смилна?

– Это такая смола. Нет, то есть мазь. Я хотел сказать, это лекарство. Если его развести в воде...

– А он заболел? – почти в ужасе спрашивает Мария. И жалостливо смотрит на младенца.

– Нет, он не заболел. Просто давным-давно других лекарств не было, и если вдруг потом у него заболит горло...

Мария ждет продолжения, а я вдруг понимаю, что вношу странные и не вполне канонические детали в сказание о рождении Спасителя. Ну как, скажите, представить Спасителя, у которого болит горло? А если не болит, то зачем Ему лекарство? Не объяснять же ей, в самом деле, что смирну в давние времена использовали для умащения тел покойников.

– Это такой бальзам, – пытаюсь выкрутиться я. – Иисус вырастет, будет ходить по земле, упадет, оцарапается, а тут этот бальзам. Смазываешь синяк или ссадину, и все, больше не болит.

Мария продолжает смотреть на меня с некоторым недоверием. А я делаю самые честные глаза. Она все еще пытается установить скрытую от нее целесообразность такого странного подарка.

– А что они еще подалили?

Я чувствую себя пойманным в ловушку.

– Ладан и золото.

Золото в качестве подарка не вызывает вопросов. Девочке уже известна ценность этого металла. Она еще не может себе эту ценность объяснить, но уже знает, что это так. В день святого Николая Наннет, по моей просьбе, уже положила в ее выставленный за дверь башмачок новенький луидор. Сам по себе этот кружочек металла ей неинтересен, но в обмен на него дают много замечательных вещей, можно купить платья

и ленты. А вот ладан – новая загадка.

– Что такое ладан?

– Если бросить крупинку в огонь, будет хорошо пахнуть.

– Как духи?

– Ну... почти. Да, как духи.

– Они подали ему духи?!

Мария переводит взгляд на младенца, чтобы какими-то неведомыми окольными путями, по которым бежит ее мысль, установить связь между новорожденным в яслях и флаконом духов, который она видела в руках незнакомой дамы или в лавке, куда заглядывала с бабкой или Наннет. Зачем такому маленькому духи?

– Это не совсем духи. Вернее, духи, но не для людей.

– А для кого?

– Для Бога.

«И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом»⁶⁸. Но цитировать Иоанна вслух я воздерживаюсь. Мария и так озадачена.

– А больше они ему ничего не подали? – тихо спрашивает она.

– Больше ничего.

Она хмурится.

– Это неплавно. Маленькому надо дать иглушки, конфеты. С чем же он будет иглать?

Я не нахожу, что ей ответить. В трудах почтенных бого-

⁶⁸ Откровение Иоанна Богослова 8:4.

словов такой вопрос как-то не рассматривается. Ни святой Иероним, ни Блаженный Августин никогда не озадачивали себя таким предметом – игрушки младенца Иисуса. Им бы это и в голову не пришло. Звучит почти богохульно. Агнец Божий, Спаситель рода человеческого, Первосвященник, о Котором свидетельствует «апостол народов» Павел – и детские игрушки. А почему богохульно? Чего стыдились почтенные аскеты и пустынники? Иисус был рожден смертной женщиной. Он был на земле во плоти, рос как обычный ребенок. Почему бы Ему не играть и не смеяться? Детский смех, возня, радость. Это самый чистый свет, благословенный фимиам души, какой только может быть и который как раз и должен быть угоден Господу.

– А мы подарим Ему игрушки, – решительно говорю я.
Мария радостно кивает.

До самого вечера мы собираем для Божественного младенца подарки: перевязываем серебряной нитью, которую вытащили из плаща одного из мудрецов, сушеные фрукты и орехи, нанизываем на ту же нить миндальные зерна, украшаем обрывком кружева фарфорового пастушка, найденного Жюльмет за каким-то ларем. Она также приносит нам грудку рассыпавшихся бусин, которые Мария встречает с восторгом, а я – с настороженностью, ибо подобная забава грозит промыванием желудка. Эти бусины Мария складывает в крошечную корзинку и подвешивает (с моей помощью) на спину одного из мудрецов. Двух других она снабжает шел-

ковыми мешочками, доверху набитыми плодами наших трудов. Теперь странники готовы к своему визиту. Мария берет за вагу Валтасара, а я направляю вслед за ним двух других. Процессия странная. Валтасар передвигается короткими прыжками, отчего его корзинка болтается и теряет содержимое, а двое моих подопечных неуклюже переваливаются и подволакивают ноги. Но цели своей они достигают.

– Мы пришли за Твоей звездой, царь Иудейский, – провозглашает Мельхиор моим голосом.

– Смотри, сколько мы плинесли тебе иглушек, – подхватывает Валтасар тоненьким восторженным голосом.

Затем следует трудоемкий и не менее торжественный процесс извлечения этих игрушек и объяснения их предназначения. Как, к примеру, можно употребить эти нанизанные на шелковую нить бусинки или что делать с большим золоченым орехом. Пастушок в огромных брыжах выставляется у входа в компании своих взрослых братьев. Мария деловито и рачительно раскладывает подарки, как будто Иосиф и Святая Дева в самом деле могут ее услышать и впоследствии воспользоваться ее щедростью. Когда все поделки разложены вокруг колыбели, девочка, отступив на шаг, придиричиво осматривает композицию и вносит небольшую поправку: вкладывает сушеную вишню в воздетые руки Иосифа. Я едва удерживаюсь от смеха. Видел бы это благочестивый аббат из Руамона! Немало пришлось бы мне выслушать нареканий по поводу той непозволительной вольности, с которой

моя дочь только что обошлась с евангельской притчей. Я нарушил главную заповедь родителя – внушать благоговейную почтительность к строкам Священного Писания. Мой долг – внушить ей, девочке, смирение, и покорность, и даже страх перед этими священными строками. А я что позволяю? Насмеяться. Превратить праведного бородача Иосифа, мужа почтенного, богоизбранного, едва ли не в шута. А мудрецы на кого похожи? На мелких торговцев сладостями, которые бродят по улицам и громкими голосами предлагают свой товар. О младенце Иисусе и упомянуть страшно. Ему предлагают игрушки! Не священные книги пророков или сосуды с миррой, а самые что ни на есть легкомысленные предметы, забаву неразумных смертных. Какое возмутительное пренебрежение родительским долгом! Я бы ответил святому отцу, будь он так же строг не только в моем воображении, но и наяву, что моя дочь еще успеет научиться смирению и покорности, и даже узнает страх перед законом Божиим, а сейчас пусть смеется. Что же касается моего долга, то я исполню его с радостью. И я не понимаю, почему это называется долг. Кто кому должен? Отец дочери или дочь отцу? Долг выплачивают ростовщику, а ребенка просто любят.

Мы снова разыгрываем сцену с мудрецами. На этот раз они собираются в обратный путь, и щедрая Дева одаривает их кувшином вина (в его роли выступает серебряный молочник) и кругами сыра. Сыр мы прихватываем настоящий. Ближе к полуночи Мария утомляется и начинает зевать. На

столе уже давно стоит миндальный пирог с волшебным зернышком внутри, ожидая ее незамысловатых желаний, но о нем мы едва вспоминаем. Девочка изо всех сил бодрится и требует свой кусок, но, заполучив его, долго примеривается и раздумывает. Откусив кусочек, просится на руки. Где-то далеко колокола возвещают наступление Рождества. Им вторят часы в гостиной. Порыв ветра ударяет в стекла, швыряя целую горсть снежного подмороженного песка. Догорает, потрескивая, могучее рождественское полено.

– Папа, почитай мне про маленького Иисуса, – вдруг просит Мария сквозь дремоту.

Ее головка уже клонится мне на плечо, и глазки слипаются, но я все же открываю Евангелие от Луки и начинаю читать.

– «Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних

Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем».

Она засыпает уже на четвертом предложении. Но читать я не прекращаю, только произношу слова тише, почти шепотом. Это моя молитва. Я читаю Господу историю Его жизни и прошу Его о защите и милосердии. Не для себя. Для маленького невинного создания, которое дремлет у меня на руках, о девочке, которая так самозабвенно дарила Ему подарки. Неужели не сжалится? Неужели не защитит?

Глава 18

Во время Рождественской службы в Соборе Богоматери у нее мелькнула шальная мысль покинуть Париж, увидеть Геро сразу после его свидания с дочерью, когда он весь еще трепещет от пережитого счастья и родительских тревог, но ей пришлось эту мысль оставить. Рядом с ней стояла королева-мать, задумавшая свой очередной поход против первого министра. Флорентийку снедала ревность, она кипела от негодования, и Клотильда не решилась оставить мать, боялась, что та совершит безрассудство. Она не принимала участия в заговоре, ибо не верила в счастливый исход. Ее слабый, безвольный брат, ленивый, скучающий монарх нуждался в своем министре, как младенец нуждается в няньке, которую может даже ненавидеть за суровое с ним обращение. У этого монарха хватало здравого смысла, чтобы возторжествовать надо неприязню. Ришелье нужен как сторожевой пес у ворот. Клотильда пыталась объяснить это матери, но та, как всякий родитель, пренебрегла советом. Герцогиня Ангулемская пожала плечами. Что еще она могла сделать? Она предупредила. Praemonitus praemunitus⁶⁹. Она, конечно, останется понаблюдать за происходящим, но предварительно обеспечит себе алиби. Она уже отдала соответствующее распоряжение Анастази. Придворная дама

⁶⁹ Предупрежден, значит вооружен.

должна была отправиться в ее карете, с ее свитой в Конфлан на глазах всего города, и в Конфлане ее визит должны были засвидетельствовать ее управляющий и кастеляниша, мадам Жуайез. Ее лица они не увидят. Да этого и не требовалось. Анастаси должна была обрядить кого-то подходящего по росту и фигуре в ее платье и расшитый серебром хорошо узнаваемый плащ. Не то чтобы Клотильда опасалась, что придется доказывать свое неучастие в заговоре, ибо в своем противостоянии с матерью, даже ненавидя ее, Людовик не зайдет так далеко, но принцесса не привыкла полагаться на случай. Судьба ленива и сопутствует тем, кто берет большую часть ее хлопот на себя. Геро будет встревожен. Вообразит, что она, верная некогда установленной традиции, явилась к нему сразу же после свидания с дочерью. Но Анастаси, верная псина, его успокоит. Будет лежать у его ног, радостно повизгивая. Бог с ней, эти празднества долго не продлятся, и она вернется в свой дом.

* * *

Ее забирают у меня на рассвете, едва стихают колокола ad Missam in aurora⁷⁰. Таков приказ герцогини. Наше свидание и так затянулось. Девочке позволили провести в замке целую ночь. Первое и единственное отступление от пра-

⁷⁰ Рождественская служба на заре.

вил. Больше это не повторится. Сам я всю ночь не сомкнул глаз. Смотрел на свою спящую дочь, на безмятежное детское личико. Я уложил ее спать на кушетке, поближе к камину. Рождественское полено уже обратилось в багровые угли, но все еще изливало из каминного раструба живительное тепло. Уже полусонная, не открывая глаз, Мария позволила стянуть с себя нарядное платье и новые башмачки. Чуть поворочалась под одеялом, повертелась, как привередливый щенок, и уснула. Я не посмел перенести ее в свою спальню, на кровать, проклятое ложе греха, и оставил ее там, среди разбросанных игрушек. Сам примостился в кресле поблизости. А если она проснется? Или угорит от камина? Да и как лишиться этих драгоценных часов ее присутствия. Я буду смотреть на нее и слушать колокола далекой рождественской вигилии. Под утро я все же задремал и очнулся от боли в затекшем плече. На цыпочках вошла Жюльмет и прошептала, что Наннет уже ждет. Воздух в комнате остыл, Мария хныкала и дрожала. С Наннет мы не обменялись ни словом. Она молча приняла вновь задремавшую девочку, укутала ее полой своего капора и коротко кивнула на прощание. С неба все еще сыпалась ледяная мука. Лес, оголенный оттепелью, вновь приоделся. Подмораживало, и снежная крошка скрипела под ободом колеса. За моей спиной возник Любен и набросил мне на плечи плащ.

– Я согрел вам вина. С сахаром и корицей.

– Спасибо, Любен.

Очень предусмотрительно с его стороны. Я более получаса провел во дворе, в одном камзоле из тонкой английской шерсти. А день выдался морозным и ветреным. За ночь крылатые львы у парадной двери обратились в задумчивых патриархов. День святого богопришествия мало походил на праздник. Скорее это был день скорби, первый на коротком, тернистом пути к жертв – веннику, которому был предназначен Спаситель. Небеса оплакивали своего Сына.

Экипаж давно скрылся из вида, снежный туман растворил далекие звуки, а я все смотрел и смотрел, не замечая ледяного песка, который ветер бросал мне в лицо. Наконец голос благоразумия и мольбы пританцовывающего Любена вернули меня к действительности.

Пусто и тихо. Жюльмет вкрадчиво осведомляется, не пора ли прибраться в этом маленьком разоренном королевстве, но я жестом ей запрещаю. Я еще не готов. Я знаю, что выданный мне аванс исчерпан, но, как всякий смертный, не желаю мириться с утратой. Разбросанные игрушки, оплывшие свечи. В них уже нет жизни. Пустые, никчемные деревяшки. И как я мог поверить, что они способны двигаться? Бросить бы их в огонь, опрокинуть и перемешать угли. Когда-то герцогиня приказала сжечь все мои поделки, желая отомстить за краткий миг радости, теперь я сам готов себе мстить, залить рану кипящим маслом. Любен приносит мне дымящийся, пахнущий корицей кубок. Это сдобренный пряностями, подслащенный кларет. Напиток римских легионеров. Теперь

им согреваются торговцы на рыночной площади. Говорят, это лучшее средство от простуды. Озноба я не чувствую, но льдом покрывается душа. Самое время согреться. Не раздумывая, я выпиваю кубок до дна. С утра я еще ничего не ел, и напиток действует сразу. Меня клонит в сон. Как все пьяные люди, я, прежде чем свалиться, нахожу тысячи несообразностей и ошибок. Заплетающимся языком выговариваю Жюльмет за ее вмешательство, придираюсь к Любену за его назойливость, чертыхаюсь в адрес герцогини и даже пытаюсь затеять ссору с неподвижным святым семейством. Самое время для откровений от Всевышнего. Пусть не прячет Свой лик, пусть обратит его к смертным, пусть полюбуется на это грязное обиталище, залитое вином и кровью... Или Он пьян от ладана и глух от славословий и молений? Пусть... Но Любен уже тащит меня из кабинета. Спать! Конечно, что мне еще остается? Забыться сном. Иначе бессвязный монолог закончится безумной пьяной выходкой. С меня станется...

Сплю я несколько часов и просыпаюсь еще до темноты. Трезвый и злой. Сон изгнал хмель, но не избавил от мучений. От необходимости жить, двигаться, дышать. Я до боли стискиваю зубы, чтобы сдержать крик. Любен согревает мне воды и приводит цирюльника. Бриться самому мне не разрешается. Дабы избежать соблазна. В эту минуту я остро ненавижу их обоих. Как же они предусмотрительны и деликатны! Кружева топорщатся от крахмала, а чуть влажные волосы благоухают миндальным мылом.

От герцогини нет никаких вестей, но, как это обычно происходит, она пожалует в любой удобный ей момент. Тем более что сегодня подходящее время. Поэтому меня так готовят. Это день особого лакомства, великая трапеза. Моя кожа истончилась и обратилась в бесплотную видимость. Она поспешит прикоснуться к обнажившимся нервам, тронуть узлы сухожилий и сплетения вен. Как же ей упустить такое зрелище? Она придет, я знаю. Покинет августейшую родню ради редкой закуски. Я даже представляю ее, в экипаже без гербов, с опущенными шторами, или даже верхом, в сопровождении двух-трех верных стражей. Она мчится сквозь снежный туман, скользит, как изголодавшийся вурдалак. Под опущенным капюшоном ее глаза горят нетерпением и насмешливым торжеством. Хищник на знакомой, облюбленной тропе. Жертва не бежит, ибо в жилах ее растворен яд. Этот яд не убивает, но лишает воли. Тело живо, но обездвижено. У жертвы нет выбора. Я слышу, как хлопает на ветру, подобно крыльям, ее черный бархатный плащ, как стучат копыта, взламывая мутный ледок. Она едет сюда за данью. Я знаю. Я убью ее.

Когда щелкает замок, я не вздрагиваю. Я уже столько раз в памяти воспроизвел этот звук, что не слышу разницы. Я видел также, как расходится шелковая обивка, увеличивая дверной проем. И доказательства мне не нужны. Именно так это и происходит. Она крадется и таится, чтобы подсмотреть и подслушать, застать свою жертву врасплох, без маски. Я

все еще стою спиной к двери и смотрю на свой импровизированный театр. Прикидываюсь глухим и наливаюсь холодной яростью. Нет, я не жертва, я сам хищник, с помутившимся разумом, с полускрытым голодным оскалом. Усилим воли я вынуждаю себя сохранять неподвижность, боясь спугнуть ее. Пусть подойдет поближе. Для верности я даже опускаюсь на одно колено, будто намерен что-то подправить в задуманной композиции. Я слышу, как она уже переступает порог. Заглядывает в полуоткрытую дверь и упирается взглядом мне в затылок. Я чувствую этот взгляд, сверлящий, повелительный. Она уверена, что застала меня врасплох, непозволительно взволнованного, в мыслях о дочери, а когда обернусь, она увидит мое искаженное лицо, свидетельство муки. Она заглянет мне в самую душу, запустит руку и будет там шарить. Я буду то краснеть, то бледнеть, буду вздыхать, заикаться, буду путать слова, лепетать, оправдываться... А она будет загонять меня в единственно оставшийся угол. Я уже вижу ее белое правильное лицо, ее полузакрытые от наслаждения глаза. Ярость оборачивается вспышкой в груди. Я вскакиваю и оборачиваюсь. Она в своем черном плаще с серебряной вышивкой. И капюшон все еще закрывает лицо, обращая ее в безликий призрак. Мне кажется, или она стала меньше ростом? Но этот вопрос все равно что пение флейты в грохоте барабанов. Я не могу остановиться. Я бросаюсь на нее, хватаю за плечи и встряхиваю. Я хочу видеть ее лицо, ее страх. Пусть ее зрачки расширятся, а

рот станет кривым и жалким. Пусть вместо крика вырвется хрип. Капюшон падает, и я вижу лицо. Лицо женщины. Кожа белая, но усеяна веснушками, а рассыпавшиеся волосы – золотые.

Это не герцогиня!

Это Жанет!

Передо мной стоит Жанет, а я немилосердно трясую ее за плечи. В глазах не страх, а веселое изумление.

– Сударь, да умерьте же ваш пыл. Вы оторвете мне голову!

Как ошпаренный, я подаюсь назад, спотыкаюсь. Что-то попадается мне под ноги, отлетает в сторону; я почти теряю равновесие, хватаюсь за первое, что оказывается под рукой, – это ширма, за которой я прятал светильники. Она обрушивается, тянет меня за собой, и я оказываюсь лежащим среди собственных деревянных игрушек, сам такой же неуклюжий и беспомощный. Жанет наблюдает за мной с улыбкой.

– Вот теперь никаких сомнений. Вот теперь я точно знаю, что вы рады меня видеть.

У меня голова кругом. Вероятно, тот, кто управляет сейчас мной, выпустил из рук вагу, и она свободно болтается, позволяя моим рукам и ногам совершать бессмысленные повороты и взмахи.

– Любен... – задыхаясь, произношу я первое, что приходит в голову. – Он услышит шум. Он увидит вас!

– Не увидит, – невозмутимо отвечает Жанет. – И не при-

дет.

– Не придет? Почему?

– Потому что он не посмеет потревожить ее высочество, если она желает провести несколько часов в обществе своего люб... фаворита.

Мне наконец удастся справиться с собой и утвердиться в вертикальном положении.

– Ее высочество?! Но она... вы... я не понимаю. Как вы?..

Вы... вы снова заблудились?

Жанет продолжает улыбаться.

– Нет, на этот раз я знала, куда иду. Потому что она – это я, а я – это она. Ведь это она здесь, не правда ли?

Она делает поворот, и плащ взлетает, как огромное крыло.

– Не понимаю.

– Для всех, кто меня здесь видел, я не Жанет д'Анжу, я герцогиня Ангулемская. Для привратника, мажордома, горничной, для вашего надсмотрщика Любена я – это она.

По выражения моего лица она угадывает, что ее слова – всего лишь пустой звук. Я тарашусь на нее, как глухонемой на Цицерона. Жанет снимает плащ, сворачивает его и бросает в угол, за кресло. Под плащом на ней платье такое же, как у ее сестры, с жемчужной отделкой. Герцогиня не раз надевала его к ужину. Меня это окончательно сбивает с толку. Какая ужасная шутка! Герцогиня решила поиграть со мной. Она выдает себя за Жанет. Или это мой разум, ограждая меня от мук, надел на нее маску? Это такой вид сумасшествия,

я слышал. Все очень ясно, в цвете. Ее волосы, голос...

– Геро, не бойся, это я, Жанет. Это только платье, я заказала себе точно такое же, как у нее. Моя модистка скопировала фасон и нанесла такую же вышивку, и плащ у меня – точная копия. Поэтому все думают, что я – это она. Это она здесь, с тобой. Это она приехала из Парижа. Ей понадобилось алиби. Кто-то в случае необходимости должен будет подтвердить, что этой ночью ее не было в Париже. Вероятно, это инсценировка для шпионов, а сестрица впуталась в какой-то заговор.

– Но... месье Ле Пине, он мог слышать ваш голос.

– Да, если бы я произнесла хотя бы слово. Но месье Ле Пине говорил не со мной, он говорил с мадам де Санталь.

– Анастази?! Она... она знает?!

– Конечно! Разве без ее помощи я могла бы здесь оказаться? Лазутчик в стенах крепости стоит целой армии у стен. Мы с Анастази, то есть с мадам де Санталь, составили небольшой заговор. Я страстно желала этой встречи, а Анастази вызвалась мне помочь и сыграла роль великодушного Мерлина. Тем более что сама Клотильда поручила ей устроить эту инсценировку.

– Но... как же? Вы ее подкупили?

– Я? Нет! Конечно нет! Я, само собой, предлагала ей деньги, это первое, что пришло мне в голову – предложить ей денег, много денег, но она отказалась и участвует в нашем деле вовсе не ради награды.

– А ради чего?

Лицо Жанет становится серьезным. Она делает несколько шагов по комнате, натывается на перевернутый табурет, поднимает его и садится. Медленно и тщательно разглаживает складки на коленях.

– Не знаю. Полагаю, ради вас. Тут я могу только догадываться, но точного ответа у меня нет. Я уже предпринимала попытки увидеться с вами, одна из них увенчалась успехом, как вы помните, мне удалось встретить вас в парке, но все прочие мои дерзания провалились. Я и прежде предлагала ей деньги за содействие, еще тогда, в самый первый раз, когда послала за лекарем. Но Анастаси с негодованием отказалась. Позже я снова пыталась встретиться с ней, даже назначила встречу. Она пришла, я просила ее назвать сумму, которая устроила бы ее, но она только презрительно фыркнула. Я стала подумывать о подкупе мажордома, или этой горничной... кажется, Жюльмет, или даже о шантаже. Я дошла до того, что начала следить за своей сестрой. Она могла оказаться вовлеченной в заговор, написать компрометирующее письмо... И тогда я могла бы оказать ей услугу. Ох, что я говорю! Я выставляю себя в таком невыгодном свете! Но это так! Я искала выход. Но выхода не было! Я совсем отчаялась, как вдруг Анастаси сама предложила мне помощь. Сама назначила мне время и место встречи. От вознаграждения она вновь отказалась и объяснила свое сотрудничество тем, что не желает, чтобы я своими безумствами подвергала вас еще

большей опасности. Я уверила ее, что это последнее, чего бы я желала добиться, но она добавила, что кроме всего прочего есть еще причина, более веская, послужившая основным мотивом для ее, так сказать, измены.

– Что же это за причина?

– Я задала ей тот же вопрос, и в ответ она показала мне это.

Жанет извлекает из-за корсажа сложенный вчетверо листок и протягивает мне. Я узнаю плотную, шелковистую бумагу, которую герцогиня заказывает во Флоренции. Иногда, желая явить мне свое благоволение, она дарит мне несколько листов для моих рисунков. Это тоже мой рисунок, бумага еще хранит тепло Жанет и пахнет ее духами. Я разворачиваю листок и узнаю одну из многочисленных королев или фей, которую нарисовал для Марии. В тот достопамятный день, когда девочка обнаружила старинный том с цветными миниатюрами, она безуспешно пыталась изобразить красивую даму в короне. Нетерпеливая, как все дети, она вскоре бросила это занятие, но взяла с меня обещание, что я непременно нарисую ей портрет дамы, который она повесит у себя в комнате. Ей обязательно нужен этот портрет... «Папа, ну пожалуйста!» В последующие дни я сделал несколько набросков с миниатюр в «Ланселоте» и «Романе о Розе». Некоторые, наиболее удачные, я передал с Анастаси, отправлявшейся в Париж. Я позволил себе увлечься своим занятием и значитель-

но отошел от подражательства Ле Нуару и де Грасси⁷¹, я уже рисовал что-то свое, доверяя бумаге собственные видения, и плод моего воображения сейчас смотрит на меня. В облике королевы бриттов я изобразил Жанет... Видимо, я был так поглощен своими мыслями и мечтами, что по неосторожности выдал себя, а Анастази меня немедленно уличила. Она и прежде подозревала, что встреча с самозванкой д'Анжу не прошла для меня бесследно, а тут получила неоспоримые доказательства.

– Это мой рисунок...

– Я догадалась. И сходство не вызывает сомнений.

– Это получилось случайно! Я не хотел!

– Разве я требую оправданий? – тихо спрашивает Жанет. У меня горят щеки.

– Для меня это оказалось не менее убедительным, чем для мадам де Санталь, – продолжает она. – Сомнений больше не было, вы не забыли меня. А прежде я то и дело терзалась! Не напрасны ли все те усилия, что я прилагаю? Не будет ли мой визит для вас тягостной неожиданностью? Не нарушу ли я ваших планов и не лишу ли вас покоя? Ведь я ничего не знаю. Вы не искали со мной встречи, не передавали тайных посланий. Тогда, в парке, я вас поцеловала, но вы шарахнулись от меня, будто заяц. А второй раз, во время охоты, смотрели на меня глазами, полными ужаса. Да, я чувствовала, что мое присутствие волнует вас, вы смущены, расте-

⁷¹ Средневековые художники-миниатюристы.

ряны. Но это могло происходить от природной робости или от неожиданности происходящего. В конце концов, вы могли быть просто сбиты с толку. Но желаете ли вы меня видеть? Я вовсе не так самонадеянна, как это может показаться со стороны. И никогда не пыталась выдать желаемое за действительное, как бы это ни льстило моему самолюбию. Мне нужны доказательства. Я колебалась, десятки раз давала себе слово покончить с этим безумством, но потом вспоминала ваши глаза... И тот взгляд, который вы бросили на меня, приподнявшись на локте, взгляд больной, умоляющий и в то же время такой... такой благодарный. А потом другой взгляд, во время нашей второй встречи, когда месье Ле Пине предложил мне руку, а я стояла на крыльце и смотрела поверх голов лакеев и горничных. А вы были внизу, у последней ступеньки. Падал снег, и между нами будто опустилась завеса, но я все же видела ваши глаза. В них было изумление и что-то еще, неуловимое, прозрачное... что-то похожее на радость. Да, да, радость! Счастливое изумление! Во всяком случае, мне так показалось. Возможно, действительно показалось. Вооружившись этим взглядом, я гнала посещавшие меня сомнения, как гонят назойливых визитеров, и мечтала спросить вас сама. Я мечтала о встрече. Как видите, мотивов для последующих безумств у меня было не так уж много. Всего два. И я пользовалась ими при каждом удобном случае. Был, правда, еще один.

Она останавливается и смотрит на меня почти вопроши-

тельно – продолжать или нет.

– Какой? – нетерпеливо спрашиваю я.

Пусть только продолжает, пусть говорит. Я буду слушать ее до утра.

Жанет отвечает не сразу.

– Тут уже не играло особой роли, способны ли вы увлечься мной или нет, и тревожат ли вас в мечтах мои прелести. Нет, я думала о другом: вы несчастны, и вам нужна помощь. Вы не счастливый любовник, которого знатная дама почтила своим вниманием. Вы пленник, и вас держат здесь против вашей воли. Будь вы признанным, обласканным, самоуверенным, самовлюбленным фаворитом, я бы и не подумала являться. Ну если только из женского тщеславия. И то ради короткого флирта, не более. Я бы не посмела мешать вашему счастью. Она любит вас, вы любите ее... Что ж, для третьего места нет. Даже если и не любите, но вполне довольны своей судьбой, ибо эта роскошь и благополучие изначально были вашей целью, то я бы отвергла вас первой. Однако я не могла забыть то, чему стала свидетелем. А после того, как увидела рисунок, я поняла, что и вы меня не забыли. Однако я ни в коей мере не хотела бы послужить причиной новых несчастий, поэтому скажите мне правду, скажите сейчас: если мое появление здесь болезненно для вас, если оно опасно и послужит источником новых страданий, я немедленно вас покину, с сожалением, с болью, может быть, со слезами, но я послушаюсь голоса разума, я не посмею вас упрекнуть.

Я опускаю глаза.

– Благоразумие подсказывает мне, что именно так вам и следует поступить. Вам следует уйти и забыть меня.

– А что подсказывает сердце? – с улыбкой спрашивает Жанет.

– У таких как я не может быть сердца. Сердце – это недопустимая, непозволительная роскошь.

– Но сегодня вам позволена эта роскошь! Дайте же ему слово.

У меня по-прежнему горят щеки. Я готов вновь пуститься в бегство. Но взгляд ее слишком нежен, и меня неотвратимо влечет к ней. Приблизиться, согреться. Я делаю шаг и опускаюсь на колени у ее ног, там, где мы с Марией возились с мудрецами. Больше всего на свете мне хочется подобраться к ней поближе и положить голову ей на колени и чтобы она положила руку мне на лоб, как тогда, во время приступа, когда ее пальцы так приятно согревали мои веки.

– Я... я не смел... надеяться. Мне нельзя. У меня нет выбора!

Она обеими руками касается моего лица, чуть подается ко мне и произносит:

– Выбор есть всегда. И надежда.

А затем происходит то восхитительное, что мне уже однажды довелось пережить. Она целует меня. С той же пронзительной нежностью и затычным вдохом. Я цепенею, замороженный. Жанет гладит меня по лицу, ерошит волосы.

– А теперь расскажи мне, что ты собирался с ней сделать, – шепчет она на ухо.

– С кем? – растерянно спрашиваю я.

– С сестрицей, конечно. Уж слишком пылко ты ее встретил.

Жанет чуть поводит плечом.

– Утром будет синяк. И на втором тоже. Только не пытайся меня уверить, что ты кинулся к ней, стгорая от страсти. Это не объятие. Это покушение. Ты что же... пытался ее убить?..

Я опускаю глаза. Отпираться нет смысла.

– Боюсь, что так, пытался... Будь это она, скорей всего, я бы именно так и поступил.

Лицо Жанет становится серьезным, даже жестким. Скулы заостряются.

– Что она натворила на этот раз?

– Ничего... пока ничего.

– Не обманывай меня. Ты не мог так просто решиться ее убить! Она что-то придумала, изобрела новую пытку.

– Пытка самая обыкновенная. Она изобрела ее давно и время от времени пускала ее в ход, желая получить особое удовольствие. Здесь вчера была моя дочь. Ваша сестра была как-то по-особенному великодушна в последнее время и позволила моей дочери остаться на рождественскую ночь. Я до самой последней минуты не был уверен, что герцогиня сдержит слово, она могла передумать, отменить распоряжение, сделать это без всякой причины, из одного лишь ка-

приза... Так уж повелось. Она дает обещание, затем берет его обратно, забывает или делает вид, что забыла. Затем снова обещает, затем снова забывает... Ей нравится эта игра – затягивать петлю до предела, а затем отпускать. Так может продолжаться очень долго и кончиться ничем. Невзирая на все ее клятвы и заверения, она могла дать противоположный ответ. Поэтому я не питал особых надежд. Пребывал где-то посередине между привычным унынием и восторгом, но не позволял первому себя одолеть, занимался всем этим.

Постепенно я успокаиваюсь и так увлекаюсь рассказом, что возвращаюсь к самым истокам замысла. Как задумал переустройство Вифлеемского ящика; как снабдил святое семейство подвижными руками; как научил мудрецов ходить; и даже пересказываю ей свои первые досадливые промахи с вагой; затем хвалюсь первыми успехами. Жанет тут же вызывается попробовать, и я объясняю ей устройство ваги и жалуясь на чувствительность маленького коромысла. Жанет делает первую попытку, путается в нитях и смеется. Но пальцы у нее ловкие и сильные, и через какую-то пару минут ей удастся заставить марионетку совершить поклон. Она внимательно следует моим указаниям и забавно морщится, когда марионетка выделяет курбет. Мне остается только изумляться собственной словоохотливости. Вся моя ораторская деятельность за последние три года укладывалась в однообразные просьбы, адресованные Любену, и в заученные фразы благодарности герцогине. Больше мне не о чем говорить

да и не с кем. Разве что с Анастаси. Но и там говорила больше она, уговаривала или утешала. Сам я давно утратил навык монологической речи. Некому было слушать. Ни друга, ни священника. Если только, подобно Боэцию⁷², найти воображаемого собеседника и пуститься с ним в бесконечные споры. Но мне повезло больше, чем последнему римлянину. Он только воображал прекрасную целительницу, а мне она явилась наяву. Она здесь и слушает весь этот вздор, который я несу. Внимает с подлинным участием, не отвлекаясь и не прерывая. А я, ободренный таким вниманием, вновь переживаю утраченную радость. Волхвы следуют за звездой, воздевает руки Иосиф. Я со смехом пересказываю наш разговор о странных подарках, которые преподнесли новорожденному восточные мудрецы. Жанет добавляет, что ее тоже не раз ставил в тупик этот странный выбор. Золото, ладан и смирна. Ее духовник еще в раннем детстве объяснял ей, что это дары Богу, Царю земному и Царю небесному, но отчего-то ни разу не упомянул о ребенке. Вместо ответа я нахожу шелковый мешочек с орехами и миндальным драже, который прежде крепился на спине у мудреца, чтобы предъявить его как маленькую евангелическую вольность. Жанет достает конфетку и надкусывает ее. И вдруг ее лицо будто заволакивает туманом. Она хмурится, порывисто встает, делает шаг в сторону, потом возвращается и обнимает меня.

⁷² Боэций (Boethius, Voetius) Анаций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524/526) – рим. философ, теолог и поэт.

– Господи, дитя... Совсем еще дитя. Невинное, доверчивое... Я чувствую, что ей как-то не по себе, и не могу понять, что я сделал не так. Она взволнована, у нее дрожит голос и дыхание прерывается. Похоже, она борется с собой. Я не знаю, как ей помочь. Только привычно цепенею. Но Жанет уже справляется с волнением. Лоб ее разглаживается, и глаза, вновь ясные, горят нежностью и лукавством.

– Продолжай, – ласково приказывает она.

– Да нечего продолжать. Святая ночь кончилась, а на утро нас разлучили.

Я снова обращаюсь взглядом в тот миг, когда лишился смирения, когда дьявол, завладев моим сердцем, заронил в него жажду крови. Я хотел убить, я предвкушал, и я наслаждался.

– Мне оставалось только ждать. Я знал, что она придет.

– Откуда такая уверенность?

– Потому что она всегда приходит. А сегодня именно тот день.

– Какой?

– Когда мне особенно будет больно. Я вчера виделся с дочерью, и весь последующий день для меня самый тяжелый. У меня никого нет, кроме моей девочки, и разлука с ней дается мне нелегко. Она это знает. Это как рана, с которой раз за разом срывают повязку. Я на какое-то время будто дичаю. Проявляю упрямство, говорю дерзости. А ей это нравится. Не моя дерзость, конечно, а повод затеять ссору. Она меня

будто дразнит, не позволяет уползти в нору и там зализывать раны. Будь в моем распоряжении какое-то время, я бы излечил себя. Мне бы удалось вернуть себе хладнокровие и рассудок. Но она не позволяет мне это сделать. Ей нужно видеть, как я в отчаянии кусаю губы, как ломаю себя, как трещат мои кости. При этом мне полагается отвечать на любезности и выполнять прихоти высокородной дамы. Я должен быть ласков, покорен и нежен. Чего бы мне это ни стоило... А если нет, то моя дочь пострадает. Ее похитят или убьют. Вот я и подумал, что если это сегодня случится, я не выдержу. Сил нет. Она, вероятно, этого не понимает, или, наоборот, слишком хорошо понимает, что я живой и мне... больно. Очень больно.

Говоря все это, я смотрю куда-то в сторону, а с последними словами обращаюсь к Жанет, будто за подтверждением, так ли это, действительно ли я живой. У нее лицо застывшее, яростное.

– Хватит, – решительно говорит она. – Иди ко мне.

Жанет протягивает руки, и я с готовностью повинуюсь. Ее волосы щекочут мне кожу, лезут в глаза, в рот, но я не борюсь с ними. Напротив, мне приятна их жестковатая бесцеремонность. Я прячу в них лицо, с мечтой окончательно запутаться и утонуть. Когда-то я уже касался их, рыжий локон, подобно пламени, царапнул щеку, и я все еще помню это щекочущее скольжение. Я мечтал испытать его вновь, стыдился и гнал соблазн прочь, но в полудреме возвращался к нему.

Мне казалось, что, доведись мне коснуться ее волос еще раз, то все мои чаяния сбудутся. Все прочее уже за гранью желаний и доступно только богам. И вот я, ничтожный смертный, обнимаю ее, уже не прячу руки за спиной, цепляясь за иссохший стебель, а касаюсь ее тела, ощущаю ее живое присутствие, слышу ее дыхание. От ее кожи, матовой и теплой, мою ладонь отделяет преграда из расшитого бархата. Ткань облегает ее очень плотно, и я нахожу чуть заметную впадину между ее лопаток. Я тут же воображаю мягкий желобок, уходящий по ее спине вниз. От собственной дерзости у меня кружится голова. Тут же испытываю страх, что сжимаю ее слишком сильно, и чуть отстраняюсь. Но Жанет не поддается назад. Она ободряюще целует меня в уголок рта, в подбородок и выдыхает в самое ухо:

– Смелее.

Трется прохладной щекой о мою, пылающую. И снова коротко трогает губами. Я сглатываю ком и ладонью провожу по ее спине вверх, к затылку. У меня колотится сердце, дыхание срывается. Я будто узник, после долгих лет заключения в темноте вышедший на свет. Перед этим узником лестница, а наверху узкий лаз. И там слепящее солнце. Он ставит ногу на первую ступень и обнаруживает, что разучился ходить. Ему надо начинать все сначала. А я разучился быть любовником, я стал вещью, безропотным, говорящим механизмом, который приводится в действие нажатием рычага. Этот механизм не умеет действовать самостоятельно, он умеет только ис-

полнять. Как же ему сдвинуться с места? Без кнута, без по- нуканий. Будто счастливый парус под напором свежего бри- за. Как страшно. И сладко. И мучительно стыдно. Если бы она только помогла мне, указала бы, что делать. Но Жанет молчит, вернее, она шепчет мне что-то на ухо, что-то прон- зительно нежное, но из-за шумящей в голове крови слов не разобрать. Там, где кончается кружево ее воротника, – ма- товый блеск кожи. Мягкая линия шеи и чуть выступающая ключица. Я осмеливаюсь прикоснуться. Я должен быть остро- рожен, ибо она не может быть настоящей. Это волшебным образом сгустившийся солнечный свет, который принял об- лик женщины. Летом она вдыхала запах цветущих трав, под- ставляла свое лицо первым лучам и потом прятала щедрый дар небес в самой себе. Солнечный свет осаждался в ней, будто золотой песок, он просачивался сквозь кожу, окраши- вая волосы и проступая чередой веснушек. А она все вдыха- ла и вдыхала. И вот она принесла этот обрывок лета сюда, в декабрьскую тьму. Она светится манящим, ласкающим теп- лом, в котором так упоительно лишиться разума.

Жанет смотрит на меня, и в ее глазах то же солнечное тор- жество, гибельное пламя для обезумевшего мотылька. Я не могу противостоять этому зову, я преодолеваю стыд, и страх, и свою ничтожную ограниченность смертного. Я снова об- нимаю ее, но уже с древним изначальным пылом любовника. Я уже знаю, как надо касаться ее, как ласкать, как владеть ею по праву возлюбленного; как ощутить этот тиранический

триумф мужчины. Жанет не торопит и не препятствует. Она не направляет меня и ни о чем не просит. Она только касается ладонями моего лица и гладит мои волосы. А я, ободренный этой безнаказанностью, распутываю шнурки ее корсажа. И обнаруживаю, что на груди у нее тоже веснушки... На молочно-белой коже они, будто золотые звездочки вокруг двух розовых планет. Жанет будто ненароком сгибает ногу, и обнажается ее затянутое в шелк колено. Она опирается на локоть и откидывается назад. Повыше ее подвязки – упругое гладкое бедро, и я уже чувствую безумное сожаление из-за собственного несовершенства. Мне бы хотелось ласкать ее всю, каждую ее клеточку, не отрывать губ от ее рта, и в то же время жадно наслаждаться округлостью ее груди и податливостью живота, ощущать ее всем телом, а не одной неуклюжей ладонью. Я чувствую, что слишком поспешен и почти груб, но желание мое так сильно, что разрывает изнутри болью. Я не могу остановиться. Мой разум окончательно меркнет. Я – только стонущее, бьющееся тело. Мой порыв – это мольба. Когда-то отвергнутый, изгнанный, обращенный в жалкий осколок, я желаю вернуться к блаженной целостности. Я хочу погрузиться до конца и утратить ненавистную, алчную самость. Я уже не молю, я требую, я бьюсь в невидимую стену, за которой меня ждет лучезарное небытие. Там я найду то, что потерял. Моя отделенная душа, моя противоположность. Я не буду более покинут и ничтожен, я стану частью великого целого. Сорвавшаяся капля мечта-

ет о гремящем потоке, который унесет ее к далекому морю, зерно пшеницы – о влажном земном лоне, которое примет его и взрастит. Мука нестерпимая, но стена все тоньше... Я совсем близко. Только бы не задохнуться от подступающей радости, не ослепнуть. По спине пробегает огненный всполох. Сейчас я обращусь в обугленного стенающего еретика. И буду проклят или вознесен. Когда стена наконец идет трещинами, рушится, с губ моих срывается хрип. Я хочу кричать, но горло перехватывает какая-то шершавая судорога, глушит и пресекает крик. Но преграда поддается, и я проваливаюсь в сияющее жерло, где меня ждет полный распад, огненная тишина и кратковременное безмыслие. Мое тело теряет свои границы, расплываясь, и восторг раздирает его на тонкие лоскуты. Я получил вечное прощение, я помилован. Я свободен.

Это похоже на обморок или кратковременный паралич. Мое тело подверглось такому опустошению, что, вероятно, стало прозрачным. Во всяком случае, я его не чувствую. Голова отяжелела, и мне ее не поднять. Рука Жанет все так же успокаивающе касается моего затылка. А губы ее у моего виска. Она вкрадчиво прикасается. Я знаю, что жилка на этом виске все еще бешено пульсирует. Я слышу прерывистый шум. А она угадывает его через кожу. Ее руки, слабые и невесомые, внезапно обретают стойкость виноградного стебля и ползут, обвивая. Она чуть подается вперед, будто желая заманить меня еще глубже, по ту сторону ослепитель-

ной бездны, где я останусь навсегда, растворенным. Я и сам жажду вечного пленения, но у меня нет сил, я себя исчерпал. Уже не я заполняю ее, а она меня – своей всепоглощающей нежностью, своим глубинным покоем. Она отдает то, что взяла, восполняя убыль своим присутствием. Дыхания наши сливаются, и мне уже не распознать, где она, а где я. Ее висок так же влажен, как и мой, а черная прядь поглощает рыжий всполох. Ее руки, с потусторонним могуществом, оплетают меня всего, и я нежусь, тону в этом затянувшемся беспамятстве. Мне больше нечего желать и некуда идти. Я вернулся.

Жанет бережно отбрасывает волосы с моего лба. Это ее движение, очень деликатное, возвращает меня к действительности, и я чувствую, как занемел мой локоть, на который я все это время опирался, и как горит ее щека, слившаяся с моей. Бог мой, ей же нечем дышать! Я хочу пошевелиться, но Жанет меня не пускает.

– Подожди, – шепчет она, – еще немного...

Как же она может это выносить! Я ее всю измял, изломал, у нее, должно быть, ноют ребра. В своем исступлении я был немилосерден. Но Жанет обнимает меня за шею и даже закидывает ногу так, чтобы я не мог освободиться.

– Побудь еще немного со мной, не уходи. Мне приятно чувствовать твое тело. И твою усталость.

Я все же переношу тяжесть на свой злополучный локоть, чтобы она могла вздохнуть, и несколько отстраняюсь. Между

нами снова пропасть телесного бытия, наши души разлучены и замкнуты в плотские сосуды. Рассудок рассекает, делит и препятствует. Будто и не было ничего. Но я вижу ее лицо. У разлуки, постигшей нас, есть обратная сторона. Я могу любоваться лицом женщины. Она чуть утомлена, и волосы ее в беспорядке. На левой скуле пламенеет пятно. Это след моей отяжелевшей головы. Как у всех рыжих, кожа у нее очень чувствительная, от прикосновения наливается кровью, едва не вспыхивает огнем. Но сейчас этот односторонний румянец удивительно ее красит.

– Не смотри на меня, – вдруг говорит Жанет.

– Почему?

– Я дурнушка. У меня веснушки и вздернутый нос. Ее голос звучит глуховато, без привычного насмешливого задора.

– А мне понравились... веснушки и нос тоже...

Она улыбается, а мне вдруг становится неловко, стыдно за нетерпение и грубость. И чем яснее сознание, тем нестерпимей стыд. Как же я мог так поступить с ней! Как посмел коснуться! Я вел себя как настоящий варвар. Дикий германец! Я овладел ею, будто она захваченная в бою пленница. И нечего оправдывать себя ее попустительством. Но стыд – чувство не единственное. Я чувствую еще и гордость. Другая ипостась варвара! Да, да, я горжусь собой, так доволен и уверен в себе, что готов отвечать на соленые шуточки самого Зевса, этого олимпийского распутника. Нет причин краснеть и смущаться. И слушать бы не стал его хвастливых речей,

больше приличествующих пьяному ландскнехту. Он плут и совратитель, тогда как я... А кто же я? Черед стыда остудить гордыню, пихнуть в бок раздувшееся самолюбие. Я во все не бог, а лишившийся рассудка мальчишка... Это смешение восторга со стыдом производит странное действие. Лед и пламень, запертые в узкую герметичную колбу, не истребляют друг друга, а дробятся и смешиваются, обращаясь в обжигающий субстрат. Я принимаю его, как эфирное, неведомое лекарство, которое, растекаясь, излечивает раны. Горечь яда и добрый глоток вина. Я хмелею.

– Жанет, – произношу я в смятении, – ваше высочество...

Я не смогу ей этого объяснить, нет таких слов. Но она их и не требует. Она знает.

– Я люблю тебя, – вдруг ясно и просто говорит Жанет, – и хочу, чтобы ты был счастлив.

От щемящей нежности и того же стыда, от неловкости и блаженства я снова прячу лицо. А Жанет смеется и тихо жалуется на ноющие ребра и боль в затекшей спине.

Глава 19

Она сама подписала грязный донос на судьбу и душу, поставила две буквы имени под чудовищным откровением. О ней теперь все известно. Если на это клеймо когда-нибудь взглянет женщина (от этой мысли Клотильду передернуло), она узнает главную тайну своей предшественницы: она, герцогиня Ангулемская, потерпела сокрушительное поражение. Коснувшись этих загрубевших букв рукой, неведомая женщина презрительно усмехнется. Как ничтожна должна быть та любовница, что утверждает свою власть над мужчиной каленым железом!

* * *

Они всегда уходят на рассвете. Рассвет – известный вор. Он подкрадывается, проникает в окно и крадет. Я остаюсь один. Мадлен, мой новорожденный сын, отец Мартин. Все они ушли на рассвете. Первый утренний час разлучил меня с дочерью. С рассветом исчезла Жанет. Я даже не задаюсь вопросом, так ли это. Я знаю. Я один в своей темнице. Ее нет. Слева от меня – бледный прямоугольник окна, справа – темная пасть камина. А между ними одинокий узник. Я даже не уверен, была ли она здесь. Возможно, это был только сон. Яркий, сладостный, дарованный как утешение. Боги время

от времени все же исполняют желания смертных – посылают им сны. В эту ночь их выбор пал на меня.

Я не хочу просыпаться. Пусть рассудок бдит, но я жмурюсь и даже прижимаю к глазам кулаки. Если я и дальше останусь в не – подвижности и темноте, сознание отступит, я растворюсь, и черный поток унесет меня к желанным берегам. Обратно я не вернусь, останусь там навсегда. Не будет больше ужаса пробуждения. Но рассудок настойчив. Он швыряет в застоявшуюся воду камешки мыслей, поднимая со дна сверкающие пузырьки. Я вижу на дне жемчуг и тянусь за ним. Мои воспоминания. Я и хотел бы вновь заснуть, но эти воспоминания так упоительно сладостны, так желанны, что я не в силах преодолеть соблазн.

Она была здесь. Постель остыла, но еще хранит ее запах, а на подушке – длинный рыжий волос. Золотая извилистая тропка. Путь сквозь белую тишину. Я медленно веду пальцем от начала волоска к его корню. И наоборот. На шелковой поверхности – пологая впадина от ее головы, а вот эта, поглубже и меньше размером, – от ее локтя. Она опиралась на локоть, когда смотрела на меня. А я в это время изо всех сил боролся с дремотой. Я не желал уступать. Но Жанет каким-то волшебным образом, заклинанием или лаской, подтолкнула меня в объятия Морфея. Она хотела, чтобы я уснул. Близился рассвет, час разлуки. Остаться дольше было опасно, она должна была уйти. Покинуть меня. И она не хотела прощаться. Чтобы не давать обещаний и не ждать моих. Она изба-

вила меня от бремени надежды, от последних слов. Я потерял ее, но это случилось до рассвета, во сне. Я не видел ее исчезающей во мраке, не слышал удаляющихся шагов. Она просто исчезла. Превратилась в сон. В сон, который остается в теле блаженной истомой и живет в нем еще много часов, даруя тихую потаенную радость. Я сытый, довольный, и вид у меня, вероятно, до крайности глупый. Я узник, проснувшийся счастливым. Счастливый узник. Оксиморон.

В гостиной кто-то осторожно ходит. Перекладывает предметы, постукивает. Предположение невероятно, но все же это первое, что приходит мне в голову, – Жанет! Это она! В гостиной часть ее одежды. Кажется, она жаловалась, что потеряла чулки. Я был так напорист, что едва не сорвал с них подвязки. Она затем нашла одну из них на хоботе подозрительной трубы. Как же она смеялась! Или нет... Дело не в одежде. Она проголодалась. У меня же ничего не было, кроме рождественского пирога, к тому же он оказался таким сладким, так щедро пропитан цветочной патокой, что, проглотив по куску, мы едва разлепили зубы. Жанет, деликатно отломив краешек, ознакомилась с медовым вкусом и воскликнула, что такому медоточивому созданию самое место при дворе. Окрестив кулинарное чудо «мадам Гатб», Жанет устроила церемонию представления. Я был в Лувре только один раз и не был удостоен беседой ни с одной из высокопоставленных особ. Но Жанет, несмотря на постигшее ее матримониальное несчастье, успела коротко повидаться со всеми, на-

чиная с королевы-матери и заканчивая канцлером Сегье. И с каждого успела сделать забавный, дружелюбный шарж, который тут же мне предъявила. Под мадам Гатó, ничуть не смущаясь, Жанет подвела саму себя, обыгрывая даже отсутствующий кусок смехотворным сожалением по поводу утраченной девственности. Золотистая вдовушка прибыла ко двору и начала победоносное шествие. Королевскую семью сыграли все те же мудрецы, Дева Мария – в роли королевы-матери, а достопочтенный Иосиф примерил кардинальскую мантию. За неимением ничего объемного, чтобы укутать праведника, Жанет повязала ему на шею свою розовую подвязку. Когда Жанет с самым невозмутимым лицом начала цитировать кардинала, умолявшего о прощении за свою связь с мадам д'Эгильон, я уже не мог удержаться от смеха. Жанет искренне недоумевала. С чего такое веселье? Речь идет о самых знатная особах королевства! Откуда это непростительное легкомыслие?

Пожав плечами, Жанет вернулась к представлению. За королевой-матерью явился Гастон Орлеанский, Сезар де Вандом, королева Анна и даже герцогиня де Шеврез, в которую перевоплотился бедняга Валтасар. Жанет повязала вокруг деревянной талии кружевную салфетку. Эта сладкоголосая дама, посетовав на разлуку с прекрасным графом Холландом, направилась ко мне и стала недвусмысленно оказывать моему колену знаки внимания. Первые попытки выходили не столь уж изящно, реверансы сопровождались подергива-

нием, но очень скоро Жанет освоилась со своей подопечной, и кукла, уже плавно покачивая бедрами, приближалась ко мне. Крошечные ладошки заскользили вверх по бедру. Поддерживая игру, я всячески изображал смущение. Жанет произносила фразы с томным придыханием, подражая говору великосветских дам. Когда приставания импровизированной кокетки стали уж чрезмерно настойчивыми, а ласки – смелыми, мне пришлось мягко отстранить соблазнительницу и поведать о тайной страсти к... мадам Гатб.

– Ах, вы разбиваете мне сердце!

Деревянные ручки и ножки дробно застучали. Марионетка, совершив пируэт, упала в обморок, а у меня едва слезы из глаз не брызнули от смеха.

– Так вы предпочитаете провинциальных толстухек?! – возопила Жанет. – Вы не только бесчувственный, у вас и вкус дурной.

– Увы, – подтвердил я, давясь от хохота.

А Жанет безжалостно продолжала интермедию. Голос ее то старчески скрипел, то заговощицки стелился, брови ползли то вверх, то вниз, щеки раздувались. Она то взмахивала руками, то упирала их в боки; скуксившись по-королевски и даже пожелтев лицом, она меланхолично шептала: «Скучно, сударь, скучно. Давайте поскучаем вместе». Единственная, кого она не упомянула, была ее сестра, герцогиня Ангулемская. Совершенно не сговариваясь, на эти несколько коротких часов мы притворились, что ее нет. Наше крошечное иг-

ровое поле обособилось от всех глаз и ушей вселенной. Будто пустились в плавание на невидимой лодке поперек всех стремнин и течений, потеряв из виду наши берега. Островное государство без прошлого и будущего. Только здесь и сейчас. И только мы, существующие в настоящем, изгнавшие воспоминания и надежды.

Наконец Жанет исчерпала запас подслушанных фраз и забавных жестов. Она устала, а лицо стало заботливо-серьезным. Она смотрела на меня. С моих губ сорвался странный, неуместный вопрос:

– Почему вы делаете это?

– Что именно?

– Вот это... все это.

Жанет смотрела на меня с видом добродушного, терпеливого учителя, которому не слишком сообразительный ученик должен дать правильный ответ. Тем более что ответ этот лежит на поверхности.

– Потому что ты прекрасен, когда смеешься. И мне нравится на тебя смотреть.

И снова эта мучительная неловкость. Нет, это неправда, она не может любить меня! Недостоин. Но Жанет не позволила мне предаваться самоотрицанию. Она страстно и горячодохнула мне в ухо:

– Вы кое-что должны мне, сударь... Вы у меня в долгу, и я желаю этот долг получить.

– Я совершенно к вашим услугам.

– Ах, вы, мужчины, всегда так скоры на обещания и так непостоянны.

Она вновь шутила и поддразнивала. Так было легче, это напоминало игру, детский поединок. Я желал укрыться за этой мерцающей шелухой и слушать шутовские бубенчики вместо гудящих колоколов.

– Тогда испытайте меня. Позвольте мне служить вам.

– Только не здесь! – Жанет предостерегающе подняла палец. – Довольно с меня синяков и треснувших ребер. Моя нежная плоть требует достойного обращения.

Тут я заколебался, как тогда с Марией. Я не хотел, чтобы Жанет касалась моей оскверненной постели. В ней совершалось нечто грязное, темное, превосходящее сам грех. Самая дешевая уличная девка должна была бы плюнуть в негодовании, предложи я ей разделить со мной это ложе. Там я проводил долгие ночи в отчаянных, безрадостных думах, мучился от приступов гемикрании, терзался виной; под этим разрисованным потолком я предвкушал и лелеял убийство; во тьме, нависающей как свод, прятал свой стыд. Когда я переступил порог спальни, я внезапно ощутил дуновение холода, будто распахнулась дверь, ведущая в подземелье. За ней сырость и страх. Но Жанет решительно шагнула вперед. Она прихватила пятирукий канделябр и водрузила его у изголовья. Похоже, она догадалась, что происходит. Она видела меня здесь жалким, страдающим от головной боли, я был похож на ту брошенную в угол марионетку. Не слишком бод-

рящее воспоминание для мужчины, в чью спальню входит женщина. Почти позорное разоблачение. Но Жанет раздумывала недолго. Чего же ты ждешь? – говорили ее насмешливые глаза. Кровать как кровать, вполне пригодная. Если плаху перевернуть кровавой стороной вниз, она превратится в безобидный чурбан. Это всего лишь предмет, а качество и воля приходят к предметам от людей. Это я наделил все эти предметы памятью, я сделал из них хранилище горечи. А на деле все эти предметы невинны. Жанет легко обратила их в свою веру. Демоны ее не пугали. Тень сестры, обернувшись смехотворным пугалом, скрыла голову под кружевным чулком.

Ее босая ножка выглядывала из-под вороха юбок. Она пошевелила пальчиками и оттопырила мизинец. Я все еще пребывал под властью темных чар, но заклятье уже слабело. Я не мог оторвать свой взгляд от ее тонкой щиколотки, а Жанет, с мастерством охотника, расставляющего силки, в изящном повороте сверкнула икрами. Она как бы устраивалась поудобней, сползая по изголовью вниз. Вот-вот должны были обнажиться ее колени. У меня в горле пересохло. Она меня не совращала, она давала мне силы преодолеть страх, манила за собой из темной обители безысходности. Она подписывала вольную моим чувствам, моим желаниям и безумствам, выводила ее огромными огненными письменами, разрушала каменную кладку отчаяния волшебным молотом, который уже колотил мне в виски. Наконец она призывно про-

тянула руку. И я решился. Но действовал уже расчетливей и разумней. Желал испить каждую минуту мелкими, затяжными глотками. Чтобы она, эта минута, обратилась в вечность, искрилась и дробилась, сыпалась, как звезды в августовскую ночь, звенела, как полуденный жар. Я желал остановить время и прожить отпущенные часы, замедлившись и раскинувшись от начала и до конца времен. Заполниться, погрузиться в каждую минуту и встречать, как событие, каждый вздох и каждый взмах ресниц. Я желал бы стать вечным, покорным пленником этих минут и самой обладательницы времени. Пусть бы она владела мной вечно! Я впустил бы ее в самые мысли и соединился с ней, слился, как музыкант сливается с музыкой. Тот же взлет, тот же трепет, тот же отзыв тела и тихий стон. Она позволила мне распутать шнурки корсета и сорвать обманчивую завесу кружев. Позволила собой любоваться, без жеманства, без ложной стыдливости, без нарочитой блудливой дерзости, а с благородным спокойствием. Вдохновение и воля Господа. Боясь ее смутить, я сделал было попытку задуть свечи, но Жанет меня остановила. Она пребывала в полном согласии со своим желанием и своей природой и не находила ничего предосудительного в любопытстве мужчины. А я хотел смотреть. Следовать за плавной линией плеча, до перекрестка, где одна тропинка уходила вниз до локтя, а другая взбиралась по белому холму до розового соска. Затем мой взгляд скатывался в неглубокую ложбинку, чтобы взлететь на другой холмик с тем же затвер-

девшим наконечником и продолжить путешествие по другой руке, расслабленной и брошенной ладонью вверх. Ее полусогнутые пальцы оказывались в соблазнительной близости от другой линии, уходящей от шелковистого бедра к колену, а оттуда снова вверх, к животу. Жанет держала колено полусогнутым, и дальше я уже скатился по внутренней поверхности бедра, туда, где линии сходились и смыкались.

«Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями» (Песнь Песней, 7:2:3).

Тени ревниво двигались и касались ее. Я сам, жаждущий занять их место, потянул было сорочку за рукав, но вдруг осекся. Как же мое плечо? Она увидит! Я чуть было не бросился прочь. Но Жанет, заметив неловкость, приподнялась и быстро сказала:

– Я знаю.

Ладонь ее накрыла то место, где под батистом пряталось клеймо.

– Не стыдись. Это не твоя вина и не твой позор. Это вина тех, кто тебя изувечил.

Но она опоздала. Я вспомнил и разрушил волшебство. Сквозь рухнувшие стены ко мне немедленно ринулись демоны. Они полезли из всех щелей, как потревоженные пауки, простирая к добыче липкие лапы. «Ты наш!» – шелестели они. Их голоса перемежались глухим стуком и стоном.

ми, скрипом деревянного блока и звоном цепей. «Ты тот, кто ты есть. Проклятый, меченый, прелюбодей и убийца. Ты червь, жалкий и грязный, живущий из милости, прозябающий в позоре. Ты рожден во грехе и сам его носитель. Ничтожный, недостойный раб. Как смеешь ты отрывать глаза свои от земли и обращать их к небу? Как смеешь ты надеждой своей тревожить звезды? Опусти глаза свои в подобающем смирении, стань на колени и молитвой раскаяния искупи вину свою». И я готов был это сделать. Даже отступил на шаг, и колени стали слабеть. Как же я посмел? Я, грошовая принадлежность, кухонная утварь с монограммой владельца, решил мечтать о счастье? Как допустил этот упоительный соблазн в свое сердце? Мне нет прощения. Я заслуживаю самой жестокой кары, кровавых рубцов и содранной кожи. И глаз лишиться за то, что все еще смотрю на нее. И разума за недозволенные мысли. Самой жизни!

Я, видимо, так переменялся в лице, что Жанет встревожилась. Она быстро приподнялась и ловко, как кошка, ухватила меня за рукав.

– Что с тобой? Что? – торопливо спрашивала она, заглядывая мне в лицо. – Чего ты боишься?

Она оглядывалась вокруг, как будто искала тех самых корчащихся, кривляющихся демонов. Шикнуть на них и резким словом загнать обратно в темную нору.

– О чем ты подумал? Ты вспомнил? Я знаю, что вспомнил. Оглянулся назад, и тебе стало страшно. Не смотри туда, не

надо. Ты достоин того, чтобы смотреть прямо на меня, тебе нечего стыдиться и не в чем передо мной оправдываться.

– Я... я безродный, и я – вещь... На мне это тавро, будто я скот на ярмарке. Как я могу... как смею... Вы не должны были сюда приходить, к такому как я. Я хуже каторжника, хуже последнего вора. Меня, как животное, держат в этом загоне. Я отличаюсь только тем, что наделен речью, и внешне схож с человеком. Хозяйку это забавляет. А в действительности я...

– ...весьма привлекательный молодой мужчина, – с улыбкой договорила Жанет. – И как женщина я могу это подтвердить. А все прочее, что ты только что к этому титулу добавил, – не более чем плод твоего воображения. Какой причудливый вздор! Ты живой, теплый, желанный. Поверь мне, я не питаю никаких иллюзий по поводу твоего происхождения и твоего положения здесь, в этом замке. Я пришла сюда осознанно, не к тому, что ты обозначил словами, а к тому, что имеет столь прекрасное телесное воплощение. Я пришла к очаровательному молодому человеку из плоти и крови. И, кроме этого молодого человека, я здесь больше никого не вижу. Я подразумеваю всех тех, кого ты только что перечислил. Их на самом деле нет, но я вижу тебя. Я могу тебя коснуться, могу поцеловать. А все прочее – только выдумка. Есть только то, что реально, что соответствует замыслу Бога, а людские домыслы, законы, догмы – все это плод тщеславия. Люди слишком увлекаются, давая всему имена. Даже заменили

этими именами сами предметы. Не дай им себя обмануть. Смотри на меня. Смотри. Кто перед тобой?

– Жанет д'Анжу.

Она покачала головой.

– Нет, забудь про имя. Забудь все. Не вспоминай о моем отце и о крови, текущей в моих жилах. Господь создал тебя несколько минут назад и не дал тебе ни слов, ни воспоминаний. Кого ты видишь?

– Женщину.

Жанет радостно кивнула.

– Именно! Ты видишь женщину. Забудь, вычеркни имя, заставь свой разум молчать и смотри только на меня. На ту, которая перед тобой. Безымянную. Есть только я. Мои глаза, моя кожа, моя грудь, мое лоно. У всего этого нет имени. Имя – это дар людей, их знак. Люди привыкли все делить и называть, их разум полон противоречий и потому слишком слаб, чтобы постичь величие замысла. А замысел Господа нашего велик и неделим, он возвышается над их суетностью. Этот замысел и есть то, что на самом деле существует, то, что на самом деле высится по другую сторону людского тщеславия. Этот замысел не изменить, не нарушить его пропорций и качеств, как его ни называй. Я прежде всего женщина, под этими многослойными, шуршащими одеждами из имен и предрассудков. А ты за всеми своими страхами, именами, которые сам себе выбрал, прежде всего мужчина. Смотри, смотри на меня. Что ты видишь? Не поддавайся своим страхам,

не слушай разум, забудь все, что он тебе нашептывает, следуй за своими чувствами.

Тени скользили по ней, подобно призрачным одеждам. В пламени свечей ее тело распалось на золотистые пятна, свидетельства ее солнечного могущества. Тени играли, двигались, дразнили меня.

– Единственное, что на самом деле важно, – это твой выбор. Все остальное не играет роли, все прах, невесомый пепел. Для меня есть ты, тот, кого я вижу перед собой, тот, кого желаю. И все сказанное до меня, озвученное, взвешенное другими, не существует, это вода, ушедшая в песок, истаявшее пламя. Я сделала свой выбор в полном сознании, не оглядываясь на словесную шелуху, на обрывки пустых, ничего не значащих фраз, этих ущербных детей тщеславия. Я выбираю то, что существует, настоящее, осознанное и познаваемое, а не пустое и выцветшее. А теперь выбор должен сделать ты. Выбирай. Я или тайные происки твоего ума, страх моей сестры и ее неоправданная жестокость. Что существует на самом деле?

Я сделал к ней шаг, и Жанет обняла меня обеими руками, прижалась щекой к моей груди. Да, она и есть настоящая. Я чувствую ее, ее волнующее тело и безумно ее желаю.

– В первый день творения, когда Бог создал рай, еще не было слов. Ум еще не отяготил себя их множеством. Самолюбие и гордыня еще не проснулись, не сотворили себя ярких одежд и не оглушили нас своими песнями. Люди были

свободными, в святом божественном неведении. Мужчина и женщина. Закрой глаза и вернись в ту первозданную тишину, на дикий остров желаний. Иди за своими чувствами, доверься им. Оставь слова. Они ничего не значат. Чувствуешь, как я касаюсь тебя, как скользит моя рука, как настойчива и беспринципна моя ладонь? Прими эту нежность, позволь ей завладеть тобой, пусть она разрастается и заполнит тебя всего. Пусть изгонит твои страхи. Слушай самого себя, свое сердца, свое тело. Только ты здесь важен, только ты решаешь.

Я обратил свой взгляд на страх, и мрак стал рассеиваться, стал уплывать, как стелющийся дым. Я следовал подобно охотнику по следу зверя, подобно кладоискателю по золотоносной жиле. Вот еще один ослепительный знак, указатель... Ее прикосновение, ее дыхание... То, что есть сейчас, именно то, что я испытываю, познаю, от чего кровь закипает в жилах, и нервы звенят как струны, есть настоящее. Полнота и сгущение жизни. Жанет касалась меня: то осторожно, почти жалеючи, то властно и дерзко, как распаленная нимфа. Она уводила меня все дальше, а я бессилён был возражать. Я жаждал этого плена, хотел вечной неволи. Чтобы чувствовать ее, прильнувшую ко мне, пылающую, нетерпеливую; чтобы это длилось до самой последней минуты, до самой последней из смертей. Но затем меня настигла одна из них, самая милосердная, я помню только шепот Жанет, ее вздох, коснувшийся моих век, и растаявшее имя.

– Геро...

Я уснул, а она исчезла.

Глава 20

Когда он смотрит на них своими синими глазами, он весь там, в этом взгляде, весь целиком, весь внимание и слух, и тогда они, каждый из них, пусть самый ничтожный, чувствует себя возведенным в должность, замеченным. Потому что он их видит, он допускает их значимость и важность. Их всех, конюха и прачки, лакея и горничной. Своим взглядом, словом, жестом, своим присутствием он возводит их ценность едва ли не до монаршей. А что еще нужно тем, кто рожден в нищете и ничтожестве?

* * *

Я вновь слышу шорох и стук. Знаю, что обманываю себя, но порыв так стремителен, что мне себя не удержать. Угнаться за ускользающей мечтой, ухватить ее. Детская наивность. Вскрываю и в чем мать родила бегу к двери. Знаю, что ее там нет. Знаю! И все же обманываю себя. Несколько шагов в ожидании чуда. В гостиной хозяйничает Жюльмет. Когда я распахиваю дверь, она сгребает подсохшие ветки остролиста. Оборачивается и видит меня. А я, сраженный разочарованием, не сразу вспоминаю о скудости своего наряда. Мне требуется время, чтобы с холодной рассудочностью оценить случившееся. Ее здесь нет. Это всего лишь горничная.

У Жюльмет багровеет лицо, потом шея. Она шумно выдыхает и даже подхихикивает. Я, к счастью, понимаю, в чем дело. И быстро ретируюсь.

– Ради всего святого, Жюльмет, простите меня. Я не думал, что вы там... Не подумайте, что я...

– Да будет вам извиняться, сударь. Будто я вас голенького не видела! Видела, и еще разок бы взглянула. – Она хихикает. – Да на кого ж еще смотреть, коли не на вас? На вас только и смотреть. Перед смертью будет в чем отцу святому покаяться. Душу потешить. Мне, щербатой, это как награда. Воспоминаний у меня мало, вот одно из них будет. Вас узрела в полном, так сказать, откровении. Тогда и умирать не страшно.

– Жюльмет, лесть – искусство, которое весьма ценят при дворе, – отвечаю я, натягивая штаны и рубашку. – Но мне вы ими не доставите никакого удовольствия, я не особа королевской крови. Да и выгоды от меня никакой.

– Бросьте, сударь, я вам не дама какая, чтоб за выгодой гнаться. Что вижу, то и говорю. А лесть, это вы правильно заметили, она для короля. При короле правды не скажешь. Потому врать приходится. Не особо видный он мужчина. Сморчок, говорят.

– Жюльмет!.. Он король и помазанник Божий.

Я предостерегающе качаю головой. Но она только пренебрежительно отмахивается.

– И что с того? Все равно сморчок. Вот мать мне расска-

зывала, когда добрый наш король Генрих помер, царство ему небесное, а убийцам геенна огненная, сына его провозгласили наследником, а мать-итальянку – регентшей, вот тогда народ будущего короля в первый раз и увидел. Его держал за руку кардинал де Бутвиль. Ох и некрасивый же был ребенок. Губами все шлепал. Сначала думали, конфета у него во рту, от щеки к щеке перекатывает, ан нет – язык. Такой большой, что во рту не помещается. Мать своими глазами видела. Когда его из Собора-то вывели, она почти на ступенях стояла, за самой стражей, вот и разглядела наследника. Бледный, большеротый. Он потому и женщин не жалует. Знает, что они с ним только из жалости али из корысти. В детстве, говорят, большой интерес проявлял, под юбки к фрейлинам заглядывал. Думали, в отца пойдет, бастардов плодить. А у него, видать, только язык и вырос.

– Жюльмет!

– А что я такого сказала? Это я к тому, сударь, что вам стыдится нечего. На вас с какой стороны ни глянь – в одежде али без, – все глаз радует.

– Да что же это за разговоры такие! Принесите-ка мне лучше поесть. И теплой воды. А Любену передайте, что я хочу спуститься в парк. За ночь выпал снег и все дорожки замело. Самое время пройтись.

Жюльмет замечает мой подавленный смех и удаляется с гордо поднятой головой. Я уже не сдерживаюсь и смеюсь ей вслед. Сегодня каждая мелочь служит причиной для весе-

лья. Даже брошенные куклы не вызывают уныния. Они всего лишь прилегли и наслаждаются кратковременным отдыхом. Впереди бесконечная череда действий. Представление не заканчивается, есть только отсрочка. Замедляя ход, колесо тормозит. Оно подсакивает на выпирающем камне или слетает с оси. Есть время отдышаться. Я тоже получил отсрочку. Мне дали увольнительную, спустили с цепи, как дворового пса. И я, ошалевший от сладости воздуха, от белизны выпавшего снега, несусь куда-то с радостным лаем. Не оглядываюсь даже на дымящуюся в миске кость. Мне бы лапы размять, вдохнуть полной грудью. Бежать, не оглядываясь на цепь, не ждать рывка, который бросит меня назад. Я знаю, что свобода продлится недолго. Скоро хозяин снова защелкнет цепь, и при очередном прыжке мои лапы выскользнут из-под меня, и я с хрипом повалюсь на бок. Но это потом, а сейчас я свободен. И счастлив. Да, да, счастлив. Так неосторожно, с уликами. Мое лицо с удивлением разглядывала Жюльмет. А Любен принял меня за сумасшедшего. Как тут не принять? Он меня таким, хмельным и невесомым, никогда не видел. Я и сам подрастерял воспоминания, осветленные счастьем. Тут необходим навык, особый ритм сердца и такт для дыхания, иначе нарушается привычная телесная согласованность. Душа, подобно опытному кукловоду, должна ловко орудовать вагой, иначе ее марионетка запутается в собственных нитях и задохнется. А я был близок к этому. Что-то говорил невпопад, совершал тысячу ненужных движений, хва-

тал и переставлял. Искал занятие и бросал. Я хотел только одного – остаться наедине со своим счастьем. Вдыхать его и прислушиваться. Глупо и без причины улыбаться. Пожалуй, нечто подобное я испытывал, когда родилась Мария и я отправился на правый берег к родителям Мадлен. Та же неисчерпаемая сокровищница под рукой. Брать горстями и швырять, одаривать всех, кто попадет, обращать в царей и героев. Вероятно, я пожелал облагодетельствовать Любена, а он меня не понял и с опаской осведомился, хорошо ли я себя чувствую. Вспомнил, как однажды я стянул у Оливье склянку с опиумом.

Я ее вовсе не стянул. Оливье позабыл ее сам, после того как смешал для меня снотворное, а я только сделал вид, что не заметил его рассеянности и толкнул пузырек в тень. Пару дней спустя я добавил несколько капель содержимого в вино. И все последующие часы был вполне счастлив. Правда, мало понимал, что мне говорили, и сам еле ворочал языком. Мысли были как пузыри – всплывали и лопались, вызывая приступ неудержимого смеха. Даже белое от ярости лицо герцогини показалось мне забавным. Рот у нее превратился в щель, а лицевые кости вспучились и раздались, обратив великосветскую красавицу в карнавальную маску. Я хотел, указывая на это превращение пальцем. Оливье за этот недосмотр здорово досталось, и он возненавидел меня, как ненавидит больной свой неподдающийся лечению фурункул. Возмездие не заставило себя долго ждать, нечто схожее с по-

хмельем, тошнота и головная боль. Я оплатил страданием краткий миг ложного удовольствия.

А что же владеет мной сейчас? Является ли удовольствие истинным или ложным? То ли это удовольствие, что восполняет собой ущерб, как глоток воды, изгоняющий жажду, или это удовольствие, что имеет сходство с божественным бесстрастием, с безмолвным созерцанием красоты? Платон, пожалуй, был бы смущен. Здесь налицо и то и другое. А я где-то посередине. Я был голоден – и насытился. Я испытывал жажду – и сделал глоток. Я блажен, как те плачущие, что утешились. Значит ли это, что я не более чем пьяница, приложившийся к бутылке после долгого воздержания, или распутник, нарушивший безудержным мотовством великий пост. Я всего лишь удовлетворил потребности изнывающего тела и очень скоро поплачусь за это, ибо ложное удовольствие подобно несговорчивому ростовщику, который взывает двойной процент. Но я узнал и покой божественного созерцания, то, что пребывает за пределами страждущего тела, эфемерное и призрачное, питающее душу. Мое тело, насытившись, поделилось и с душой. Узреть сплетение магических всполохов, вдохнуть аромат райского сада. И там с меня не потребовали плату, это был дар. Я подобрал его и укрываю теперь, как цветок, у самого сердца. Это волшебный уголек, с которым ночь становится близнецом зари, философский камень, дарующий бессмертие. Платон предрекал подобное насыщение и спокойствие только на смертном одре. Вкусив

блаженство, я сделался равным богу, а следовательно, обречен на смерть.

Глава 21

Она раздумывала над покупкой особняка в предместье Сен-Жермен, особняка с куском земли, садом и даже виноградником. Почти поместье. Ее управляющий уже подыскал несколько домов, которые соответствовали ее пожеланиям, – тихих, уединенных, добротных, со сводчатым залом под библиотеку, множеством каминов и просторной кухней. Она распорядилась, чтобы в этих домах были комнаты с большими окнами, выходящими на юг, комнаты достаточно светлые, чтобы послужить в качестве детской. Вслух она этого не произнесла. Да и мысленно это было нелегко. Комната для маленькой девочки, для маленькой соперницы. Вот какую метаморфозу претерпел ее демон. Она собиралась подарить ему дом и позволить самому воспитывать дочь. В светлого духа демон не обратился, ибо о настоящей свободе для пленника речи не шло. Геро был и останется ее собственностью, ее трофеем. Она всего лишь идет на более выгодные для нее уступки, некоторые необходимые вложения в предприятие, чтобы получить дополнительные дивиденды. Неволя убивает его, медленно, но неотвратимо. Пусть даже в последние несколько недель после посещения того странного лекаря Геро и чувствовал себя лучше. Это временное улучшение. Так бывает при некоторых болезнях, когда недуг внезапно дарит ложную надежду, прежде чем

нанести последний удар. Экзотический цветок нуждается в тщательном уходе. Если для цветения ему требуется особая чистая почва и родниковая вода, то цветок следует пересадить. Пусть растет под открытым небом, под прищмотром садовника. Она согласна на то, чтобы Геро жил в одном доме с дочерью. Пусть возится с ней, если ему это так уж необходимо. Пусть даже посвятит себя тем наукам, которые оказались в пренебрежении. Он же изучал медицину в одном из коллежей Сорбонны. Пусть продолжает, если сама мысль о праздности ему невыносима. Или же пусть изберет себе другой предмет, другую дисциплину. Пусть изучает греческий и читает в подлиннике Аристотеля. Какая разница! Этот дом создаст иллюзию благополучия. Он не будет узником. Та прислуга, которую выберет Анастаси, будет вести себя пристойно и ненавязчиво. Его будут охранять так, чтобы тяготы постоянного надзора свелись к легкой заботе. Ему не в чем будет упрекнуть свою благодетельницу. И свидания вымалывать не придется. Пусть будет так. Так, как он хочет.

* * *

Меня беспокоит ее отсутствие. Ее нет уже больше двух недель. Рождественские торжества давно закончились, а герцогиня все еще в Париже. Почему она не едет? Не шлет писем? Не оставляет распоряжений? Она прежде никогда не

отсутствовала так долго. А если интриги и жалобы королевы-матери держали ее в столице, герцогиня непременно отправляла гонцов с короткими письмами и даже кое-какие лакомства. Случалось, что меня на пару дней привозили в Париж, и я жил в том самом Аласонском дворце на улице Сент-Оноре, куда более трех лет назад явился с расписками и счетами. Почему она молчит на это раз? Не означает ли ее молчание некую подспудную угрозу, затишье перед бурей? Я боюсь ее молчания. Мне легче перенести угрозы и домогательства, чем это деланное равнодушие. Молчание означает план и месть. Она никогда не спешит, если речь заходит о возмездии. Она выжидает.

В первые несколько дней я был рад ее отсутствию. Страхился обратного. Вдруг застучат копыта, загремит экипаж, а затем скрипнет дверь, и она войдет. А я все еще недостаточно трезв, все еще в мечтах. Я все еще ощущаю на своей коже руки Жанет, и поцелуи ее горят и дразнят. Она все еще со мной, все еще рядом, стоит лишь прислушаться, оглянуться и поймать ее задорный, сияющий взгляд. Я так и не изгнал сладостный призрак и сам не вернулся из страны грез. Явись герцогиня в подобный час, я бы не совладал с собой. Да у меня дыхание при одной мысли срывается. Нет, нет, Господи, только не сегодня, не сейчас. Дай мне еще один день, еще одну ночь. Я обрету смирение, я вновь замкну за собой тяжелую дверь, изгоню мечту и сломаю крылья. Господи, я буду верным рабом Тебе, не забуду о смертности своей и гре-

ховности. Я не прошу много, всего лишь день для воспоминаний, краткий час для обмана и радостей.

Мне так нравится играть в счастливица! Это как примерить новый костюм, даже не собственный, а кем-то одолженный. Эксцентричный господин обменялся своей одеждой со слугой, и слуга вместе с кружевом обрел крохи величия. Монашеская ряса предполагает молитву, а начищенная кираса – военный клич и пороховой дым. Мир, преображаясь, немедленно бросает реплики своему актеру. Счастливец восторгается его совершенством и божественным замыслом. Каждая мелочь является доказательством. Нечто подобное происходило и со мной. Я на время избавился от лохмотьев печали и одолжил у богов-насмешников волшебный плащ. Узнал то, что прежде презирал за избыточную яркость. Мир предстал в своей божественной геометрической правильности. Я осознал жизнь и свое присутствие в ней, в нескончаемом круговороте, в карнавале форм и обличий, который затеян самим Богом. Я вдыхал морозный воздух и дивился его сладости. Неразгаданный, невесомый, прозрачный, он разлит повсюду, без него жизнь невозможна. Люди вдыхают многие сотни раз за день и не замечают этого дара. А снег, который хрустит под ногами! Нежнее, изысканней самой дорогой ткани. Ветви, покрытые изморозью, будто осыпаны алмазной крошкой. Солнце отражается в нерукотворных гранях, над которыми трудились небесные ювелиры. Как мог я прежде не замечать этой удивительной красоты? В каком безмятеж-

ном согласии пребывает мир. Он невинен в своей первозданной суровости, грешен только человек. И грешен по причине гордыни своей, неверия и невежества. А птицам и зверью лесному неведомы эти муки. Их законы просты. «Посмотрите на полевые лилии, не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, как одна из них» (Евангелие от Луки, 12:27). Подмерзающие ягоды рябины горят ярче рубинов, каштан в думах своих о весне зажигает свечи. Каждый из этих созданий божьих хранит свою тайну, и догадаться о ней под силу лишь тому, кто сам готов признать в себе искру божественного присутствия. Для меня те первые дни стали чередой открытий, я узнавал чудеса на каждом шагу. Я ребенком не был так любопытен, как в те дни. Я снова мечтал, снова воображал себя путешественником и первооткрывателем, отправлялся в далекие земли, наблюдал за птицами, распутывал вереницы следов. Снова брался за скрипку и разбирал уже забытые пожелтевшие ноты. Просыпался еще до рассвета, чтобы отправиться на восточную башню и во всех оттенках, с причудой дознавателя, встретить рождение дня. Наблюдал, как растворяется ночь, как меркнут звезды, как Венера, самонадеянная, упорствует в лучах восходящего солнца. А вечером я приветствовал ее на Западе, поймав в изогнутое галилеево зеркало. Планета висела в непостижимой пустоте, которую разум бессилен познать. По этой причине я не искал объяснений, а только наблюдал. Это была еще одна тайна, еще один осторожный

взгляд в мастерскую божества, где творятся планеты и обретают свой путь звезды.

А затем пришло беспокойство. Дарованная мне отсрочка не может длиться вечно. Господь дал мне несколько дней, но вот они истекли. Время карнавала на исходе. Мой наряд ветшает и не скрывает дрожащего тела. Я все чаще прислушиваюсь, все чаще смотрю на дорогу. Моя вольная больше не имеет силы. Герцогиня вернется, и мне каким-то образом придется хранить свою тайну. У меня есть владелица, и я должен буду позволить ей к себе прикоснуться, к моей коже, к моим губам... И кожа будет осквернена, душа, оглушенная, изгнана. И сердце, с окровавленным кляпом, будет молчать.

Временами тоска так меня одолевает, что я вновь подумываю о побеге. Едва не залез в повозку к тем самым бродячим комедиантам, которые после рождественских и новогодних представлений, после карнавала возвращались из Парижа во Фландрию. Они снова остановились на несколько часов во дворе замка, и мажордом, уже не дожидаясь моих просьб, памятуя о строгом приказе герцогини исполнять все мои желания, предоставил путникам кратковременный приют. Для меня эта старая размалеванная повозка, запряженная двумя клячами мышинового цвета, была не менее притягательна, чем тайна солнечных пятен, ибо принадлежала тому же многомерному миру. Я терзался любопытством и страдал от жалости. Эти люди были достойны восхищения и вместе

с тем слез над их печальной участью. Они брели из города в город, получая за свое лицедейство жалкие гроши. Иногда им в спину летели насмешки и камни, очень редко – крики восторга. Они голодали, были презираемы и гонимы. И все же они были свободны. У них не было суверена, кроме Господа, и надсмотрщика, кроме голода. Их жизнь была честней и достойней, чем жизнь блестящего царедворца, вынужденного верить в собственную ложь. Они, эти жалкие шуты, единственные, кто умел говорить правду.

У меня нашлось немного серебряной мелочи, и я высыпал ее в желтую ладонь старика. Он был очень худ, кожа, как пергамент, но взгляд был ясен, голос звучал звонко и повелительно. Он разглядывал меня с насмешливым интересом. Толстая женщина укладывала в корзину несколько бутылок дешевого вина, которые ей вынесли из погреба по приказу мажордома. Два мальчика подростка, один чуть старше и шире в плечах, а другой – тонкий, как тростинка, обтирали лошадей старой ветошью. Спустив ноги из возка, сидел низкорослый, широколицый мужчина с руками огромными, как два кузнечных молота, и бледная молодая женщина с девочкой на руках. Девочка лет четырех скорчилась на коленях матери и тихо плакала. Я спросил, что с ней, и женщина равнодушно ответила, что девчонка капризничает, потому что ей холодно. На лице матери, а может быть, и не матери, не отразилось ни особого волнения, ни тревоги. Гораздо большее любопытство вызывал я или золотое шитье на моем камзоле.

Девочка на звук моего голоса пошевелилась и оглянулась. Я сразу распознал лихорадку. Щечки у ребенка горели. Глаза мутные и воспаленные. Я коснулся ее лба.

– Ты лекарь, что ли? – спросила женщина.

– Нет, я отец.

И решительно взял девочку на руки. Я собирался отнести бедняжку на кухню, где бы ее напоили теплым молоком с медом. Те пару часов, на которые бродячие лицедеи получили разрешение задержаться, бедная сирота, а я не сомневался, что она сирота, могла бы провести в тепле и сытости. Любен суетливо пританцовывал у меня за спиной. Ле Пине качал головой. Им не понравилось, что я коснулся какой-то замарашки, но я в их сторону не взглянул. У девочки были темные волосы и светлые глаза. Она напомнила мне Марию. И других, таких же несчастных, маленьких осиротевших детей. Будет ли Господь сколько-нибудь милостив к ним?

На рассвете скрипящая всеми колесами повозка выехала со двора. Жюльмет уверила меня, что у девочки к утру жар спал, и она крепко спит. Кухарка снабдила путников обрезками мяса, хлебом и сыром. Одна из горничных закутала ребенка в старую шаль. Я почти с тоской и завистью смотрел на дорогу. Если б я мог сбежать вместе с ними! И вечно колесить по дорогам, не ведая о прошлом, не мечтая о будущем, свободный и безмятежный.

Глава 22

Клотильда едва не взвыла.

– Кто позволил? Кто допустил?

А кто посмел бы ему запретить? С некоторых пор Геро была предоставлена свобода следовать собственным побуждениям и порывам. Его статус полновластного, признанного фаворита давно не требовал доказательств. Ему запрещалось покидать замок, но со всем прочим он был волен поступать как пожелает. Любой другой оценил бы дарованные ему вольности по достоинству, но только не Геро. Он не находил особой радости в том, что приобрел некоторую власть над лакеями и кухаркой, над портным, поваром и казначеем. Он мог отдавать приказы, как хозяин, но не пользовался дарованными полномочиями, находя их тяжеловесными и бессмысленными. Он вспоминал их только в качестве благодетеля. С тех пор, как ему позволили обращаться к казначею, Геро не упустил случая раздать пригоршню серебра бредущим на заработки вилланам. В ближайшей деревне он мог скупить у пожилой вдовы весь ее садовый урожай, а у старого горшечника – его кособокие посуды по цене греческих амфор. Он не раз посылал Любена с пожертвованиями в маленькую церквушку, где служил старенький хромой кюре, а во время своих поездок в Париж тайком наведывался в детский приют, чудом уцелевший после

смерти отца Мартина. Одни усматривали в этих его чудачествах едва ли не доказательства безумия, другие – тонкую игру, а третьи – попытку искупить грех. Сама герцогиня побывала в каждом из этих течений и остановилась на четвертом – потребности. Геро испытывает определенную потребность. Он страдает от переизбытка несовершенств этого мира и вот таким наивным способом пытается этот мир лечить. Он преисполнен сострадания, как горное озеро переполнено водой после весенней оттепели. Это сострадание выплескивается, опасно размывая берега, угрожая погубить, разорвать на куски то сердце, которое служит ему вместилищем. Геро не способен существовать иначе, не одаривая этим состраданием. Это его дыхание, его кровь. Если он прекратит свое дарение, то прекратит дышать. Жизнь прекратит свое движение, свой вращательный цикл, и тогда он умрет. Он умрет и по другой причине. Его погубит неблагодарность мира.

* * *

Волнение усиливается. Я уже готов молиться, чтобы герцогиня вернулась как можно быстрее. Я не молю судьбу о пощаде, ибо знаю, что недостоин. Я прошу ее о пособничестве, об укрывательстве, пусть послужит молчаливым, равнодушным союзником, который если не протянет руку, то хотя бы не выдаст. Пусть отвернется и позволит мне влачить суще-

ствование дальше, не потревожив своим свидетельством тех, кто мне дорог.

Неизвестность сводит меня с ума. Я позволил воображению разыграться. А тут еще лихорадка. Легкий жар и слабость. Похоже на то, что я злоупотребил попустительством Любена и провел в парке гораздо больше времени, чем было дозволено. Во время своих мечтательных, познавательных прогулок я замерзал так, что не чувствовал пальцев на ногах, но из мальчишеского упрямства не желал признаваться в телесной слабости. Плоть заслуживает аскезы за свою изнеженность. А я, вопреки собственной воле, стал привыкать к тонким винам и шелковым простыням. Даже услуги Любена перестали быть в новинку. Я стал господином и научился отдавать приказы. Еще немного, и я услышу голос тщеславия, распробую власть на вкус и раскаюсь в долговременной слепоте. Поэтому я стоически мерз, молился в холодной часовне и вместо оленьего бока довольствовался запеченным окунем. Даже первые признаки недуга не обеспокоили меня, скорее обрадовали.

На третий день головная боль, затем легкий озноб. Я определенно болен. Лихорадка усиливается. Мне пока удастся скрывать ее от Любена, но опытный взгляд Жюльмет уже подмечает нездоровый румянец. Она пристально смотрит мне в глаза, но я делаю вид, что не замечаю ее. Это всего лишь простуда и скоро пройдет.

Глава 23

– Оспа, – бесцветно произнес кто-то. Голос знакомый. Женский. – У него оспа.

Клотильда перевела взгляд на лекаря. Тот кивнул.

– *Variola vera*⁷³, – сказал он, употребив имя, данное страшному недугу епископом Марием почти тысячу лет назад.

Клотильда почувствовала дурноту. Кровь уже не стучала в висках, она уже загустела и готовилась кристаллизоваться, чтобы сыпаться и звенеть, колоть и резать сердце острыми гранями.

Смерть – тоже побег, успешный, необратимый. Из той долины, куда он отправится, его уже не вернуть, за поимку не объявить награду. Он не видел иного выхода. Он устал.

Не только побег, но и месть. Тонкая, изощренная. Изуродовать тело, ставшее причиной всех его несчастий. Уничтожить те ясные, строгие глаза, которые когда-то пленили ее в библиотеке епископского дома. Помимо шрамов оспа оставляет за собой и слепоту. Он предусмотрел вероятность выздоровления. Бывает, что оспа щадит своих жертв. При должном уходе и лечении она отступает, но след ее пребывания в смертном теле необратим. Если Геро выживет, он превратится в чудовище. Оспа, как насы-

⁷³ Натуральная оспа.

тивившийся хищник, измочалит его своими клыками и выплюнет, покрытого отвратительными гнойными пустулами. А затем на их месте образуются шрамы, глубокие, незарастающие рытвины. Он может ослепнуть, может лишиться своих прекрасных волос. Это еще хуже, чем смерть. Ей останется живая развалина, пародия на некогда живое божество. Он не мог разрушить стены, поколебать ее власть, но он нашел средство разрушить другую темницу – тюрьму своей плоти. Эта плоть станет более непригодна для служения. Она уже не сможет прикасаться к нему, улаживать свои ладони теплом его кожи, обнажать его, пренебрегая стыдом. Он станет ей отвратителен.

* * *

Я засыпаю и вижу сон. Возможно, это уже бред. Я путаю подступающие грезы и реальность. Озноб почти нестерпим. Я не могу сдерживать дрожь. К тому же прибавилось головокружение и стало трудно дышать. От Любена уже ничего не скрыть. Он ходил к месье Ле Пине с просьбой послать нарочного в Париж – сообщить ее высочеству о моей болезни и вызвать Оливье. Тот колеблется, не желая навлечь на себя немилость. Жюльмет с присвистом шепчет ругательства. Она уже пыталась напоить меня каким-то отваром и с подозрительным усердием топил камин. Я утверждал, что это всего лишь лихорадка, не стоит так беспокоиться. Тем не

менее, она настояла на том, чтобы нагреть горячими кирпичами мою постель, за что я был ей очень признателен. Ибо озноб усилился.

Меня трясет, и я нескоро забываюсь сном. От слабости предаюсь воспоминаниям. Мне холодно, и я пытаюсь подбраться поближе к солнцу. Узкий прямоугольник на полу, он ползет в тень, а я следую за ним. Вот сейчас прикоснусь и согреюсь. Прямоугольник втягивает углы и обращается в желтый круг, затем в овал, рассыпается на мелкие кусочки. Я пробую сгрести эти осколки в единое целое, но они просачиваются, стекают сквозь пальцы. Снова образуется прямоугольник, одной гранью упирается в горизонт, затем уходит вверх, как дорожное полотно. Похоже на дверь, я должен туда войти. За ней – свет, и огонь, и тепло. А я посреди бескрайней ночи, под нависшим прозрачным куполом. И, кажется, бос. Я иду к двери и толкаю ее. Пространство внезапно обрушивается, взлетает облаком разноцветных не то лоскутков, не то песчинок и вновь складывается в картину. Очень знакомую, но забытую. Это наша с Мадлен комната в доме отца Мартина. Да, все точно так, как и три года назад. Стол у окна, горшок с геранью, мои книги, сваленные в углу. На стене распятие с букетиком фиалок. Ко мне спиной сидит женщина. Я не вижу ее лица, но знаю, что это моя жена. Она ждала меня. Все это время, пока я отсутствовал, она оставалась в этой комнате и ждала. А я ничего не знал. На руках у нее ребенок. Наш сын. Боже милостивый, он жив!

Как же я мог так ошибиться! Ну конечно же он жив! Он не закричал сразу, и я тут же уверился, что мой мальчик родился мертвым. Но так бывает. Новорожденные не сразу начинают кричать. Иногда их надо хорошенько отшлепать, чтобы заставить вдохнуть. Даже наш король Людовик не сразу порадовал своего венценосного отца криком, повитуха поила его вином. Вот так же и мой сын. А я даже не взял его на руки! Я сразу поверил в его смерть. И Мадлен я сразу же покинул. Как я мог! И вот они здесь. И были здесь всегда. Ребенок на руках у матери. Я вижу, как шевелятся его нетерпеливые крошечные ручки. Но почему он все еще младенец? Ведь прошло три года!

В эту царящую тишину вторгаются голоса. Знакомые, резкие... Откуда они доносятся? Вероятно, с улицы. Окно открыто. Там, за ним, булыжная мостовая, маленький рынок на площади Сорбонны. Они приходят с другой стороны сна. Тревожат меня, искажают мои бредовые грезы. Мне даже видится расписной плафон моей тюрьмы, те же играющие нимфы, которых, глумясь и потешаясь, велела изобразить над моей кроватью герцогиня. Но я хочу вернуться в сон. Тонкая ткань его смыкается, когда вновь подступает холод. Но во сне мне тепло.

Снова голоса, шум... Нависает лицо Любена. За ним Жюльмет. Почему они тревожат меня? Почему не дают уснуть? Оставьте же меня... Оставьте.

А Мария подросла. Вот она в светлом платьице с рукоде-

лием в руках. Похоже, она совсем не удивлена моим появлением. Приветливо машет рукой с зажатой в ней лентой и бежит куда-то вприпрыжку. Я хочу окликнуть Мадлен, но не могу. В снах голоса нет. И двигаться нелегко. Двигаются стены, отступают и уже пропускают свет, как будто истончились и обратились в бумагу. Женщина встает и оборачивается. Я не вижу ее лица, но я ее знаю. Это Мадлен. Она пришла за мной, протягивает ко мне руки. Зовет, а я... я умер.

Глава 24

Оливье сказал, что ждать недолго. Геро уже впал в беспамятство и никого не узнавал. В бреду он звал дочь и покойную жену. Когда она осмелилась приблизиться, то разобрала несколько горячечных фраз. Это были те самые мысли, которые он так долго от нее прятал, а она все равно их слышала, шелестящими в его снах.

– Наш сын, как он вырос... Я не помню. Когда он родился? Вчера? Нет, не может быть. Он такой... такой славный. Он узнал меня... узнал. А Мария? Где Мария? Ее забрали? Кто забрал? Нет, не отпускай ее, не отпускай. Мы учились читать... она знает буквы, я учил ее. Мадлен, ты вернулась? Я ждал... Я виноват, во всем виноват. Прости меня... прости, я не защитил... должен был, обещал... Ты простишь меня? Я тебе изменил... Это был не я... мое тело, не я... Я грешник, Мадлен. Но ты пришла за мной. Я прощен? Ты простила меня?

И так до бесконечности. Он вел этот односторонний диалог с умершей женщиной, бесконечно оправдываясь. Никого кроме этой мертвой женщины его воспаленный разум не желал вспоминать. Вероятно, в его бредовых видениях мертвая жена уже приходила за ним, ему оставалось только протянуть руку, и она уведет его за собой. Болезнь уже ползла по лицу багровым пугающим заревом. Он умирал.

– Я не хочу, чтобы он умер здесь, – произнесла герцогиня, холодно глядя в лицо первой статс-дамы.

Анастаси за последние сутки как-то истончилась, иссохла. Она ничего не ела и двигалась как тень. Ее темные зрачки, казалось, вышли за пределы радужки и затопили все пространство под веками. Ее шатало.

«Она такая же жертва, как и я, – неожиданно подумала герцогиня. – Для нее, как и для меня, будет лучше, если все кончится как можно скорее».

Странно, но к Анастаси у нее не было ревности. Знала, что придворная дама влюблена в ее фаворита с первого дня, с первого взгляда, еще до роковой встречи в епископской библиотеке, но ни разу не задала себе тревожного вопроса: не станет ли придворная дама ее соперницей? Не попытается ли склонить Геро к измене и побегу? Геро мог бы превратить Анастаси в свое послушное орудие, пообещав в награду себя. Любой другой поступил бы именно так. Но не он...

Он умирал.

Анастаси ответила больным, воспаленным взглядом.

– Чего вы хотите?

Слова она вытолкнула с трудом. Язык сухой от многочасовой жажды. Она попросту забыла, что испытывает ее.

– Хочу, чтобы этот кошмар побыстрее кончился. Оливье сказал, что надежды нет. Так зачем тянуть? Даже если бы эта надежда была и он бы выжил... Каким он встанет с этого ложа? Живым мертвецом? Калекой?

Анастаси продолжала смотреть не моргая. Губы – как засохшая рана.

– Это был бы он, Геро... слепой, в шрамах, но это все равно был бы он. Его душа, его сердце. Разве шрамы имеют значение, если под ними будет биться его сердце?

– Но он не выживет, – повторила Клотильда. – Он обречен.

– Так дайте ему умереть. Всего несколько часов, может быть, дней, и все будет кончено.

– Но я не хочу, чтобы он умер здесь, в моем доме! Не хочу никаких смертей.

В глазах придворной дамы что-то мелькнуло – не то презрение, не то гадливость.

– Всего несколько часов покоя, – сказала она. – Неужели вы отнимете у него и это, право на спокойную смерть? Его уже лишили права на исповедь, права на покаяние, на утешение и прощение, так оставьте ему хотя бы это.

Именно в этом и состояла его месть. Умереть в ее доме, в своем узилище и обратиться в вечный упрек. Если он умрет здесь, весь этот замок станет его гробницей, превратится в символический мавзолей, где его тень будет бродить по ночам. Она, герцогиня Ангулемская, уже не сможет сюда вернуться, ибо сами очертания стен, силуэты башен над лесом обратятся в огненные письма. Ей тогда придется бежать или снести замок до фундамента, как чумную лачугу. На это он и рассчитывал – отравить, пропитать этот за-

мок смертью, сделать его непригодным для дыхания и жизни.

– Нет, – уже твердо повторила герцогиня. – Здесь он не умрет. Пусть его отвезут в лечебницу, в Париж. В Отель-Дье.

Конец книги первой.